

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВИЗАНТИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК



IV

1951

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ВИЗАНТИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК

Том IV



им стать. «Он был всего лишь упрости́телем и вульга́ризатором марксизма, вроде „пролеткульти́стов“ или „рапповцев“».¹

Одним из основных положений „нового учения о языке“ было учение о языке как надстройке. И. В. Сталин показал ошибочность этого положения, обогатив тем самым не только наше советское языкознание, но и общую теорию марксизма-ленинизма.

Другим ведущим положением „учения“ Н. Я. Марра, глубокая ошибочность которого была также указана И. В. Сталиным, было учение о „классовости языка“, которым Н. Я. Марр „запутал себя, запутал языкознание“.² И. В. Сталин вскрыл до конца ошибочность теории Марра о стадильном развитии языков, о единстве глоттогонического (языковедческого) процесса, о так называемом палеонтологическом анализе. И. В. Сталин указывает, что сравнительно-исторический метод „толкает к работе, к изучению языков“, анализ же Н. Я. Марра „толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов“.³

Развитие языков, по мнению Н. Я. Марра, шло в порядке скрещивания. В своем гениальном труде И. В. Сталин показал, что в процессе скрещивания двух языков вовсе не получается нового, третьего языка, а „при скрещивании один из языков обычно выходит победителем“.⁴

Н. Я. Марр и его „ученики“ пытались зачеркнуть все, что было в языкознании сделано до них, были нетерпимы к инакомыслящим.

„Н. Я. Марр, — пишет И. В. Сталин, — внёс в языкознание не свойственный марксизму нескромный, кичливый, высокомерный тон, ведущий к голому и легкомысленному отрицанию всего того, что было в языкознании до Н. Я. Марра“.⁵

Вскрывая причины неблагоприятного положения в языкознании, И. В. Сталин с особой силой подчеркнул необходимость развертывания творческих дискуссий и свободной критики как основного метода развития науки.

Великий жизненный принцип развития всей советской науки указан И. В. Сталиным. „...Никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики“,⁶ — пишет И. В. Сталин. Между тем в языкознании установился аракчеевский режим, когда за неодобрение учения Марра снимались с должности ценные исследователи. „Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможности критики, стала самовольничать и бесчинствовать“.⁷

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 67.

² Там же.

³ Там же, стр. 69.

⁴ Там же, стр. 60.

⁵ Там же, стр. 68.

⁶ Там же, стр. 64.

⁷ Там же, стр. 64—65.

Статья И. В. Сталина „Относительно марксизма в языкознании“ дает советским языковедам ключ к истинному, марксистскому решению основных вопросов языкознания. „Чем больше вникаешь, — пишет академик Виноградов, — в это глубокое, ясное и строгое произведение, тем больше извлекаешь из него, как из волшебной сокровищницы, новых указаний, новых мыслей, новых обобщений, которыми ярко освещаются пред советскими лингвистами широкие горизонты марксистского языкознания“.¹

Значение статьи И. В. Сталина „Относительно марксизма в языкознании“ далеко выходит за пределы лингвистики.

Работа И. В. Сталина „Относительно марксизма в языкознании“ является продолжением и развитием таких его гениальных трудов, как „Марксизм и национальный вопрос“, „Национальный вопрос и ленинизм“, „О диалектическом и историческом материализме“.

Это — новый ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, в диалектический и исторический материализм. И. В. Сталин, гениально обобщая всю историю развития общества, развивает теорию исторического материализма о соотношении базиса и надстройки, дает законченное понятие о надстройке, ставит по-новому вопрос о характере скачков и революций, о классах и классовой борьбе.

В новых произведениях И. В. Сталина даны важнейшие для историков указания по вопросу о соотношении базиса и надстройки. Первое указание — об активной роли надстройки в укреплении и сохранении породившего ее базиса. Товарищ Сталин подчеркивает, что надстройка, будучи порождена базисом, становится величайшей активной силой, содействующей сохранению и укреплению базиса. Второе указание И. В. Сталина говорит о том, что надстройка отражает развитие производительных сил не прямо, а косвенно, преломляя те изменения, которые вызываются в базисе, т. е. в экономической структуре общества, развитием производительных сил. Это последнее указание товарища Сталина прямо предупреждает историков и, в частности, византинистов от опасности сползания на рельсы буржуазного объективизма и вульгарного экономизма. А такая опасность для историков существует. Тенденция к тому, чтобы надстроечные явления выводить прямо из сферы производства, минуя экономическую структуру общества, забывая о классах и классовой борьбе, неоднократно отмечалась в работах некоторых советских историков.

Указания И. В. Сталина о соотношении базиса и надстройки должны лечь в основу работ советских византинистов при изучении политических, правовых, религиозных и других „надстроечных“ явлений византийской истории.

Работы И. В. Сталина должны привлечь особое внимание советских византинистов в тех своих частях, которые имеют прямое отношение

¹ „Правда“, 4 июля 1950 г.

к вопросам византиноведения. Громадное значение для советских византинистов имеет характеристика, данная И. В. Сталиным империям, возникавшим в античном и средневековом обществе. Товарищ Сталин пишет: „Я имею здесь в виду не империи рабского и средневекового периодов, скажем, империю Кира и Александра Великого, или империю Цезаря и Карла Великого, которые не имели своей экономической базы и представляли временные и непрочные военно-административные объединения. Эти империи не только не имели, но и не могли иметь единого для империи и понятного для всех членов империи языка. Они представляли конгломерат племён и народностей, живших своей жизнью и имевших свои языки“.¹ Эти слова И. В. Сталина применимы также и к Восточно-Римской империи, которая являлась непосредственным продолжением „империи Цезаря“ и представляла собой конгломерат племен и народностей, живших своей жизнью и говоривших на своих языках; она не имела единой экономической базы и была временным и непрочным военно-административным объединением. Данные источников всецело подтверждают это.

Советские византинисты в своей дальнейшей работе должны руководствоваться этими замечательными положениями И. В. Сталина, характеризующими империи рабского и средневекового периодов.

Н. Я. Марр всегда ополчался против сравнительно-исторического метода. Между тем этот метод не может быть отброшен, на что указал И. В. Сталин. Он не может быть отброшен не только лингвистами, но и историками. Изучая закономерности развития византийского феодализма, историк-марксист должен всегда сопоставлять их с параллельными процессами развития феодальных отношений на Руси, в Западной Европе и на азиатском Востоке. Только таким путем он может правильно понять специфику византийского феодализма на разных этапах его развития.

Если в византиноведении в узком смысле не было заметно влияние школы Марра, то это влияние сказалось в разработке проблем этногенеза, в частности этногенеза славян, проблемы, теснейшим образом связанной с историей Византии. Некоторые „ученики“ Марра пренебрегали научными фактами, которые не укладывались в схему „учения“ Марра, огульно отрицали всякие миграции и сводили все дело к трансформации, „перевоплощению“ одного народа в другой. Так, академик Н. С. Державин бездоказательно утверждал, что в период римского завоевания происходил переход старого фракийского населения Балканского полуострова в „новое этнографическое качество“ — славянское.² Некоторые „ученики“ Марра доходили до стирания значения этнического своеобразия народов, до признания понятия „этнос“ понятием фиктивным. Общеизвестно, например, что остготское государство Теодориха в Италии и вестготское королевство в Галлии и Испании

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 25—26.

² Н. С. Державин. История Болгарии, т. I, стр. 89.

были германскими варварскими государствами. Между тем академик Державин утверждал, что готы ошибочно называются германцами, что обширный готский союз представлял собой „по существу в массе по своему этнографическому составу союз восточнославянских племен“.¹ Долг советских византинистов — способствовать скорейшей ликвидации всех ошибочных положений, которые внесены учениками Марра в вопросы этногенеза южных и восточных славян.

Сталинская постановка вопроса об общенародном языке на разных этапах его развития, об отношении между местными говорами и общим языком племени или народности, между общенародным языком и классовыми жаргонами, о способах использования отдельными социальными группами и классами народного языка в своих классовых интересах — все это имеет непосредственное отношение к истории средневекового греческого языка, помогает нам понять отношение между народными говорами и тем „чистым“ языком, которым щеголяли византийские верхи в своей устной и письменной речи. Ни один филолог-эллинист, занимающийся историей греческого языка, не может теперь игнорировать сталинскую постановку вопроса об общенародном языке на разных этапах его развития.

Глубока и целиком подтверждается фактами данная И. В. Сталиным характеристика обычных результатов языковых скрещиваний как таких, при которых возникает не какой-то новый, третий язык, а сохраняется грамматический строй и основной словарный фонд одного языка, в большей или меньшей степени обогащенного элементами из побежденного языка. Так, при заселении славянами в VI—VII вв. Балканского полуострова живший там ранее фракийский народ в большей своей части ославился. Победил славянский язык, а от побежденного фракийского языка он получил, как показал болгарский ученый Димитрий Дечев в своей работе „Тракийски езикови остатци“, только некоторые особенности, как, например, употребление постпозитивного члена и другие специфические черты, имеющие место также в румынском и албанском языках.²

В статьях И. В. Сталина, посвященных вопросам языкознания, с предельной глубиной и ясностью вскрыты основные недостатки в работе советских лингвистов. Некоторые из этих недостатков в той или иной мере свойственны не только одному языкознанию.

Советские византинисты далеко еще не сделали всех нужных выводов из дискуссий и указаний ЦК ВКП(б) по теоретическим вопросам.

За последние годы они еще не создали крупных работ,двигающих вперед развитие советского византиноведения; не все проблемы, разрабатываемые советскими византинистами, достаточно актуальны. Среди советских византинистов недостаточно развернута еще критика, само-

¹ Там же, стр. 66.

² В. Николаев. Славяно-болгарский фактор в христианизации на Киевская Руссия, стр. 130.

критика и нет свободного обмена мнениями. Хотя в советском византиноведении нет монополии небольшой группы „непогрешимых руководителей“, следует отметить слабое привлечение к работе широких научных кругов и особенно молодых кадров.

Совсем плохо обстоит дело с научными творческими дискуссиями и свободной критикой, которые, по указанию товарища Сталина, являются основным методом развития науки. В вышедших трех томах „Византийского Временника“ нет ни одной критической статьи, посвященной анализу работ советских византинистов. До сих пор еще не проводятся широкие творческие дискуссии. Это, конечно, тормозит плодотворное развитие научной мысли и успешное решение задач, стоящих перед советским византиноведением. Между тем потребность в таких творческих дискуссиях для советских византинистов, несомненно, назрела, особенно после опубликования новых замечательных работ И. В. Сталина.

Дискуссия по вопросам языкознания, пишет И. В. Сталин, «...не только разбила старый режим в языкознании, но она выявила ещё ту невероятную путаницу взглядов по самым важным вопросам языкознания, которая царит среди руководящих кругов этой отрасли науки. До начала дискуссии „ученики“ Н. Я. Марра молчали и замалчивали неблагоприятное положение в языкознании. Но после начала дискуссии стало уже невозможным молчать, — они были вынуждены выступить на страницах печати. И что же? Оказалось, что в учении Н. Я. Марра имеется целый ряд прорех, ошибок, неуточнённых проблем, неразработанных положений. Спрашивается, почему об этом заговорили „ученики“ Н. Я. Марра только теперь, после открытия дискуссии? Почему они не позаботились об этом раньше? Почему они в своё время не сказали об этом открыто и честно, как это подобает деятелям науки?»¹

У советских византинистов также есть немало неуточнённых проблем, неразработанных положений, дискуссионных вопросов. Учитывая то обстоятельство, что историки-марксисты только еще недавно приступили к разработке вопросов византиноведения, *a priori* можно сказать, что таких проблем и вопросов наберется очень много. Советские византинисты еще не успели договориться даже по вопросу о „начале Византии“. Очень большие разногласия между ними существуют по вопросам научной периодизации истории Византии, причем нет даже договоренности о едином принципе, который должен быть положен в основу этой периодизации. Почти совершенно еще не затрагивалась советскими византинистами история византийского города. Было бы наивно думать о возможности сразу решить все спорные и сложные вопросы византиноведения, но никто теперь не будет отрицать, что без открытого обсуждения назревших вопросов, принципиальной критики и самокритики невозможно движение науки вперед.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 66—67.

„Византийский Временник“ должен развернуть творческие дискуссии по наиболее актуальным и мало освещенным, мало разработанным вопросам византиноведения. Необходимо привлечь к участию в „Византийском Временнике“ более широкий круг авторов, в частности авторов, живущих на периферии. Печатание в „Византийском Временнике“ не должно быть монополией византинистов Москвы и Ленинграда. Редакция должна давать систематическую информацию о научной деятельности советских византинистов, освещать тематику византиноведческих работ Института истории и кафедр университетов, помещать критические обзоры выходящей научной продукции, давать передовые статьи о задачах, стоящих пред византинистами. Тем самым „Византийский Временник“ окажет действительную помощь работе советских византинистов.

В основу всякой подлинной науки, в том числе и языкознания, должна быть положена правильная марксистско-ленинская методология. Основной причиной неблагополучия на языковедческом фронте явилось то, что делу усвоения этой методологии многие языковеды не уделяли должного внимания.

Поэтому, несмотря на огромную помощь, которая постоянно оказывалась и оказывается развитию науки в СССР партией и советским правительством, советские языковеды до сих пор не всегда умели разобраться в основных вопросах своей науки. Советские византинисты обязаны сделать должные выводы из дискуссии по вопросам языкознания. Они тем успешнее выполняют свои задачи, чем глубже будут овладевать всепобеждающими идеями Ленина—Сталина, творческим методом марксизма-ленинизма. Произведения И. В. Сталина являются богатейшим арсеналом идейного оружия для всей советской науки в ее борьбе за торжество марксистско-ленинского мировоззрения. Советская историческая наука в борьбе с реакционной буржуазной идеологией обязана И. В. Сталину как гениальным развитием марксистско-ленинской методологии, так и гениальным разрешением крупнейших исторических проблем, относящихся к самым различным эпохам. Работы И. В. Сталина, посвященные вопросам языкознания, должны лечь в основу дальнейших исследований советских историков-византинистов.

Н. Я. Марр и его „ученики“ пытались легкомысленно зачеркнуть все то, что было сделано в языкознании до них. Советские ученые опираются на все предшествующие достижения науки. Им чуждо нигилистическое отрицание прошлого, которое ярко проявилось в деятельности Н. Я. Марра и его „учеников“. Люди советской науки понимают силу и значение установившихся в науке традиций и используют их в интересах науки, но они не являются рабами этих традиций. Следуя указаниям Ленина и Сталина, советские ученые ломают старые, отжившие традиции, нормы, установки и создают новые традиции, нормы и установки.

Как произведение подлинно научного творческого марксизма, указанные работы И. В. Сталина наносят сокрушительный удар различным проявлениям буржуазной идеологии, способствуют дальнейшему внедрению марксизма-ленинизма во все области знания, открывают путь к новому творческому подъему советской науки.

В ответе А. Холопову И. В. Сталин дал гениальное определение марксизма, которое должно вдохновлять советских исследователей, работающих в любой области науки: „Марксизм есть наука о законах развития природы и общества, наука о революции угнетённых и эксплуатируемых масс, наука о победе социализма во всех странах, наука о строительстве коммунистического общества. Марксизм, как наука, не может стоять на одном месте, — он развивается и совершенствуется“,¹ — указал товарищ Сталин. И далее: „Марксизм не признаёт неизменных выводов и формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого догматизма“.²

Следуя по пути, указанному И. В. Сталиным, развивая принципиальную критику и самокритику в своей среде, борясь с попытками канонизировать устаревшие, отжившие положения в науке, горячо поддерживая все новое, передовое, советские ученые обогатят отечественную науку новыми открытиями и достижениями и с честью выполнят поставленную перед ними великим Сталиным задачу — не только догнать, но и превзойти в кратчайший срок достижения науки за рубежом.

М. В. Левченко.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 113.

² Там же, стр. 114.

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Я. СЮЗЮМОВ

РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ В НАЧАЛЕ X ВЕКА

В связи с открытием и изданием „Книги епарха“ в буржуазной исторической литературе появились различные оценки византийского городского устройства.

В 1892 г. Николь, издатель „Книги епарха“, в соответствии с идеалами фритреда и свободной капиталистической конкуренции, определил хозяйство Византии X в. как „рай для монополий, привилегий, протекционизма...“ „Правительство во все вмешивается, все контролирует, все регламентирует. Из истории Византии мы знаем, каковы были экономические и политические последствия режима, убивавшего предпринимательскую свободу... Различные ветви промышленности, которую так ретиво охраняли, перекочевали на Запад; торговля все падала и падала; все больше иссякало ее богатство, пока, наконец, не наступила катастрофа“.

Это противопоставление свободно развивающегося хозяйства на Западе полной стесненности жизни в Византии характерно было для позиций буржуазии, ведшей борьбу за свободу для капиталистического предпринимательства, против стеснений со стороны дворянского абсолютизма. Для республиканца Николя, так же как и для Монтескье — Гиббона — Фалльмерайера — Вальцинга, Византия была образцом гнета, мертвящей регламентации и деспотизма. Эта отрицательная оценка истории Византии типична почти для всей западной буржуазной исторической литературы эпохи домонополистического капитализма.

С переходом капитализма в стадию империализма, когда идеалы свободной конкуренции потускнели в „блеске“ трестов и монополий, отвращение у буржуазных ученых к византийскому абсолютизму постепенно исчезло. Они стали находить, что ничего особенного, отличного от западноевропейского средневековья в Византии не было.

Гериг¹ попытался дать общую оценку состояния хозяйства Византии по данным „Книги епарха“. По его мнению, „Книга епарха“ рисует картину, типичную для городского хозяйства в средние века с характерным для него принципом, что все должно покупаться публично и из первых рук и все, что может быть произведено в городе, должно быть в нем и потреблено. В „Книге епарха“, утверждал Гериг, нет никаких указаний на крупное производство, напротив, видно, что преобладало мелкое кустарное производство. Эта оценка, безусловно, игнорирует специфику экономического развития Византии.

¹ Goehrig, H. Jahrbücher für Nation. Ökon. u. Statistik, 38, 592.

По мере того как буржуазия становилась все реакционнее, изменялось и отношение ее к истории Византии. Византия представляется буржуазными учеными государством образцового порядка и твердой власти. Тезис Николя „Византия — рай для привилегий, стеснений“ стал оспариваться. Андреадис¹ отрицал наличие в Византии стесняющего регулирования и утверждал, что в Византии существовала свобода выбора профессий, что, за исключением монетного и оружейного дела и некоторых необходимых для императорского двора видов производства, никаких монополий в Византии не было.

Андреадис и другие буржуазные идеализаторы Византии стремились доказать, что правительство Византии было надклассовым, что византийская государственность якобы обеспечивала порядок, спокойствие и безопасность для всех слоев населения, что „регулирование хозяйства“ в Византии не имело никакого классового смысла. Эта теория совершенно игнорирует классовую борьбу, которая в Византии проходила с исключительной остротой.

Однако эта форма фальсификации истории Византии, т. е. идеализация порядков византийского государства, не вполне соответствовала наступившему в Европе фашистскому „регулированию“. Необходимо было не отрицать регулирование, а идеализировать его. Финский профессор Миквиц фактически так и делает: он считает, что монополии и привилегии не стесняли производства в Византии, но, наоборот, были выгодны в хозяйственном отношении.

В полном соответствии с этой тенденцией идеализации византийской государственности Лопец („Speculum“, 1945, № 1) считает, что система привилегий, монополий и государственного регулирования полностью себя оправдала. На протяжении многих веков шелковая промышленность в Византии процветала и Византия сохраняла монопольное положение в торговле шелком с Европой.

В фашистской Италии, где демагогически выставлялись идеи так называемого „корпоративного государства“, псевдоученый Марцемини старался сблизить древнеримские и византийские цехи с фашистскими профессиональными объединениями, а Льва VI пытался показать деятелем, организующим хозяйство в духе Муссолини.

В последнее время, однако, отношение к Византии в буржуазной историографии опять радикально изменилось. Среди английских и американских буржуазных историков развивается теория, противопоставляющая „Запад“, — этот, по их мнению, „оплот индивидуальной свободы и парламентаризма“, — „Востоку“ с его „азиатским деспотизмом и всеобщим закрепощением“.

В трактовке „Cambridge Economic History“ русское государство XV—XVII вв. было построено по образцу византийского, как государство „литургическое“, основанное на одновременном закрепощении и высших и низших классов общества в интересах государства.

Снова налицо стремление представить Византию как страну всеобщего гнета, закрепощения и бесправия, но в настоящее время эта тенденция направлена уже не против абсолютизма, а используется для борьбы против всего прогрессивного человечества и прежде всего против великого Советского Союза, являющегося оплотом мира во всем мире.

Совершенно ясно, что ни русское, ни византийское государства не знали одновременного закрепощения и высших и низших классов.

¹ „Byzantion“, IX, 1934, стр. 171—181.

„Книга эпарха“ — блестящее опровержение теории наличия „литургического хозяйства“ в Византии.

Настоящая статья и ставит своей целью, на основании изучения источников, разоблачить эти фальсификаторские потуги зарубежной реакционной историографии.

* * *

Исходным моментом для понимания характера структуры и социального состава византийских цехов является своеобразие генезиса византийского феодализма.

С VIII в., когда византийская деревня, знакомая нам по „Земледельческому закону“, во многом становится подобной деревне „Салической правды“, город сохранил в основном характерные черты эллинистического города с достаточно мощными пережитками рабовладельческих отношений. Это и есть то характерное для Византии соединение цивилизации с варварством, о котором говорил Маркс.¹

Отсюда первая особенность византийского цеха (в отличие от западноевропейских цехов XII—XV вв.): византийское ремесло возникло не в результате выделения его как такового из сельского хозяйства, а в преемственной связи с позднеримским ремеслом, следовательно, моменты общинного устройства деревни не могли повлиять на устройство византийского цеха.

Вторая особенность византийского цеха — его относительная внутренняя слабость. Это вполне понятно: средневековая корпоративность на Западе основывалась на том, что при слабости феодального государства, при отсутствии централизованного аппарата существование единого хозяйственного вне сплоченной общественной организации, будь то сельская община, цех или гильдия, было невозможным. В Византии гибель рабовладельческого строя не сопровождалась полным распадом государственного аппарата. Следовательно, в византийском городе средневековая корпоративность не имела столь всеобъемлющего характера, как на Западе. Это определяло относительную узость задач византийских торгово-ремесленных объединений.

Третья особенность византийского ремесла в интересующий нас период — значительная роль рабов в нем. В связи с этим, в отличие от западноевропейской ремесленной мастерской, в основном следующей принципу трехчленного строения: мастер — подмастерье — ученик, для византийской эргастерии характерно четырехчленное деление: 1) хозяин эргастерии; 2) раб — постоянный, иногда квалифицированный, работник, иногда прислужник-помощник; 3) мистий — наемный рабочий; 4) ученик.

В период, характеризующийся преобладанием свободного крестьянства, как в западноевропейских „варварских“ королевствах V—VIII вв., так и в Византии VII—IX вв., рабство все еще существовало. Однако в Византии рабовладение сохранилось не только в „домах“ вельмож, но и в ремесле, что значительно отличает Византию от Запада. В „Эпанагоге“ в исках, касающихся рабов, выставлялось требование, относящееся к τέχνη раба, т. е. к знакомству его с ремеслом.² Купить старались такого раба, которого можно было „научить и приспособить к собственному делу“.³

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IX, стр. 440.

² Эпанагога 36, 8. Пейра 38, 32.

³ Synopsis Basilic. Zachariae von Lingenthal Jus. Graeco-Romanum, v. V, p. 42.

Византия вплоть до XII в. оставалась крупным центром работорговли. В Константинополе существовал специальный рынок рабов: „торг, идеже рустии купцы приходяще челядь продают“.¹

Раб как работник встречается в „Книге эпарха“ повсеместно.² Наличие дешевой рабочей силы, являющейся собственностью хозяина, накладывает особый отпечаток на византийское ремесло. Византийский хозяин не был связан обычными требованиями по содержанию подмастерья в той мере, как это было на Западе. На Западе имелись тенденции, запрещающие расширять предприятие. Это осуществлялось путем ограничения числа учеников и подмастерьев. В Византии в отношении количества рабов в эргастерии ограничений не было. Не в традициях античного мира было ограничивать рабовладение. Поэтому уравнилельные тенденции в византийском цехе выражались слабее, чем на Западе.

Однако тот факт, что византийские хозяева, несмотря на наличие рабов, пользовались и наемным трудом, говорит о том, что рабский труд не удовлетворял константинопольских дельцов и они принуждены были искать более инициативных работников. Тем не менее полностью переходить на труд мистив византийские дельцы не хотели; они старались использовать свое право рабовладельца и в то же время сделать раба более инициативным работником.

По „Книге эпарха“, раб мог стать членом некоторых цехов, например искусным ювелиром, но он не мог сделаться аргиропратом — продавцом драгоценностей, оценщиком,³ не мог войти также в цех трапезитов — мянэл. Цех трапезитов считался особо важным в силу своих функций регулирования монетного обращения, и поэтому перепоручать свои дела рабу трапезитам запрещалось.⁴

Раб мог быть продавцом ценных одежд местного производства. Но в „Книге эпарха“ не упоминается о рабах, участвовавших в торговле импортными одеждами. Рабам можно было поручать торговлю шелком-сырцом; рабы могли быть приняты в цех катартариев (по очистке шелка-сырца), серикариев (ткачи по шелку, красильщики шелка), но нет сведений о том, что рабы принимались в цехи торговцев импортным шелком и продавцов привозимой из-за границы парфюмерии.

Раб мог стать членом цеха мыловаров, но совершенно нет указаний на рабов как членов цехов хлебопеков,⁵ свечников, столяров, слесарей, маляров, работников по мрамору, строителей.

Чтобы понять причины допущения рабов в состав цеха, необходимо обратить внимание на условия приема. В уставе аргиропратов⁶ значится, что для приема раба в ювелиры необходимо поручительство

¹ Макарьевские Минен, декабрь 173. А. П. Рудаков, стр. 126. В Константинополе рынок рабов со времени правления Феофила (829—842) помещался на месте бывших служебных помещений цирковых партий у Артоподия. Торговцы рабами назывались „соматопратами“ („οι σωματοπράται ἐκείσε πειρασκίται οὐκ ἐκείσε πρὸς τὴν πρῶτην“). Vanduri. Imperium Orientale I, 17). Это так называемое „место плача“.

² Кн. Эп. 8, 9, 10; IV, 2; VI, 7; VII, 3, 5; VIII, 13; XII, 8; XI, 1, 9, 4; XVIII, 1; ряд свидетельств агиографии о рабах в ремесле приводится Рудаковым, стр. 125—128.

³ Кн. Эп. III, 10. См. „Книга эпарха“, Свердловск, 1949, стр. 50.

⁴ Ср. Кн. Эп. III, 1 и VI, 7.

⁵ Совершенно ясно, почему рабы не могли стать членами цеха хлебопеков. Чтобы быть хлебопеком, нужно было иметь солидное недвижимое имущество, которое приобреталось или через завещание, или в качестве приданого, или покупалось. Завещание и приданое для раба были вообще исключены, а покупка рабом недвижимости встречала непреодолимые препятствия.

⁶ Кн. Эп. III, 10.

его господина, если последний достаточно состоятелен. Для того же, чтобы попасть в число ювелиров свободному человеку, требуется поручительство пяти лиц, несущих с ним одинаковую ответственность. То же говорится и в уставе серикариев.¹ Выходит, что сделаться членом цеха рабу „достаточно состоятельного хозяина“ было легче, чем свободному человеку.

В таких условиях богатый вельможа мог через своих рабов владеть любым количеством эргастерий. Особенно важно отметить, что допущение раба в цех зависело лично от эпарха, так как эпарх мог решить, достаточно ли состоятелен (εὐπόρου τυχεύωντος) его господин.² Иначе получилось бы нелепое положение: лицо, которое не может найти пяти поручителей, чтобы лично завести эргастерию, может это сделать, поручившись за своего раба!

Это положение давало возможность узкому кругу лиц, имеющих поддержку у эпарха города, пользоваться правом выставлять рабов в качестве подставных лиц.

Для уяснения смысла использования рабов в ремесле обратим внимание также на то, что рабы принимались в цехи, где производились предметы роскоши (ювелирные изделия, шелковые ткани, мыло).

Именно наиболее выгодные, наиболее доходные ремесла, в отношении продажи изделий которых не было установленного процента прибыли, находились в руках подставных лиц — рабов.

Интересно отметить, что регулирование процента прибыли относится не к профессиям, имеющим дело с предметами роскоши, но лишь к торговле предметами широкого потребления, т. е. касается снабжения населения Константинополя рыбой, мясом и хлебом. Регулирование процента прибыли видим лишь в уставах, относящихся к следующим цехам: 1) лавочников — продавцов предметов первой необходимости;³ 2) мясников;⁴ 3) рыботорговцев;⁵ 4) хлебопеков;⁶ 5) виноторговцев.⁷

У торговцев шелком-сырцом процент прибыли устанавливается только при продаже шелка-сырца внутри цеха; если кто-либо из метаксопратов окажется в состоянии закупить у заграничных купцов большое количество шелка, то он должен продать шелк-сырец тем, которые в момент торжища не имели достаточно средств. Ясно, что эта статья не регулирует ни прибыли, ни цен при продаже шелка на рынке.⁸ То же мы видим в межцеховом регулировании прибыли при переступке купленного товара членам других цехов.⁹

В состав таких старинных и игравших важную роль в жизни Константинополя объединений, как цехи хлебопеков, мясников, свечников,¹⁰ кожевников, мелких лавочников, входила основная масса местных ремесленников — мелких хозяйчиков. Они выполняли функции снабжения

¹ Кн. Эп. VIII, 13.

² Кн. Эп. II, 10; VIII, 13.

³ Кн. Эп. XIV, 5.

⁴ Кн. Эп. XV, 2; XVI, 2.

⁵ Кн. Эп. XVII, 2, 4.

⁶ Кн. Эп. XVIII, 1, 4.

⁷ Кн. Эп. XIX, 2.

⁸ Кн. Эп. VI, 8—9.

⁹ Кн. Эп. IX, 6.

¹⁰ Свечники продавали не только свечи, но и масло, которое тогда было основным материалом для освещения.

столицы. Эти мелкие хозяйчики, разумеется, были бы против включения рабов в состав их цехов. Поэтому в статьях, касающихся этих профессий, нет указаний о допущении в эти цехи рабов. Интересно отметить, что в главах „Книги эпарха“, касающихся этих цехов, нет статей, которые говорят о праве эпарха принимать в число членов цеха лиц, имеющих рекомендации. Эти старинные цехи контролировались эпархом, он устанавливал процент прибыли для членов цеха, но состав этих цехов им не определялся и рабы — подставные лица своих господ — в цехи не допускались.

В статье XXII „Книги эпарха“ — „о лицах, берущих на себя выполнение работы, т. е. о столярах, лепщиках по гипсу, работниках по мрамору, слесарях, малярах и остальных“, совершенно нет указаний о рабах-ремесленниках. Лица этих профессий были выходцами из низов свободного константинопольского населения. Это были необходимые в условиях крупного столичного центра строительные рабочие; однако нет никаких данных о том, что они имели цеховую организацию. Это — мелкие ремесленники с крайне низкой оплатой труда, большей частью выходцы из деревни, которые нанимались в качестве мистиев — наемных рабочих — на один месяц. Иногда они пользовались подачками местной благотворительности, иногда составляли артели, работая на подрядчика. На такие работы направлять рабов не имело смысла, потому что жалкая оплата труда мелкого ремесленника едва могла прокормить самого работника и не могла предоставить никаких выгод для хозяина раба.¹

Допущение рабов в цех в качестве подставных лиц создавало особо выгодные условия для с а н о в н о й к о н с т а н т и н о п о л ь с к о й з н а т и, давало ей возможность эксплуатации мелкого ремесла и торговли предметами роскоши.

Поэтому константинопольская знать была сильно заинтересована в сохранении рабства. Как раз Лев VI, которому приписывается „Книга эпарха“, издал новеллу о том, что господин в течение трех лет может требовать возвращения раба, принятого в клир. Вальсамон, в XI в., комментируя эту новеллу, находил, что это „соблюдается ради справедливости, хотя и не благоприятствует свободе“.² Как видим, в представлении константинопольской знати рабовладение считалось даже в XI в. „справедливым“.

Сохранение рабского труда приводило к застойности техники. „Книга эпарха“ содержит об этом интересные сведения. Так, по данным этого источника, бросается в глаза крайняя отсталость техники в мукомольном деле. В X в., согласно „Книге эпарха“, мука размалывалась жерновом, приводимым в движение животными.³

Между тем в селах еще в VIII в., как показывает „Земледельческий закон“, уже обычной была водяная мельница. Устав „Книги эпарха“ о хлебопеках не дает возможности перехода к более высокой технике. Прибыль нормируется таким образом, что приблизительно 4,5% шло в качестве чистого дохода хлебопеку, а 16,5% — на содержание рабов,

¹ У Льва Диакона (IX, 3) знатные заговорщики поручают изготовление ключа не своим рабам, которых, несомненно, у них было много, но приглашают ремесленника-слесаря.

² К Номоканону Фотия, гл. 36, тит. 1 (стр. 12).

³ Кн. Эп. XVIII, 2; ср. Со к р а т, Церк. ист., V, 18. В Риме в IV—V вв. существовали водяные мельницы (наряду с хлебопекарнями старого типа). В Константинополе отсутствие реки не позволяло переходить на более рациональное ведение дела.

животного и отопление, т. е. хлебопек получал только то, что необходимо было для поддержания его хлебопекарни при выполнении повинности, столь важной в деле снабжения столицы.

В „Книге эпарха“ термин „мастер“ в западноевропейском смысле этого слова не встречается. Употребляются лишь слова „мыловар“, „свечник“, „ткач“ и т. д., т. е. наименование профессии. Но нужно иметь в виду, что так называется только хозяин эргастерии или во всяком случае лицо, более или менее самостоятельно ведущее дело.

Должен ли византийский „мастер“ знать свое ремесло? Безусловно, без знания ремесла он не мог бы вести дела своей „эргастерии“.¹ Но вопрос в том, необходимо ли было знание ремесла для зачисления в цех. Оказывается, что нет. В уставе о мыловарах (§ 1) говорится: „Кто без ведома эпарха или простата научит своему делу постороннее лицо, не входящее в состав цеха, будет подвергнут штрафу в 24 номисмы“.² А в § 2 о порядке приема в цех сказано: „Кто желает вступить в число мыловаров, должен быть предварительно представлен эпарху и только после этого может быть принят в цех и открыт мастерскую... Он должен представить поручителей, внести в казну 6 номисм“ и т. д. Здесь речь идет не об ученике, а о лице, открывающем мастерскую. Следовательно, поскольку § 1 запрещает обучать мыловаренному делу не состоящих в цехе, можно притти к важному выводу: эпарх принимал в цех совершенно незнакомых с ремеслом людей, но отвечающих требованиям § 2. Принятый в цех только после этого, согласно § 1, мог быть обучен мыловаренному делу.

В „Книге эпарха“³ в главе относительно метаксопратов, т. е. торгующих шелком-сырцом, говорится о правилах найма мистиев; эти наемные лица, безусловно, занимались очисткой шелка-сырца, так как серикарии покупали от метаксопратов шелк-пряжу. Сами же метаксопраты не имели права заниматься очисткой шелка-сырца. Мало того, если чистильщик шелка-сырца (катартарий) захочет стать метаксопратом, то он должен дать обязательство, что не будет больше лично обрабатывать сырец.

Требование, чтобы хозяин, ведущий торговлю товаром, сам не изготовлял его, было в духе традиций рабовладельческого мира.

Мастер в византийском цехе не всегда мог так или иначе воздействовать на прием в цех нового члена. В „Книге эпарха“ только в главе о вестипратах говорится об участии членов цеха в приеме нового члена. „Для того чтобы быть допущенным к профессии вестипратов, необходимо, чтобы перед эпархом поручились пять лиц из данной профессии в том, что данное лицо пригодно к занятию этим делом“.⁴ Нет никаких общих собраний для приема в члены цеха. Так, названия „докимасия“ (проверка) и „псефос“ (голосование) встречаются только в уставе табуллариев,⁵ которые занимали особое положение,

¹ Basilic. 54, 16, 16. Для принятия в цех требовалось признание „пригодности“ к данной профессии — *τέχνης ἐπιτήδειος*. Понятие „ἐπιτήδειος“ (в Дигестах — *idoneus*) соответствует словам „*ἄξιος ἐν τῇ τέχνῃ*“ — „достойный“ в „Книге эпарха“ IV, 5, что отнюдь не означает знание ремесла, а скорее благонамеренность, необходимая для члена цеха. Это же требование в гл. VI, 6 и XVI, 1 выражено словами: „*μαρτυρεῖσθαι ἐπὶ αὐτῇ ὑπολήψει*“.

² Кн. Эп. XII, 1, 2.

³ Кн. Эп. VI, 2.

⁴ Кн. Эп. IV, 5.

⁵ Кн. Эп. I, 1.

имели привилегию избирать нового члена, произведя испытание. Роль эпарха при этом сводилась к официальному присутствию при обряде приема нового члена цеха. В прочих случаях прием производился эпархом по представлению пяти поручителей из „честных, почетных граждан“,¹ которые ручаются в том, что кандидат „достоин“ принятия в цех,² не состоит в другом цехе и не совершит ничего противозаконного.

Внутри византийского цеха не было даже относительного равенства. С одной стороны, не было правового равенства, так как наряду с свободными были рабы, с другой — не было равенства „положения“. „Почетными“ считались не все члены цеха, а лишь наиболее богатые и „благонамеренные“.

Когда дело касалось льготных закупок, через ведомство эпарха составлялся список (апографэ), в который вносили далеко не всех. Катартари, желающие купить сырец, должны прежде всего записаться у эпарха, при этом они не должны быть рабами, или вообще неимущими, или же имеющими о себе „дурную славу“, но только из числа почетных (χρησίμων).³ „Это делается... чтобы сырец не разошелся ко всякого рода людям низкого звания“. Следовательно, в числе членов цеха некоторые считались людьми „низкого звания“.

Кто же считался „почетным“ (дословно: полезным — χρησιμος) гражданином? Данное понятие в „Книге эпарха“ соединяется с представлением о праве „свидетельствовать“. Но право свидетельствовать (μαρτυρεῖσθαι) в Византии имели далеко не все свободные. По „Прохирону“, „бедные“ (πένητες), не обладающие имуществом в 50 номисм, не могут свидетельствовать.⁴

Положение большинства самостоятельных хозяев эргастерий было весьма тяжелым. Агиография приводит данные о мелких собственниках эргастерий в Константинополе, которые изготавливали при помощи наемников шелковые ткани. Эти „хозяева“ отнюдь не представляли зажиточную часть населения и часто страдали от безработицы.⁵ Но далеко не все ремесленники были объединены в цехи. Можно определенно сказать, что большинство ремесленников во время Юстиниана, в X в., и вплоть до падения Константинополя не имели цеховой организации. Глава XXII „Книги эпарха“ подтверждает это. Все мелкие ремесленники, перечисленные в этой главе, т. е. столяры, лепщики по гипсу, работники по мрамору, слесари, маляры и различные строительные рабочие, квалифицируются как одиночки, принимающие заказы, или как лица, работающие на подрядчика. Большая часть этих ремесленников — поденщики, которые, „оставшись без работы, окажутся лишенными пищи“.⁶

Члены цехов (συστηματικοί) в Византии противопоставлялись одиночкам — „идиотам“ (ἰδιώταις τέχην οἰκονομήτινα μετερχομένοις).⁷

¹ Кн. Эп. III, 1; VI, 6; VII, 3.

² Кн. Эп. IV, 5; VI, 6; XVI, 1; VII, 3.

³ Кн. Эп. VII, 5.

⁴ Prochiron., XXVII, 13; Basil. 60, 34, 8; Peira 30, 2. У Юстиниана ремесленники, вынужденные заниматься лично физическим трудом, не пользовались почетом: показания ἐπίθρονοις (сидящих на скамье), χαίματαις (сидящих на земле), ἀγῆτοις (то же выражение и в „Книге эпарха“) на суде не считались достоверными (nov. Just. XC, 1).

⁵ Житие Авксентия, у Метафраста (Migne. Patr. gr., v. 114).

⁶ Кн. Эп. XXIII, 2.

⁷ Ecloga basilic. II, 2.

Агиография рисует невыносимо тяжелое положение ремесленников-одиночек. Св. Захария, сапожник и заготовитель кож, жил в крошечной лачужке около церкви, сутками напролет трудился над обработкой кож и жил в крайней бедности.

В эргастериях работали днем и ночью. В Пасхальной хронике (588) говорится о том, что епарх Кир при Феодосии II установил новый порядок вечернего и ночного освещения эргастерий.

О ночном труде ремесленников говорит также Либаний. Наиболее презируемые из ремесленников — *τῶν ἁγίων* жили в крайней нищете. Жития красочно рисуют горькую жизнь одиночек-горшечников, которые „живут в союзе с неудачей и имеют сожительницей нужду“.¹

В агиографии очень часто встречаются упоминания о строительных рабочих. Самый характер их работы — постройка домов, церквей и т. д. требовал объединения. В житиях VIII—X вв. строители — наемные рабочие, организованные в артели. Обычно эти артели состояли из земляков, принимали заказы и странствовали из города в город. По житию св. Симеона Столпника, строительные рабочие из исавров, работая над постройкой стен в Антиохии, жили настоящей деревней. У них была прочная взаимопомощь, они весьма заботились и ухаживали за земляками, потерявшими трудоспособность.²

Наличие неорганизованного ремесла в Константинополе определялось спецификой социально-экономической жизни Византии. Процесс отделения ремесла от сельского хозяйства происходил в Византии в условиях сохранения с античных времен ремесленного производства и цеховой организации в городах. Уже Юстиниан отмечал громадный приток населения в Константинополь из деревень. „Провинции совсем лишаются своих жителей, а столица переполняется лицами разного звания, в особенности же крестьянами“.³ В Константинополе отдельные цехи, игравшие важную роль в деле снабжения двора и столичного населения предметами питания и одежды, сохранились, поскольку правительство обеспечило за ними монополию на занятие данным ремеслом. Прочие же мелкие цехи, хотя и многочисленные по составу, цехи столяров, слесарей и т. д., не будучи в состоянии конкурировать с постоянно прибывающими из деревни ремесленниками, распались.

Не в интересах константинопольской знати было допустить сильную организацию мелкого ремесла. Жалкий уровень жизни мелких ремесленников являлся результатом не конкуренции рабского труда, якобы снижающего оплату (в их рядах рабов не было), а конкуренции выделяющейся из деревни рабочей силы.

Крестьяне, подавленные беспощадной налоговой системой, бежали и в первую очередь старались устроиться в столице. Они постоянно пополняли ряды мелких *ἐργολάβοι*. Разумеется, эти толпы обездоленных согласны были на любые условия, и действительно, их приток приводит к снижению оплаты труда мелких ремесленников.

Члены семьи ремесленника — хозяина эргастерии — тоже участвовали в труде. Они или помогали главе семьи, или работали как одиночки.

В *Patria Constantinopolitana*⁴ передается сообщение, что император Лев до своего вступления на престол был мясником, а его жена

¹ А. П. Рудаков. Очерки Византийской культуры по данным греческой агиографии, стр. 146.

² А. П. Рудаков, цит. соч., 142.

³ Новелла 99, 19.

⁴ Script. Orig. Constant., ed. Praeger, II, 250.

из кишок изготовляла струны или тетивы для луков. В житиях святых часто попадаются сведения о женщинах, занимающихся ткачеством. В середине XII в. в шелковом производстве заняты были женщины, „знавшие ремесло своих мужей“.¹

Однако нет никаких сведений о наличии в Византии женских цехов, хотя женщины, повидимому, могли быть членами цеха.²

В Византии подмастерье, более или менее тесно связанный с цехом, отсутствовал. Хозяин мастерской нанимал за плату рабочего. Наемный рабочий для поступления в цех нисколько не был ограничен особыми требованиями. Никаких поручителей в честном его поведении не требовалось.³ Наемный рабочий („мистот“, или „мистий“) получал заработную плату за месяц вперед. Нет никаких данных о существовании каких-либо количественных ограничений найма мистотов. Мистот очень подвижен в смысле перехода от одного мастера к другому, и нет данных, что именно из среды мистотов выходят члены цеха. Наоборот, мистот принадлежит к низам общества и не имеет возможности стать хозяином.

Из некоторых статей „Книги эпарха“ можно сделать вывод, что потребность в квалифицированной силе в ремесле была весьма остра. Хозяин не имел права заключать договоры с наемными работниками на срок больше чем в 30 дней, чтобы тем самым окончательно не закрепить за собой квалифицированного мастера в ущерб другим хозяевам. Хозяева мастерских не имели права давать льготных выплат авансом больше чем за месяц, не должны были переманивать к себе работника прежде, чем тот отработает свой месячный аванс.⁴ Но потребность в рабочей силе вовсе не обуславливала высокую наемную плату. Наоборот, наемный работник, по данным агиографии, являлся синонимом бедняка-полунищего. Авансирование платы за месяц вперед просто объясняется словами „Книги эпарха“: „*μη ἐν ἀπορίᾳ τροφῆς γένοιται*“ („чтобы не оказались лишенными пищи“).⁵

В уставе табуляриев есть статья, гласящая, что если кто из писцов, нанятых табулярием, будет за какой-нибудь проступок уволен хозяином, то уволенный не имеет права поступить писцом к другому табулярию.⁶ Неизвестно, применялось ли данное правило к лицам наемного труда в других профессиях. Можно думать, что в Византии особых постановлений в отношении репрессий к строптивым рабочим просто не требовалось: власть городского эпарха была достаточной для того, чтобы „облагоразумить“ (по выражению „Книги эпарха“) любого нарушителя „порядка“. Порка, позорное шествие, административная высылка — обычные наказания со стороны эпарха.⁷

В Византии в наличии достаточного количества наемных рабочих заинтересованы были:

1. Государство, главным образом эпарх Константинополя, привлекавший „техников“ для разных работ по укреплению и благоустройству города (особенно много было работ по содержанию и ремонту водопровода).

¹ Никита Хониат, „Римская история“, Русс. пер., т. II, СПб., 1862, гл. 8.

² Кн. Эп. VII, 2.

³ Но в цехе табуляриев принятие писца обусловлено согласием всей коллегии (Кн. Эп. I, 24).

⁴ Кн. Эп. VI, 2, 3; VIII, 10, 12.

⁵ Кн. Эп. XXII, 2.

⁶ Кн. Эп. I, 4.

⁷ Кн. Эп. XVIII, 5; VII, 6. То же выражение в „Эклоге“, тит. 4, 7.

2. Знать, использовавшая ремесленников для обслуживания константинопольского порта, для постройки своих „домов“, строительства „богоугодных“ заведений и церквей.

3. Церковь — для церковного строительства и внутренних служб в церковном хозяйстве.

4. Хозяева эргастерий для использования их в качестве мистиев в своих мастерских.

5. Собственники „проастиев“ — для работ в пригородных садах, огородах и виноградниках.

Правительство постоянно стремилось обеспечить существование такой многочисленной армии поденщиков.

В отношении ремесленников и вообще лиц физического труда (кроме крестьян) не вводились правила, ограничивающие срок пребывания в столице тремя месяцами. Сохраняло силу постановление Юстиниана о том, что бедняки, прибывающие в столицу, если они были достаточно физически крепкими, должны были направляться на работу на строительство, в хлебопекарни или в пригородные огороды. Не желающие работать должны были выселяться из столицы.¹ По кодексу Юстиниана, правительство заинтересовано было, чтобы тюрьмы не загружались. Предписывалось или наказывать, или быстрее освобождать из тюрьмы. Ежемесячно требовались подробные сведения о составе заключенных, епископ должен был еженедельно обследовать тюрьмы и беседовать с заключенными.²

Масса поденщиков, как свидетельствует агиография, была в летний сезон наемными рабочими, зимой же — нищими. Заработная плата не могла обеспечить их на зиму, так как ее едва хватало на дневное пропитание.

В „Книге эпарха“ не указывается величина заработной платы поденщика. Но не следует думать, что не существовало нормирования заработной платы поденщиков. Существовал обычай, сохранявший определенную устойчивость в этом деле (*τῆς παλαιᾶς συνήθειας*).³

Всякое отклонение от этого „древнего обычая“, т. е. установившегося уровня заработной платы, встречало противодействие со стороны государства. В 541 г. при Юстиниане после жестокой эпидемии чумы, вследствие недостатка наемных рабочих, заработная плата значительно повысилась. Юстиниан в 122 новелле запретил ремесленникам, сельскохозяйственным рабочим, матросам, строителям требовать зарплату выше, чем они получали до чумы, обвиняя их в „алчности“, и назначил трехкратный штраф „и на берущих и на дающих“.

По „Земледельческому закону“, дневной заработок поденщика равен одному кератию.

Люмпен-пролетариат в интересах политической безопасности и сохранения в столице рабочей силы подкармливался за счет правительства. Пока Византия сохраняла власть над такой богатой провинцией, как Египет, это было легко делать в самых широких масштабах. Но, как передает „Пасхальная хроника“,⁴ с 618 г. (когда Египет оказался в руках персов, а потом арабов) массовые регулярные раздачи продуктов и денег люмпен-пролетариату прекратились. Однако, в ограни-

¹ Nov. Just. 80 (539 г.). Эпанагора, V, 5. Basil. 6, 69.

² Nov. Just. 9, 4, 5 и 6. По „Книге эпарха“, тюремное заключение как мера наказания вовсе не упоминается.

³ По Кодексу Феодосия, зарплата грузчиков устанавливалась префектом (Cod. Theod. XIV, 22; 1, 364 г.).

⁴ Chron. Pasch., ed. Bonn. I, а. а. 618.

ченных размерах, как пережиток, они продолжали существовать и в последующее время. Даровой хлеб обычно раздавался по специальным свинцовым тессерам, образцы которых приводит Schlumberger в своей „Сигиллографии“. Бесплатная раздача продовольствия бедноте требовалась этикетом придворных церемоний (особенно во время ежегодных празднеств в цирке в день 11 мая, когда по случаю годовщины основания Константинополя раздавались пирожки, рыба, овощи).¹ Некоторое количество бедноты подкармливалось при патриаршем дворе. Правила приличия того времени требовали, чтобы при похоронах зажиточных лиц производилось даровое угощение бедноты. Все это позволяло „мистиям“ кое-как существовать во время безработицы, дожидаясь сезонных работ. Поскольку спрос на изделия ремесла (в особенности на предметы роскоши) зависел от внутривизантийской устойчивости Византии (доходы знати, сбор налогов, состояние внешней торговли), которая нередко нарушалась, в византийских городах зачастую отмечалась безработица.² Мистий, которого в любой момент можно было рассчитать, был в данном случае выгоднее постоянного раба, содержать которого было бы убыточно.

В новейшей литературе вопроса встречается предположение, что лица наемного труда в свою очередь были объединены в специальные цехи.

Миквиц³ считает, что мистии, нанимаемые метаксопратами для очистки шелка, были членами цеха „катартариев“. Именно для того, чтобы поставить катартариев в зависимость от себя, метаксопраты давали им плату за месяц вперед. Это мнение имеет некоторое основание: в „Книге эпарха“ говорится о том, что катартарии должны были покупать сырца у метаксопратов, но очищенный шелк-сырец серикарии-ткачи покупали тоже у метаксопратов. Следовательно, метаксопраты скупали очищенный шелк и продавали ткачам. В данном случае наемная плата, выданная вперед из расчета „сколько может выработать работник за месяц“, являлась бы авансированной обратной покупкой уже очищенного шелка и в таком случае роль метаксопратов состояла в монопольной продаже сырца и скупке очищенного шелка с выплатой вперед. Но в „Книге эпарха“ идет речь не о катартарии — члене цеха, а о внецеховом рабочем, работающем на дому. Члены цеха катартариев сами покупали для себя сырца (иногда непосредственно в компании, иногда от метаксопратов).⁴ Они могли продавать любому метаксопрату, но только не на сторону. Совсем иное положение мистота: тот не мог продавать сырца вообще, так как продажа сырца была монополизирована. Внецеховой наемный рабочий мог только принять сырца на очистку от метаксопрата и получить вперед плату за свой труд.

Статья шестая главы о катартариях подтверждает это: если кто из катартариев будет уличен в том, что пропивает в кабаке шелк-сырец, или же является смутьяном, ругающимся площадной бранью, такой человек изгоняется из цеха, „чтобы он не продавал больше сырца“. В статье говорится об исключении из цеха за неподобающее поведение, но не об изгнании из города, не о запрещении заниматься ремеслом, но упоминается только о лишении права продавать

¹ Patr. gr., v. 112, p. 637.

² Patr. gr., v. 114, p. 1041.

³ Byzantinische Zeitschrift, 1936, 1.

⁴ Кн. Эп. VI, 2; VII, 5.

шелк. Из статьи следует, что изгнанному из цеха катартарию пришлось бы превратиться в мистия, продолжать заниматься своим ремеслом, но уже без права продажи, т. е. работать на торговца шелковой пряжей. Таким образом, непосредственный производитель в Византии мог быть более или менее независимым хозяином, членом цеха с возможностями при обогащении перейти в высшие цехи, главным образом торговые,¹ при неудаче — опуститься на положение мистия. Мистий же мог выбраться из своего положения и вступить в цех, если только мог найти пять поручителей, добиться утверждения его приема со стороны епарха, что было почти невозможно.

Цеховые ремесленники — это привилегированные потомственные константинопольцы; мистии — обнищавшие или пришлые люди.

О тяжелой жизни наемных поденщиков пишет Феодор Студит, который поражался равнодушию поденщиков ко всем волновавшим византийское общество вопросам иконоборчества.

«Когда идет речь о вере, не следует говорить: „Я бедняк, зарабатывающий только дневную пищу! Меня не касается речь и забота об этом предмете!“ Но хотя бы ты был и низким, безрассудно говорить: „какая мне о том забота“».²

Эти ἐργολάβοι, „принимающие работу“, как и все лица, указанные в гл. XXII „Книги епарха“, — внецеховые ремесленники. Но вряд ли следует в них видеть рабочих мануфактур: ни из „Книги епарха“, ни из агнографических памятников нельзя извлечь никаких данных о наличии в Византии частных мануфактур. Крупные мастерские, находившиеся в ведении государства, обслуживались не наемниками, но рабами и присужденными к принудительным работам.

К. Маркс называет Константинополь „главным центром роскоши и нищеты на всем Востоке и Западе“.³ Именно наемные рабочие и были наиболее обездоленными людьми того времени. Несмотря на то, что они были людьми „свободными“, их положение в сущности было даже хуже, чем положение рабов и крепостных. „Существование раба обеспечено личной выгодой его владельца; у крепостного есть, по крайней мере, кусок земли, которым он живет; оба они гарантированы, по меньшей мере, от голодной смерти; пролетарий же предоставлен исключительно себе самому...“⁴ Хотя наемного рабочего X в. („мистия“) нельзя считать пролетарием в современном смысле этого слова, но сказанное Ф. Энгельсом в большой мере может быть отнесено и к „мистиям“.

Вопросы ученичества не ставились особо в „Книге епарха“. Но наличие учеников бесспорно (упоминания в главах о керулариях).⁵ В агнографических памятниках часто говорится об учениках ремесленных мастерских, причем обычно они работали за плату, так что их положение не отличалось от положения мистия. В цехе табулляриев обучение учеников было возложено на специальных лиц *νομικοὶ* и *παιδοδιδάσκαλοι*.⁶ Возможно, что и в некоторых других профессиях, требующих высокой квалификации, существовали подобные же специальные учителя. В „Василиках“ говорится о каких-то *ἐργοδιδάσκαλοι* (или, в других списках, — *ἄλλων ἔργων διδάσκαλοι*), т. е. об учителях разных профессий; в латинском тексте этому выражению соответствует: „*Aliorum*

¹ Кн. Эп. VII, 3.

² Patr. gr., v. 99, p. 1321.

³ Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 193.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. III, стр. 408.

⁵ Кн. Эп. XI, 1.

⁶ Кн. Эп. I, 16.

diversorum operum professores“.¹ В профессиях, не связанных с цеховым устройством, ученик, получивший достаточные навыки по ремеслу, в любой момент мог сам принимать заказы и открывать свою мастерскую.²

Какие же преимущества давал цех? В первую очередь члены цеха, утвержденного правительством (*συστημα*), обладали монопольным правом заниматься своим ремеслом в Константинополе. Государство запрещало посторонним лицам заниматься теми профессиями, которые были объединены в цехи. Для членов цеха было выгодно обеспечить себя поддержкой со стороны государства от конкуренции постоянно прибывающих из деревни. С другой стороны, в существовании цехов было заинтересовано и государство, так как регулирование производства и торговли было бы затруднительно проводить среди неорганизованной и текучей массы. Исключительно силами чиновничьего аппарата, весьма продажного, государство не могло бы следить за нелегальными ремесленниками и торговцами. Но члены цеха в своих собственных интересах оказывались наиболее ретивыми инспекторами: почти у каждого цеха имелись свои нелегальные профессии. Трапезиты имели конкурентами нелегальных „сакуляриев“ („мешочников“), которые со своими мешками выходили на перекрестки улиц и „из-под полы“ вели обмен денег, т. е. присваивали себе функции менял. Члены цеха трапезитов обязаны были задерживать и приводить к эпарху этих людей.³ Вероятно, были случаи, когда трапезиты за взятку смотрели сквозь пальцы на деятельность „сакуляриев“. „Книга эпарха“ грозит за это строгим наказанием. В торговле шелком-сырцом выступали лица, носившие название „метатрапезитов“. Это, очевидно, торгующие нелегально шелком-пряжей.⁴ В торговле мылом встречаются „метапраты“ (перепродавцы мыла),⁵ не причисленные к цеху. Их сделки караются конфискацией. Подобные „метапраты“ встречаются и в торговле скотом.⁶ На салдамариях (лавочниках) лежала обязанность следить за тем, чтобы лица, не принадлежащие к цеху, не делали запаса товаров для спекуляции.⁷

Самое право заниматься данным ремеслом, по „Книге эпарха“, связывалось с зачислением в цех. Если кто желает быть допущенным в ювелирную мастерскую (*εις ἀργυροπράκτων ἐργαστήριον*), тот должен выставить пять поручителей для вступления в цех.⁸

Из главы „Книги эпарха“ о серикариях — ткачах по шелку ясно, что разрешение на открытие новой мастерской есть в то же время прием в члены цеха: „Кто желает открыть свою мастерскую, тот... (по представлению поручителей) должен уплатить в пользу цеха 3 номисмы“.⁹

Члены цеха имели привилегию в покупке товаров у иногородних и чужеземных купцов: последние обязаны были продавать свой товар в первую очередь членам цеха.¹⁰ Например, импортные ткани из Сирии должны были целиком складываться в специальные помещения с тем,

¹ Zachariae Basilic. XIX, 18, 1.

² Из жития Ильи Нового. „Правосл. палест. сб.“, 1907.

³ Кн. Эп. III, 2.

⁴ Кн. Эп. VI, 5.

⁵ Кн. Эп. XII, 4, 6.

⁶ Кн. Эп. XVI, 3.

⁷ Кн. Эп. XIII, 4.

⁸ Кн. Эп. II, 10. Следовательно, внецеховых ювелиров быть не могло.

⁹ Кн. Эп. VIII, 13.

¹⁰ Кн. Эп. V, 2.

чтобы все члены цеха, предварительно собравшись, могли распределить товар между собой.¹ Это приводило к тому, что члены цеха в контакте с городским эпархом могли устанавливать к своей выгоде уровень цен. Иногда это приводило к прямому насилию над провинциалами. Обратим внимание на 6-ю статью главы о ювелирах: „Если кто из иногородних продает золото или серебро, безразлично — в изделиях или слитках, то его необходимо отвести к старшине цеха и разузнать, откуда он имеет металл, чтобы можно было обнаружить краденое“.² При применении этой статьи члены цеха могли буквально терроризировать провинциального продавца, так как член цеха — ювелир, заинтересованный в выгодной покупке металла, имел власть и надзирателя, и полицейского, и судебного следователя.

Иногородний купец не мог выжидать установления более выгодных для него цен: он обязан был в течение трех месяцев распродать весь свой товар. Если же товар оставался не распроданным, то он не имел права увезти его обратно или отправить в другое место: как поступить с нераспроданным товаром, мог решить только эпарх.³

Крупные выгоды членам цеха давало право включаться в „апографэ“ — список, составленный ведомством эпарха на коллективную закупку товаров, привозимых иностранцами. „На время торжища весь цех в совокупности облагается сбором, сколько кто может внести. И пропорционально вносимому каждым членом взносу производится распределение“.⁴

„Катартари, желающие купить шелк-сырец в количестве, нужном для обработки, должны предварительно записаться у эпарха...“⁵ „Более бедные из катартариев, а также те из метаксариев, которые не были включены в список, не имеющие возможности закупать сырец, привозимый из-за границы“, должны покупать его у метаксопратов⁶ (с приплатой унции на номисму).

„Если кто, владея большими средствами, окажется в состоянии закупить большое количество шелку от заграничных купцов, он обязан продавать шелк тем, которые не имели достаточных средств (с наценкой унции на номисму)“.⁷ Специальное лицо — легатарий (по исполнению им функций его можно отождествить с симпоном обрядника Филофея)⁸ собирает все сведения о ввозимых в столицу товарах. Этот список тоже назывался „апографэ“ и соответствовал списку, составлявшемуся на участие в покупке товаров.⁹ Члены цеха имели также исключительное право участвовать в коллективной меновой торговле с болгарями.¹⁰

„Книга эпарха“, однако, не отражает в полной мере выгод, получаемых членами цеха в результате коллективного ведения дел. Но в новеллах Льва VI торговые и ремесленные объединения рисуются в более широком виде (новелла 102, 103). В новеллах Льва VI считается обычным, что *συμετοροι* (соучастники в торговом предприятии) в одинаковой мере участвуют и в прибылях и убытках (новелла 70).

¹ Кн. Эп. V, 2.

² Кн. Эп. II, 6.

³ Кн. Эп. V, 5.

⁴ Кн. Эп. V, 3; VI, 8; IX, 3.

⁵ Кн. Эп. VII, 5.

⁶ Кн. Эп. VII, 2.

⁷ Кн. Эп. VI, 9.

⁸ Patr. gr., v. 113, p. 1316.

⁹ Кн. Эп. XX, 1.

¹⁰ Кн. Эп. IX, 6.

Лев VI покровительствовал торговому и промысловому объединению. В введении к новелле 102 он многоречиво говорит о пользе компаний (κοινωνησις). „Много благ в жизни доставляет товарищество в предприятіях (τῶν πραγμάτων κοινωνησις), если оно организовано на разумных началах (συν φρονημάτων καὶ λογισμῶ), ибо от объединения какого-либо лица, имеющего власть с другим, имеющим подобную же власть, их влияние делается более могущественным; богатые, привлекая в сообщество другого богатого, еще больше выгод извлекают из своего богатства. Равно как и при тяжелой бедности, сообщество в делах не окажется бесполезным, так как нищета через сообщество станет менее тяжелой“.

В новелле 103 говорится: „В существующих сообществах (κοινωνημάτων) часто имеется такой порядок, когда тот, кто вносит больший паевой взнос (τὸ πλεον μέρος) в сообщество (κοινωνία), извлекает большую долю прибыли (τὸ πλεον τοῦ μέρους); и у тех, кто принимает такой порядок, дела идут благоприятно“. Новелла 103, таким образом, поясняет практику коллективных закупок в соответствии со статьями V, 3; VI, 8; IX, 3 „Книги эпарха“.

Что же касается вопроса об установлении уровня цен главным образом на предметы роскоши, то можно сделать вывод, что цены и условия покупки предварительно устанавливались наиболее влиятельными членами цеха. Катартариі, покупавшие шелк-сырец для очистки, обязаны были вступать в сообщество (κοινωνία) и закупать согласно условиям соглашения (συμφωνία).¹ Это являлось важной привилегией членов цеха, главную выгоду от которой извлекали наиболее богатые владельцы мастерских, имевшие наличные средства для закупок.

Кроме цехового ремесла, в Константинополе существовали также и государственные мастерские. Они имели целью непосредственное обслуживание нужд императорского двора, дипломатии и армии. Потребности двора были колоссальны. Церемониал требовал особого великолепия, которое являлось в то же время одним из существенных средств поддержания авторитета императорской власти. Огромного количества предметов роскоши и вообще ценных товаров требовала тогда и дипломатическая практика для подкупа послов и правителей соседних народов. Константин Багрянородный² перечисляет, какие товары нужны были для поддержания добрых отношений с печенегами в X в.: шелковые ткани, знакомые по „Книге эпарха“ прандии, муслин, бархат, красный сафьян, перец. Чтобы выкупать пленных, тоже требовались ценные ткани.³ Наконец, очень велика была потребность государства и в оружии для армии, а поручать его производство частным лицам правительство не решалось, не без основания опасаясь, как бы оружие не попало населению.

При императорском дворе были свои ювелиры (χρυσόχοοι), портняжные мастерские (ἐπὶ τοῦ ῥαφείου), вязальщики, вышивальщики золотом, ткачи, красильщики тканей (ιστοουργοί, ραφεῖς, γυναικάριοι, χρυσοκλαβάριοι, βαρβαρικάριοι, κογχυλευταί, ὀβυραφεῖς).

Можно сказать, что императорский двор и государство старались как можно меньше покупать на частном рынке. Существовало своеобразное государственное натуральное хозяйство.

Государственные мастерские не находились в ведении эпарха. Во главе мастерских стояли чиновники — „архонты“, печати которых сохра-

¹ Кн. Эп. VII, 4.

² Об управлении империей, 6, Patr. gr., v. 113.

³ Nicephori breviarium, 86.

нились в большом количестве („архонты влаттии“, „эргастериархи“). Архонты были правительственными чиновниками, состоявшими на жаловании. Сохранилась печать, из которой явствует, что лицо придворного звания (ἀπὸ ἐπάρχων) занимало должность архонта влаттии.¹

В X в. государственные мастерские находились в ведении „идика“ (ὁ ἐπὶ τοῦ εἰδικῆς). Дюканж, а за ним и Беляев в „Byzantina“² отождествляет это ведомство с управлением частным имуществом императора, т. е. *patrimonium privatum*, следовательно, идик *comes rerum privatarum*. Однако функции идика ни в коей мере не соответствуют функциям заведующего личным имуществом царя. Бьюри³ указал, что идик, в противоположность логофету общей казны, заведывал специальными видами государственного хозяйства. В штате идика, по обряднику Филофея, значилось четыре различные должности: 1. Царские нотариусы секрета. 2. Архонты мастерских (ἀρχόντες τῶν ἐργασείων). 3. Гебдомарии („недельные“). 4. „Старшие“ в мастерских (μεγίστεροι τῶν ἐργασείων). Из описания Константином Багрянородным подготовки к походу византийских войск на остров Крит явствует, что ведомство идика обязано было снабжать армию и флот военным снаряжением и необходимыми для похода материалами — парусами, канатами, топорами и т. д.

Нет никаких данных полагать, что ведомство идика распродало, хотя бы частично, изделия мастерских.⁴ В штате ведомства нет соответствующих должностных лиц. При ведомстве имелась особая касса. Бьюри полагает, что эта касса получала средства от продажи изделий мастерских. Однако оружейные мастерские во всяком случае не могли продавать свои изделия.⁵

Рабочие государственных мастерских состояли:

1. Из осужденных на каторжные работы. Так, например, Феодор Студит в IX в. пишет своему другу, осужденному за иконопочитание: „А что тебя поместили между ткачами как царского раба“ (ἡσπίλιον οἰκῆσθαι).⁶

2. Из государственных рабов и работавших в мастерских потомственных ремесленников (например, в монетном деле, в производстве оружия и пр.). Раб, принадлежавший частному лицу, но принятый в цех, следовательно, имевший соответствующую квалификацию, мог быть обращен в государственную собственность, если он был уличен в нарушении правил.⁷

3. Из временно привлекаемых за особую плату ремесленников цехового ремесла.⁸ Всякий раз, когда ремесленники должны были выполнять в качестве повинности, но за плату, какие-либо работы для удовлетворения потребностей двора, они поступали в распоряжение протостратора, как то особо подчеркивается в „Книге эпарха“.⁹

¹ „Byzantion“, V, 583.

² А. Беляев. „Byzantina“, т. I, стр. 47.

³ J. B. Bury. The administrat. Syst., p. 98.

⁴ S. Runciman. Emperor Romanus Lecapenus and his reign. Cambridge, 1929, p. 22. С. М. Macri (L'organisation de l'économie urbaine dans Byzance, Paris, 1925, стр. 16, 18, 23) считают, что двор имел розничные магазины, где под своим контролем распродал изделия государственных мастерских в противовес купеческим „домам“ города. В источниках нет ничего подобного.

⁵ Basil. 57, 9.

⁶ Patr. gr., v. 99, p. 1249.

⁷ Кн. Эп. II, 9.

⁸ Кн. Эп. XIV, 1.

⁹ Там же.

В источниках X в. имеются сведения о существовании ткацкой государственной мастерской в Константинополе. Ее работники находились под начальством чиновника, но составляли цех (*σύντημα*).¹ У нас нет каких-либо данных о структуре и особенностях этих „цехов“. По-видимому, их существование было связано со спецификой государственного ремесленного производства. Это не производство товаров широкого потребления. За исключением горного и оружейного дела государственные мастерские заняты были производством предметов роскоши. Подобные мастерские находились в помещении большого императорского дворца. Роскошные мозаики, шедевры ювелирного искусства, узоры и орнаменты парадных шелковых одежд, музыкальные инструменты, различные украшения и т. д. — все это изготовлялось работниками императорских мастерских. Само собой разумеется, что от этих работников требовались исключительно высокая квалификация, традиция, школа. Придворное ведомство было заинтересовано, чтобы работники этих мастерских передавали знания, секреты, технику мастерства своим детям. Вполне возможно, что эти наследственные, прикрепленные к мастерским ремесленники и были ядром „цехов“. Из их среды, нужно думать, и избирались старшины „цехов“ (*μειζότεροι προϊστάτοι*), хотя и не ясно, были ли они назначенными чиновниками-надсмотрщиками или выборными лицами „цеха“.

Американский буржуазный ученый Р. Лопец² считает, что наследственные члены цехов государственного ремесленного производства являлись „аристократией труда“. Однако он аргументирует свою „теорию“ лишь двумя доводами: 1) запретом зачислять в *δημόσια σωματεία*³ лиц, не имеющих квалификации и не являющихся родственниками; 2) участием дворцовых ремесленных цехов в церемониях и торжественных процессиях. С этой „теорией“ никак нельзя согласиться. Разумеется, среди работников дворцовых мастерских были лица высокой квалификации. Подобно всем прочим цехам, и „цехи“ императорских мастерских имели свое место в государственных церемониях, тем более, что представители государственных мастерских, например ювелиры, должны были охранять выставаемые напоказ во время торжественных процессий ценности.

Значит ли, однако, что члены этих „цехов“ являлись „аристократией труда“? Отнюдь нет. Прежде всего, такой „аристократ“, в противоположность прочим членам ремесленных цехов, не был хозяином своей эргастерии; затем он не имел права продавать свои изделия, т. е. у этого „аристократа“ не было источника доходов и его доход определялся щедростью императорского чиновника. Он не имел права выбора профессии, не мог оставить место своей работы. И, наконец, поскольку в государственных мастерских работали также и осужденные, отнюдь нельзя допустить мысли о том, чтобы там существовал легкий режим и „архонты“ хорошо обращались с подчиненными. Нет, следовательно, никаких оснований видеть в работниках государственных мастерских каких-то „аристократов труда“.

¹ Лев Диакон. *Patr. gr.*, v. 117, p. 868.

² R. S. Lopez. *Silk Industry in the Byzantine Empire*, *Speculum*, t. XX, I, 1945.

³ Вообще нельзя согласиться с утверждением Лопеца, что текст *Basil.* 54, 16, 16 относится к государственным мастерским. Слово *δημόσιος* в *Василиках* означает часто „общественнополезный“ — ср. *Basil.* II, 2, 230, 3: *οὐτινος ἡ λυσιτέλεια εἰς πάντας ἀνήκει*. Текст 50, 16, 16 мог относиться ко всем *σωματείων*, которые выполняли *δημόσια* (в противоположность *βασιλικὰ*) *πρῆσις* (ср. Кн. Эп. XIV, 1).

Настоящей аристократией в ремесле были аргиропраты, вестиопраты, метаксопраты и другие члены некоторых „частных“ привилегированных цехов.

Рабочие государственных мастерских считались мятежным элементом и иногда использовались как боевая сила авантюристами и узурпаторами.

Помимо цехового и государственного производства, существовали ремесленники и в частных „домах“ крупных вельмож и богачей Константинополя. По „Книге эпарха“, отдельные „дома“ знатных лиц вели солидные дела: в „домах“ знати было много рабов. В середине X в. паракимомен Василий, как передает Лев Диакон, имел свыше 3 тыс. чел. домашней челяди, которую мог вооружить для участия в перевороте 963 г.¹ Вельможи имели своих нотариусов-стряпчих для оформления сделок,² интересовались покупкой шелка, тканей. Ремесло в аристократических „домах“ имело многовековую давность и носило натурально-хозяйственный характер.

Постановления „Книги эпарха“ о „домах“ вельмож и богатых лиц носят двойственный характер. С одной стороны, сановники и собственники „домов“ имели определенные льготы: они покупали импортные ткани непосредственно у заграничных купцов, минуя цеховых посредников.³ Однако в „Книге эпарха“ имеется постановление о том, чтобы ремесло в аристократических „домах“ носило исключительно узко-домашний характер, не являлось бы производством на рынок. „Книга эпарха“ неоднократно выступает против „вельмож“ и „богатых“, в особенности в деле покупки шелка-сырца. Оказывается, знатные люди старались всеми путями купить шелк-сырец, чтобы у себя в „домах“ обрабатывать его. С их стороны были попытки организовать производство высокосортных тканей в „домах“.⁴ Вельможи, как можно судить по отдельным статьям, входили в фиктивные сделки с метаксопратами, катартариями и серикариями для приобретения шелка и тканей.⁵

Это вызывает некоторые недоумения. Если вельможи имели право покупать нужное им количество шелка-сырца непосредственно у заграничных купцов, то непонятны их попытки нелегальными путями приобретать шелк. Но нужно думать, что византийские чиновники были весьма искушенными людьми. Выражение: „в количестве, нужном для потребления в своих домах“, по всей вероятности, имело конкретно количественный смысл: чиновники эпарха знали, сколько шелка-сырца необходимо было для „собственного потребления“; а если „архонт“ хотел добыть больше того, что считалось для него достаточным, то ему приходилось прибегать к нелегальным сделкам.

¹ Лев Диакон. Patr. gr., v. 117, p. 720 „οἰκογενεῖς“, — то, что ему удалось вооружить их, конечно, не говорит о наличии оружейных мастерских в его доме. Василий был крупнейшим чиновником империи и имел возможность воспользоваться государственными мастерскими.

² «Согласно обычаю, некоторые богоугодные заведения, аристократические „дома“, монастыри, убежища для старцев имели своего табулярия» (Кн. Эп. I, 20).

³ Если кто из сановников или из числа других каких-либо „лиц“ пожелает купить что-либо из ввозимых из Сирии тканей, то они могут закупать их лишь в количестве, необходимом для потребления в своих „домах“ (Кн. Эп. V, 4).

⁴ „Мы не разрешаем, чтобы какое-либо лицо, состоящее на службе у вельможи, или частное лицо изготовляли пурпуровые платья...“ (Кн. Эп. VIII, 2).

⁵ „Если катартарии... тайно входя в соглашение с богатым лицом, покупают и закладывают шелк-сырец, то будут подвергнуты побоям“ и т. д. (Кн. Эп. VII, 1). „Если какой-либо метаксопрат якобы на свое имя, но в действительности купит шелк-сырец для вельможи или богатого лица... будет исключен из цеха“ (Кн. Эп. VI, 10).

Подобные же контрабандные мероприятия вельмож можно отметить и при торговле скотом. Отдельные торговцы скотом, желая избежать контроля государства, в особенности тяжелых рыночных сборов в пользу казны, входили в соглашения с „архонтскими лицами“. Вельможи разрешали скрывать скот в своих дворах и производить там тайную торговлю. „Книга эпарха“ запрещает подобные сделки.¹

Могущественные „дома“, однако, имели право продавать готовые одежды вестииопратам, т. е. цеховым торговцам шелковыми одеждами. При этом „архонты“ в „Книге эпарха“ упоминаются наряду с профессиональными торговцами шелковыми тканями — серикопратами.² Непосредственная продажа „архонтскими лицами“ потребителям, видимо, запрещалась.

Можно считать установленным, что Лев VI враждебно относился к попыткам крупных землевладельцев, имеющих „дома“, стать конкурентами местных цехов. *ἄρχοντες* и *πρόβητοι* не имели права, по крайней мере в Константинополе, организовывать у себя производство на рынок, но могли иметь свои мастерские из людей своей *familia* (в пределах *οἴκου*, т. е. для „собственной потребности“), причем излишки должны были продаваться исключительно цеховым торговцам, а не на рынок.³ Эти постановления были в духе новелл императоров Македонской династии X в. В деревне византийское правительство в интересах городской знати стремилось сохранить свободное крестьянство, в городе — цеховое ремесло и торговлю. Это было необходимо для укрепления могущества византийского государства и правящей прослойки константинопольской знати.

Упомянутый выше Р. Лопец⁴ считает, что „Книга эпарха“ — памятник, явившийся результатом компромисса между знатью и купечеством. Лопец полагает, что все запреты, относившиеся к знати, были настолько же безрезультатными, насколько тщетными были попытки сдержать рост крупного землевладения. Однако утверждения Лопеца не могут быть приняты. В деревне византийское правительство потерпело неудачу потому, что крестьянство, в защиту которого, как объяснялось, были направлены новеллы X в., тем не менее не привлекалось к охране своих интересов. Наоборот, в городе ремесленники и торговцы были включены в аппарат контроля за выполнением постановлений „Книги эпарха“.

Р. Лопец считает, что в X в., когда правила „Книги эпарха“ были в силе, „знатный“ — вельможа — имел больше возможностей стать „капиталистическим“ предпринимателем, чем член частной „гильдии“. В руках знатного было собственное сырье и дешевая рабочая сила — рабы. Однако, прибавляет Лопец, сомнительно, чтобы „феодалный лорд“ (так называет Лопец лиц „архонтского состояния“) мог иметь „предпринимательский дух“ (*business spirit*).⁵

Можно согласиться с тем, что некоторые возможности предпринимательства имелись у знатных лиц, но, добавляем, для этого нужно было бы использовать цеховую систему, иметь подставных лиц в цехах и т. д. Вне цеховой системы иметь „предприятие, работающее на рынок“ было почти невозможно. С другой стороны, самое понятие „знат-

¹ „Если кто из свиноторговцев будет уличен в том, что скрывает свиней во дворе какого-либо вельможи и там тайно продает их, подлежит наказанию“ (Кн. Эп. XVI, 4).

² Кн. Эп. IV, 2.

³ „Вестииопраты покупают одежды или от сановных лиц“ (там же).

⁴ R. S. Lopez. *Speculum*, t. XX, I, 1945, p. 16.

⁵ *Ibid.*, p. 20.

ное лицо“ в Константинополе нельзя обязательно соединять с представлением о феодальном сеньоре. Константинопольская знать в IX—X вв. еще далеко не вся имела феодальный характер. Понятие „архонт“ тесно связано с представлением о службе в бюрократическом аппарате, причем иметь высокие звания и владеть „домами“ в Константинополе могли не только крупные землевладельцы, но и лица, вкладывающие свои средства в покупку должностей и званий. Разбогатевший член „частной гильдии“ в Византии мог купить звание и сделаться „знатым лицом“. Привилегированные цехи Византии X в. не были отделены от придворной знати непреодолимой стеной. В этом специфика экономического и политического строя Византии. Тем не менее крупные землевладельцы и собственники пригородных проастиев находились в привилегированном положении. Эпарх мог регулировать цены в пределах Константинополя, но не имел никаких возможностей оказывать влияние на цены ввозимых в город продуктов сельского хозяйства. Малая Азия издавна была страной скотоводства. С течением времени удельный вес скотоводства все повышался. Малоазийские динаты были собственниками крупных стад скота. Никаких ограничений при установлении цен на скот законодательство не знает. Применительно к покупным ценам на скот устанавливалась цена на мясо. Фактически уровень цен зависел от крупных стадовладельцев, которые могли в годы засухи или войны произвольно взвинчивать цены, искусственно создавая „эндеи“ — особые периоды недостатка товаров и дороговизны.

В отношении виноторговцев (*καπηλοι*) регулирование цен касалось только мелких трактирщиков. Эти трактирщики должны были покупать вино и продавать *ἀναλόγως τῇ ἐξωνύσει*, т. е. сообразно закупке.¹

Кто были эти торговцы вином — *οἰνέμποροι*? Очевидно, это были или собственники проастиев, т. е. константинопольская знать, или перекупщики. Окрестности Константинополя представляли собой сплошной виноградник. Византийские поэты восторженно описывали красоту пригородных „проастиев“ и их виноградников.² Никаких норм прибыли для собственников проастиев не устанавливалось. Норма прибыли вводилась только для торговцев вином врозницу. Этими мероприятиями городской эпарх, не затрагивая интересов знати, добивался на рынке возможно более низкой цены на вино. Понижение цен было в интересах потребителя, но в то же время в низких ценах заинтересованы были собственники виноградников, так как при более высокой прибыли трактирщиков вино было бы дороже и спрос на него мог сократиться. В подобных мероприятиях ярко проявляется классовая политика византийской монархии. В первую очередь соблюдались интересы землевладельческой константинопольской знати, но вместе с тем принимались меры к поддержанию многочисленной прослойки хозяев „эргастерий“. Эта прослойка давала солидные доходы казне и была серьезной опорой императорской власти.

В „Книге эпарха“ имеются в виду ремесленные цехи и цехи — объединения торговцев. Судя по термину „эргастерия“, можно думать, что первоначально торговый цех вышел из ремесленного. Продажа ремесленником своих изделий была настолько обычна, что наименование „эргастерия“ (производственная мастерская) стало применяться и к лавке, которая не имела характера мастерской. Общее

¹ Кн. Эп. XIX, 1.

² Стихотворения „на проасти“ Арабия, Павла Силенциария, Мариана Схоластика и др. собраны Бандури. Imper. Orient., I, p. 150—151.

название *ἐργαστηρίου* стало обозначать и ремесленников и торговцев. В „Книге эпарха“ „эргастерия“ — иногда мастерская, иногда лавка.

Необходимо остановиться на вопросе о связях ремесла и торговли. Буржуазные ученые Гериг и Рудаков считают характерным для Византии отсутствие посредника между производителем и потребителем.

„Характерным явлением, — пишет Рудаков, — следует считать связанное с домашне-ремесленным типом производства отсутствие торговца, как посредника между производителем и покупателем, отсутствие за немногим исключением в византийских городах магазинов и замена их теми лавками-мастерскими, где хозяин, принаравливаясь к определенному спросу определенного круга населения, изготовлял и продавал определенное число предметов, не зная ни конкуренции, ни перепроизводства“.¹ Однако „Книга эпарха“ далеко не подтверждает выводов Рудакова. Можно сказать с уверенностью, что в наиболее важных видах ремесла — в производстве шелка и льняных тканей — положение было как раз обратным. В „Книге эпарха“ мы читаем: „Метаксопраты не имеют права обрабатывать шелк-сырец, но только покупать и перепродавать“.²

„Если катартарий желает, чтобы его приняли в цех торговцев шелком... он должен дать присягу, что бросает обработку шелка“.³

„Кто является серикарием (ткачом) и вестиопратом (торговцем шелковой одежды), должен выбрать что-либо одно, так как иметь две профессии запрещено...“⁴

Ихтиопраты, т. е. рыботорговцы, не имели права коптить рыбу. Продавать копченую рыбу могли только салдамарии.⁵ Следует отметить, что салдамариям предоставлялась монополия на торговлю множеством товаров широкого потребления: льняными нитками, бутылками, гвоздями, растительным маслом, сыром и т. д.⁶

Наличие салдамариев — владельцев магазинов, торгующих товарами широкого потребления, свидетельствует о том, что между ремесленником и потребителем, если не везде, то в самом Константинополе, существовал посредник. Иначе и быть не могло, так как Константинополь был слишком важным пунктом международной торговли, сосредоточением богатств, стекавшихся со всей империи, и крупнейшим центром потребления с многочисленными местными и приезжими покупателями. К. Маркс отмечает особую специфику Константинополя как „Эмпории“.

В „Книге эпарха“ неоднократно упоминается о „метапратах“.⁷ Это — посредники, находившиеся вне признанной цеховой системы, „перекупщики“, которые стремились скупить товар, чтобы потом перепродать его по повышенной цене. Они подвергались преследованиям, так как подрывали регулирование цен и снижали преимущества членов цехов.

В „Книге эпарха“ нет выражения „справедливая цена“, но понятие это присуще торговой политике византийского правительства. В „Эпа-

¹ А. П. Рудаков. Цит. соч., стр. 159.

² Кн. Эп. VI, 14.

³ Кн. Эп. VII, 3.

⁴ Кн. Эп. VIII, 6.

⁵ Кн. Эп. XIII, 1; XVII, 2.

⁶ Кн. Эп. XIII, 1, 4.

⁷ Эпанагога IV, 8.

нагоге“ говорится об обязанностях эпарха заботиться, чтобы „мясо продавалось по справедливой цене“.¹

Мясник обязан был одно из животных заколоть и разрезать на части в присутствии эпарха. При определении продажной цены принималось в расчет, что ноги, голова и внутренности идут в пользу мясника, а остальное мясо при продаже должно покрыть затраты на покупку животного. При определении цены на хлеб булочник должен в присутствии симпона купленное на одну номисму зерно размолоть, заквасить; а симпон, исходя из затрат и „нормальной прибыли“ в $\frac{1}{24}$ затраченных средств, должен определять цену продаваемых караваев хлеба.² Подобным же образом определялась „справедливая цена“ и в рыбной торговле, в торговле вином и в магазинах салдамариев.³

Привлекает внимание вопрос о дифференциации прибыли. Выше всех получали прибыль салдамарии: с каждой номисмы — по 2 миллиарсия, т. е. $16\frac{2}{3}\%$; рыботорговцы получали прибыль только в $8,4\%$, а хлебопеки еще меньше — $4,2\%$.

Высокий процент дохода с каждой номисмы салдамария фактически снижался сравнительно медленным оборотом. Процент прибыли хлебопека ниже, но оборот его торговли много быстрее, поэтому общий доход хлебопека мог быть не ниже, а скорее выше, чем у салдамария.

Регулирование цен имело целью не только обеспечение спокойствия в столице путем удовлетворения некоторых минимальных потребностей константинопольского населения. Регулирование цен должно было также обеспечить константинопольской знати господствующее положение в империи. Кроме того, регулирование цен удовлетворяло интересы работодателей, в том числе хозяев эргастерий привилегированных цехов: сравнительно низкий уровень цен на предметы широкого потребления давал возможность работодателям выдавать мистиям ничтожную заработную плату.

„Книга эпарха“ составлена в начале X в., во время своеобразного положения византийской торговли. Средиземное море, игравшее большую роль в развитии византийской торговли, в это время было почти закрыто для торговли византийских купцов. Арабские завоевания коснулись ряда островов. Особенно чувствительной была потеря Крита. По Льву Диакону, арабы сделали Крит основной базой для нападений на империю. Все приморское побережье и острова опустели.⁴ Даже морской путь Константинополь—Солунь был оставлен. В связи с этим положением в „Книге эпарха“ нет никаких намеков на объединения купечества, имеющие целью организацию заморских путешествий, нет сведений о судостроительных рабочих. Особенно поражает то обстоятельство, что всякий раз, когда в „Книге эпарха“ упоминается о торговле заморскими товарами, говорится о покупке товаров от иностранных и иногородних купцов. Нигде нет упоминаний о покупке иностранных товаров, привозимых константинопольскими купцами, наоборот, имелся специальный запрет отправляться в торговых целях за пределы столицы: „Если метаксопрат будет уличен в том, что он для покупки шелка-сырца отправится в чужие страны, то он будет исключен из цеха“.⁵ Можно с определенностью сказать, что для конца IX и начала

¹ Эпанагога IV, 8: *δίκαιος τιμήσῃ τὸ κρέας πικτάσας δὲ*; ср. Basil. VI, 4, 2.

² Кн. Эп. XV, 2; XVIII, 1.

³ Кн. Эп. XVII, 1; XIX, 1; XIII, 6.

⁴ Лев Диакон. I, 6; I, 8; Patr. gr., v. 117, p. 673, 677.

⁵ Кн. Эп. VI, 12.

X в. (может быть, вплоть до обратного завоевания Крита) константинопольская торговля была пассивной. Это не означает, что византийская торговля вообще была пассивной; морские и сухопутные путешествия в торговых целях велись главным образом провинциальными купцами (в то время особенно через Трапезунд). Но в Константинополе заморские товары покупались у чужеземных и провинциальных купцов¹ со всеми ограничениями для иностранцев.

Задачи торговых цехов Константинополя были диаметрально противоположны задачам ганз и торговых компаний Запада. Никаких задач облегчить, усилить, поощрить вывоз не было. Наоборот, все виды поощрения, все льготы существовали для импортеров: „Те, которые приезжают с шелком из-за границы, при продаже в домах для временно пребывающих в столице освобождаются от всяких торговых пошлин, кроме квартирной платы и платы за проживание“.²

В отношении окрестных крестьян, прибывающих в столицу, имелось следующее постановление: «Пусть не препятствуют крестьянам-„хоритам“ приезжать в столицу и продавать скот». Таким образом, правительство стремилось к тому, чтобы по возможности больше товаров привлекать в столицу и чтобы товары не вывозились из столицы. Заботы о том, чтобы столица не потеряла своего привилегированного положения в отношении наличия товаров, приводят к довольно курьезным запретам: „Пусть иногородние не покупают одежды в большем количестве, чем нужно для их собственного одевания, при этом при условии, чтобы одежда была ношена в самой столице“.³ Даже вывоз рыбы был запрещен.⁴ Чувствуется одна забота: лишь бы товар не ушел из столицы в провинцию.

Эта забота об „изобилии“ в столице, которая так часто отмечается в византийских хрониках, вполне соответствовала интересам константинопольской городской знати. Местным домовладельцам и владельцам проастиев выгодно было, чтобы купцы всех стран приезжали в Константинополь. Активность внешней торговли предоставила бы выгоды совсем не тем прослойкам господствующего класса, которые находились у власти в Византии того времени.

Интересно отметить, что в грамоте, данной в 992 г. венецианцам, назначались таможенные сборы: за корабль, прибывающий в Константинополь,⁵ — 2 солида, отбывающий — 15 солидов. В данном случае разница обозначает не то, что товары, вывозимые из Византии, были дороже, чем ввозимые (за каждый товар бралось отдельно), а лишь покровительство ввозу. Провинции обязаны были кормить столичное население. Местное население Рима, а потом Константинополя привыкло находиться в исключительно привилегированном положении. Нуманциан ярко выразил эту мысль еще в V в.:

¹ Кн. Эп. V, 4, 5; VI, 5, 9; VIII, 14; IX, 6; X, 2; XII, 6; XX, 2.

² Кн. Эп. VI, 5.

³ Кн. Эп. IV, 8. Macri („L'organisation de l'économie urbaine dans Byzance sous la dynastie de Macédoine“, Paris, 1925) по этому поводу отмечает (стр. 52), что громадная разница была между жителями Константинополя и теми, кто не имел этой чести. „Подданные Византии, которые не жили в Константинополе, не имели права даже одеваться так, как жители столицы. Ношение определенных тканей было разрешено в столице и находилось под запретом в провинции“. Но вряд ли можно сделать вывод, что раз вывоз из Константинополя был запрещен, то продажа в провинции тоже была под запретом. Рыбу запрещалось вывозить из Константинополя, но это не значит, что запрещалось есть ее в провинции.

⁴ Кн. Эп. XVII, 2.

⁵ Patr. gr., v. 177, p. 616.

Пусть плодородьем весь мир кормит отца своего!¹

Такая политика, приведшая к пассивности константинопольской торговли, дала в дальнейшем пагубные результаты для Византии. Инициатива в торговле перешла к итальянским купцам, и меньше чем через два столетия на константинопольском рынке господствовали венецианцы.

В X в. этого еще не было. Иностранцы привозили товары, но торговали иностранными товарами константинопольские торговцы, объединенные в цехи.

Торговля иностранными товарами находилась в руках особой группы константинопольских дельцов. Однако они господствовали не безраздельно. Как мы указывали выше, лица (*прόβωτοι*) из сановников и прочих владетелей „домов“ имели право покупать товары непосредственно у иностранных купцов.² Следовательно, торговля иностранными товарами велась местными купцами главным образом для удовлетворения нужд средней прослойки горожан и временно находящихся в Константинополе чужеземцев и провинциалов.

Иностранные купцы должны были производить свои операции в особых домах — „митата“. Иностранцы были как бы отгорожены от прочего купечества Константинополя.³ В дальнейшем, однако, иностранцы стали приобретать особые привилегии и постепенно „митата“ из гостиных дворов превратились в постоянные кварталы иностранцев с особыми привилегиями, ограничивающими роль византийских чиновников в их контроле над внешней торговлей. Бывшие „митата“ в предместьях Константинополя фактически перестали быть византийской территорией.

Необходимо коснуться вопроса, существовала ли как элемент, конкурирующий с цеховой торговлей, государственная торговля.

Русский ученый Черноусов,⁴ разбирая „Книгу эпарха“, пришел к заключению:

„Государство было не только законодателем, регулирующим внутренние и внешние отношения торгово-промышленных корпораций, но и предпринимателем, привлекавшим, и притом бесплатно, последние к себе на службу, начиная с древнего Египта... вплоть до Византии включительно“. „Книга эпарха“ не дает никаких аргументов для подтверждения этого вывода. Наоборот, в главе о лоротомах говорится, что они привлекались на работу, но получали за это плату. В „Книге церемоний“ Константина Багрянородного описываются приготовления к походу византийских войск на Крит. При этом для изготовления необходимого снаряжения привлекались различные ремесленники, но за плату.

Был ли эпарх организатором торгового или ремесленного предприятия? Извлекал ли он доход от продажи товаров в пользу казны или в пользу города? Никакими данными для того, чтобы ответить на эти вопросы утвердительно, мы не располагаем. Наоборот, имеются указания на регулирование, контроль, заинтересованность в бесперебойном снабжении.

В „Книге эпарха“ есть одно место, которое может служить аргументом в пользу предположения, что эпарх являлся организатором

¹ Клавдий Нуманциан, 142.

² Кн. Эп. V, 4.

³ R. S. Lopez. Speculum, t. XX, I, 1945, p. 45.

⁴ См. Е. Черноусов, рецензия на книгу Штёкле в ЖМНП, 1914, сентябрь.

предприятий: в главе XVIII, 1 говорится о том, что хлебопеки должны покупать зерно ἐν τῇ συμπόῳ. Если переводить это „у симпона“, то создается представление о том, что в ведении епарха находилась торговля зерном и что государство снабжало им хлебопек.

Византийское правительство неоднократно пыталось ввести государственную монополию в хлебной торговле. Однако эти попытки не имели успеха. Михаил V организовал φοῦδακκ (государственные хлебохранилища), куда крестьяне должны были сдавать зерно. Это мероприятие в середине XI в. считалось новшеством и оказалось недолговечным.

Во время издания „Книги епарха“ монополии в хлебной торговле не существовало. Снабжение столицы хлебом было в руках хлебопек. В „Книге епарха“ нет указаний, от кого покупали они зерно.

Выражение ἐν τῇ συμπόῳ нужно переводить не „у симпона“, а „в присутствии симпона“. Такой же порядок, как мы указывали, существовал для определения продажной цены товаров мясников, рыботорговцев и виноторговцев.

Государственные мастерские удовлетворяли потребности императорского двора, дипломатии и армии. Все изготовлялось в государственных мастерских для государства. Предметы, изготовленные в государственных мастерских, несмотря на строжайшие запреты,¹ благодаря продажности чиновников могли попадать на рынок и продавались по незаконно повышенным ценам, так что заведывание государственным хозяйством служило для обогащения чиновников из константинопольской знати² и должность „архонта“ государственной мастерской могла быть очень доходной. Макри,³ опираясь на закон „о метаксе“, запрещающий коммеркиариям продавать метаксариям шелк-сырец по повышенной цене, говорит о государственной торговле излишками. Однако Макри недостаточно верно передает смысл запретов.

По закону о метаксе, коммеркиарии покупают от „варваров“ шелк по 15 номисм за литру и по той же цене передают шелк метаксариям. Тут никакой торговли нет. Казна в данном случае не получает никаких выгод. Это правило имело целью не допустить повышения цен. Очевидно, что коммеркиарии в корыстных целях иногда пытались создать для себя посредническую прибыль, что и запрещалось законом „о метаксе“.

Государственные мастерские существовали не для продажи товаров на рынке, запреты означали не исключительное право на торговлю данными товарами в интересах фиска, а лишь сохранение привилегий на потребление определенных предметов знатью. В Кодексе Юстиниана (кн. XI, 12) приводятся запреты производства и потребления различных предметов роскоши. Из этих статей видно, что производство предметов роскоши запрещалось лишь постольку, поскольку запрещалось их потребление. Государство, если не считать отдельных злоупотреблений и махинаций чиновников, не могло продавать те ткани, носить которые запрещало. Государство не выступало в качестве купца, продающего в интересах казны изделия своих мастерских. В Кодексе Юстиниана имеются сведения лишь о распродаже государ-

¹ Basil. XIX, 1, 82—84.

² Новакка Льва VI предусматривает наказание за кражу казенного имущества.

³ См. Maeri. Op. cit., стр. 192.

ством военной добычи. Вообще ни в Кодексе Юстиниана, ни в его новеллах нет и следа постановлений о государственной торговле в интересах фиска предметами, изготовленными государственными мастерскими, или заграничными товарами, закупленными через коммерciareв. Считается, однако, что Прокопий в XXV главе „Тайной истории“ говорит о государственной монополии в торговле шелком и что эта монополия разорила широкие массы ремесленников и купцов.¹ Однако Прокопий говорит лишь о введении твердой цены на шелк, которая не покрывала издержек на покупку сырья. Кроме того, он упоминает о махинациях Петра Барсимы, начальника государственных мастерских, который в то же время был заведующим финансами двора. Петр Барсима вел незаконные операции: пользуясь своим положением, он, не стесняясь, продавал казенное имущество на рынке по спекулятивным ценам. Юстиниан, испытывая нужду в деньгах, смотрел на это сквозь пальцы. Нет никакой необходимости видеть в этих совершенно понятных финансовых махинациях планомерную государственную монопольную торговлю. Прокопий о продаже Барсимой государственного имущества говорит с таким же негодованием, как и о получении Юстинианом наследства по подложным завещаниям.

Нигде в „Книге эпарха“ нет положений, которые могли бы свидетельствовать о противоречиях цеховой торговли и интересов фиска. Вся регламентация в установлении качества товаров сводится к двум моментам: к регулированию цены (установление веса) и к запрету изготавливать определенные ткани и продавать определенные товары.

В сущности эти запреты сводились к задачам снабжения в средневековом понимании: потребление должно соответствовать общественному положению данного лица. Цель запретов — не устранить конкуренцию, но добиться, чтобы те товары, которые по привилегированному снабжению полагается потреблять только определенным слоям знати и двора, не сделались предметом массового потребления.

Средневековые хорошо знают подобное нормирование потребления в форме категорических запретов.

Право потреблять ту или иную вещь не зависело от возможностей ее покупки, а от общественного положения человека. Например, в уставе франкфуртских сукноделов 1345 г. в § 1 говорится: „Никто из членов нашего цеха не должен делать сукон с каймой, разве только по заказу шеффенов, которые вместе с членами семейств могут носить такие сукна“. Подмастерьям запрещалось носить платье с разрезами (§ 9), белую обувь из трех сортов кожи (§ 10), кольца, шелковые галстуки.

Подобные постановления имели целью не борьбу с большими затратами на предметы роскоши, а стремление создать внешнюю грань между различными социальными слоями населения. Такого же рода запреты есть в „Книге эпарха“.

Если торговец шелковыми одеждами приобретал одежду высокого качества, т. е. стоимостью выше 10 номисм, то он был обязан представить ее эпарху, чтобы тот указал, где эта одежда должна продаваться.² То же самое говорится и относительно целого ряда материй (влаттии, месофоры и т. д.).³ Всюду видна забота о том, чтобы высоко-

¹ См. статью Н. В. Пигулевской во II т. „Византийского Временника“, стр. 26 и 193.

² Кн. Эп. IV, 2.

³ Кн. Эп. VIII, 1; IV, 3.

сортные товары не сделались предметами, доступными для каждого. Особо фигурирует запрет изготавливать гипогиры, которые может носить только один государь.¹

Серикарии могут изготавливать запретные ткани только по требованию эпарха, если в них ощущает потребность двор.² Запрещалось торговать галльским мылом, так как это тоже было исключительным правом двора.³

Какой же вообще был смысл изготавливать *κηκολυμέναια* — запретные ткани, если носить их строго запрещалось? Дело в том, что торговля запретными тканями имела большое значение для внешнего рынка, для контрабандного сбыта знатным иностранцам. Запрещенные в Византии одежды и обувь свободно потреблялись за ее пределами. Таможенные чиновники усиленно препятствовали контрабандному вывозу, чему свидетелем является Лиутпранд, лично пытавшийся провезти контрабандой роскошные ткани.

Взаимная слежка, ответственность нарушителей, рыночная инспекция — все это создавало условия, вряд ли способствовавшие широкому развитию производства „запретных тканей“. Повидимому, оно было распространено не более, чем выпуск фальшивой монеты.

Но что обозначают запреты в области внешней торговли? Византия производила ткани, которые по качеству не имели соперников во всем мире. Почему было не использовать это преимущество для извлечения прибылей?

По Лопецу,⁴ целью регламентации и запретов во внешней торговле являлось стремление сохранить за Византией монопольное положение в шелковой промышленности. „Методы, применяемые для сохранения монополии, внушают недоумения, но результаты их замечательны: шелковая промышленность процветала в Византии в продолжение четырех столетий. Упадок таковой произошел не вследствие недостатков в монополии, а вследствие внешних событий“. Однако задачи сохранения монополии вовсе не связаны с запретами вывоза. Для сохранения монополии логичен запрет продавать раба, знающего производство,⁵ но совершенно нелогично запрещение продавать ценные ткани. Объяснение запретов следует искать в методах византийских международных сношений.

Государственной изменой считалась продажа оружия варварам. Кодекс Юстиниана запрещал отправлять варварам вино, масла, *liquamen* (особое изысканное рыбное кушанье), „ne proinde illecti eorum dulcetudine promptius invadunt fines Romanorum“ („чтобы соблазненные вкусом таковых не решились бы с большей легкостью вторгаться в пределы римлян“). Запрещалось продавать варварам, даже пребывавшим в Константинополе в качестве послов, предметы роскоши.⁶ Новелла 63 Льва VI подтверждает эти запреты, но несколько ослабляет наказания.

Запреты продавать иностранцам роскошные ткани имели целью облегчить византийским дипломатам оказывать давление на иностранные правительства. Подарки в виде роскошных тканей для византий-

¹ Кн. Эп. VIII, 2.

² Там же.

³ Кн. Эп. XII, 4.

⁴ *Speculum*, 1945, I, 3.

⁵ Кн. Эп. VIII, 7.

⁶ Запреты в *Cod. Just.* IV, 41, 1, *Basilica* XIX, 1, 86, 87, *Synopsis basilic. Zachariae von Lingenthal.* *Jus. Gr.-Rom.* V, 26.

ской дипломатии имели огромное значение. Византийским дипломатам было выгодно, чтобы варвары сознавали, что иначе, чем через дружбу с императором, предметы роскоши, производимые Византией, им недоступны. Но результат этой политики был вполне определенным: византийских купцов на мировых путях вытеснили восточные купцы. Уже в конце X в. амальфитанские купцы, ведя торговлю непосредственно с мусульманами, могли продавать ценные ткани в Риме дешевле, чем они стоили в Константинополе.¹

Византийские внецеховые ремесленники, о которых трактует XXII глава „Книги эпарха“, в полной мере были принижены членами податного сословия, объектом произвола и эксплуатации со стороны чиновного мира. Но константинопольские цеховое ремесло и цеховая торговля были самым тесным образом связаны с государственным аппаратом. Государственные функции рыночной инспекции осуществлялись членами цехов, каждым в сфере своей профессии.

Аргиропраты обязаны были производить официальные расценки драгоценностей; они следили за соблюдением запрета вывозить ценности за границу; наблюдали за тем, чтобы не продавались краденые вещи, а старшина цеха аргиропратов фактически выполнял функции следователя по выявлению краденых драгоценностей.²

Как отголосок иконоборчества на рынке попадались иногда драгоценные предметы культа.³ Аргиропрат под угрозой конфискации обязан был сообщать эпарху о подобных фактах. Согласно статьям 4 и 6 „Книги эпарха“, аргиропраты фактически имели право арестовывать и препровождать к эпарху или старшине цеха торговцев драгоценностями. Трапезиты должны были делать то же с нелегальными менялами.⁴ Керулларии (свечники) должны были доносить эпарху о нарушителях правил изготовления свечей и незаконной торговле свечами.⁵

„Вофры“ были перекупщиками лошадей и давали советы их покупателям, но одновременно следили за рынком, обнаруживали краденых лошадей, разрешали конфликты в случае желания покупателя вернуть купленное животное.⁶

Еще теснее были связаны с бюрократической системой Византии старшины цехов. Во главе цехов стоял экзарх или простаты. В правление Льва Мудрого, т. е. ко времени составления „Книги эпарха“, экзархи и простаты (по обряднику, составленному Филофеем) входили в штат городского эпарха.⁷

Николь считает их чиновниками, назначенными эпархом для наблюдения за цехом, Штёкле — выборными старшинами цеха. По смыслу статей „Книги эпарха“ — это выборные старшины цеха, даже если фактически они и назначались эпархом. В „Книге эпарха“ это соединение принципа выборности и назначения формулируется дипломатично: „Лоротомы должны иметь своего собственного простата, который избирается сообразно с советом эпарха“.⁸

¹ „Byzantion“ IX, 448.

² Кн. Эп. II, 4, 6.

³ Кн. Эп. II, 7.

⁴ Кн. Эп. III, 2.

⁵ Кн. Эп. XI, 6, 8.

⁶ Кн. Эп. XXI.

⁷ Constantini Porphyrogenit imperatoris des cerimoniis aulae Byzantine. Patr. gr., v. 112, p. 1117.

⁸ Кн. Эп. XIV, 2: ἐπαρχικῇ βουλῇ προχειρίζμενον.

Функции главы цеха — прежде всего поддержание внутренней дисциплины среди членов цеха и руководство в выполнении государственных обязанностей, возложенных на цех. Однако настоящий контроль за выполнением членами цеха государственной регламентации осуществлялся не старшинами цеха, а особым государственным чиновником-симпоном.

Из „Книги эпарха“ следует, что по делам каждого цеха или группы смежных цехов имелся отдельный симпон.¹ В „Книге эпарха“, например, говорится, что ремесленники сыромятного и шорного производства „имеют общего простата и подчинены одному и тому же симпону“.²

В решении вопроса о симпонах имеются некоторые затруднения. По современному „Книге эпарха“ обряднику Филофея, в штате эпарха имелся только один симпон — крупный сановник, помощник градоначальника столицы;³ обрядник Филофея, несмотря на то, что относится к тому же времени, что и „Книга эпарха“, не знает нескольких симпонов. Однако функции „заместителя эпарха“ могли выполняться не каким-либо определенным должностным лицом, но возлагаться эпархом на любого из штатных чиновников (целый ряд инспекторов-эпискептитов); возможно, эти функции поручались лишь на определенный срок.

Но вероятнее всего, что многочисленные симпоны были включены в штат эпарха позднее выпуска обрядника Филофея, в последние годы правления Льва VI (обрядник выпущен в 899 г., а „Книга эпарха“ — не раньше 911 г.). Именно время правления Льва VI характеризовалось повсеместным укреплением и расширением чиновничьего аппарата.

Византийский цех не принимал большого участия в регулировании производства. Это было делом правительства. Для византийского цеха были чужды постановления, подобные тем, которые издавались западноевропейскими цехами XIII—XIV вв.: „Исстари у нас в обычае, что мы сами можем принимать все постановления, вызываемые нуждами ремесла, если только данные вопросы не подлежат ведению городского совета“.⁴ В Византии все регулирование проводилось от имени эпарха.

В моменты смуты ремесленники (ἐργαστηριακοί) были обязаны давать присягу. Их представители, наравне с синклитом, правителями фем и столичного гарнизона, собирались на „силенции“ и приносили присягу с собственноручной подписью.⁵ Византийские цехи выполняли и военные функции. Так, например, в военных предписаниях Константина Багрянородного говорится: „Перед отправлением в поход император должен сосчитать народ, сколько в ведении тагм города (городского гарнизона) и сколько в ведении городского эпарха“ („ἀπαριθμήσαι τὸν λαόν, ὅσοι τε ὑπὸ τὰ τάγματα εἰσὶ τῆς πόλεως, καὶ ὅσοι ὑπὸ τὸν ἐπαρχόν“), т. е. населения, обязанного военной службой в случае нападения врагов; он же дает указание, „в какой части каждый из (входящих в ведение эпарха) цехов должен нести защиту города“ („ἐν ποίῳ μέρει ἕκαστος τοῦτων τῶν συστημάτων φυλάξει τὴν πόλιν“), во время нападения врагов — исправлять повреждения стен и т. д.⁶

¹ Кн. Эп. XVIII, 4.

² Кн. Эп. XIV, 2.

³ Patr. gr., v. 112, p. 540, 1116.

⁴ Устав сукноделов г. Франкфурта 1345 г., § 9.

⁵ Theophanes, ed. de Boor, p. 379.

⁶ Constantini Porphyrogeniti. Patr. gr., v. 112, p. 833.

Из „Тактики Льва VI“ видно, что ремесленники привлекались в армию. Во время похода полководец должен был иметь при обозе *μαχηνατρίους* (оружейников), *λεπτοουργούς* (возможно, слесарей), *χαλκείς* (кузнецов) и поставить над ними архонта (*ἰδίον ἄρχοντα ἐπιστῆσαι*).¹

Цехи находились под непосредственным руководством эпарха. Ко времени Льва VI уже не осталось никаких следов подчинения местной торговли и ремесла епископу, который еще в VII в. выполнял значительные функции контроля над взиманием пошлин, имел право ревизии мер и весов и вмешивался в городские дела, зачастую вступая в конфликт с эпархом.² Правление Стилиана, министра Льва VI, резко ограничило влияние церкви. Однако члены цехов обязаны были следить, чтобы в их среде не было еретиков-манихеев. Если же кто, зная об этом, не сообщит властям, то, если это и православный, подлежит смертной казни.³

* * *

Особые привилегии константинопольских цехов, тесная их связь с государственным аппаратом в X и XI вв. отражали ту стадию генезиса византийского феодализма, когда провинциальная военно-землевладельческая знать еще не полностью захватила в свои руки господство. В конце XI в., когда в Византии стали получать преобладание западноевропейские формы феодализма, ремесло и торговля стали терять свое значение в Константинополе. „Книга эпарха“ была вытеснена хрисовулами, дарованными венецианцам и генуэзцам. Константинополь остался важной эмпорией, но доходы левантйской торговли стимулировали переход к раннему капитализму не в Византии, а в Северной Италии.

Таким образом, подводя итоги, можно утверждать, что „Книга эпарха“ дает богатый материал для изучения структуры, социального состава и функций византийских цехов X в. Она является ценным источником, помогающим уяснить роль цеховых организаций в социально-экономической жизни византийского государства.

¹ Leonis VI. Tact. VI, 27 (ed. Patr. gr., v. 107).

² Житие Иоанна Милостивого, 31—34 (Gelzer. Leontius v. Neapolis).

³ Эпанагога XI, 30.

М. В. ЛЕВЧЕНКО

**ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ВОПРОСУ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В X ВЕКЕ**

(„Записка греческого топарха“)

История византийско-русских связей, несмотря на наличие ряда ценных работ русских ученых, в частности академика В. Г. Васильевского, продолжает оставаться едва ли не одной из наименее разработанных областей русской историографии. Скудны в этом отношении и сохранившиеся источники, как русские, так и византийские. К тому же некоторые из византийских источников лишь с очень большим трудом поддаются истолкованию. К числу таких „загадочных“ источников принадлежит и так называемая „Записка греческого топарха“.

Три отрывка этой „Записки“ в 1819 г. издал французский византист Бенедикт Газе (1780—1864) в комментарии к Льву Диакону, сочинение которого он впервые напечатал по поручению русского канцлера Н. Н. Румянцева.¹ „Записку греческого топарха“ Газе нашел в одном кодексе, который содержал разные письма Василия Великого, Фаларида и Григория Назианзина и по почерку относился к концу X в. Отрывки были написаны на пустых страницах этого кодекса, не подряд, а в разных местах, другой рукой и относятся к несколько более позднему времени. Эти заметки не были похожи на копию готового сочинения. Они были испещрены поправками. Многие слова зачеркнуты, написаны наверху, заменены другими.² Газе нисколько не сомневался, что автор этих заметок был владельцем кодекса, а заметки представляют его автограф.

Кодекс был впоследствии утерян и до сих пор не разыскан. Отрывки, напечатанные Газе, породили целую литературу, но содержание их до настоящего времени остается загадочным. Объясняется это прежде всего особенностями самого памятника, о котором Ф. И. Успенский писал, что он „представляет мало реальных черт, чтобы сделать о нем положительное заключение“, а во-вторых, стремлением без достаточных оснований связать этот памятник с историей крымских готов; историки норманисты, как известно, пытались все события древнейшей истории Руси IX—X вв. приписать деятельности германской расы.

Издатель отрывков Газе связал их с указанием Льва Диакона о взятии Херсонеса „тавроскифами“.³ К Херсонесу Таврическому, по

¹ *Litteris minutis perplexisque admodum, nec multo quam ipse codex recentioribus. Corpus Script. Hist. Byzant.* XI, 496.

² Там же.

³ *Leonis Diaconi. Historiarum libri X, Bonn, 1828, p. 496: „Haec est illa Chersonis a Wladimiro occupatio“.*

мнению Газе, приурочивается упоминание „Климатов“. Этим он, впрочем, и ограничился в объяснении отрывков и писал: „А какой это народ, которому начальник отряда, кто бы он ни был, отдал вверенный ему город, об этом пусть рассудят ученые, соединяющие знание тех времен с здравым суждением“. Но для нас остаются очень важными палеографические наблюдения Газе. Так как эти отрывки — автограф, то время их появления определяется временем рукописи. Газе отнес кодекс, в который они вписаны, к концу X в., а почерк самых отрывков характеризовал как несколько более поздний — начала XI в. До тех пор, пока не удалось разыскать рукопись и проверить утверждение Газе, очевидно, должна оставаться в силе установленная им по палеографическим данным хронология рукописи. За намек Газе ухватился А. Куник. Куник видит в авторе „Записки“ уже не корсунского стратига и наместника, а топарха готских Климатов или областей на юге Крымского полуострова. В неприятелях, опустошавших соседние с готскими поселениями области Тавриды, Куник видит хазар, но князем, которому покорились, или, лучше сказать, протекторат которого признали готы, он считает русского князя, скорее всего Святослава.¹ Начало протектората русских князей над областями крымских готов Куник относит к 940 г. и предполагает, что протекторат этот продолжался до смерти Святослава. По мнению Куника, готы в X в. пользовались в Крыму значительной самостоятельностью, имели своего выборного представителя — топарха, который отстаивал их интересы. Расходясь с Куником в вопросе о роли готов, все другие исследователи до В. Г. Васильевского также приходили к заключению, что местом, где происходили события, описываемые в отрывках, был южный берег Крыма.²

В. Г. Васильевский в своем исследовании о „Записке греческого топарха“, выпущенном в 1877 г., в котором он дал перевод отрывков с весьма ценным историко-филологическим комментарием, приходит к совершенно другим выводам. Еще Куник был вынужден отметить несоответствие некоторых выражений отрывков с отнесением их к Крыму. Васильевский доказывал, что упоминание о местности „на север от Дуная“ и города Маврокастроны, соответствующего Аккерману (в устье Днестра), приводит нас к местности придунайской. Васильевский показал, что слово „Климаты“ может относиться не только к климатам в Крыму, но употребляется для обозначения весьма разнообразных местностей; что „Климаты“ наших отрывков — не область, а город. Васильевский локализовал этот город в *Klimades*, одной из юстиниановских крепостей на среднем Дунае, упоминаемой Прокопием.

В целом Васильевский много сделал для разъяснения загадочных фрагментов, и эта его работа, так же как и другие, до настоящего времени не утратила своей ценности. К сожалению, впадая в противоречие с им самим отстаиваемыми хронологическими определениями Газе, Васильевский старается поставить содержание отрывков в связь с

¹ А. Куник. О записке Безымянного Таврического (Anonymus Tauricus) в отчете о присуждении 14 наград гр. Уварова 25 сент. 1871 г., стр. 106—110. О „Записке готского топарха“ — в „Записках Акад. Наук“, т. XXIV, 1874, стр. 61—93; 116—127.

² Н. H ö h n e. Beiträge zur Geschichte und Archaeologie von Chersonesus in Taurien, St. Petersburg, 1848, S. 220—222; С. А. Геденов относил время событий к Святославу („Отрывки в Варяжском вопросе“. Прилож. к I т. „Записок Акад. Наук“, 1862, стр. 66—70); Н. П. Ламбин относил события ко времени Олега (ЖМНП, ч. CLXXI, 1874); И. Иловайский. Разыскания о начале Руси. М., 1882.

походом Святослава в Болгарию.¹ Быть может, поэтому выводы Васильевского не получили признания в русской научной литературе.

С критикой взглядов Васильевского выступил Бурачков, помещавший без достаточных оснований Климаты на Днестре к югу от Крайней переправы.²

Бурачков предполагает, что восточнославянское племя уличей незадолго до 944 г. нарушило свои отношения с корсунянами и в союзе с черными болгарами начало тревожить корсунские волости и города, находившиеся вне Крыма по дороге к Днестру. В „царствующем на севере Дуная“ Бурачков хочет видеть Игоря.

Ф. И. Успенский и П. Н. Милюков сделали попытку окончательно освободиться от хронологии Газе и перестали искать объяснения отрывков в области исключительно русско-византийских отношений. В 1881 г. Ф. И. Успенский высказал мнение о содержании „Записки“ в работе „Византийские владения на северном берегу Черного моря в IX—X вв.“³

Успенский восстал против положений как Куника, так и Васильевского. Отбрасывая хронологические данные Газе, он приурочивает содержание „Записки“ к 903—904 гг., отождествляет „царствующего на севере Дуная“ с Симеоном, царем болгарским, переносит „Климаты“ на Дон и усматривает в авторе „Записки“ византийского военачальника, задача которого заключалась будто бы в расширении греческих владений и усилении византийского влияния к северу от Крыма. Военная экспедиция была предпринята, по его мнению, в населенную хазарами область. Византийский предводитель, утверждает Успенский, счел нужным построить крепость, под защитой которой должны были найти безопасность сочувствовавшие византийской партии хазары. Он энергично выполнил свое дело, несмотря на затруднения, которые встречал как в набегах печенегов, так и в малодушии и недоверчивости местного населения. Но закончив постройку крепости, он нашел отрезанными пути отступления в Крым и был вынужден поздней осенью пробираться со своим отрядом к одному из черноморских портов.

Взгляды Успенского встретили резкий отпор Васильевского, указавшего, что Успенский допускает необоснованные, противоречащие прямым показаниям источников, предположения, произвольно относя построение Саркела ко времени правления Льва Мудрого, видя в Саркеле византийскую, а не хазарскую крепость, принимая Петрону за автора „Записки“.⁴

В 1897 г. еще одну „теорию“ истолкования загадочных фрагментов предложил будущий лидер кадетской партии П. Н. Милюков.⁵ Милюков пытается примирить взгляды Васильевского и Успенского. Подобно Васильевскому, он относит место действия к придунайским областям. Подобно Успенскому, он видит в „царствующем на севере Дуная“

¹ В. Г. Васильевский. Русско-византийские отрывки, IV, „Записка греческого топарха“. ЖМНП, CLXXXV, 1876, июнь, стр. 368—434. Перепечатано в „Трудах“ В. Г. Васильевского, т. II, вып. 1, стр. 136—212.

² П. Бурачков. О записке готского топарха. ЖМНП, ч. СХСII, 1877, стр. 199—252.

³ „Киевская старина“, т. XXV, 1889, стр. 253—254, 264—269, 273—280, 285—299.

⁴ О построении крепости Саркел. ЖМНП, ч. CCLXV, 1889, октябрь, стр. 202—205.

⁵ П. Милюков. Время и место действия записки греческого топарха. „Труды VIII археол. съезда в Москве“, 1897, т. III, стр. 278—289.

болгарского царя Симеона. По Милюкову, события, описываемые в „Записке“, происходят между 893 и 913 гг. По его мнению, в „Записке“ речь идет о полунезависимой области в низовьях Дуная, по соседству с которой находился город, занятый византийским гарнизоном. Милюков предполагает, что это тот самый Маврокастрон, о котором говорится в первом отрывке. „Царствующий на севере Дуная“ — Симеон Болгарский, вступивший в войну с Византией, союзниками которой были венгры. В 892 г. венгры, занимавшие Бессарабию, населенную уличами и тиверцами, полузависимыми от Болгарии, ушли в поход против Моравии. Воспользовавшись их отсутствием, Симеон прервал переговоры с Византией, вторгся в Бессарабию, страшно опустошил ее и затем обрушился на Византию. В 893 г. он заставил Византию заключить постыдный для нее мир. После этого соседи топарха не только не захотели подчиняться Византии, но и принудили топарха искать подтверждение своей власти у государя, победившего Византию. Топарх называет Симеона „царствующим на севере Дуная“ потому, что он якобы имел с ним дело именно в этом качестве как с государем левого берега Дуная, на котором он сам находился. Милюков обходит вопрос, каким образом на левом берегу Дуная появились византийские владения и гарнизоны в то время, когда Византия не была в состоянии защитить свои основные владения во Фракии и Македонии, и как Симеон, ожесточенный враг Византии, мог после своих побед разрешить византийскому топарху обосноваться с своим гарнизоном в Придунайской области. Второе серьезное возражение против его „теории“ — несоответствие хронологическому определению Газе — Милюков пытается отвести указанием, что хронология у Газе менее точна, чем в ссылках на него у позднейших исследователей.

Неудача гипотез Успенского и Милюкова снова выдвинула на арену старые взгляды Куника.

В 1901 г. (через 25 лет после появления работы Васильевского) ученик Куника, немецкий историк Ф. Вестберг, выпустил работу под названием „Die Fragmente des Toparcha Gotticus“, в которой с еще большим жаром, чем Куник, старается доказать, что „Записка готского топарха“ имеет дело с крымскими готами, что ее родина и место действия — Горный Крым. Варвары, с которыми топарх вел войну, по его мнению — хазары; события, упоминаемые в „Записке“, относятся ко времени Святослава.¹

Своей ученой заслугой в отношении „Записки“ Вестберг считает окончательное, как он думает, установление хронологии событий: январь 963 г. как время переправы топарха через Днепр. Работа Вестберга встретила обоснованную критику со стороны Ю. Кулаковского² и Ф. Успенского,³ которые показали, что Вестберг на протяжении всей работы оперирует использованным до него ученым материалом и склоняется к уже раньше высказанным мотивированным решениям, причем ни одно из них Ф. Вестбергу не удалось подкрепить каким-нибудь новым материалом и, таким образом, большинство этих решений является попрежнему лишь догадками и гипотезами.

¹ „Записки Акад. Наук“, т. V, № 2, 1901; F. Westberg. Die Fragmente des Toparcha Gotticus. „Византийский Временник“, т. XV, вып. 1, „Записка готского топарха“.

² ЖМНП, ч. CCCXL, 1902, стр. 449—459.

³ „Записки Акад. Наук“, т. VI, № 7.

Несмотря на эту критику, взгляды Ф. Вестберга получили преобладание в буржуазной исторической литературе. Так, историки средневекового Крыма Ю. Кулаковский и А. Шестаков считают наиболее достоверным мнение Куника, поддержанное Вестбергом, об отношении „Записки“ к области Южного берега Крыма,¹ признают, что Херсонес и соседняя с ним Готия искали в то время покровительства киевского князя и переговоры топарха имели целью обеспечить его протекторат над готскими Климатами, в то время терпевшими всякие обиды от некогда дружественных хазар. Кулаковский полагает, что в связи с этими отношениями топарха со Святославом стоит поход последнего на хазар и взятие им крепости Белой Вежи (965).

В монографии эмигранта А. Васильева „Готы в Крыму“ безмерно преувеличивается роль готов в Крыму. Автор пытается доказать, что „с точки зрения общего фона политических, социальных и экономических отношений в бассейне Черного моря Готия должна быть рассматриваема и изучаема, как один из существеннейших элементов в процессе развития европейской цивилизации Ближнего Востока в целом и Крыма в частности“.²

А. Васильев считает „Записку“ одним из важнейших источников для уяснения готской проблемы в Крыму; он не сомневается, что события относятся к Крыму. По его мнению, желая восстановить свое падающее влияние в Крыму, хазары в 962 г. прибегли к насилию и грабежу. Они напали на Готию и разрушили стены главного города. Главный город готов в Крыму, правда, назывался Дорос или Дори, а в „Записке“ он называется *Klūhtz*. Но Васильев думает, что топарх дает городу имя всей страны. Когда Дорос был разрушен, топарх решил перенести свою резиденцию в Мангуп, хотя Васильев и признает, что описание *Klūhtz* в третьем отрывке мало напоминает Крымский Мангуп. По его мнению, не надеясь на помощь Византии, топарх привлек русских, колонизация которых уже пустила корни в Крыму. Васильев расходится с Вестбергом только в том отношении, что сторонников топарха, о которых говорится в третьем отрывке, он не признает готами, а видит в них руссов, начавших проникать в Крым с IX в.

Как мы уже сказали, эта теория Куника — Вестберга является господствующей в буржуазной историографии.

Обратимся теперь к самому памятнику и на основании его данных проверим, насколько эта точка зрения соответствует исторической истине. Если мы обнаружим, что теория Куника — Вестберга не находит достаточного обоснования в источнике, то следует заново и самостоятельно решить три основных вопроса, составляющих загадку „Записки“, а именно: о месте, где разворачиваются события, о времени этих событий, наконец, о том, кто были варвары, опустошавшие область топарха, и кто был „царствующий на севере Дуная“, под протекторат которого отдался топарх.

Фрагменты прежде всего дают нам возможность составить известное представление об их авторе. Автор не называет себя, не определяет своего происхождения и звания. Нужно, однако, подчеркнуть, что во фрагментах нет даже и намека на его принадлежность к готам. Давно уже признано, что автор был начальником, или топархом, маленькой области, имевшим в своем распоряжении небольшой военный

¹ Ю. Кулаковский. Прошлое Тавриды; А. Шестаков. Памятники христианского Херсонеса.

² A. Vasiliev. The Gots in the Crimea. Cambridge, 1936, praeface, p. VII.

отряд. Его положение характеризуется выражением $\eta \epsilon \mu \eta \alpha \rho \chi \eta$ или $\epsilon \mu \circ \iota \delta \epsilon \tau \eta \nu \tau \omega \nu \text{Κληράτων} \alpha \rho \chi \eta \nu \alpha \sigma \mu \epsilon \nu \omega \varsigma \pi \alpha \sigma \alpha \nu \epsilon \delta \omega \tau \circ$. Во фрагментах, как показал Ф. И. Успенский, дано немало военных терминов, совпадающих с терминами византийских трактатов по военному делу X—XI вв. Для характеристики военного дела „Записка“ представляет значительный материал, из которого можно заключить о принадлежности автора к военному сословию.

Автор — образованный византиец, хорошо знакомый с античной литературой, в частности с Фукидидом; он пишет хорошим литературным языком. Он имеет, повидимому, значительные познания и в области астрономии. Автор — лояльный византийский чиновник, но он находится в исключительных обстоятельствах. Необычно и путешествие по Днепру зимой, и война с варварами, и собрание сторонников топарха, и решение собрания. Исключительные обстоятельства заставляют топарха действовать с большой энергией и принимать самостоятельные решения. Цели „Записки“ могут быть различными. Может быть, это проект донесения высшим властям, может быть, набросок литературного произведения или заметки для памяти. Во всяком случае это не дневник. Здесь мы находим такой взгляд на рассматриваемые события, который предполагает события уже совершившимися и ближайшие последствия их уже определившимися.

В первом отрывке мы видим возвращение византийского чиновника поздней осенью из какой-то поездки. Автор отрывка — военный, стоящий во главе отряда. Мы не знаем, что это была за экспедиция и какова ее цель, но ясно, что, следуя по Днепру, отряд направлялся к югу, возвращаясь из чужой земли домой ($\pi \rho \circ \varsigma \tau \alpha \sigma \iota \kappa \alpha \iota \alpha$) т. е. в одну из областей Византийской империи. Первый фрагмент не имеет начала и начинается словами: „Они (т. е. спутники автора) с трудом спускались по реке (κατ'ῄετο)“ (κατ'ῄετο — синоним κατέρχεται). В. Г. Васильевский переводит „приставали“, усмотрев из дальнейшего, что описывается переправа через Днепр.¹ Но мы не можем согласиться с Васильевским; из дальнейшего текста вытекает, что путешественники спускались вниз по Днепру и были захвачены ледоходом. В таком случае нет основания отступать от основного значения глагола.

Во второй главе первого отрывка В. Г. Васильевский переводит: „Совершив переправу беспрепятственно и прибыв в селение Борийон, мы занялись едой и уходом за лошадьми“.² Так же переводит и Вестберг.³ Вопрос о месте переправы вызвал ожесточенные споры исследователей. Вестбергу и Бурачкову казалось не подлежащим сомнению, что переправа происходила в порожистой части Днепра. В факте переправы топарха Вестберг выдвигал главный аргумент против выводов Васильевского. „Я со своей стороны, — писал Вестберг, — особенно напираю на то обстоятельство, что переправа топарха у Днепровских порогов исключает положение Маврокастро́на к западу от низовьев Днепра“.⁴

Кулаковский местом переправы топарха считал Крайрийскую переправу, о которой говорит Константин Порфирородный, расположенную недалеко от острова Хортицы (Кичкаса), и указывал, что в тексте нет никакого намека на пороги.⁵

¹ В. Г. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, стр. 148.

² Там же, стр. 146.

³ „Византийский Временник“, XV, стр. 151.

⁴ Там же, стр. 102.

⁵ ЖМНП, ч. CCCXL, 1902, апрель, стр. 449—459.

Но в тексте, собственно, не говорится о переправе. Так как из предыдущего видно, что путники двигались по льду замерзшего Днепра, то переправляться им не было необходимости. М. А. Шангин уже заметил, что глагол διέρχαινο не включает еще сам по себе понятия переправы, но только переход известного пространства и что указанное место можно перевести так: „Пройдя беспрепятственно (дальнейший путь) и достигнув деревни Бориона, мы занялись едой и уходом за конями“.¹

Многочисленные споры возникали по вопросу о местоположении селения Борион. В. Томашек локализовал Борион у Николаева.² Бурачков искал Борион около Ненасытецкого порога. „По-гречески, — писал он, — βορός — значит прожорливый, ненасытный. Отсюда произошло название селения Бориона и Ненасытецкого порога“. Отголоски греческого названия сохранились, по мнению Бураčkова, в следующей за Ненасытецким порогом Вороновой Заборе и реке Вороной.³ „Всего скорее селение Борион нужно искать при нижнем течении реки Днепра, где можно предполагать какие-либо греческие, в частности, корсунские владения или же поселения и фактории для торговли, для рыбной ловли“.⁴ Основанием для такого заключения может служить участие, которое жители Бориона приняли в византийских путниках. Они долгое время оказывали им гостеприимство, а затем снабдили их в дорогу продовольствием, фуражом, проводниками. В начале третьей главы мы читаем: „И вот мы выступили в сопровождении местных жителей. Все меня горячо приветствовали рукоплесканиями, и каждый смотрел на меня, как на своего друга, и возлагал большие надежды“. Такие проводы говорят за то, что жители Бориона были лично заинтересованы в успехе предприятия и что они сами византийского происхождения. Из данных некоторых источников можно сделать вывод о существовании поселений византийцев в низовьях Днепра в конце X — начале XI в. Так, у Константина Порфирородного в *De administrando imperio* мы читаем: „От реки Днепра до Херсона триста миль; посреди же находятся озера и гавани, где херсонесцы добывают соль“.⁵ В другом месте Константин говорит, что херсонесцы „возвращаясь из Руси, переправлялись через Днепр“.⁶ „Гречников“, живущих у днепровских порогов, упоминает наша летопись.⁷ Таким образом, у нас есть основания предположить, что греки для торговли с Русью и наблюдения за действиями кочевников могли иметь поселения на Днепре, что печенеги в X в. не препятствовали грекам ездить на Русь и обратно, так как их взаимоотношения были регламентированы. Далее нам известно, что херсонесцы с давних времен занимались весьма важным для них рыбным промыслом в устьях Днепра, где у них были фактории.

Во время похода Игоря на Константинополь корсунцы успели предупредить цареградцев о готовившемся нашествии, и в заключенном затем договоре встречаются уже прямые указания на Корсунскую страну и устья Днепровские, где сталкивались интересы обоих народов.

¹ М. А. Шангин. Византийские источники о войне Святослава с греками, стр. 114 (Архив ЛОИИ, рукопись).

² „Die Gothen in Taurien“. Wien, 1881, S. 38.

³ П. Бурачков. О записке готского топарха. ЖМНП, ч. СХСII, 1877, стр. 201—202.

⁴ В. Г. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, стр. 149.

⁵ *De administrando imperio*, cap. 42.

⁶ *Ibid.*, cap. 9.

⁷ Летопись по Ипатьевскому списку, СПб., 1871, стр. 360.

В особой статье договора 945 г. было оговорено обязательство Руси не причинять обиды христианским рыболовам. Самые местности указаны весьма точно: устье Днепра, Белобережье (Ахиллесово ристалище, ныне Тендра) и остров св. Эльферия (по локализации академика Латышева — Кинбургская коса).¹ Статья договора Игоря 945 г. „О Корсунской стране“ говорит: „Аще обрящет в вустье Днепровском Русь корсуняны рыбы ловяща, да не творит им зла никакоже и да не имать власти зимовать в вустье Днепра, Белобережья, ни у святого Эльферия, но аще придет осень, да идут в дома своя, в Русь“.² Очевидно, корсунцы, промышлявшие рыболовством в устьях Днепра, имели свои становища в Белобережье (Δευκὴ ἄκτι), на Ахиллесовой косе и на острове св. Эльферия, где нередко зимовали и запоздавшие на море руссы. Мы не можем утверждать, что низовья Днепра — обычное место встреч промысловых и торговых людей Руси и Херсонеса — принадлежали к херсонским владениям, но это не исключает возможности существования греческих поселений постоянного характера вроде Бориона, упоминаемого в „Записке греческого топарха“. А. Шестаков отождествлял Борион с Олешьем.³ Этот населенный пункт впервые упоминается в наших источниках в 1084 г., но, несомненно, он возник гораздо раньше. В XI—XII вв. киевские князья очень заботились о безопасности Олешья.⁴

Отождествление Олешья с современными Алешками оспаривается рядом исследователей.⁵ Поэтому мы должны ограничиться выводом, что селение Борион следует искать в нижнем течении Днепра, где можно предполагать херсонесские поселения и фактории для торговли.

В Борионе топарх был задержан жестоким северным ветром и вьюгой, и прошло немало дней, прежде чем погода улучшилась и топарх получил возможность продолжать путь „по направлению к Маврокастроноу“. Относительно местоположения Маврокастроны также существуют большие разногласия. Исследователи, относящие область топарха в Крыму, естественно, стремятся искать Маврокастроны в Крыму или на дороге к Крыму, но встречают в этих своих поисках большие трудности. Византийские и другие средневековые документы сохранили нам названия крымских городов и населенных пунктов, но ни один из них не назывался Маврокастроном. Мы знаем названия населенных пунктов южного берега Крыма, где в описываемую эпоху главным образом и сосредоточивалось оседлое население. В „Готии“, под которой подразумевается территория южного берега между Балаклавой и Сугдеей (исключая Херсонес), насчитывалось от 30 до 40 населенных пунктов (30 — у Константина Порфирородного, 40 — у Барбаро). Древний центр „Готии“ назывался у византийцев Дори. Другие населенные пункты носили названия: Ускут Каламита (Инкерман), Символон (Балаклава), Ласпи, Кастропуло, Кикенеиз, Симеиз, Алутика, Хурмс, Месихори, Гаспара, Ливадия, Фуллы, Сикита (Никита), Палеокастро, Сугдея, Кафа, Ялита, Гурзувиты, Партеит, Лампай, Алустий и др.⁶ Брун готов был признавать Мангуп за Маврокастроном, а позднее

¹ ЖМНП, 1899.

² Полн. собр. русских летописей, изд. Археол. комиссии, т. I, СПб., 1841, стр. 21.

³ А. Шестаков. Памятники христианского Херсонеса, вып. 3, стр. 75.

⁴ ПСРЛ, т. II, 1926, стр. 522.

⁵ В. Г. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, стр. 190.

⁶ W. Tomaschek. Die Goten in Taurien. Wien, 1881, S. S. 70—75.

⁴ Византийский Временник, том IV

высказался за Карасубазар.¹ Куник в поисках Маврокастро́на указывал на географические термины средневековых итальянских карт: Nigropoli, Nigropilla, но Васильевский убедительно показал, что название замка или крепости Нигрополи, обозначаемой на некоторых позднейших картах к северу от Перекопского залива, происходит от греческого τῆ Νεχροπόλις, как этот залив назывался у греков, и, следовательно, никак нельзя думать, что Нигрополи — итальянский перевод Маврокастро́на. Васильевский также указывал, что „ни Мангуп, ни Карасубазар не имеют... никаких особых прав присваивать себе чужое имя: первый назывался по-гречески в византийскую эпоху οἱ Θεόδωροι (Castello Theodoro) или просто Δορός; последний, хотя и заключает в себе указание на Черную воду (Карасу), зато едва ли даже существовал в средние века“.² После появления работы Васильевского в 1891 г. де Боор опубликовал список епископств VIII в., где среди епископств, относящихся к диоцезу Готии, упоминается епископская кафедра τοῦ Χαρασίου и сделано пояснение: „ἐν ᾧ λέγεται τὸ μαύρον ἡλιν“.³ Де Боор читает: „μαύρον ἡλιν“ как μαύρον ἡλιν, очевидно, предшествующее Χαρασίον — эквивалент турецкой формы „Кара-су“. А. Васильев отождествляет этот населенный пункт с современным Карасубазаром.⁴ Бурачков считает, что Карасубазар находится на кратчайшей дороге, если ехать в Крым через Арабатскую стрелку или Чонгар, но сам Бурачков в другом месте справедливо недоумевает, „какая нелегкая могла бы понести нашего топарха от Днестра в крымские Климаты (не кратчайшим путем через Перекоп, а круглым путем, через Чонгар) среди зимы, при отсутствии воды и подножного корма, в виду неприятелей“.⁵ Однако уже Бромберг указал, что открытый де Боором византийский μαύρον ἡλιν не мог быть современным Карасубазаром, так как последний в средневековых итальянских документах носит название Karason или Barason.⁶ Открытый де Боором μαύρον ἡλιν Бромберг ищет на р. Черной вблизи Бальбека, недалеко от Инкермана. Но если византийский μαύρον ἡλιν локализовать здесь, то какое основание отождествлять этот μαύρον ἡλιν с Маврокастро́ном „Записки греческого топарха“?

Столь же мало обоснованной является попытка Бертье де Лагарда отождествить Маврокастро́н с бывшим громадным имением гр. Мордовцева „Черная долина“ и селением Черненькое, лежащим на пути от Каховки на Днестре к Перекопу. Ни в одном письменном источнике нет указаний на этот пункт. Единственным аргументом, приводимым Бертье де Лагардом, служат современное название „Черная“ и найденные здесь византийские монеты.⁷

Таким образом, попытки найти Маврокастро́н в Крыму нельзя признать успешными. С другой стороны, как указывал Васильевский, в средние века при устье Днестра существовал очень известный город с таким названием. В период генуэзских поселений в Крыму и южной России это был крупный центр хлеботорговли, не уступавший по

¹ Брун. Черноморье, т. I, стр. 177 сл.

² В. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, стр. 194.

³ „Zeitschrift für Kirchengeschichte“, v. 12, Gotha, 1891, S. 533—534.

⁴ „The Gots in the Crimea“, 1936, p. 98.

⁵ П. Бурачков. О записке готского топарха. ЖМНП, ч. СХСII, 1877, стр. 200—252.

⁶ Bromberg. Toponymical and Historical Miscellanies „Byzantion“, t. XIII, 1936, p. 57.

⁷ Записки Одесского об-ва истории и древностей, 33, Одесса, 1919, стр. 18.

значению Родосто, Каффе и Анхиалу.¹ По мнению Васильевского, средневековые итальянские карты (карты Висконти 1318 г., Пиццигани 1367 г., карта Пассквалини 1408 г.), помещавшие Маврокастрон у устья Днестра, не оставляют никакого сомнения, что Маврокастрон — это нынешний Аккерман. Васильевский полагал, что название *Μαυροκάστρου*, означающее на греческом языке „Черный город“, не могло быть дано никем, кроме греков, и, следовательно, существовало гораздо раньше XIV в. Он конечно, знал, что Константин Порфирородный помещает в низовьях Днестра разрушенный Белый город (*Ἀλπροκάστρου*), знал также, что и в русских источниках, в так называемом „списке градом русским“, „на устье Днестра над морем также стоит Белгород, переименованный румынами в *Țetea alba* и татарами в Аккерман, т. е. опять-таки „Белый город“. Выход из затруднения Васильевский находит в том, что „на этой территории могли существовать два города: Белый и Черный“.² Против Васильевского, подержанного Томашеком, выступили Бурачков и Вестберг. Как указывал Бурачков, Васильевский, основывая свое утверждение на итальянских картах XIV—XV вв., упускал из виду, что они не подходят к событиям, происходившим, по его же мнению, во времена Святослава. Ни один писатель X в. не упоминает о Черной крепости в Днестровских лиманах. Наоборот, и Константин Порфирородный и русские летописи называют днестровский город Белгородом. Этот Белый город русские летописи отличают от Черни, т. е. от Черного города.³ Вестберг подчеркивал, что Васильевский не доказал: 1) что названия итальянских карт *Mancastrò*, *Maurocastrò*, *Mascastrò* являются искажением Маврокастро, 2) что город Чернь русских летописей лежал на Днестре подле Белгорода и 3) самое главное, что Маврокастрон уже существовал в X в.⁴

Однако последнее — главное — возражение против Васильевского теперь должно быть отвергнуто, так как найдены источники, показывающие, что Маврокастрон был, несомненно, известен византийцам еще в XI в. и тогда там даже была учреждена церковная митрополия. Очень интересный факт основания такой митрополии, хотя и просуществовавшей, повидимому, недолго, дает рукопись Парижской Национальной библиотеки *cod. Coisl. N. 211, fol. 261—262*, опубликованная в 1909 г.⁵ В ней перечислены те же 80 кафедр византийской церкви, которые давно известны из *Notitia episcopatum* Алексея Комнина, но в отличие от последней в *cod. Coisl. 211* одна кафедра опущена, а другая прибавлена. Хонигман, обративший внимание на этот любопытный документ, устанавливает, что опущенная в этом списке Наксия, или Паронаксия, была преобразована в митрополию в 1083 г. Таким образом, наш список был составлен раньше этого года и раньше известной *Notitia* Алексея Комнина.⁶ Но гораздо интереснее прибавление. Между Апамеей и Коркирой список *cod. Coisl. 211* приводит следующие названия:

Βασιλαίων,
Τρίστρας,

¹ В. Г. Васильевский. Труды, т. II, вып. 1, стр. 192.

² Там же, стр. 193.

³ П. Бурачков. О записке готского топарха. ЖМНП, ч. СХСII, 1877, стр. 200—252.

⁴ „Византийский Временник“, т. XV, 1, 1908, стр. 100.

⁵ „Revue de l'Orient Chrétien“, XIV, 1909, p. 212.

⁶ E. Honigmann. Studies in Slavic Church History. „Byzantion“, XVII, 1944—1945, p. 158.

Μαυροκάστρου ἤτοι Νέας Ῥωσίας,
Ναζιανζοῦ.

Известно, что митрополии помещаются в списках обычно в хронологической последовательности установления кафедр. Так, Βασιλειῶν был обращен в митрополию в царствование Константина X Дуки (1059—1067), а Роман Диоген (1069—1071) дал права митрополии Назианзу.¹ Таким образом, митрополии Дристры и Маврокастроны были учреждены между 1059—1071 гг. Τρίστρας — это, несомненно, Доростол. Мы знаем из других источников, что возведение в митрополию Дристры (Доростола) произошло при патриархе Константине III Лихуде (1059—1063) и что этот патриарх весьма заботился об укреплении церковной организации в придунайских областях.² Следовательно, время учреждения митрополии Маврокастрон может быть определено между 1059—1071 гг.

Мы не можем обойти молчанием тот факт, что новая митрополия, подчиненная юрисдикции константинопольского патриархата, называется митрополией „Маврокастроны, или новой России“. Это показывает, что во второй половине XI в. здесь существовали русские поселения, составлявшие одно целое с городом, а первое — греческое имя говорит о том, что он был основан византийцами. Маврокастрон, или Νέα Ῥωσία, не может отождествляться с Ῥωσία,³ упомянутой рядом с Таматархой в договоре, заключенном в 1169 г. между Мануилом Комнином и генуэзцами и подтвержденном в 1192 г. Исааком Ангелом. Эта Ῥωσία, называемая на итальянских средневековых картах „устье русской реки“ Эдриз и casale di Rossi, находилась в районе Азовского моря, и Мануил не желал предоставлять генуэзцам главный торг рыбой, который шел из Азовского моря.⁴ Таким образом, можно считать установленным, что под именем Маврокастроны существовал в средние века только один город, имевший серьезное экономическое значение, и что этот город находился в устье Днестра. Хонигман считает нужным уточнить взгляды Васильевского в том отношении, что Маврокастрон — все же не Аккерман. По его мнению, лучшие карты средних веков показывают, что Маврокастрон был расположен на левой, или северной, стороне Днестра, в то время как на правой стороне находился Ἀστροκάστρον или „Белая крепость“, занимавшая территорию современного Аккермана.⁵ Такое близкое соседство Белого и Черного городов — явление не единичное. Так, в непосредственной близости от столицы Сербии Белграда находится Землин, т. е. город, сооруженный из черной земли. Следует, однако, отметить, что по сообщению Е. Ч. Скржинской, генуэзцы в XV в. называли жителей Монкастро albicastrenses sive macastrenses. Во всяком случае нельзя сомневаться, что Маврокастрон, упоминаемый в „Записке греческого топарха“, находился недалеко от устья Днестра. Возникновение здесь византийского Черного города нужно, очевидно, поставить в связь

¹ Gelzer. „Byzant. Zeitschrift“, II, 67; Regesten, II, p. 16, N° 96; Skylitzes, ed. Bonn, p. 703.

² igne. Patr. gr., v. CXXII, p. 436.

³ Vernadsky. Political and Diplomatic History of Russia, Berlin, 1936; E. Honigmann. Studies in Slavic Church History. „Byzantion“, XVII, 1944—1945, p. 155.

⁴ Miklosich et Müller. Acta et diplomata gr. medii aevi, III, 36; Zachariae von Lingenthal. Jus. Gr.-Rom., III, 496.

⁵ E. Honigmann. Studies in Slavic Church History. „Byzantion“, XVII, 1944—1945, p. 158.

с общим усилением Византии во второй половине X и начале XI в., которое сказалось и в северном Причерноморье. Конкретное проявление этого факта — успешная экспедиция Варды Монга и Владимира Сфенга против хазар в 1116 г.¹

Мы не можем здесь останавливаться на дальнейшей истории Маврокастроны, сделавшегося важным генуэзским портом в XIV—XV вв.² К сожалению, мы знаем очень мало об истории северного Причерноморья в конце XI в. Но весьма важно отметить существование в это время в устьях Днестра оседлого русского населения, которое, очевидно, было связано с русскими поселениями в верховьях этой реки, где позже сложилось Галицкое княжество. Если реки того времени были центрами оседлости и здесь сосредоточивалась хозяйственная и торговая деятельность населения, то это имело отношение не только к Днепру, но и к Днестру, где селились тиверцы.

Таким образом, мы можем прийти к важному выводу, что византийский топарх со своими спутниками двигался от Днепра не в Крым, а на запад. А этот факт имеет немаловажное значение для определения места, где разворачиваются дальнейшие события, описываемые в „Записке“.

Задержавшись из-за непогоды в Борионе, автор сделал астрономическое наблюдение, на которое первым обратил внимание Васильевский. В тексте мы читаем: планета Сатурн находилась как раз в начале созвездия Водолея, а Солнце в то время было в зимних знаках зодиака („καὶ γὰρ ἔτυχε περὶ τὰς ἀρχὰς διῶν (κρόνος) Ὑδροῦου, ἤλιου κατὰ τὰ χειμερινὰ διατρέχοντος“).³ Зная, что Сатурн совершает свое обращение между созвездиями, через которые он проходит, в 29 лет 166 дней, можно вычислить период, когда Сатурн находился в X в. в созвездии Водолея. Васильевский без всякой помощи астрономов, как он заявлял, вычислил 964—967 и 993—996 гг. и признал первую из этих дат подходящей для своего исторического объяснения памятника.

Вестберг широко использовал астрономию. Хотя Вестберг признает, что астрономические данные „Записки“ не вполне ясны и потому раскрытие их смысла представляет некоторые затруднения, тем не менее он пришел к выводу, что „на всем протяжении времени от середины января 904 г. до середины декабря 1021 г. Сатурн имел указанное в первом фрагменте положение среди звезд только один раз, а именно — в начале января 963 г.“⁴

Этот вывод безоговорочно приняли Шестаков и Васильев.⁵ Против него возражали Ф. И. Успенский, Кулаковский, Хонигман и Шангин. Ф. И. Успенский указывал, что астрономы, помогавшие Вестбергу в его выводах (например Кононович), вносили в них весьма существенные оговорки. Они считали необходимым предположить, что греческий путешественник обладал столь точным знанием неба, каким располагают лишь весьма немногие современные астрономы, особенно если учесть, что сравнительно слабые звезды Водолея и Козерога трудно различимы.⁶

¹ Banescu. La domination byzantine à Matracha (Tmoutaracan), en Zichie, en Khasarie et en Russie à l'époque des Comnènes, „Bulletin de la section histor. de l'Académie Roumaine“, XXII, 2.

² Brătianu. Recherches sur Vicina et Cătatea alba. Breslawl, 1935.

³ Corpus Script. Hist. Byz., v. XI, p. 497.

⁴ „Византийский Временник“, XV, 2. „Записка готского топарха“, стр. 271.

⁵ A. Vasiliev. The Gots in the Crimea, p. 120.

⁶ „Записки Акад. Наук“, т. VI, № 7, 1904.

Как отмечал Ф. И. Успенский, результаты изучения Вестбергом астрономических наблюдений составителя отрывков не могли иметь решающее значение потому, что наблюдавшаяся им констелляция звезд повторяется через каждые 29 лет 166 дней. Через этот промежуток времени Сатурн вновь может быть наблюдаем почти в одинаковом отношении к Водолею. Таким образом, в X в., к которому относятся сделанные для Вестберга вычисления, прохождение Сатурна через созвездие Водолея имело место в 903—904, 931—934, 961—963, 990—993 гг. Вестберг, относя события, описываемые в отрывках, ко времени Святослава, естественно, предпочитает фазу прохождения Сатурна через созвездие Водолея в период 961—963 гг. и старается подкрепить себя ссылкой на Куника, Гедеонова, Васильевского. Но ссылка на авторитеты — еще не достаточное основание, если ищется точка опоры в самом памятнике.

Кулаковский указывал, что астрономическая дата Вестберга не согласуется с установленной Газе хронологией, которая должна оставаться в силе, пока не удастся открыть рукопись. Но Газе, как известно, главный текст относил к концу X в., а относительно отрывков, написанных на пустых страницах, заметил, что их почерк — более поздний. Если мы вместе с Вестбергом примем за дату написания 963 г., то не выйдет ли, что отрывки, которые представляют автограф, написаны раньше, чем кодекс, в который они попали на оставшиеся незаполненными страницы. Если, писал Кулаковский, астрономия оказала помощь, то эта помощь скорее отрицательного свойства, так как полученная Вестбергом дата противоречит палеографическим сведениям относительно текста и в высшей степени затрудняет историческое понимание событий, о которых идет речь в „Записке“, даваемое самим Вестбергом.¹ Ведь в 963 г. Святослав еще не имел никакого отношения к Крыму, на хазар и передний Кавказ он еще не ходил. Сам же Вестберг думает, что утверждение русских в Тамани и Крыму произошло после походов и побед Святослава. Что могло побудить топарха искать в 962 г. помощи в Киеве? Понять исторический смысл отрывков при этой дате становится еще труднее.

По мнению М. А. Шангина, внимательно изучавшего астрологические и астрономические трактаты византийцев, Вестберг без достаточных оснований полагает, что византийцы X в., в том числе и автор „Записки“, исходили из точных наблюдений нашего времени. Ссылаясь на фундаментальное издание *Catal. codd. astrol. graec.*, Шангин доказывает, что, по представлениям византийцев, Сатурн совершал свой путь и возвращался к исходному знаку зодиака не в 29 лет 166 дней, как установила новейшая астрономия, а в 30 лет.² Для X в. Шангин вычисляет следующие данные византийского астрономического календаря: 910, 940, 970, 1000 гг., и приурочивает наблюдение топарха к зиме 970/71 г. Зачеркнутое автором „Записки“ выражение „как мне по звездам показалось“, по мнению Шангина, вовсе не означает непосредственного наблюдения; это просто ссылка на византийский астрономический календарь.³

Из изложенного вытекает, что вывод Вестберга не имеет решающего значения, и установить точную дату наблюдений топарха весьма

¹ Ю. Кулаковский. ЖМНП, ч. CCCXL, 1902, стр. 449—459.

² *Catal. codd. astrol. graec.* VIII, 4, p. 224.

³ М. А. Шангин. Византийские источники о войне Святослава с греками. Архив ЛОИИ, стр. 114—116.

трудно, так как: 1) астрономические данные „Записки“ не вполне ясны; 2) сочетание звезд, которое наблюдал топарх, повторяется несколько раз каждое столетие; 3) как показал М. А. Шангин, астрономические знания византийцев X в. могли резко расходиться с точными астрономическими наблюдениями нашего времени.

В заключительной части первого фрагмента описывается возвращение наших путников в Маврокастрон по глубокому снегу, в мороз и вьюгу. Падали вьючные животные, проводники сбивались с пути, а самое главное — топарх и его спутники, выйдя из Бориона, шли по непроторенной дороге, и гибель грозила им как от суровой зимы, так и от неприятелей. Караван, находившийся на пути в свою страну, лежавшую во всяком случае южнее порогов, должен был проходить через Черноморскую степь. Если путешествие топарха относится к концу X — началу XI в., то неприятели, угрожавшие топарху, по всей вероятности, были печенеги. Из восьми печенежских орд, перечисленных Константином Порфирородным в 37 главе „*De administrando imperio*“, четыре кочевали по правую сторону Днепра, четыре — по левую. Византийское правительство в X в. всячески стремилось поддерживать дружеские отношения с печенегами, особенно с теми ордами, которые были соседями Херсонеса. Эти племена занимались торговлей с жителями Херсонеса и выполняли поручения императора на Руси, в Хазарии, Зихии, получая от херсонесцев установленное вознаграждение в виде шелковых тканей, перевязей, муслина, бархата, перда. Но так как печенеги распадались на многие орды и каждое племя имело своего вождя, то некоторые из них могли быть враждебны византийцам, особенно если, как в данном случае, отряд византийцев двигался не в Крым, а к Днестру.

Так как отрывки написаны одной рукой, то содержание их представляет известную связь между собой. Третий отрывок представляет непосредственное продолжение второго.

В первом фрагменте, как мы видели, описывается возвращение топарха и его спутников вниз по Днепру и от Днепра к Маврокастроу.

Три фрагмента напечатаны Газе в том порядке, в котором они обнаружены в рукописи. Однако большинство исследователей считает, что хронологически второй отрывок должен быть первым, за ним следует третий и, наконец, первый, и что упоминаемая в третьем фрагменте поездка тождественна с путешествием первого фрагмента.

Во втором фрагменте мы уже застаем топарха в его области. В третьем отрывке автор говорит об обстоятельствах, побудивших его поехать к задунайскому правителю, отдавшему ему снова власть над Климатами. Между первым и вторым фрагментами замечен пропуск: недостает описания прибытия топарха в свою область; нехватает изложения событий, происходивших в области топарха по его возвращении. Сколько времени прошло от событий первого фрагмента до событий второго и третьего, — нам неизвестно.

Переходя к рассмотрению второго и третьего отрывков, попытаемся прежде всего кратко изложить их содержание. Во втором отрывке рассказ ведется в первом лице, иногда в множественном, иногда в единственном числе. А. Васильев почему-то предполагает, что рассказ ведется от имени крымских готов, хотя ни во втором, ни в третьем фрагменте о них нет никакого упоминания, а второй фрагмент начинается словами, потом зачеркнутыми: „именно ради этого и северные берега Дуная“ („καὶ διὰ τοῦτο ὅτι καὶ τὰ βόρεια τοῦ Ἰστρου“). Можно

согласиться с В. Г. Васильевским, что слова эти, хотя и зачеркнуты, важны для объяснения отрывков, так как они указывают на место, где совершаются события, непосредственно за ними описываемые. Далее описываются враждебные столкновения топарха с варварами, которые грабили и опустошали все, подобно диким зверям, причем, по словам автора, „им не была доступна пощада даже в отношении к самым близким“ („οὐδὲ γὰρ τῶν οἰκιστῶν φίλῳ τις εἰσῆλαι αὐτοῖς“). Еще Куник заметил, что οἰκιστῶν в греческом языке означают соплеменников, сородичей, и на этом основании допускал, что и нападающие и страдавшие от них жители страны могли быть единоплеменниками.¹

Далее автор делает важное замечание: „И не руководились они каким-нибудь расчетом или судом законности, а старались злобно и бесцельно сделать добычей мисян (нашу) свою землю“.² Здесь характерно, что земля, опустошаемая варварами и населенная их единоплеменниками, первоначально была названа „нашей“ (т. е. византийской) страной, а затем автор признал ее принадлежащей самим варварам, как будто речь идет о такой стране, на которую права владения спорны. Дальше автор характеризует варваров следующим образом: „Извратилась прежняя их мягкость и справедливость. Уважая их раньше больше всего, они воздвигли себе величайшие трофеи, так как города и народы добровольно к ним примыкали. Теперь же как будто, наоборот, у них проявилась несправедливость и произвол относительно подчиненных. И они решили подвластные города поработить и уничтожить вместо того, чтобы охранять и хорошо управлять ими. Жалуясь на начальников и ясно доказывая, что они ни в чем не виновны, эти люди (т. е. подданные), тем не менее не могли избежать смерти“.³ Автор намекает здесь, что подданные в чем-то провинились, а правители их в чем-то обвиняли и подозревали, а дальше автор говорит, что „люди, ни в чем не повинные, под предлогом нарушения клятвы, становились добычей меча“.

Речь идет о событиях крупного масштаба. Автор не щадит красок для описания ужасов происходящего. Он пишет: „Ведь, как казалось, так поднялась волна зла, что затопила все человеческое, и можно было подумать, что обрушилась она таким ужасом, как бы от землетрясения или из какой бездны невероятной и свирепой“.⁴ В области, соприкасавшейся с владением топарха, более 10 городов и 500 деревень полностью были опустошены. Наконец, злая судьба, губившая города несчастных соседей топарха, обрушилась и на его владения. Автор должен был ограничиваться оборонительными мероприятиями и отступить перед варварами. Энергичными и мудрыми мерами, сам подвергаясь серьезным испытаниям, он устранил опасность. Однако в дальнейшем враждебные действия между топархом и его врагами внезапно возобновились. Враги не вступали в переговоры с топархом, хотя он много раз предлагал им соглашение. Поздней осенью варвары с большим количеством пеших и конных воинов напали на область топарха, рассчитывая легко овладеть ею, так как она ранее была уже опустошена и стены города были скрыты до основания. Люди топарха делали вылазки из разрушенного города, который был немногим лучше селения. „Тогда, — говорит топарх, — я первый пришел к мысли засе-

¹ А. Куник. О записке готского топарха, стр. 116. Нельзя согласиться с переводом οἰκιστῶν у Васильевского словом „союзник“.

² Corpus Scrip. Hist. Byz., v. XI, p. 501.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

лить Климаты“ („καὶ τότε ἀρχὴν ἐμοῦ πρότου πάλιν οἰκῆσαι τὰ Κλίματα διανοηταμένον“).¹ Очевидно, раньше ни сам топарх, ни его предшественники не имели там своего местопребывания. Прежде всего топарх соорудил башню.

Третий фрагмент начинается с рассказа о спешном возведении крепости, в которой было спрятано наиболее ценное имущество. Город уже заселялся. В это время началась война. Столкновение было неудачно для варваров, и они, понеся большие потери, ночью отступили. Когда утром топарх повел против врагов свой отряд, состоявший из 100 всадников и 300 пращников и лучников, то они уже не могли найти врага. Используя передышку, топарх торопился восстановить стены города, готовился к военным действиям и отправил гонцов к своим сторонникам („πρὸς τοὺς ἡμῖν προσέχοντας“), чтобы обсудить положение. Хотя „соседственные и близкие области“ („τὰ γείτονα καὶ πλησιόχωρα ἡμῖν“) находились уже в руках варваров, но, очевидно, вблизи Климатов были и незавоеванные местности и их правители могли считаться сторонниками византийского топарха. Повидимому, их было не очень много, если они могли быть быстро созваны посредством гонцов. По зову топарха собрались представители местной знати („ἐκκλησίας ἐκ τῶν ἀρίστων γενομένης“). Ближайшим предметом совещания было общее положение края. На совещании в первую очередь обсуждался вопрос о политическом подданстве, о том, кого избрать господином. Нет сомнения, что дело происходило на окраине, где всегда были возможны колебания политических влияний. Этим объясняется и то, что наш автор принял на себя решения, далеко выходящие за пределы компетенции командира небольшой воинской части. В своей речи топарх призывал собравшуюся знать придерживаться византийского подданства, что без достаточных оснований отрицает Вестберг.² Самая конструкция фразы, излагающей решение собравшихся и начинающейся выражением οἱ δὲ, показывает, что в речи автора отрывков освещался тот же предмет, который выдвигался в ответе собравшихся. Об ответе собравшихся на речь топарха он пишет следующее: „Они же или потому, что будто бы никогда не пользовались императорскими милостями и не заботились, чтобы освоиться с более цивилизованной жизнью, а прежде всего стремились к независимости, или потому, что они были соседями царствующего к северу от Дуная („πρὸς τὸν κατὰ τὰ βόρεια τοῦ Ἰστρου βασιλεύοντα“), который могуч большим войском и гордится силой в боях, или потому, наконец, что не отличались по обычаям от тамошних (жителей) в своем собственном быту (так или иначе), но они решили заключить с ним договор и передаться ему и сообща решили, что и я должен сделать то же самое“ („οἱ δὲ μὴδὲ ποτε βασιλικῆς εὐνοίας ἀπολαυκότες, μὴδ' ἑλληνικότερων τρόπων ἐπιμελουμένοι, αὐτονομῶν δὲ μάλιστα ἔργων ἀντιποιούμενοι, εἴτε ὁμοῦ ὄντες πρὸς τὸν κατὰ τὰ βόρεια τοῦ Ἰστρου βασιλεύοντα, μετὰ τοῦ στρατοῦ ἰσχύειν πολλῇ καὶ δυνάμει ἐπαίρεσθαι, ᾗδεσί τε τοῖς ἐκὶ τὰ παρὰ σφῶν αὐτῶν οὐκ ἀποδιαφέροντες ἐκείνῳ καὶ στείλασθαι καὶ παραδῶσιν σφᾶς ζυνέθεντο καὶ ἐμὲ τὰ τοιαῦτα πράξειν κοινῇ πάντες ἐπέψηφισάντο“).³

Не видя другого выхода, топарх отправился к „царствующему на севере от Дуная“ и коротко изложил ему причину прихода. Тот

¹ Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, v. XI, p. 502.

² Ф. Вестберг. Записка готского топарха. „Византийский Временник“, т. XV, вып. 2, стр. 78.

³ Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, v. XI, p. 503.

благосклонно принял топарха, утвердил его в должности правителя Климатов, добавил ему еще одну сатрапию и, сверх того, подарил в своей земле достаточные ежегодные доходы. Очевидно, от воли задунайского государя зависело восстановить топарха правителем в прежних его владениях, причем он не только оставил за топархом власть над небольшим городом Климатами, но и возвратил ему всю прежнюю его область, из которой он вынужден был удалиться под напором варваров.

Таково содержание второго и третьего отрывков.

В. Г. Васильевский переводит: „они решили заключить с ним мир“ (примириться), но сам же несколько дальше соглашается, что *σπείρασμα* может означать „заключить договор“ (без предварительной войны). Первое толкование Васильевского вызывается предвзятым мнением, будто варвары, напавшие на Климаты, тождественны с русскими.

Мы видим, что жители области топарха и его соседи принадлежат к оседлым народам, ибо „Записка“ сообщает о многих городах и селениях, расположенных вблизи Климат. Эту территорию следует искать в северном Причерноморье, так как в первом отрывке мы видим топарха на Днепре. В конце X и начале XI в. землями, в которых могли находиться византийские военачальники и гарнизоны, могли быть только фема Херсонес на южном берегу Крыма и Придунайская область. Нам уже известно, что большинство исследователей относит события, описываемые во втором и третьем фрагментах, к Крыму и, в частности, к так называемым Готским Климатам. Главным и, пожалуй, единственным аргументом этих исследователей является указание топарха, что он заселил Климаты. По Вестбергу, *τὰ Κλίματα* в качестве имени собственного встречается у Константина Порфирородного в его сочинении „*De administrando imperio*“ только по отношению к области, расположенной на Таврическом полуострове. „Уже одно это обстоятельство, — говорит Вестберг, — заставляет нас по необходимости связывать *τὰ Κλίματα* фрагментов с Климатами Константина Порфирородного. Эти Климаты составляли часть южного поморья Таврического полуострова, и они совпадали с Готией, занимающей пространство от Балаклавы до Сугдеи“.¹ В. Г. Васильевский согласен, что выражение „Климаты“ особенно часто употребляется для обозначения южных крымских областей и как будто именно по отношению к ним превратилось из нарицательного в собственное, но он в то же время показывает, что термин *κλίμα* употребляется в византийских источниках в самых различных значениях, обозначая „склон“, „покатость“, „страны света“, „провинции“ и „области“, как большие, так и малые, например „*Φρακίᾳ κλίματα*“ Льва Диакона (р. 104, 11), „*κλίμα Μεσσηνίᾳ*“ во Фракии, девять климатов хазарских у Константина Порфирородного („*τὰ ἐννεὰ κλίματα Χαζαρίαι*“),² может обозначить определенную административную единицу, гораздо меньшую, чем фема (*Lydus. De magistratibus*, III, 68). В то же время Васильевский показал, что в наших фрагментах слово „Климаты“ употреблено совсем не в том смысле и значении, в каком оно прилагается к крымским областям и в каком вообще употребляется в других местах и у других писателей. Васильевский совершенно прав, когда указывает, что в наших отрывках „Климаты“ есть название единичного отдельного городка, причем очень небольшого, который

¹ Ф. Вестберг. Записка готского топарха. „Византийский Временник“, т. XV, вып. 2, стр. 117—118.

² *De administrando imperio*, cap. 10.

был разрушен и запустел, а потом стараниями нашего топарха отчасти был восстановлен и снова начал заселяться.¹ Поэтому невероятно предположение Вестберга, чтобы такая область, как Климаты византийской Таврики, могла быть обязана своим именем этой ничтожной крепости.² Так же мало вероятна догадка Вестберга, что Климаты „скрываются под другим каким-нибудь наименованием, ибо тамошние города нередко меняли свои названия вследствие наплыва все новых пришельцев“.³ Мы уже имели случай отмечать, что нам известны названия большинства *κλίστρα* Крымской Готии, и мы знаем, что эти названия сохранялись в течение всего византийского времени. Соглашаясь в этом отношении с Васильевским, мы можем теперь поставить более общий вопрос, могут ли вообще события, о которых рассказывается во втором и третьем отрывках, быть относимы к Крымской Готии конца X — начала XI в., могли ли вообще готы в Крыму в это время играть такую активную и самостоятельную роль, какую им приписывают Куник, Вестберг, А. Васильев и другие буржуазные ученые. Для решения этого вопроса мы должны коснуться истории средневекового Крыма. Из труда Прокопия Кесарийского „О постройках Юстиниана“ известно, что при этом императоре власть Византии в Крыму окрепла, хотя большая часть Крыма была занята гуннами. Был возвращен под власть империи важный город Босфор (Керчь). Босфор и Херсонес были укреплены; построены сторожевые укрепления Алуствий и Гурзувиты. А дальше Прокопий пишет: „Есть там одна страна на морском побережье, называемая Дори (*„χώρα κατὰ τὴν παραλία Δόρι ὀνομάζεται“*). В ней издавна живут готы, которые не были увлечены Теодорихом в Италию, а добровольно остались здесь и еще при мне продолжают быть союзниками римлян; вместе с ними ходят против их врагов, когда этого пожелает император. Число их простирается до трех тысяч. Они прекрасные воины, а также деятельные искусные земледельцы и отличаются наибольшим гостеприимством среди всех людей. Самая область Дори лежит высоко. Однако она не слишком дика и сурова, напротив, богата и приятна прекрасными плодами. В этой стране император нигде не строил ни города, ни крепости, потому что тамошние жители не терпят, чтобы их запирали в стенах, но всего более любят жить в полях. Только в тех пунктах, которые казались легко доступными для неприятелей, он заградил входы длинными стенами и освободил готов от всяких опасностей“.⁴ Географическое положение страны Дори, населенной готами, здесь обозначается довольно определенно. Благодаря большому количеству указаний, встречающихся в позднейших источниках, исследованиями Бруна, Васильевского и Васильева вполне разъяснено, что страна, именовавшаяся потом Готией, готскими Климатами, а также Дори, простиралась по южному берегу Крыма от Балаклавы до Сурожа или Судака, а внутри полуострова ограничивалась Чатыр-Дагом и другими горами, окаймляющими южные берега полуострова.

Из других источников мы знаем, что эти готы уже в конце IV в. приняли христианство, имели своего епископа и поддерживали связи с Константинополем. Эта горсть готов, заброшенная на южные берега

¹ В. Г. Васильевский. Записка греческого топарха. „Труды“, т. II, вып. 1, стр. 256.

² Ф. Вестберг. Записка греческого топарха. „Византийский Временник“, т. XV, вып. 2, стр. 256.

³ Там же.

⁴ De aedificiis III, 7, p. 261.

Крыма, в течение многих веков тесно связанная в экономическом, политическом и церковном отношении с Византией, естественно, постепенно растворялась в населении империи и эллинизировалась, хотя и возможны были случаи сохранения готского языка до XI—XII вв. В VII в. ослабело и влияние Византии в Крыму. По крайней мере папа Мартин, сосланный в Херсонес, описывает свое положение очень мрачными красками. В VII в. хазары переправились через Керченский пролив, заняли Босфор и большую часть территории полуострова. В начале VIII в. Дорос (Дори) уже был недоступен византийским властям, и хазары около 787 г. им овладели. Но так как хазарам и Византии приходилось бороться против общего страшного врага — арабов, то отношения между Византией и хазарами в VIII и IX вв. были почти всегда дружественными. Христианское население подвластных хазарам городов пользовалось самоуправлением, поддерживало экономические, торговые и церковные связи с империей. Из жития Иоанна Готского видно, что из Византии в крымские города попрежнему присылались епископы. Епископы и монахи Готии присутствовали на византийских церковных соборах. В эпоху иконоборчества множество гонимых правительством монахов искало убежища в южной Италии и в Крыму и основало здесь много монастырей, почему Феодор Студит называл в своих письмах Готию „святой“. В IX в. дружественные отношения между Византией и Хазарией продолжали сохраняться. Из того факта, что, с одной стороны, византийским спатарокандидатом Петроной Каматиром около 833 г. была построена для хазар крепость Саркел, а с другой — Херсонес и окружающие его местности были обращены тем же Петроной в фему, вытекает, что какая-то общая опасность угрожала в это время и хазарскому государству и области Херсонеса.¹ Очень возможно, что первый стратиг Херсонеса Петрона Каматир по соглашению с хазарами и принял на себя функции защиты Готии и Климатов. По крайней мере в списке должностей, составленном при Михаиле III и его матери Феодоре, он официально называется „патрикием и стратигом Климатов“.²

С конца IX в. в степях южной Руси поселились печенеги. Постепенно распространяясь, они проникли в Крым, так что несколько десятилетий спустя (около 950 г.) Константин Порфирородный писал: „Печенегия простирается вдоль всей Руси и Боспора до Херсона, Серета, Прута и 30 регионов“.³ Отсюда видно, что печенеги уже заняли значительную часть Крыма и могли угрожать Херсонесу и Климатам. Это подтверждается другим местом того же труда, где Константин замечает: „Народ печенегов граничит с областью Херсона, и если мы не будем находиться в дружественных отношениях с ним, он может идти на самый Херсон, грабить и опустошать Херсон и так называемые Климаты“.⁴ Растущее могущество печенегов означало упадок хазарского преобладания в Крыму. Отступая на восток, хазары должны были очищать территорию, занимаемую ими в Крыму. В начале X в. период хазарского преобладания в Крыму уже пришел к концу. Этому упадку могла способствовать византийская политика. Византия, пока это ей было выгодно, поддерживала дружественные отношения с хазарами, но быстро учла изменившееся соотношение сил

¹ A. Bury. A History of the Eastern Roman Empire, p. 417.

² Ф. И. Успенский. Византийская табель о рангах. „Известия русск. археол. ин-та в Константинополе“, т. III, 1898, стр. 115.

³ De administrando imperio, cap. CXLII, p. 17; XXXVII, p. 166.

⁴ Там же, cap. I, p. 68.

в северном Причерноморье и оценила растущее значение печенегов, мирные отношения с которыми сделали краугольным камнем византийской внешней политики. Эта перемена затронула также и Крымскую Готию. Когда хазарское преобладание в Крыму ослабело, Климаты и крымские готы освободились от хазарской власти и снова вернулись под власть Византии. К середине X в. восстановление византийской власти над Готией и Климатами было уже давно закончено.

Большинство исследователей согласно в том, что восстановление византийской власти в Климатах произошло значительно ранее написания „*De administrando imperio*“, а именно не позже конца IX в.¹

Руссы в первой половине X в., несомненно, угрожали византийским владениям, и договор Византии с Русью 945 г. берёт с Игоря обязательство положить конец этой агрессии.² Константин Порфирородный не пользуется названием „Готия“, но называет эту местность Климатами, как местность, которая уже давно находилась под властью Византии. Правда, этому утверждению можно противопоставить известное письмо хазарского кагана Иосифа испанскому еврею Хажду ибн-Шафруту, в котором перечисляется ряд городов в Крыму, якобы принадлежащих хазарам, но многие исследователи отказываются признать это письмо целиком подлинным, так как имя Фирковича, открывшего полный текст письма, было неоднократно связано с фальсификацией исторических документов. Однако если даже признать это письмо подлинным, то здесь речь могла идти только о сохраняющихся в 60-х годах X в. притязаниях хазар, а не о действительном владении.³ Во второй половине X в. под властью хазар в Крыму оставались, повидимому, только Босфор и Каффа. Эти последние остатки хазарских владений X в. были ликвидированы совместным русско-византийским походом 1116 г. Что касается крымских готов, то даже Васильев признает, что к X в. в результате долгого периода экономического, политического и идеологического воздействия Византии немногочисленные готы в Крыму уже были эллинизированы. Поэтому если в третьем отрывке топарха мы читаем, что его сторонники никогда не пользовались императорскими милостями и не заботились, чтобы освоиться с более цивилизованной жизнью, а больше всего стремились к независимости, то и А. Васильев должен признать, что этот текст не может относиться к крымским готам, которые долго находились под византийским протекторатом и вполне усвоили византийские обычаи. Точно так же вопрос о независимости никогда не возникал среди крымских готов, которые в течение веков жили под властью Византии, потом хазар, а с X в. — снова под властью Византии.⁴

О том, что готы в X в. не стремились к независимости, лучше всего свидетельствует то обстоятельство, что Константин Порфирородный в своих сочинениях даже не упоминает о готах, а говорит вообще о крымских Климатах. Он опасается возможного отпадения только со стороны жителей Херсонеса и заботливо перечисляет своему сыну и наследнику Роману наиболее эффективные мероприятия византийского правительства, которые должны быть предприняты после отпадения херсонесцев, чтобы привести их снова к покорности, но эти

¹ S. Runciman. *Byzantin Civilisation*. New York—London, 1933, p. 156; A. Vasiliev. *The Gots in the Crimea*.

² ПСРА, т. I, 1926, стр. 50—51.

³ Гаркави. Еврейская библиотека, VIII, 1880, стр. 140. Ф. Вестберг. ЖМНП, 1908, март, стр. 35.

⁴ A. Vasiliev. *The Gots in the Crimea*.

репрессии опять-таки имеют в виду только торговое население Херсонеса.¹ Что касается местности, в которой действовал топарх, то подвластные ему Климаты трудно отождествлять с крымскими Климатами уже по одному тому, что крымские Климаты в X в. были тесно связаны с Херсонесом в одно географическое и политическое целое. Поэтому действия какого-либо византийского должностного лица независимо от Херсонеса и его стратига были немыслимы. Еще Ф. И. Успенский выражал сомнение, чтобы византийский чиновник X в., будь это комендант крепости или командир отряда в южном Крыму и притом близ Херсонеса, не искал опоры в этом крупном и хорошо укрепленном городе, шел передавать свой город и свой отряд „царствующему к северу от Дуная“.² Подобное допущение он называл вопиющим анахронизмом. Для всякого внимательного читателя отрывков ясно, что территория, на которой происходят события, описываемые в отрывках топарха, не составляет исконной греческой области. Она византийская только потому, что в ней построена византийская крепость и находится византийский гарнизон, но она раньше не принадлежала византийцам. Отсюда постоянные колебания у автора: то он пишет „наша земля“, то „их земля“. Следовательно, необходимо предположить, что дело происходит не в Херсонесе и не на южном берегу Крыма.³ В X в. положение Византии на южном берегу Крыма было твердым и обеспеченным. Такого колебания византийского авторитета в южном Крыму, какое описывается в „Записке“, не могло быть. Из конца второго отрывка мы узнаем, что топарх все свои заботы устремляет на построение крепостцы или башни (φρούριον), так как видит в этом лучшее средство защиты местности от набегов варваров. Но следует припомнить, что подразумеваемая здесь под южным берегом Крыма местность близ Херсонеса никогда не находилась в X в. в таком упадке, чтобы рассматриваться как опустошенная и не населенная и чтобы безопасность ее зависела от маленькой крепостцы или башни, наскоро выстроенной нашим топархом. Да и масштабы опустошений, разорение 10 городов и более 500 селений вблизи города топарха и земель его сторонников мало подходят к ограниченной территории византийской фемы Херсонеса, занимавшей вместе с Климатами только узкую береговую полосу от Балаклавы до Судака.

Далее в третьем отрывке мы читаем, что сторонники и соседи топарха были одновременно соседями „царствующего к северу от Дуная“. Отсюда естественный вывод, что такое определение местности могло принадлежать только задунайскому жителю, и если сторонники топарха были соседями „царствующего к северу от Дуная“, то, очевидно, они и жили где-нибудь в придунайских землях. Трудно предположить, чтобы образованный византиец, живущий на южном берегу Крыма, знакомый с астрономией и географией, побывавший сам в южно-русских степях на Днепре и Днестре, мог называть Святослава своим соседом и „царствующим к северу от Дуная“. Бурачков пытается доказать, что у Константина Порфирородного хазары, турки и руссы обычно называются народами, „жившими на севере Дуная“, но Бурачков не приводит таких мест, а в главе 13-й „De administrando

¹ De administrando imperio, cap. 53.

² Рецензия Ф. И. Успенского на книгу Вестберга. Комментарий на „Записку готского топарха“. „Записки Акад. Наук“, т. VI, № 7.

³ Ф. И. Успенский. Византийские владения на северном берегу Черного моря. „Киевская старина“, т. XXV, апрель.

imperio“ хазары, турки, русь называются просто северными скифскими народами.¹

В том же третьем отрывке мы читаем, что сторонники и соседи топарха не отличались нравами и обычаями от народа „царствующего к северу от Дуная“. Это вполне понятно, если речь идет о славяно-болгарах и живших по другую сторону Дуная восточнославянских племенах, подчиненных русскому князю. Но всякий добросовестный исследователь должен признать, что между населением южного побережья Крыма, в течение веков связанным с Византией, и восточнославянскими племенами X в. существовала весьма значительная разница в нравах и обычаях. Только сторонники норманской теории происхождения Руси, как, например, Куник, могли видеть здесь новое подтверждение этой теории. По Кунику, собрание сторонников топарха состояло из крымских готов, по своему „национальному“ характеру бывших довольно близкими к норманнам, которые якобы окружали русского князя и по преимуществу составляли его военную силу. Но даже ученик Куника Вестберг не решается поддерживать это предположение своего учителя и считает его слишком смелым.²

Васильев пытается выйти из затруднения указанием, что под сторонниками вождя готов следует понимать русских, которые в IX—X вв. постепенно населяли Крым и имели там свои владения.³ Но Васильев упускает из виду, что если бы при Святославе в Крыму или на Тамани прочно укрепилось русское население и между населением Тавриды и Русью существовали такие тесные культурные и бытовые связи, какие предполагает В. В. Мавродин, то Святослав, возвращаясь водным путем в 972 г. после своей неудачи под Доростолом, не стал бы зимовать в Белобережье в устьях Днепра, испытывая жестокий голод.⁴ Если он вынужден был это сделать, то, очевидно, потому, что ни в Крыму, ни на Тамани еще не было крепких русских колоний, которые могли бы оказать Святославу помощь людьми и продовольствием.

Из изложенного можно сделать следующие выводы. Что касается местности, в которой действовал топарх во втором и третьем фрагментах, то подвластные ему Климаты невозможно отождествлять с крымскими Климатами. Крымские Климаты в X в. были тесно связаны с Херсонесом. Поэтому действия какого-либо греческого топарха, независимо от Херсонеса и его стратига, были невозможны. О готах в „Записке“, как мы видели, нет даже упоминания. Определение местности, в которой действовал топарх во втором и третьем отрывках, указанием, что она погранична с владениями „царствующего на север от Дуная“, могло, очевидно, принадлежать только задунайскому жителю. Это доказывается и тем, что, возвращаясь домой, топарх двигался на Запад от Днепра. Поэтому область Климатов „Записки“ должна определяться каким-то придунайским местом, притом таким, которое граничило бы с владениями „царствующего к северу от Дуная“.

Если события, описываемые в „Записке“, происходили в Придунайской области, то мы должны поставить вопрос, кого нужно понимать

¹ П. Бурачков. О записке готского топарха. ЖМНП, ч. СХСVIII, 1897, стр. 200—252.

² Ф. Вестберг. Записка готского топарха. „Византийский Временник“, т. XV, вып. 1, стр. 129.

³ A. Vasiliev. The Gots in the Crimea.

⁴ Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку, 2-е учебное изд., Л., 1926, стр. 72. „И приде Святослав к порогом, и не бе лъзе проити порог, и ста зимовати в Белобережьи и не бе у них брашна уже, и бе глад велик, яко по полугривне глава коняча, и зимова Святослав ту“.

под врагами топарха, кто был „царствующий к северу от Дуная“, взявший топарха под свое покровительство, и, наконец, определить время, когда происходили описываемые события. Большинство исследователей во врагах топарха видело хазар, но если место действия происходило в Придунайской области, то о хазарах здесь, разумеется, не может быть речи. Невозможно предположить, что этими врагами была какая-либо кочевая орда вроде печенегов, опустошавшая ту или иную область. По показанию топарха, эти враги были владельцами или начальниками обширной территории, страны, которая была целиком в их руках за исключением немногих пунктов, оставшихся под протекторатом Византии. Не похоже, чтобы эти враги были каким-то малоизвестным народцем.¹ Характеристика, какую им дает топарх, — их мягкость и справедливость, их бывшее могущество, когда они одерживали блестящие победы и к ним легко присоединялись города и народы, не подходят ни к диким печенегам, ни к разбойничьему племени черных болгар.

В. Г. Васильевский видит во врагах топарха руссов, а „в царствующем к северу от Дуная“ — великого князя Святослава. По его мнению, Святослав явился на Дунае первоначально как союзник Византии, что дало возможность Византии попытаться хоть частично восстановить свою власть на Дунае, тем более, что она располагала значительным флотом. Таким образом, представитель императорской власти мог явиться на Дунае с небольшой свитой и небольшим отрядом. Когда же византийское правительство вступило в союз с царем Петром и начало возбуждать болгар против русской власти, руссы с своими союзниками печенегами и венграми забыли прежнюю справедливость и начали без разбора истреблять своих подданных. Топарх сначала находился ближе к центру русских операций, т. е. к Доростолу и Переяславцу, а затем отступил в Климаты (место старой юстиниановской крепости (Κλημάδες) в Паннонии около Гирсовы). Но местные жители, сначала державшиеся византийского топарха, скоро стали искать спасения в признании верховной власти русского князя Святослава и заставили топарха сделать то же.

В характеристике деятельности топарха на Дунае Васильевский колеблется: с одной стороны, он готов признать его лояльным византийцем, до конца отстаивавшим интересы империи на Дунае и ведущим, как то и вытекает из „Записки“, войну с руссами, а с другой — допускает, что он был спутником Калокира, вместе с Калокиром предавал Византию и потом испросил в Доростольском лагере² себе помилование у Цимисхия вместе с посланцами 80 городов, плативших дань Святославу.³ Но совершенно очевидно, что если бы он был спутником Калокира и вместе с Калокиром предавал Византию, то он, естественно, пользовался бы покровительством Святослава, и никакой войны против него русские, разумеется, не вели бы. Нам вообще трудно поверить, чтобы византийское правительство посылало свои гарнизоны в Дунайскую Болгарию в 968 г., после покорения этой страны руссами, так как Святослав не нуждался в этой помощи, а источники нам говорят, что если Византия поддерживала Святослава, то только золотом. Но если бы византийское правительство и забросило неблагоприятно гарнизоны на Дунай и если бы эти отрезанные от империи гарнизоны попытались

¹ А. Куник. О „Записке готского топарха“, стр. 82.

² В. Г. Васильевский. Записка греческого топарха. „Труды“, т. II, вып. 1, стр. 211.

³ Там же, стр. 212.

в 969—970 гг. вступить в войну с руссами, венграми и печенегами Святослава, то они были бы, конечно, быстро уничтожены. Известно, как беспощадно расправлялся Святослав со своими врагами. Совершенно невероятно, чтобы враждебный Святославу византийский топарх получил от него такие богатые милости, о которых рассказывается в „Записке“.

Область топарха должна определяться каким-то местом в придунайских странах, но трудно согласиться с мнением Васильевского, отождествлявшего Климаты топарха с юстиниановским укреплением *Κλημάδες* вблизи Гирсовы, так как, во-первых, невозможно допустить, чтобы небольшое юстиниановское укрепление, построенное в VI в., сохранилось на Дунае до конца X в.; во-вторых, юстиниановские *Κλημάδες* и в звуковом отношении не подходят к τὰ *Κλίματα*; в-третьих, из первого отрывка видно, что владение топарха нужно искать не в глубине Паннонии около Гирсовы, а ближе к Маврокастроу, где мы видим топарха с его отрядом. А самое главное — в тексте „Записки“ нет ни малейшего намека на то, чтобы варвары — враги топарха — были тождественны с подданными русского князя. Напротив, все говорит за то, что это были два совершенно различных народа. В „Записке“ мы читаем: „Варварам не была доступна никакая пощада даже в отношении к самым близким“.

Какие же близкие соплеменники могли быть в Болгарии у руссов? Как мы уже устанавливали, из слов топарха достаточно определенно вытекает, что какие-то вожди опустошали свою собственную страну. Васильевский отождествляет „царствующего к северу от Дуная“, которого избирают своим господином и покровителем собранные топархом его сторонники, с главой тех самых варваров, которые, по свидетельству топарха, самым бесчеловечным образом все опустошали. Из третьего отрывка мы узнаем, что из опасения, чтобы неприятель не появился снова с большим войском, топарх принимает разнообразные меры: обучает своих людей военному делу, укрепляет стены города, собирает знатнейших людей на совещание.

Во всех его действиях проглядывает твердое решение продолжать войну, а не желание заключить мир с варварами. Он раньше делал мирные предложения, но они оказались совершенно бесполезными. Поэтому и на собрании речь идет не о заключении мира с неумолимыми варварами, а о выборе сильного покровителя, который мог бы охранить от неприятельских покушений. Трудно предположить, чтобы сторонники топарха на этом собрании возымели намерение броситься в объятия тех самых варваров, которые не давали пощады даже своим единоплеменникам и которые только что потерпели поражение перед Климатами.

От этих непримиримых врагов сторонники топарха не могли получить ни мира, ни независимости. „Лучшие люди“, явившиеся на зов топарха, были сторонниками топарха, а не варваров. Они объединились с топархом для общего дела, направленного именно против опасных варваров. Если бы варвары были русскими, как это предполагает Васильевский, и русские вели борьбу с топархом, то как объяснить столь лестный для топарха прием у русского великого князя, быстрое окончание дела и выгодные условия договора?

Поэтому содержание второго и третьего отрывков не дает нам возможности признать взгляды Васильевского, который видит во врагах топарха руссов, а в „царствующем к северу от Дуная“ — великого князя Святослава. По тем же причинам мы не можем признать и

выводы М. А. Шангина, который в своей работе „Византийские источники о войнах Святослава“ также относит „Записку топарха“ ко времени войн Святослава в Болгарии, приурочивает содержание „Записки“ к событиям 970 г. и пытается локализовать Климаты „Записки“ во Фракийских Климатах, которые, по Константину Порфирородному, находились на р. Месте.¹

Константин действительно упоминает среди городов фемы Фракии рядом с Филиппополем, Фазосом и Самофракией „Клима Местик и Аконтiona“. По мнению М. А. Шангина, с таким географическим определением местопребывания топарха согласуется то, что он был представителем современной ему греческой образованности, а также и то, что греки этого края находились в непосредственном общении с соседями-славянами, а отсюда признание у жителей этого края родства своих обычаев с сопредельным славянским населением. Греки, по мнению Шангина, сначала оставили свой город, потом возвратились в него и при наступлении зимы 969 г. отразили набег врагов. Описываемые в третьем отрывке события, утверждает М. А. Шангин, относятся к набегам 970 г. во Фракию русских и их союзников — печенегов и венгров. В этом же году топарх этих Фракийских Климатов отдался с своими соседями под власть Святослава. Таким образом, Шангин, так же как Васильевский, видит в врагах топарха русских, и мы уже указали почему этот взгляд неприемлем. Но против теории Шангина могут быть выдвинуты и дополнительные возражения. Прежде всего, мы не знаем, существовал ли действительно во Фракии в X в. такой город или административный округ, так как Константин заимствовал перечисление городов Фракии из источника VI в. — Синекдема Иерокла. Далее, невероятно, чтобы начальник города или небольшого административного округа, близкого к столице, действовал так независимо помимо византийского правительства и зачем-то очутился на Днестре и Днестре. Нам непонятно также, как Святослав мог раздавать города и владения в не принадлежавшей ему никогда византийской Фракии. Также невероятна гипотеза Милюкова, видевшего врага топарха в болгарских царях Симеона в конце IX в. Против Симеона Византия не могла сохранить своих собственных владений во Фракии и Македонии. Поэтому при Льве Мудром византийские гарнизоны не могли появляться на Дунае. Византийский автор не мог называть болгарского царя Симеона „царствующим к северу от Дуная“, и, наконец, гипотеза Милюкова совершенно не согласуется с палеографическими наблюдениями Газе.

Итак, если события, о которых рассказывается в „Записке“, происходят в Придунайской области, то время этих событий, очевидно, нужно искать тогда, когда Болгария была уже завоевана Византией. Содержание отрывков может быть объяснено только при условии приурочения их к греко-болгарской войне при Василии II. После победы над Святославом Цимисхий оставил в дунайских городах достаточные гарнизоны, в окрестностях Филиппополя расселил выведенных из Азии павликиан. Доростол был переименован в Теодороуполь. Как всякая вновь покоренная область, Дунайская Болгария получила военную администрацию, но воля болгарского народа к независимости не была еще сломлена, и понадобились еще десятки лет ожесточенной борьбы, чтобы привести Болгарию к покорности. Для истории греко-болгарской борьбы конца X и начала XI в. одним из важнейших пробелов навсегда

¹ De Thematibus, p. 47.

останется отсутствие собственно болгарских источников. Это обстоятельство усугубляется потерей современной хроники Феодора Севастийского. Поэтому мы должны черпать сведения об этой войне из компиляций XII в. Не удивительно, что важные события этой войны до настоящего времени остаются плохо освещенными. Но известно, что смерть Цимисхия и внутренние смуты в Византии в связи с гражданской войной, начатой Вардой Склиром, бедственно отразились на новых приобретениях Византии. Пользуясь удобным случаем, против византийских поработителей поднялись западные болгары, во главе которых стали четыре брата Комитопулы: Давид, Моисей, Аарон и Самуил, из которых на первый план выдвинулся последний.¹

Скилица-Кедрин пишет: „В то время как ромейские силы были заняты борьбой против Склира, Самуил, уловив удобный случай, разорвал весь Запад, не только Фракию, Македонию и окрестности Фессалоники, но и Фессалию, Элладу и самый Пелопоннес. Он взял много укрепленных городов, в числе которых главным был Ларисса. Жителей целыми родами он переселял во внутреннюю Болгарию и, зачислив в свои воинские списки, пользовался их содействием против греков“.

В то же время или немного позднее была потеряна Византией почти вся Дунайская Болгария, хотя не исключена возможность, что, имея флот и используя такую артерию, как Дунай, Византия могла сохранять отдельные пункты на Дунае. Но положение этих отрезанных от Византии гарнизонов становилось все более тяжелым. Они в значительной степени были предоставлены самим себе, что и заметно в действиях нашего топарха. Попытка молодого императора Василия II нанести удар восставшим болгарам у Софии (Средца) закончилась 17 августа 986 г. полной неудачей.² За этим ударом Византию постигло новое тяжелое бедствие — восстание Варды Фоки (987—989). Положение на Балканах в это время картинно изображает византийский поэт Иоанн Геометр во втором стихотворении „На восстание“. Упомянув о бедствиях на Востоке, он продолжает: „а то, что делается на Западе, какое слово нам это расскажет? Толпа скифов... как будто на своей родине рыщет и кружит здесь по всем направлениям. Как землю, взрастившую благородные ветви, они с корнем вырывают крепкую породу железных мужей, и меч делит пополам поколение младенцев: одни остаются матери; других враг вырывает силой своих стрел. Прежде крепкие города — теперь легкий прах; табуны лошадей там, где жили люди. Видя это, как перестану — удержусь от слез? Так истребляются города и села“.³ Очевидно, здесь описывается та же картина, которую мы видим в „Записке топарха“. Врагами византийского топарха являлись Комитопулы и их сторонники, жестоко управлявшиеся не только с византийскими гарнизонами, но и со сторонниками византийцев, которых, как отмечает болгарский историк Златарский, было немало среди кметей, духовенства, влахов.⁴ Из слов автора достаточно ясно вытекает, что какие-то вожди опустошали свою собственную страну и не щадили своих единоплеменников.

¹ Cedreni, 434; Zonaras, 175.

² А. Л. Липовский. История греко-болгарской борьбы в X—XI вв. ЖМНП, ч. ССLXXVIII, 1891, ноябрь, стр. 130.

³ В. Г. Васильевский. Русско-византийские отрывки. ЖМНП, 1876, март, стр. 176.

⁴ В. Н. Златарский. История на Българияската държава..., т. I, ч. 2. София, 1927.

Восстание Комитопулов против Византии имело в то же время характер гражданской войны. Если на сторону Комитопулов перебегали отдельные византийские динаты, недовольные Василием, как Ватаци, Василий Глава, Никулица, то и Самуил должен был умертвить собственного брата Аарона, уличенного в предательских сношениях с Византией; зять Самуила предательски сдал Византии важную крепость Дураццо, а епископ Виддинский помог византийцам овладеть Виддином. Понятно, что смелые патриоты — поборники болгарской независимости, жестоко расправлялись не только с византийцами, но и их прислужниками и сторонниками. Поэтому-то автор „Записки“ и отмечает, что „не было у них пощады даже к самым близким... и старались они сделать добычей мисян собственную страну“. Автор „Записки“ вспоминает Болгарию времен Симеона и царившую тогда, по его мнению, у них мягкость и справедливость: „Ибо извратилась прежняя их мягкость и справедливость. Их-то уважая раньше больше всего, они воздвигли себе величайшие трофеи. Города и народы добровольно примыкали к ним“. Автор „Записки“, очевидно, имеет в виду тягу славянского населения Балканского полуострова к симеоновской Болгарии. Зато, как и следовало ожидать от византийского автора, он очень недоволен поведением Самуила и так же, как Иоанн Геометр, описывает современное положение дел в Болгарии самыми мрачными красками. С этим неумолимым врагом у византийского топарха не могло быть ни примирения, ни соглашения. Хотя главным театром военных действий все время была Западная Болгария, но и на Дунае положение византийских гарнизонов, не получавших помощи, становилось все более тяжелым. Постепенно под ударами Комитопулов гибли одни за другими несчастные соседи топарха. Он сам был вынужден отступить и на новом месте строить крепость из остатков разрушенной. Положение казалось таким безнадежным, что созданное топархом собрание местной знати, еще поддерживавшей Византию, увидело единственное средство спасения в том, чтобы отдаться под покровительство „царствующего к северу от Дуная“. Время описываемых в „Записке“ событий может быть приурочено к периоду от смерти Цимисхия, когда Комитопулы открыто выступили, до 1001 г., когда полководцы Василия II Теодорохан и Никифор Ксифия снова покорили Придунайскую Болгарию, взяли города Великую и Малую Преславу, Плиску, Доростол и другие придунайские крепости. В 1003 г. власть Византии в Придунайской Болгарии была окончательно закреплена. Следовательно, наблюдаемая топархом в первом отрывке конstellация звезд в Борионе могла иметь место в 993 г., когда Сатурн проходил созвездие Водолея, а если принять поправку М. А. Шангина на основании византийских астрономических книг, — то в 1000 г.

Теперь нам остается разрешить вопрос, кто был „царствующий к северу от Дуная“, к покровительству которого прибегли теснимые восставшими болгарами топарх и его сторонники.

Если события „Записки“ относятся, как мы признали, к области Нижнего Дуная и приурочиваются к последнему десятилетию X в., то возможными покровителями топарха могли быть только венгерский король Стефан и великий русский князь Владимир. Что касается Венгрии, то после хищнических набегов и побед, устранивших всю Западную Европу в начале X в., венгры потерпели сильное поражение от Оттона I под Лехом в 955 г., значительно их ослабившее, и активная роль Венгрии в делах Восточной Европы начинается только с 70-х годов XI в. К концу X в. в царствование Стефана I происходит

крещение венгров, но новая вера медленно проникала в массы венгерского народа. В Трансильванию венгры начинают проникать при Стефане I. Источники не сохранили следов активного вмешательства венгров в болгарско-византийскую войну. Мы знаем, что Самуил заключил в 999 г. мирный договор с венграми, скрепив его браком своего сына Гавриила Радомира с дочерью венгерского короля. Но, повидимому, византийская дипломатия помешала упрочению дружественных отношений между Венгрией и Болгарией. Зато между Византией и Венгрией при Василии II установились самые дружественные отношения, что, вероятно, и явилось причиной скорого развода Гавриила Радомира с дочерью венгерского короля и изгнания последней из Болгарии.

Дружественные отношения между Василием II и Стефаном делали бы правдоподобным предположение о том, что греческий топарх со своими сторонниками мог искать и получить покровительство венгерского короля, если бы этому не противоречило указание „Записки“, что сторонники топарха по быту и нравам не отличались от народа „царствующего к северу от Дуная“. Мы знаем, что венгры в указанное время в огромном большинстве еще оставались кочевниками и даже в XII в. еще сохранили пережитки кочевого быта. Зато русские племена, входившие в состав государства великого князя Владимира, действительно были единоплеменниками дунайских болгар и мало отличались от них в своем быту. Бурачков полагает, что Русь в это время была отделена от Дунайской Болгарии печенегами, и потому нельзя сказать, что владения русских князей граничили с землями дунайских болгар. Но исторические свидетельства показывают ошибочность этого утверждения. Еще в летописные времена по Днестру и Бугу вплоть до Дуная сидели восточнославянские племена уличей и тиверцев: „Уличи и тиверцы сидяху бо по Днестру, приседяху к Дунаеву, бе бо множество их седяху по Днестру от до моря. Суть бо гради их до сего дня“, — сообщает летописец. В своем продвижении на Запад от низовья Днепра уличи заходят далеко в глубь современной Молдавии, где такие поселения, как Сулучи, Залучи, Лучиу, Улуйцы, говорят о пребывании уличей.¹

Связи между растущим русским государством, центром которого было среднее Поднепровье, и Дунаем были очень тесны. Мы не говорим о торговых караванах русских, которые регулярно заходили в устье Дуная. В XI, XII—XIII вв. и позднее по Пруту и Днестру и даже в Трансильвании сохраняются русские поселения. Анна Комнина сообщает о самостоятельных князьях, правивших на нижнем Дунае; в числе их она называет русского Всеслава, правившего в Вичине.² Русские не сплошь занимали территорию нижнего течения Дуная. Атталиота говорит о множестве городов по Дунаю, а население их называет многоязычным. Еще в начале XII в. на Дунае русские играют активную роль.

В 1116 г. Мономах посылает на Дунай Ивана Войтишича, который сажает в подунайских городах княжеских посадников, причем для этого Мономаху не пришлось прибегать даже к военным действиям. В XII в.

¹ М. С. Грушевский. Киевская Русь, стр. 240—256. Н. Барсов. Очерки русской исторической географии. В. В. Мавродин. Русские на Дунае. „Ученые записки“, № 87. Серия гуманитарных наук, стр. 4—17.

² Ю. Кулаковский. Где находилась Вичинская епархия Константинопольского патриархата. „Византийский Временник“, 1897, т. IV, вып. 3—4, стр. 322; В. Г. Васильевский. Византия и печенеги. ЖМНП, 1872, ч. XII, стр. 305.

вся Подолия, Галичина, Буковина, Молдавия, Бессарабия входят в состав Галицкого княжества древней Червонной Руси. Наличие не отдельных русских жителей, а целых русских поселений по Днестру и Дунаю подтверждает Воскресенская летопись, в которой находим длинный список городов русских по Днестру и Дунаю.¹ Таким образом, наличие русских поселений к северу от Нижнего Дуная не вызывает сомнений. В то же время мы знаем, что никогда авторитет великого князя киевского в Восточной Европе не стоял так высоко, как при Владимире. Владимир по существу закончил объединение восточнославянских племен. Летопись сообщает, что в 981 г. он подчинил себе Волинь и Галицию. В следующем году он идет против восставших явятичей; в 983 г. „иде Володимер на явтяги и победи явтяги и взя земли их“. В 984 г. Владимир воевал с болгарами. Ф. И. Успенский полагал, что Владимир вмешался в борьбу между дунайскими болгарами и Василием II, но Б. Д. Греков убедительно доказал, что Владимир воевал с камско-волжскими болгарами.²

Отношения с Византией при Владимире претерпели немало резких изменений. Как свидетельствует Яхтя Антиохийский, у Владимира с Византией долгое время были враждебные отношения. В 987 г. эта вражда заменяется союзом, посылкой шеститысячной дружины в Константинополь, которая в двух сражениях разгромила Варду Фоку. Владимир спас Василия II от гибели. Но так как Василий II не выполнил условия договора и отказал Владимиру в выдаче замуж своей сестры, то Владимир в 989 г. пошел в Крым и после нескольких месяцев осады взял Херсонес. Эта катастрофа произвела глубокое впечатление в Византии. Василий должен был заговорить другим языком. Он сейчас же посадил Анну на корабль и доставил в Херсонес. За этим последовало бракосочетание Владимира и крещение Руси. Владимир и после крещения держался по отношению к Византии достаточно самостоятельно. Главой русской церкви и настоятелем построенной Владимиром Десятинной церкви стал Анастас, который предал Херсонес Владимиру. Владимир вел самостоятельные сношения с болгарской церковью, вызывал на Русь болгарских церковников, выписывал церковно-богослужебные книги на славянском языке. Но родственные связи с византийским двором и начатая Владимиром христианизация Руси вынуждали Владимира поддерживать дружественные отношения с Византией. Он не отзывал варяго-русской дружины из Константинополя, и она играла славную роль в течение всего царствования Василия II. В 1016 г. войска Владимира и Василия II Болгаробойцы предприняли совместный поход против хазар, одержали быструю победу, и остатки хазарских владений были разделены между союзниками. Следует предположить, что в период наибольших успехов Самуила теснимый восставшими болгарами и отрезанный от Византии византийский топарх на Дунае со своими сторонниками из местного населения, скомпрометированными сотрудничеством с Византией, мог искать спасения и покровительства у русского князя Владимира.

И для нас не может представлять ничего удивительного, если великий князь Владимир, зять Василия II, дружественно отнесся к византийскому топарху и не только оставил под его властью небольшой город Климаты, но и предоставил целую сатрапию и, сверх того, подарил в своей земле достаточные ежегодные доходы. Даруемая

¹ ПСРЛ, т. VII, стр. 240.

² Б. Д. Греков в. Киевская Русь. М., 1944, стр. 273.

пограничная территория могла рассматриваться как его собственная. Во всяком случае его решение было авторитетным для врагов топарха, которые к тому же, как видно из текста, не располагали значительными силами на нижнем Дунае.

Васильевский считал, что время Владимира никак не подходит для объяснения отрывков, так как „в 993—996 году мы не можем допустить неприязненных отношений Руси с греками“.¹ Но из изложенного видно, что таких неприязненных отношений не было. Врагами топарха, заставившими его искать покровительства русского князя, были болгары Самуила, а не руссы Святослава.

При этом топарх все же недобровольно отдался в руки киевского князя. Как видно из текста „Записки“, он созвал собрание знати из своих сторонников для того, чтобы они объявили себя византийскими подданными и подкрепили его силы, и только по требованию собрания согласился заключить с киевским князем договор и предаться ему, причем сделал это потому, что у него не было другого выхода.

Ф. И. Успенский считает невероятным, чтобы византийский чиновник X в., не поискав другого выхода, хотел подчиниться „царствующему на север от Дуная“ и таким образом совершить акт государственной измены. Но сам же Ф. И. Успенский признает, что топарх действует с исключительной энергией потому, что находится в исключительных обстоятельствах. Во время византийско-болгарской войны при Василии II, находясь в тяжелых условиях, византийские должностные лица неоднократно действовали весьма самостоятельно и нередко проявляли собственную инициативу. Так, в открытом В. Г. Васильевским „Стратегиконе Кекавмена“ в главе о разумном начальнике крепости Кекавмен рассказывает следующее: „Когда дед мой Кекавмен был в Лариссе, имея власть над Элладой, тиран болгарский Самуил много раз пытался то войной, то хитростью овладеть Лариссой, но всякий раз был отражаем и посрамляем. (В свою очередь дед мой) то преследовал его войной, а то старался смягчить его самого и приближенных подарками. Поступая так, он имел беспрепятственную возможность сеять и жать и таким образом сохранять своих людей в довольстве. Когда же увидел, что тиран совершенно взял верх, то он провозгласил его (т. е. признал своим государем) и таким образом, опять проведя его, посеял и сжал. Он написал к порфирородному императору Василию, что я-де, святой мой господин, вынужденный отступником, велел лариссийцам провозгласить его, и они с богом сеяли и жали, и молитвами твоей царственности я собрал плодов столько, что лариссийцам их будет достаточно на четыре года, и вот мы теперь опять — рабы твоей царственности. Узнав об этом царь одобрил хитрость моего деда“.²

Таким образом, мы видим, что „Записка топарха“ не имеет никакого отношения ни к Крыму, ни к крымским готам. Автор „Записки“ — византийский чиновник, а не крымский владетельный князь. Точно так же ни Святослав, ни хазары не имеют никакого отношения к „Записке“. Эта „Записка“ проливает новый свет на историю греко-болгарской борьбы при Василии II и Самуиле. Удивительным образом болгарские историки до сих пор не обратили внимания на этот источник,

¹ В. Г. Васильевский. Записка греческого топарха. „Труды“, т. II, вып. 1, стр. 206.

² В. Г. Васильевский. Советы и рассказы византийского боярина XI века. ЖМНП, 1881, ноябрь, стр. 103.

важный для эпохи героической борьбы болгарского народа за свою независимость.

„Записка“ показывает отчаянные усилия византийских властей удержаться в Придунайской области в период наибольших успехов Самуила. Это был период, когда Византия пыталась восстановить старые римские границы в Придунайской области и наталкивалась на ожесточенное сопротивление болгарских народных масс, борющихся за свою независимость. „Записка“ знакомит нас с византийскими администраторами конца X в., которые развивают большую активность, проявляют гибкость и изворотливость. Подобных примеров самостоятельных действий византийских администраторов времени Василия II мы можем привести немало. Достаточно вспомнить, например, какую находчивость, соединенную с чисто византийской неразборчивостью в средствах, проявляли во время подавления болгарского восстания такие сподвижники Василия II, как Константин Диоген при овладении Сирмием, Евстафий Дафномизлис при обезвреживании опасного болгарского вождя Иваца.

Но „Записка топарха“ важна в то же время как новое доказательство тесных связей древней Руси с придунайскими странами в конце X в. и как иллюстрация того влиятельного положения, которое занимал в то время русский великий князь в Восточной Европе.

Вместе с тем „Записка топарха“ является важным источником, показывающим наличие русского оседлого населения в придунайских областях и в устье Днестра, где в половине XI в. в Маврокастроне была даже учреждена церковная митрополия, получившая название Новой России.

А. П. КАЖДАН

„ВЕЛИКОЕ ВОССТАНИЕ“ ВАСИЛИЯ МЕДНОЙ РУКИ

Работы современных буржуазных византинистов проникнуты открытым идеализмом. „Для историков Византии, — утверждает, например, Г. Острогорский, — основным вопросом является вопрос, как... греко-христианский дух жил и развивался в римской форме, насколько он сумел себе эту форму подчинить и насколько сам ей подчинился и к ней применился“.¹ Выразителями этого духа, а следовательно, с этой точки зрения, и творцами исторического процесса оказываются в изображении буржуазных византинистов отнюдь не народные массы, не классы, но великие личности. Поэтому история Византии рассматривается буржуазной историографией обычно как история византийских императоров. „В Византии, — писал С. Ренсимен, — где все управление было сосредоточено в руках императора, его жизнь и характер играли определяющую роль. Остальные элементы могли иметь известное значение, представляя собой материал, из которого он творил, и орудия для его рук, — но судьба империи зависела от него, от его способностей или непригодности, мощи или слабости“.²

Буржуазные византинисты не видят и не хотят видеть того, что „история общественного развития есть... история самих производителей материальных благ, история трудящихся масс, являющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих производство материальных благ, необходимых для существования общества“.³ Тем менее хотят они понять, что развитие общества протекает в условиях ожесточенной классовой борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми, — ее они подменяют борьбой отвлеченных понятий: деспотизма и феодальной „свободы“, императорской власти и церкви и т. п.

Особенно большую историческую роль буржуазные византинисты отводят императорам Македонской династии: Роману Лекапину, Никифору Фоке, Иоанну Цимисхию, Василию II. Их деятельности и талантам буржуазные византинисты приписывают внешнеполитический подъем империи в X в. Этих императоров они изображают как защитников „всеобщего блага“, как покровителей слабых и бедных,⁴ подчеркивают их „гуманные меры“ в защиту мелкого землевладения.⁵ Государство

¹ Г. Острогорский. Отношения церкви и государства в Византии. „Semi-narium Kondakovianum“, IV, 1931, стр. 122.

² S. Runciman. Emperor Romanus Lecapenus and his reign. Cambr., 1929, p. 10.

³ „История ВКП(б). Краткий курс“, стр. 116.

⁴ В. Г. Васильевский. Материалы для внутренней истории Византийского государства. ЖМНП, ч. ССII, 1879, стр. 168.

⁵ Ф. И. Успенский. К истории крестьянского землевладения в Византии. ЖМНП, ч. ССХV, 1883, стр. 33.

этого периода изображается как отвлеченная надклассовая сила, якобы защищающая мелкое землевладение и борющаяся „во имя общего блага“ с магнатами.¹

Изображая императоров Македонской династии защитниками „всеобщего блага“ и мелкого землевладения, буржуазные историки, разумеется, закрывают глаза на ожесточенную классовую борьбу, имевшую место в это время в Византийской империи и определившую те мизерные реформы, которые восторженные поклонники самодержавия объявили „гуманными мерами“ человеколюбивых императоров. Одним из важнейших моментов классовой борьбы этого периода явилось „великое восстание“ под руководством Василия Медной руки, изучением которого пренебрегают буржуазные византилисты: в специальной монографии Ренсимена, посвященной истории императора Романа Лекапина, мы не находим даже упоминания об этом восстании. Только советские ученые (М. В. Левченко) затрагивали, хотя и бегло, этот вопрос в своих работах.²

Источники

Сведения о восстании Василия чрезвычайно скудны. О нем рассказывает лишь так называемая хроника Симеона Логофета, представляющая собой продолжение хроники Георгия Мниха (Амартола) и охватывающая период от 843 до 948 г. Написанная современником Романа Лекапина³ и завершенная, как это доказал В. Г. Васильевский,⁴ не позднее 963 г., эта хроника дошла до нас в трех редакциях.

Первая редакция представлена московской и парижской рукописями Георгия Мниха, а также так называемыми хрониками Льва Грамматика и Феодосия Мелитинского. К ним близок второй извод этой редакции, представленной славянским Логофетом⁵ и некоторыми неизданными греческими рукописями.⁶ Ватиканская рукопись Георгия Мниха (Vatic. 153), изданная В. М. Истриным,⁷ представляет собой вторую редакцию. Текст этой редакции в интересующей нас части был положен в основу хроники продолжения Феофана.⁸ Наконец, третья редакция представлена одной парижской рукописью (Paris, 1712), которая была издана Комбефисом под именем Симеона Магистра и получила впоследствии наименование хроники Псевдо-Симеона.

¹ S. Runciman, op. cit., p. 225; G. Ostrogorsky. The peasant's pre-emption right. „Journal of Roman Studies“, XXXVII, 1947, p. 117.

² М. В. Левченко. История Византии. М.—Л., 1940, стр. 162.

³ F. Hirsch. Byzantinische Studien. Leipzig, 1876, S. 80 ff.

⁴ В. Г. Васильевский. Два надгробных стихотворения Симеона Логофета. „Византийский Временник“, III, 1896, стр. 576.

⁵ В. И. Срезневский. Симеона Метафраста и Логофета списание мира от бытия и летописи собран от различных летописей. СПб., 1905. См. о нем: В. Г. Васильевский. Хроника Логофета на славянском и греческом. „Византийский Временник“, II, 1895, стр. 78—151; Г. Острогорский. Славянский перевод хроники Симеона Логофета. „Seminarium Kondakovianum“, V, 1932, стр. 17—37.

⁶ О Paris. 854 — см. С. Шестаков. Парижская рукопись хроники Симеона Логофета. „Византийский Временник“, IV, 1897, стр. 167—183; о Vatic. 1807 — С. Шестаков. О рукописях Симеона Логофета. „Византийский Временник“, V, 1898, стр. 19—28. Ср. еще С. de Boor. „Byzantinische Zeitschrift“, IV, 1897 и X, 1901.

⁷ В. М. Истрин. Книги временныя и образныя Георгия Мниха, т. II, Петроград, 1922. Известие о восстании 932 г., стр. 59, 22—36.

⁸ F. Hirsch, op. cit., S. 41 ff.

Известие об интересующем нас восстании передано в первых двух редакциях в распространенной версии, тогда как в Paris, 1712 рассказ подвергся значительному сокращению. Хроника Скилицы-Кедрина передает вслед за продолжателем Феофана распространенную версию.¹ В других хрониках сведений о восстании нет. В частности, Зонара, опуская рассказ Скилицы об этом восстании, вставляет на его место подробное повествование о низложении малограмотного патриарха Трифона, которого обманом заставили подписать отречение.² Рассказ этот вводится словами: „ἀναβεβλήσθω δὴ περὶ τούτων διήγησις“, свидетельствующими о том, что данное место Зонары является вставкой.

Замена рассказа о крестьянском восстании анекдотом о патриархе Трифоне показывает нам тенденцию византийских хронистов, стремившихся стереть память о возмущениях народных масс.

При оценке хроники Симеона Логофета необходимо помнить, что автор был несомненным политическим сторонником императора Романа Лекапина: он подчеркивает мужество императора при виде болгарских полчищ и заставляет самого болгарского царя Симеона хвалить перед своими „мегистанами“ разум и скромность византийского императора; Логофет прославляет Романа за заботливость, проявленную им в трудные годы голода. Рассказывая о поражении византийцев при Ахелое, Логофет умалчивает о виновнике этого поражения, хотя из сообщений Льва Диакона (стр. 124—125) и Лиутпранда (Antapodosis III, 27) мы знаем, что этим виновником был Роман Лекапин.

Чрезвычайно сдержан Логофет в отношении провинциальной знати: он совершенно умалчивает о деятельности Никифора Фоки, старшего при Льве VI, которая известна нам по другим источникам;³ коротко и глухо говорит о победах Иоанна Куркуаса; резко осуждает Константина Дуку. Все это позволяет предположить, что Логофет принадлежал к придворным кругам, которые с опаской смотрели на рост могущества провинциальной феодальной знати.

Экономическое и политическое положение в Византии *накануне восстания

Экономическое положение Византийской империи в начале X в. было чрезвычайно тяжелым. Византийское крестьянство при Романе Лекапине изнемогало под бременем податей. Это заставило Константина VII немедленно после низложения сыновей Романа Лекапина провести некоторые снижения податей. „Император слышал, — рассказывает продолжатель Феофана, — о несправедливостях и поборах, которым подвергались при его тесте Романе несчастные и почтенные „убогие“ со стороны стратиггов и протонотариев, воинов и всадников, и он послал благочестивых и почтенных мужей, чтобы облегчить (χορρίζει) огромное бремя податей, взимавшихся с несчастных бедняков“.⁴

Агиографическая литература постоянно упоминает сборщиков податей: об их жестокости говорят еще жития IX в.: Георгия Амастридского, Филарета Милостивого, Григория Декаполита. Житие Феоклита

¹ Cedrenus II, 315. 6—21.

² Zonarae. Epitome historiarum, ed. L. Dindorf, IV, 1871, p. 62.2—63.5.

³ А. А. Васильев. Византия и арабы за время Македонской династии. СПб., 1902, стр. 118 и сл.

⁴ Theophanes Continuatus. Chronographia, ed. J. Bekker, Bonn, 1838, p. 443.

(ум. 879), написанное, скорее всего, в X в., осуждает практоров, своекорыстно проводивших подсчет скота.¹ Особенно интересно известие жития Марии Новой (ум. 902), написанного в середине X в.: в нем рассказывается о диойкете, который заключал в тюрьму бедных крестьян, оказавшихся не в состоянии заплатить тяжелые налоги.²

Агиографическим памятником вторит трактат *De velitatione bellica*, который повествует о жалких людишках — сборщиках податей, подвергающих побоям стратиотов и „убогих“ и извлекающих для себя из крови бедняков многие таланты золота.³

Византийские крестьяне обязаны были в это время, помимо уплаты разнообразных денежных поборов, выполнять натуральные и отработочные повинности. Они должны были поставлять хлеб в города, снабжать императорский двор рыбой и другими продуктами, содержать войска и чиновников, едущих по государственным делам, строить укрепления; они же выполняли ямскую повинность, и из их среды рекрутировалась византийская армия.

В поисках спасения от бремени податей и военной службы крестьяне и стратиоты нередко покидали родные места. Об этом постоянно говорят памятники X в. С бегством крестьян от тяжести податей вынужден был считаться даже „Трактат об обложении“, рекомендуя в некоторых случаях уменьшать поземельную подать. Акты X в. повествуют о бегстве стратиотов, просодиариев (плативших подать натурой) и государственных париков, которые скрывались на землях архонтов и церквей.⁴ Особенно много сохранилось известий о бегстве стратиотов. В одном из писем патриарха Николая Мистика упоминается дезертирство из армии.⁵ В житии Павла Латрского рассказывается о 10 стратиотах, которые были схвачены по приказу начальника фемы за то, что уклонялись от „общей литургии“.⁶ Новелла императора Романа II устанавливает строгое наказание и для беглых стратиотов и для тех, кто принимает их в своих владениях.⁷

В борьбе против угнетения крестьяне далеко не всегда ограничивались бегством. Часто они создавали вооруженные отряды, о которых рассказывают жития X в. В житии Павла Латрского мы находим рассказ о крестьянах, которые бродили по дорогам в районе Милета и грабили богатых; войскам удалось в конце концов схватить их, но Павел Латрский вынужден был взять этих крестьян под свою защиту, так как симпатии населения были на их стороне.⁸ Из жития Никона Метаноите мы узнаем о том, что вблизи от Спарты в X в. существовало несколько непокорных деревень, население которых занималось, по выражению агиографа, „разбоем“.⁹

Тяжесть податей и жестокость податных сборщиков толкала византийского крестьянина в цепкие лапы ростовщиков. Об отчаявшемся бедняке, задолжавшем 10 номисм, рассказывает житие Евстратия

¹ N. Vées. *Vie de S. Théoclète, évêque de Lacédemoine*. „Византийское обозрение“, II, 1916. Прилож. № 1, стр. 31. 22—27.

² Vita S. Mariae Junioris, ed. P. P(eeters), AASS, Novembris, IV, p. 593 D.

³ Издано вм. с Leo Diaconus. *Historia*, ed. Hasii, Bonn, 1828, p. 230. 23.

⁴ Александр Лаврский. *Ἀδούτις Στοί.* „Византийский Временник“, V, 1898, стр. 488. 2.

⁵ Migne. *Patr. gr.*, v. CXI, col. 276 B.

⁶ *Analecta Bollandiana*, XI, 1892, 63—64.

⁷ E. Zachariae von Lingenthal. *Jus Gr.-Rom.*, III, 286. 22.

⁸ *Analecta Bollandiana*, XI, 1892, 179.

⁹ А. П. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917, стр. 221.

Авгарского (Агаврского);¹ в житии Филарета Милостивого² и в стихотворениях поэта X в. Иоанна Геометра³ мы встречаем жалобы крестьян на непосильное бремя долгов, заставляющее их бросать родные края и бежать от ростовщиков, подобных диким зверям.

Маркс указывает, что „ростовщик, не довольствуясь выжиманием прибавочной стоимости из своей жертвы, стремится затем мало-помалу приобрести титул собственности на самые условия его труда, на землю, дом и т. д., и постоянно занимается такой его экспроприацией...“⁴ Византийские крестьяне, лишенные земли или бежавшие от податей, превращались в бездомных бродяг, стекались в города, вымаливая себе подавание на папертях церквей. Другие становились мистиями, нанимавшимися к крупным землевладельцам и городским мастерам. Положение мистиев было очень трудным, так как им приходилось выдерживать конкуренцию дешевого рабского труда. Не удивительно, что заработок наемного ремесленника был даже ниже, нежели милостыня, которую собирал нищий, стоявший на „хорошем“ месте.⁵

Рабский труд все еще продолжал сохраняться в Византии X в. В той или иной степени он находил применение как в ремесле, так и в сельском хозяйстве. „Книга епарха“ свидетельствует о наличии рабов у константинопольских ремесленников; „Трактат об обложении“ говорит о рабах и мистиях, которые живут в поместье и обрабатывают его.⁶ Особенно много было рабов-челядинцев.

Многочисленные византийские источники рассказывают об оживленной работорговле X в. Особенно важным является свидетельство новеллы Иоанна Цимисхия, из которой мы узнаем, что стратиготы не только продавали военнопленных на поле сражения, но и отвозили их в византийские эмпории для продажи; архонты же, стремясь купить рабов по более дешевой цене, посылали своих людей в районы военных действий.⁷ Кроме того, рабов поставляли в империю болгары и венецианцы.

Обращение с рабами было крайне жестоким. Фотий рассказывает о некоем вельможе, который был палачом для своих рабов.⁸ Из жития Андрея Юродивого мы узнаем о другом вельможе, который обрекал своих рабов на голод и жажду, лишал хитонов и обуви, подвергал бичеванию.⁹ Повидимому, и в это время все еще оставалось в силе постановление Эклоги (XVII, 49), освобождавшее господина от ответственности за убийство раба, если оно было совершено во время „обычного“ наказания раба ремнями или палками.

Рабы нередко поднимали восстания. Особенно крупное возмущение рабов произошло в конце IX в., когда рабы Асилеона, близкого родственника императора Василия I, подняли восстание, вооружились мечами и убили своего господина, жестокости которого они не могли

¹ A. Parapoulos-Kerameus. 'Ανάλεκτα τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς σταυρολογίας, IV, 378. 3.

² А. А. Васильев. Житие св. Филарета Милостивого. „Известия Русск. археол. ин-та в Константинополе“, V, 1900, стр. 66, 24.

³ Migne. Patr. gr., v. CVI, col. 957 A.

⁴ К. Маркс. Капитал, т. III, 1938, стр. 526.

⁵ А. П. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агнографии. М., 1917, стр. 130.

⁶ F. Dölger. Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung. München, 1927, S. 115. 40.

⁷ E. Zachariae von Lingenthal. Jus Gr.-Rom., III, 302, 9—32.

⁸ A. Nauck. Lexicon Vindobonense, СПб. 1867, p. 224. 14.

⁹ Migne. Patr. gr., v. CXI, col. 725 B.

перенести. Восстание было безжалостно подавлено, восставшие рабы сожжены.

Не играя уже решающей роли в экономике X в., рабство, однако, содействовало ухудшению положения трудящихся масс империи, накладывая свой отпечаток и на новые, феодальные формы эксплуатации.

VIII—X вв. были временем быстрого роста и укрепления феодального поместья. Именно в этот период приобретают громадное влияние многочисленные знатные роды: Фоки, Склиры, Дуки, Куркуасы, Аргиреи, Маленны и пр. В своих владениях они эксплуатировали труд зависимых крестьян, обозначавшихся термином *προσχωθέντοι*.¹ Императоры передавали светской и духовной знати право на сбор податей с крестьян, превращая тем самым крестьян в частновладельческих париков феодальной знати. В то же время феодалы стремятся к расширению своих владений, скупая крестьянские наделы и просто сгоняя крестьян с земли. Новелла Романа Лекапина рисует такую картину захватов и насилий, чинимых феодальной знатью: феодалы, опираясь на своих рабов и мистиев, вторгаются в деревню; сгоняют крестьян с земли, облагают их барщиной.²

Укрепление феодальной знати в провинциях вызывает сопротивление со стороны определенной части господствующего класса. В среде константинопольского чиновничества было немало людей, не связанных с провинциальной феодальной знатью и вышедших из торгово-ремесленных кругов, из богатых клириков и т. д. Богатство, позволившее купить придворный чин, физическая сила или находчивость, обратившая на себя внимание императора, поднимали иной раз человека на высшие ступени социальной лестницы, и бывший конюх мог стать императором. Подобное чиновничество, зависевшее в значительной мере от императорских щедрот, было заинтересовано в сохранении свободного (в феодальном смысле слова) крестьянина, платившего подати, за счет которого оно в значительной мере существовало. Поэтому между провинциальной феодальной знатью и столичным чиновничеством завязывается внутриклассовая борьба: борьба за крестьянскую ренту, за право обирать и грабить крестьянина.³

Таким образом, мы видим, что в Византии в начале X в. имел место ряд противоречий: шла упорная борьба между крестьянами и наступавшими на них феодалами; между рабами и рабовладельцами; между мистиями и цеховыми мастерами, а также борьба внутри господствующего класса — между столичной и провинциальной знатью.

Обострению этой борьбы, несомненно, содействовал внешнеполитический кризис, который переживала Византийская империя с конца IX в. Поэтому не удивительно, что в начале X в. вспыхивают возмущения, — нарастает движение против Византийского феодального государства.

Голод 928 г.

Тяжесть положения народных масс Византийской империи была особенно усугублена неурожаем 928 г. и последовавшим за ним голодом.

¹ G. Rouillard — P. Collomp. *Actes de Lavra*. Paris, 1937, № 2. 22.

² E. Zachariae von Lingenthal, *op. cit.*, III, 247, 2—6.

³ Ср. М. Я. Сюзюмов. Проблемы иконоборчества в Византии. „Ученые записки Свердл. пединститута“, IV, 1948, стр. 58.

Эти бедствия были частыми гостями византийской деревни. О неурожаях постоянно говорят жития IX—X вв. Они рассказывают нам о страшной засухе, когда пересыхают ручьи и реки, блекнут и сохнут цветы, а скот страдает от жажды;¹ о том, как жители 40 деревень, собравшись вместе, творят литании, вымаливая дождь;² о тучах саранчи, уничтоживших уже почти созревший урожай.³ Особенно подробно рассказывает об ужасах голодных лет житие Филарета Милостивого. Из него мы узнаем, что голодающие бедняки питались дикими плодами⁴ и выпрашивали у имущих хотя бы единую пригоршню зерна.⁵ С трудом удавалось какому-нибудь счастливцу достать в долг немного хлеба у „благодетеля“ (φίλος).⁶ Житие Луки Столпника (род. 899) повествует о „великом голоде“, который империя пережила, когда Лука был еще юношей, т. е. примерно лет за 10 до голода 928 г.⁷

Голод 928 г., также названный „великим голодом“, оказался особенно тяжелым. Симеон Логофет рассказывает, что его причиной была чрезвычайно холодная зима. Морозы погубили весь урожай. Смертность населения была так велика, что живые не успевали хоронить мертвых.⁸

Правительство Романа Лекапина вынуждено было проявить известную заботу о монастырях и беспокойном константинопольском населении. Но крестьянству правительство не собиралось помочь: оно не провело даже уменьшения податей.

Крестьяне пытались искать „помощи“ у феодалов и ростовщиков. Но за деньги, необходимые для уплаты податей, за хлеб для семьи крестьянин мог расплатиться только землей. Разумеется, феодалы и ростовщики, пользуясь бедственным положением крестьянства, скупали в это время землю по низкой цене.⁹ Вместе с тем резко усилился процесс перехода крестьян под иго феодальной зависимости: голод заставлял их превращаться из свободных собственников и налогоплательщиков в *προσχωρήτους*. Возможно даже, что крестьяне оставались на своей земле, получая ее в качестве *precaria oblata*; феодал же выплачивал крестьянину некоторую сумму денег или выдавал хлеб. При таком допущении становится понятным, почему выплаченная феодалами сумма была обычно несравненно ниже действительной цены на землю. Поскольку же византийское крестьянство ни в коей мере не могло быстро оправиться от бедствий 928 г., массовое отчуждение земель бедноты и переход ее в феодальную зависимость очень интенсивно продолжались и в ближайшие годы.

Таким образом, несомненно, что голод 928 г., вызвавший обострение мучительного процесса феодализации, резко усилил недовольство масс и создал непосредственные предпосылки для массового народного восстания.

¹ *Analecta Bollandiana*, XVI, (1897), 152, 2—5.

² *Analecta Bollandiana* XI, (1892), 53, 11.

³ *Analecta Bollandiana*, XVIII, (1899), 236, 27; N. Vées, *op. cit.*, p. 39, 17, AASS, *Novembris* IV, 639 A—C, *Analecta Bollandiana*, XXV, (1906), 70, 18—20.

⁴ А. А. Васильев, *цит. соч.* „Известия Русск. археол. ин-та в Константинополе“, V, 1900, 73, 78. М.-Н. Fourmy—M. Leroу, „Byzantion“, IX, 1934, 133, 8.

⁵ А. А. Васильев, *цит. соч.*, стр. 72, 7; М.-Н. Fourmy—M. Leroу, *op. cit.*, p. 131, 5.

⁶ А. А. Васильев, *цит. соч.*, стр. 72, 2—4; М.-Н. Fourmy—M. Leroу, *op. cit.*, p. 131, 2—3.

⁷ *Analecta Bollandiana*, XXVIII, (1909), 19, 8.

⁸ *Theophanes Continuatus*, p. 908—909.

⁹ E. Zachariae von Lingenthal, *op. cit.*, III, 247, 23—24.

Дата восстания

Хроника Симеона Логофета не определяет даты восстания,¹ но дает некоторые основания для ее определения.

В качестве *terminus post quem* поп выступает дата рукоположения в патриархи сына Романа Лекапина — Феофилакта: об этом событии Логофет рассказывает уже после сообщения о подавлении восстания. С другой стороны, изложение истории восстания дано в хронике вслед за рассказом о низложении патриарха Трифона.

По традиционной датировке, опирающейся на чин хиротонии Феофилакта, сохраненный в книге Константина Багрянородного „О церемониях“ (II, 38), рукоположение Феофилакта состоялось 2 февраля 933 г.,² а низложение Трифона произошло примерно за 17 месяцев до этого, т. е. в середине 931 г.³ В таком случае наиболее вероятной датой восстания является 932 г., хотя не исключена возможность, что оно продолжалось более года и началось еще до низложения Трифона.

Иную датировку смены патриархов находим мы в книге Ренсимена „Роман Лекапин“, где низложение Трифона отнесено к августу 930 г., а рукоположение Феофилакта — к октябрю 931 г.⁴ При этой датировке наиболее вероятным годом восстания придется признать 931 г. Не вдаваясь сейчас в обсуждение вопроса, насколько убедительно обоснована датировка Ренсимена, надо подчеркнуть, что и в этом случае мы точно так же должны будем рассматривать голод 928 г. как непосредственную предпосылку восстания.

Начало восстания

О начале восстания хроника Логофета сохранила следующее краткое известие. Некто Василий из Македонии, которого хроника называет шарлатаном (πλάγος), принял имя Константина Дуки и объединил вокруг себя многих людей (πολλοὺς μετ' ἐαυτοῦ συνεπήγετο),⁵ социальной характеристики которых хроника не дает. Он был схвачен турмархом Опсикия Элефантином, отправлен в Константинополь, предан суду градского епарха и приговорен к отсечению руки. Приговор был приведен в исполнение.

Следовательно, восстание вспыхнуло в феме Опсикий в Малой Азии. Во главе этого восстания стал человек родом из Македонии. Естественно, возникает вопрос, каким образом Василий из Македонии мог оказаться в Опсикии. К сожалению, никаких прямых данных по этому вопросу в наших источниках не содержится. Но на основании некоторых косвенных указаний можно высказать следующее предположение. Известно, что в IX—X вв. в Македонии жило немало славянских племен, отличавшихся воинственностью. Об этом достаточно подробно говорится, например, в житии Григория Декаполита.⁶ Об

¹ М. В. Левченко (цит. соч.) относил это восстание ко времени Константина VII.

² J. Hergenröther. Photius, III, 705 ff.; A. Vogt. *Analecta Bollandiana*, XVIII, (1909, p. 34, n. 1; М. А. Шапгин. Письма Арефы — новый источник о политических событиях в Византии 931—934 гг. „Византийский Временник“, I (XXVI), 1947, стр. 238.

³ М. А. Шапгин, цит. соч., стр. 237.

⁴ S. Runciman, *op. cit.*, p. 76.

⁵ Theophanes Continuatus, p. 912, 7.

⁶ F. Dvornik. *La vie de S. Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IX-e siècle*. Paris, 1926, p. 54, 24; 61, 28.

этом же говорит и Лиутпранд, рассказывая о солунских славянах, восставших против императора.¹ Есть сведения, что во время осады Солуни арабами в 904 г. стратиг Стримона пригласил славян как опытных лучников для защиты города.² Число таких примеров можно было бы значительно умножить. Известно, кроме того, что часть македонских и фракийских славян (σλαβηταί), завербованных в византийскую армию, находилась в первой половине X в. в феме Опсикий и принимала участие в критском походе 949 г.³

Весьма возможно поэтому, что Василий, поднявший восстание в Опсикии, происходил из македонских (или фракийских) славян и служил империи как наемный воин. Его деятельность в качестве военного руководителя восстания дает основания для такого предположения.

Хроника сообщает далее, что Василий принял имя Константина Дуки, византийского полководца, погибшего в 913 г. при попытке узурпировать императорскую власть. Это сообщение имеет важное значение для социальной характеристики восстания Василия.

Дело в том, что Константин Дука принадлежал к знатному малоазийскому роду Дук, неоднократно стремившемуся захватить императорский престол. При этом Дуки постоянно старались использовать в своих целях недовольство константинопольской бедноты и для этого пытались привлечь ее на свою сторону. Например, еще в 906—907 гг., когда отец Константина Андроник поднял восстание против Льва VI, он заключил соглашение с патриархом Николаем Мистиком, пользовавшимся, по словам жития патриарха Евфимия, поддержкой „нищего народа“ (ἀγυρτοὶ λαοί),⁴ простых и нищих людей (διπλῶδες καὶ ἀγυρτῶδες);⁵ Николай Мистик был поставлен на патриарший престол толпой „торговцев и поваришек, вооруженных палками и дубинами“.⁶

Константин продолжал политику отца: прежде чем вступить в Константинополь, он тоже пытался заключить союз с Николаем Мистиком. И хотя Николай вскоре порвал со своим союзником и перешел на сторону „законного“ императора — малолетнего Константина VII, народные массы Константинополя поддержали Дуку. Об этом свидетельствует размах репрессий над участниками движения. Житие Василия Нового, правда склонное к преувеличениям, но, несомненно, написанное современником событий, насчитывает до трех тысяч погибших и казненных.⁷ Многие из них были посажены на кол.

После поражения восстания 913 г. народные массы забыли о своекорыстных стремлениях Дук и сохранили память о Константине как о смелом и доблестном воине, честном и справедливом человеке. Эта народная традиция восстания 913 г. лучше всего сохранена в житии Василия Нового: здесь раскрывается перед нами ставший сказочным образ Константина, который мчится на коне против арабов, с его оружия срывается пламя, и никто не может устоять перед византийским витязем; здесь рассказывается и о том, что он не хотел

¹ Antapodosis, III, 24.

² J. Cameniatēs. De exc. Thess., p. 514, 14—16.

³ Constantini Porphy. De cerim. II, 45 (ed. Bonn., p. 666, 15 et aliis).

⁴ Vita Euthymii, ed. C. de Boor, Berlin, 1888, p. 61, 24.

⁵ Ibid., p. 66, 12.

⁶ Ibid., p., 68, 12.

⁷ С. Вилинский. Житие Василия Нового. „Ученые записки Новоросс. ун-та. Истор.-филол. ф-т“, VII, 1911, стр. 294, 30.

допустить кровопролития в Константинополе и запретил своим войнам во время штурма дворца обнажать оружие.

Народная традиция, своеобразно исказившая истинное лицо смелого узурпатора, создала светлый образ могучего защитника народа, народного вождя — этим и объясняется, почему Василий из Македонии, подняв восстание, принял это имя и почему оно привлекло под его знамена многочисленных сторонников.

Византийское правительство придало большое значение восстанию Василия из Македонии: против него были двинуты регулярные войска во главе с турмархом; взятый в плен, Василий был предан суду высшего чиновника Константинополя — градского эпарха.

„Великое восстание“

Первая неудача не сломила, однако, энергии Василия из Македонии. Как свидетельствует Симеон Логофет, Василий, вернувшись в Опсикий, изготовил себе медную руку, к которой был прикреплен меч огромной величины. Затем он собрал вокруг себя толпу „нищих“ (τῶν ἁγυρτεῶν τῶν πολλούς), убедив их, что он — Константин Дука. С этими людьми он начал „великое восстание“ (μεγάλην ἀνταρσίαν) против государства ромеев.¹

Хроника Логофета очень нечетко определяет социальный характер восстания, однако она употребляет тот же термин, которым житие патриарха Евфимия обозначало „торговцев и поваришек“, бывших сторонниками патриарха Николая Мистика. Весьма вероятно, что городское плебейство приняло участие в восстании 932 г. Но несомненно, что массовость его была обусловлена широким участием крестьянства.

Восставшие захватили крепость, которая называлась Πλατεῖα πέτρα; в ней хранились различные сорта съестных припасов.² По всей вероятности, эта крепость служила центром, куда стекались натуральные подати крестьян. Подчеркивание хронистом захвата крепости, богатой съестными припасами, подтверждает, что восстание 932 г. было теснейшим образом связано с „голодными бунтами“, которые порождал неурожай 928 г.

Укрепившись в Πλατεῖα πέτρα, восставшие стали совершать отсюда рейды, которые, по словам Логофета, сводились к ограблению первых попавшихся людей.³ Едва ли можно сомневаться, что это утверждение является неискусной клеветой хрониста, стоящего на защите интересов Романа Лекапина и его двора: повидимому, восставшие крестьяне, объединившиеся вокруг Василия из Македонии, нападали на феодалов и чиновников, грабили феодальные поместья.

Против восставших император Роман Лекапин двинул войско. Хронист не рассказывает о борьбе восставших с императорскими войсками; он удовлетворяется замечанием, что Василий и его сторонники были схвачены. Снова отважный бунтовщик с медной рукой был доставлен в столицу, где его подвергли жестоким пыткам: от него требовали, чтобы он назвал участников восстания (τοὺς στασιώτας).

Дальнейшее поведение Василия показывает, что он был хорошо осведомлен о политической борьбе внутри господствующего класса: чтобы запутать следствие, он показал, что многие из вельмож (πολλούς

¹ Theophanes Continuatus, p. 912, 11—14.

² Ibid., p. 912, 16.

³ Ibid., p. 912, 17.

τῶν ἐν τέλει) были его соучастниками. Эти показания вызвали переполох, началось расследование, которое, впрочем, показало несостоятельность обвинений Василия: знать не была замешана в крестьянском восстании.

Осужденный на смерть, Василий из Македонии был сожжен на Амастрианской площади в Константинополе,¹ подобно тому как были сожжены рабы, убившие в конце IX в. Асилеона.

Заключение

Расправа над Василием не означала окончательного подавления народного движения. Правда, хроника Логофета, единственный источник, содержащий последовательное изложение истории правления Романа Лекапина, ничего не рассказывает о дальнейшем движении народных масс. Но из другого памятника мы узнаем, что летом 934 г. Пелопоннес был охвачен грозным восстанием славянских племен: милингов и езеритов, с которыми упорную борьбу вел стратиг Кринит.² Тяжелым было и внешнеполитическое положение империи в 934 г.: с севера наступали венгры; осенью 934 г. на Византию совершили набег арабы.³

В этих условиях и была издана новелла императора Романа Лекапина, ограничивавшая рост крупного землевладения и требовавшая возвращения крестьянам земель, приобретенных у них после голода 928 г. Она была издана осенью 934 г.⁴

Изучение классовой борьбы в Византии в начале 30-х годов X в. показывает, насколько несостоятельной является теория буржуазных историков о „гуманных мерах“ в защиту мелкого землевладения, якобы проведенных императорами Македонской династии: новелла 934 г., несколько ограничившая беспредельные аппетиты византийской знати, отнюдь не была порождена сознанием долга перед „меньшей братией“, как пытаются изобразить буржуазные византинисты, — ее вырвало у Романа Лекапина народное движение, развернувшееся после „великого голода“ 928 г. Восстание Василия Медной руки было, бесспорно, одним из существеннейших эпизодов этой борьбы.

¹ Ibid., p. 912, 22—23.

² Constantini Porphy. De adm. imp., cap. 50. Ср. М. А. Шангин, цит. соч., стр. 247.

³ Vita S. Theodori Euchaitae, ed. H. Delehaye), AASS, Novembris, IV, 53 A.

⁴ F. Dölger. Corpus der griechischen Urkunden. München, 1924, Bd. I, S. 77.

Н. В. ПИГУЛЕВСКАЯ

**К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМАХ ТОРГОВЛИ И КРЕДИТА
В РАННЕЙ ВИЗАНТИИ**

История торговли в Византийской империи еще слабо изучена. Особенно это приходится сказать о периоде ранней Византии — IV—VI вв.

Трудности изучения этой проблемы обуславливаются прежде всего тем, что мы пока не располагаем достаточным количеством фактического материала. Буржуазные византилисты, мало интересуясь экономической историей Византии, почти не исследовали с этой точки зрения ни законодательных, ни актов, ни нарративных памятников. Поэтому советские византисты, изучающие организацию и формы торговли в ранней Византии, должны начать с тщательного собирания всех сведений — прямых и косвенных, которые могут дать представление об этой стороне экономической жизни Византийской империи.

При этом необходимо постоянно иметь в виду, что в ранней Византии развитие торговли являлось следствием все тех же общественных явлений, которые получили свою форму и достигли полного расцвета еще в предшествующий период. Основоположники марксизма неоднократно указывали на особенности торговли на основе рабовладельческих отношений,¹ а Восточно-Римская затем Византийская империя до VI в. продолжала в основном жить производственными отношениями, сложившимися в рабовладельческом обществе. Энгельс подчеркивал, что „уделевшие остатки“ торговли в Восточно-Римской империи сыграли крупную роль в ее развитии этого времени.²

Широкое развитие торговли в ранней Византии было тесно связано с наличием многочисленных городов, находившихся, по свидетельству современных источников, в цветущем состоянии. В действительности это видимое благополучие зиждилось на жесточайшей эксплуатации низших слоев общества. Крестьянские общины, колоны и рабы тяжким трудом добывали сельскохозяйственные продукты, которые вывозились на рынок. Взимая налоги и ренту, государство и землевладельцы захватывали не только излишний, но и необходимый для пропитания продукт, обрекая широкие слои непосредственных производителей на систематическое недоедание и периодические голодовки. Чрезвычайно тяжелыми были условия работы в эргастериях. Большие мастерские обслуживались преимущественно рабами (mancipia). Мелкие ремесленники,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIX, ч. 1, стр. 359.

² Там же, т. XVI, ч. 1, стр. 125.

которые домашним способом производили и тут же продавали свой товар, часто попадали в полную зависимость от перекупщиков и, обязанные вносить непосильные налоги, разорялись. Хуже было лишь положение совершенно бесправных рабов. Достаточно указать на то, что законодательные акты IV в., вошедшие в состав Юстинианова собрания законов, принудительно закрепляли и привязывали к роду занятий ремесленников и работавших в государственных мастерских. В ряде случаев эти обязанности были принудительно наследственными. В частности, монетарии, т. е. ремесленники, работавшие на монетных дворах империи, не только не имели права покидать свои обязанности,¹ но, чтобы сделать для них невозможным бегство или сокрытие своего звания, им ставили клеймо на руку — „государственные буквы“, или „стигматы“.² Строго запрещалось укрывать рабов царских ткацких мастерских (*textrini nostri mancipia*) или „предоставлять убежище беглым из числа семей, занятых в гинекеях“, больших текстильных мастерских.

„При рабовладельческих отношениях, при крепостных отношениях, при отношениях дани (поскольку имеется в виду примитивный общественный строй) присваивает, а следовательно и продает продукты, рабовладелец, феодал, взимающее дань государство“.³ Эти слова Маркса прекрасно объясняют, почему в торговле принимали участие и знать, и император — один из крупнейших и богатейших землевладельцев, хозяин больших мастерских, какими были царские гинекей. И императорский дом и знатные фамилии имели своих представителей, через которых вели все торговые операции.

Сведения об этом имеются в законе императоров Валента и Валентиниана, изданном в 364 г. в Константинополе на имя Юлиана, комита Востока, в котором высказывалось требование признавать свои долги, „как это предписывает честность“, *ut honestas postulat*.⁴ Среди торговцев (*negociatores*) упомянуты принадлежащие „к нашему дому“, т. е. торговцы, связанные с императорским двором, с хозяйством и имуществом самих императоров. Известны также торговцы, занимавшиеся торговлей, находясь на службе или в какой-то зависимости от богатых (*potentiorum... homines*). Эти „люди знатных“ и „торговцы императорского дома“ пользовались своим положением находящихся под покровительством власть имущих, чтобы не признавать сделанных долгов и долговых обязательств.

Злоупотребления этих привилегированных купцов приобретали иногда столь кричащие формы, что правительство, опасаясь за сбор налогов, вынуждено было принимать некоторые меры для их обуздания. Например, закон 408 (или 409) г. императоров Гонория и Феодосия запрещал производить „гибельную для городов торговлю“ (*perniciosum urbibus mercimonium exercere prohibemus*), совершенно точно указывая, что такой „гибельной торговлей“ занимались знатные, используя свое положение (*nobiliores natalibus, et honorum luce conspicuos, et patrimonio ditiores*),⁵ т. е. знатные по рождению, пользующиеся почетом и богатые по наследству). Часть знатных не только стремилась к монополизации торговли в руках своих представителей,

¹ Codex Justinianus, II, 8 (7), 6, ed. Krueger Berolini, 1906, стр. 430 (в дальнейшей страницы кодекса даны по этому изданию).

² Cod. Just. II, 10 (9), 3, p. 432.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIX, ч. 1, стр. 353.

⁴ Cod. Just. 4, 63, 1, p. 188.

⁵ Cod. Just. 4, 63, 3, p. 188.

но и бесцеремонно использовала для своих торговых операций городские средства. Об этом говорит, например, жалоба Юстиниану из города Афродизиума на то, что знатные брали себе деньги, получаемые городом и выплачивали за эти деньги городу известный процент, ниже обычного.¹

Заемные операции вообще приобрели широкий размах в условиях ранневизантийской торговли. Из кодекса Юстиниана известно, что менялы или банкиры (*ἀργυροπράται*) принимали вклады под проценты.² В рост отдавались иногда даже мелкие сбережения. Ценное свидетельство об этом дает нам Лимонарий Иоанна Мосха, составленный до 600 г. н. э. Муж и жена, читаем мы там, скопили 50 милиарисиев, и муж предложил жене: „Дадим в рост эти милиарисии, и мы получим от них малую выгоду (*παραυτίχῃ*), с тем, чтобы, расходуя их один за другим, у нас не оказалось бы все растраченным“.³

Папирус 541 г. из Афродито сообщает о денежной операции клирика Флавия Виктора из Египта, который был со своим товарищем в столице. Флавий Виктор произвел заем у некоего Флавия Анастасия в размере 20 солидов сроком на четыре месяца. Он должен был выплатить 8% по займу и внести свой долг в Александрии, где Анастасий имел свою контору или учреждение (*ἀποθήκη*) со своим человеком (*ἄνθρωπος*), которого звали Фомой. За два месяца Флавий Виктор должен был заплатить дополнительно особые проценты⁴ с тем, чтобы общая их сумма равнялась 12, т. е. составляла *trajecticia contracta*, разрешенные и законом 528 г.

Этот закон Юстиниана 528 г. устанавливает нормы процентов, которые могли взиматься при заключении контрактов и при всякого рода других денежных операциях. Для „тех, которые имеют эргастерии или ведут какую-либо законную торговлю“ (*illos vero, qui ergasteriis praesunt vel aliquam licitam negotiationem gerunt*), допускалось получение 8% в год.⁵ При заключении контрактов лицами, имевшими звание *illustres* (сенаторов) или более высокие, не разрешалось получать больше 4% в год. Очевидно, предполагалось, что этим *illustribus quidem personis sive eas praecedentibus* следовало довольствоваться минимальными процентами. Для всех прочих лиц устанавливались законом 6% в год.

В особые условия были поставлены так называемые *trajecticia contracta*, т. е. операции, заключаемые в связи с перевозками или перемещением кредитованных лиц, при которых допускалось взимать 12%.⁶ Такой процент и был уплачен Флавием Виктором, как это было указано выше, так как его заем был рассмотрен как *trajecticia contracta*.⁷ Взимание в этих случаях более высоких процентов обуславливается рядом законов, которые считали, что опасности, связанные с перевозом денег по морю, создают серьезный риск для кредитора (*trajectitiam pecuniam, quae periculo creditoris datur*) и дают право на более высокий процент.⁸ В том же случае, если данная в долг сумма

¹ Novellae, ed. Schoell-Kroll, Berolini, 1904, Nov. 160, стр. 744.

² Cod. Just. 4, 32, 5, стр. 171.

³ J. Moschos. Pratum spirituale, cap. 185. Patr. Gr., LXXXVII, col. 3060.

⁴ Papyrus grecs d'époque byzantine, ed. par J. Maspero. Le Caire. 1913, t. 2, p. 2—4.

⁵ Cod. Just. 4, 32, 26, § 2, p. 173.

⁶ Cod. Just. 3, 32, 26, § 2, p. 173.

⁷ Mickwitz. Un problème d'influence: Byzance et l'économie de l'Occident médiéval. „Annales d'histoire économique et sociale“, t. 8, 1936, janvier, p. 23 (6).

⁸ Cod. Just. 4. 33, 2 (1). Закон Диоклетиана и Максимиана, стр. 173.

непосредственной опасности в пути не подвергается (*incertum periculum, quod ex navigatione maris metui solet*), процент может взиматься лишь обычный.¹ Известно, однако, что на практике взимались и более крупные проценты.

Займы производили ремесленники и торговцы и друг у друга. Так, происходящий из Антиной папирус сообщает о том, что торговец овощами (*λαχανοπώλης*) Аврелий Коллут, сын Лила, выдал расписку Аврелию Коллуту, сыну Георгия, мяснику (*χοιρομάγειρος* — мясник, режущий свиней) в том, что он должен ему 9½ кератиев.² Из другого папируса мы узнаем, что вышивальщик (*πλουμαχίος*) Аврелий Петр из Ликополиса занял у торговца вином (*οἶνοπράτης*) Аврелия Георгия 7 кератионов и платил за них 17% в год, т. е. по 50 талантов серебром.³ Этот папирус из Антиной относится к VI в., когда серебряный талант составлял 1/500 часть кератиона.⁴

Законодательный материал подтверждает, что золото и серебро берегли или отдавали на хранение в виде денег или слитков — *certum pondus auri vel argenti confecti vel in massa constituti deposuerit*.⁵ То же законодательство оговаривает известные условия купли и продажи, запрещая, например, после получения задатка изменять цену на товар.⁶ Иоанн Мосх сообщает рассказ об одном купце из Тира, занимавшего и в VI в. положение крупного торгового центра. Купца оклеветали в том, что он незаконно вел торговлю (*τὰ κομιζακίου ἐκχέουσιν*). Его вызвали в Константинополь и посадили в тюрьму.⁷

Большинство постановлений, регулирующих торговлю и кредитные операции, относится еще ко времени Диоклетиана и, несомненно, стоит в связи с его общими усилиями установить твердые цены на различные товары.⁸

Морская торговля была одним из видов торговли, доставлявшим большие прибыли. Многочисленные источники, в числе которых следует назвать агнографические, говорят о том, что плавание по Средиземному морю, в сущности внутреннему морю империи, носило широко распространенный характер. Корабельщики, *ναυκλήροι*, были, как правило, не только владельцами судов, но и купцами, привозившими на них свои собственные товары. Они их перевозили, продавали, покупали другие товары и везли их обратно, не раз меняя направление своего пути, путешествуя таким образом по году и более.

Об интенсивности морской торговли свидетельствуют и размеры византийских кораблей, среди которых были корабли очень значительной по тем временам вместимости и грузоподъемности. Так, например, тот же Иоанн Мосх сообщает, что в гавани „Малый мыс“ (*Λεπτή Ἀκρά*), расположенный недалеко от Апамен, „был некий корабельщик, имевший корабль вместимостью три тысячи модиев, который он желал спустить в море. Он трудился две недели с многими работниками (говорят, что в день у него было 300 работников (*οἱ ἐργάται*)), но невозможно было спустить корабль в море или сдвинуть его с места...“⁹. Имеется

¹ Cod. Just., 4, 33, 3 (2), стр. 173.

² Maspero. Papyrus grecs d'époque byzantine. Le Caire. 1912, t. II, ч. 2, p. 125.

³ Ibid., p. 124—125.

⁴ Ibid., p. 122.

⁵ Cod. Just. 4, 34, 12, p. 174.

⁶ Cod. Just. 4, 44, I—II, p. 179—180.

⁷ J. Moschos, cap. 186. Part. gr. 87, col. 3064.

⁸ В. С. Сергеев. История Рима. М., 1938, т. II, стр. 656, 667.

⁹ J. Moschos. Pratum spirituale, cap. 83, Gz. 87, col. 2940. Вместимость или грузоподъемность кораблей определялась тогда в модиях — мера сыпучих тел.

сообщение о другом корабле, вместимость которого была в пять тысяч модиев. Около дома хозяина этого корабля лежало приготовленное для последнего огромное мачтовое дерево, τὸ κατάρτιον.¹ В источниках часто встречаются упоминания о купцах и корабельщиках, потерявших свое состояние и товары из-за кораблекрушения. Большую опасность представляли пираты, от которых даже в период наибольшей мощи империи не были свободны морские пути. Тем больше опасностей представляли дальние путешествия, как об этом подробно повествует Козьма Индикоплов.

Наряду с торговлей в больших городах и гаванях империи почти повсюду существовали ярмарки. Сюда крестьяне привозили сельскохозяйственные продукты, продавали или обменивали их на необходимые им предметы обихода и одежду. Сюда же приносили свои изделия и ремесленники, часто принимавшие непосредственное участие в мелкой торговле.

Один агиографический памятник сохранил живой рассказ о поездке некоего пафлагонского крестьянина на ежегодную ярмарку, бывавшую „в тех местах“ (ἡ κατ'ἑτος ἐκχωρίως γενομένη πανήγυρις). Прибыв на ярмарку, крестьянин „усердно продавал и менял то, что имел, по обыкновению“. Ему встретился купец, и между ними произошел разговор. „Я был порядочным торговцем, — рассказал купец, — имел 1000 номисм и, взяв их, я вел усиленную чужеземную торговлю, а через год прибыл на эту ярмарку. Продав все, я сложил в надежный мешок 1500 номисм и, завязав его шелковым шнурком, удалился с ярмарки“.²

Немало ценных сведений о характере мелкой торговли, которая велась на рынках и базарах городов сельскохозяйственными и ремесленными продуктами, дают провинциальные хроники.³

Получая с купцов соответствующие налоги, игравшие крупную роль в бюджете Византии, государство вынуждено было издавать законы, направленные на ограждение интересов торговли. Так, на основании закона Валента и Валентиниана, купцов, имевших право торговать на ярмарке или рынке, нельзя было принудить уступать кому-либо свой товар или рабов. Запрещалось чинить им насилия, требуя оплаты частного долга.⁴

В интересах фиска государство пыталось ограничить и тенденцию крупных торговцев к монополизации торговли в своих руках. Рескрипт императора Зенона на имя префекта претория Константина говорит о некоторых из этих попыток. Так, запрещались всякого рода соглашения об установлении минимальных цен, которые часто заключали между собой крупные купцы: ... *neve quis illicitis habitis conventionibus conjuret, aut paciscatur, ut species diversorum corporum negotiationis, non minoris quam inter se statuerint venundentur*.⁵ Виновные в установлении таких „соглашений“ на цены товаров присуждались к выплате 40 либр золотом (*quadraginta librarum auri solutione percelli decernimus*). Запрещения эти, однако, помогали мало. Торговцы старались прикрыть свои действия специальными разрешениями, получаемыми за взятку из канцелярии префекта претория, или императорскими указами.

¹ J. Moschus, col. 3069.

² Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, ed. H. Delehaye. Bruxelles, 1902, p. 720—721.

³ Н. Пигулевская. Месопотамия на рубеже V и VI вв., стр. 41—44, 75.

⁴ Cod. Just. 4, 60, 1, p. 186—187.

⁵ Cod. Just. 4, 59, 2 (1), p. 186.

Больше того, такого рода частные попытки к захвату монополий послужили примером для самого Юстиниана, который стремился обогатить свою личную казну именно таким путем.

Законодательные памятники сохранили интересные сведения об особенностях торговли с народами, жившими за пределами империи. Международное и внутреннее положение Византии в этот период требовало установления ряда ограничений контингента вывозимых товаров и условий расплаты. Например, по закону 370—375 гг. не допускалась продажа „варварам“ вина, масла (*oleum*) и соленой рыбы.¹ Этот закон стремился сохранить продукты первой необходимости в пределах империи, которая сама испытывала в них острый недостаток в связи с углублением кризиса рабовладельческой системы. Страх перед варварами, как раз в этот период резко усиливавшими свои вторжения, продиктовал и другое ограничение: не продавать ни в Константинополе, ни в каком-либо другом городе оружие варварам, принадлежащим к числу народов зарубежных. Оружие, которое запрещалось к продаже, перечислено: это панцыри, щиты, стрелы, мечи и железо вообще (*nihil penitus ferri*). Закон этот, изданный при императоре Маркиане (455—457), мотивирует это запрещение тем, что выгодно, чтобы варвары не имели оружия и испытывали в нем нужду.

Изданный в 374 г. указ запрещал платить варварам за товары золотом, которое утекало из империи, усиливая ее финансовые затруднения. Не следует, говорится в законе, отдавать золота варварам „за рабов“ (*pro mancipiis*) или за какие-либо другие товары (*vel quibuscumque speciebus*). Более того, не следует допускать, чтобы золото перевозилось к варварам торговцами (*ad barbaricum fuerit translatum a mercatoribus*). Достаточно вспомнить жалобы римских и ранних византийских историков на то, что драгоценные металлы и деньги уходят в обмен на шелк и пряности, чтобы понять, почему византийское правительство строго карало (*suppliciis subjugentur*) за вывоз золота.

По традиции, сложившейся еще в предшествующий период, торговцы и ремесленники ранневизантийской империи составляли корпорации и коллегии. Государство в некоторых случаях использовало эти корпорации в своих интересах. Так, навикулярии были ответственны за доставку в столицу хлеба, который подвозился морским путем, главным образом из Египта.

Заинтересованность государства в деятельности корпораций, с точки зрения выполнения известных функций и доходов фиска, вела к закреплению или прикреплению членов корпораций к их организации.

Рескрипт императоров Гонория и Феодосия на имя префекта претория Аэция от 409 г. дает в этом отношении важные сведения. Разрешенная корпорация не имеет права ни в коем случае увеличивать число своих членов, хотя бы желающий вступить в нее и искал поддержки у людей сильных и стремился осуществить свое желание *per patrocinia*. Места умерших членов коллегии могут быть предоставлены лишь лицам, принадлежащим к тем же группам населения, что и умершие. Это замещение следовало производить по распоряжению префекта претория в присутствии корпорации *ita ut iudicio tuae sedis sub ipsorum praesentia corporatorum, in eorum locum, quos humani subtraxerint casus, ex eodem quo illi fuerant corpore subrogentur...*²

¹ Cod. Just. 4, 41, 1, ed. Krüger, Berlin, 1906, p. 178.

² Cod. Just. 4, 63, 5, 188.

На основании этого закона можно, следовательно, говорить о том, что корпорации находились в ведении префекта претория; их организация, сохранение количества членов, вступление в состав корпорации новых лиц находились под его контролем. К сожалению, других, более детальных сведений об организации корпораций в ранней Византии мы пока не имеем. Но несомненно, что дальнейшее изучение источников даст возможность советским византинистам, вооруженным марксистско-ленинской методологией, успешно разрешить и этот вопрос, имеющий серьезное значение для характеристики особенностей общественного развития Византии.

З. В. УДАЛЬЦОВА

**ВИЗАНТИЙСКИЙ ИСТОРИК КРИТОВУЛ О ЮЖНЫХ СЛАВЯНАХ
И ДРУГИХ НАРОДАХ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА В XV ВЕКЕ**

Труд византийского историка XV в. Критовула „История Мехмета II“ принадлежит к числу малоизученных памятников византийской историографии. Рукопись „Истории Мехмета II“ была найдена в 1859 г. в Серальской библиотеке и представляет собой уникальный греческий кодекс последней трети XV в.¹ До наших дней еще не обнаружено никакой другой рукописи произведения Критовула.

„История Мехмета II“ была впервые издана в 1870 г. французским эллинистом Карлом Мюллером в V томе „Fragmenta Historicorum Graecorum“ и переиздана в 1883 г. с некоторыми исправлениями.² Открытая около ста лет назад, она до сего времени не переведена на русский и почти ни на один европейский язык.³ В буржуазной историографии, особенно западноевропейской, произведению Критовула уделялось мало внимания, что объясняется его туркофильской окраской, а также неприязненным отношением автора к Западу.

Произведение Критовула, в центре которого стоит фигура турецкого султана Мехмета II, прежде всего привлекало внимание турецких ученых, которые, однако, не пошли дальше перевода его на турецкий язык, не могли дать его исчерпывающего исследования. Среди ученых других стран интерес к Критовулу ограничился узким кругом исследователей.

В трудах этих ученых прямо отразились политические, националистические и конфессиональные взгляды, определяющие их отношение к Критовулу и их оценку его „Истории Мехмета II“ (Убичини,⁴ Радонович,⁵ Погодин,⁶ Nisbet-Bain,⁷ Даркó⁸ и др.).

¹ См. сообщение об открытии рукописи Тишендорфа в приложении к „Allgemeine Zeitung“, 1872, № 181, стр. 2779. Описание кодекса дано в работах: Deissman. Forschungen und Funde im Serai. Berlin, 1933; C. Müller. Fragmenta Historicorum Graecorum, v. V, Parisiis, 1883.

² C. Müller. Fragmenta Historicorum Graecorum. Parisiis, 1870 и 1883.

³ Существует лишь венгерский перевод К. Strábo в „Monumenta Hungariae Historica, Scriptores“, t. XXII, Budapest, 1875 и турецкий перевод P. Karolides в приложении к „Zeitschrift des Institutes für Osmanische Geschichte“. Jahrg. I—III (1910—1912). Konstantinopolis-Istanbul, 1912.

⁴ M. Ubicini. Chronique du règne de Mahomet II, par Critovule d'Imbros, Paris, 1871.

⁵ J. Radonić. Критовул византийский историк XV века. „Глас Српске краљевске академије“, т. CXXXVIII, други разред, 73, Београд, 1930.

⁶ П. Погодин. Обзор источников по истории осады и взятия Византии турками в 1453 г. ЖМНП, ч. CCLXIV, 1889, стр. 212—218.

⁷ R. Nisbet-Bain. The siege of Belgrade by Muhammed II. „The English Historical Review“, v. VII, London, 1892.

⁸ E. Darkó. Die letzten Geschichtschreiber von Byzanz. „Ungarische Rundschau für Historische und sozial Wissenschaften“. 2 Jahrg., 11 H., 1913, April.

Буржуазная историография интересовалась почти исключительно личностью самого автора „Истории Мехмета II“, занималась психологическим анализом причин, приведших Критовула в стан турок. Буржуазные историки, наметив решение отдельных частных вопросов, касающихся жизни и творчества автора „Истории Мехмета II“, не дали исчерпывающего анализа его произведения, не вскрыли социальных и политических причин, определивших мировоззрение Критовула. В буржуазной историографии даже не был поставлен вопрос о социальных корнях творчества Критовула как представителя особого политико-идеологического течения в Византии XV в.

Буржуазных историков отнюдь не интересовала классовая и политическая направленность труда Критовула, социальная база туркофильского течения в Византии. Историка-марксиста в труде Критовула интересуют прежде всего социально-экономические причины, определившие политические взгляды и мировоззрения автора „Истории Мехмета II“, классовая и политическая направленность его труда.

* * *

„История Мехмета II“ Критовула представляет собой довольно крупное произведение, состоящее из пяти книг и охватывающее 17 первых лет правления турецкого султана Мехмета II (1450—1467). К труду Критовула приложено посвяtitельное письмо автора султану.¹

В отличие от других современных византийских историков (Халкокондила, Дуки, Франдзи), предпосылающих своим трудам длинное вступление, дающее историю предшествующего времени, Критовул описывает лишь современные ему события.² Однако, как сообщает сам автор, он не был очевидцем всех описанных в его труде событий.³

„История Мехмета II“ содержит обширный материал, дающий возможность определить политические взгляды ее автора и, в частности, его отношение к основному вопросу современной ему действительности — к вопросу турецкого завоевания Византии. С первых же строк письма Критовула турецкому султану, открывающего труд Критовула, и до конца его исторического произведения красной нитью проходит туркофильская тенденция, показывающая политическую ориентацию автора.

Протурецкая тенденция сказывается прежде всего в общем характере, в общем тоне и направленности труда Критовула.

В отличие от других византийских писателей XV в., особенно от патристически настроенного Франдзи и даже от латинофила, но все же патриота Дуки, в центре труда Критовула стоит не гибнущая византийская держава, а новое могущественное турецкое государство. Само произведение Критовула является историей правления турецкого

¹ Критовул, цит. соч. *Επιστολή*, § 4, стр. 53.

² Так, например, если Халкокондил в своем произведении „Ιστορίων“, состоящем из 10 книг, описал историю возникновения и развития турецкого государства с 1298 по 1463 г., то Критовул ограничился лишь освещением истории 17 лет правления Мехмета II.

³ Доказательством того, что Критовул многое действительно писал по рассказам очевидцев, служит то, что у него часто встречаются выражения „ὡς ἐλάτето“, „φασὶ γέ“ — „говорят“, „рассказывают“. Иногда о некоторых событиях он приводит несколько версий, не высказывая своего мнения (Критовул, цит. соч., кн. III, гл. XIX, 85, стр. 132).

султана Мехмета II.¹ Мехмет II — главный герой произведения, подвиги которого воспеваются автором, — центр всего повествования.

Общий тон труда явно панегирический. Автор всячески стремится прославить своего героя и выставить в лучшем свете все его поступки. Достигает он этого путем или прямого восхваления султана, или умолчания о его преступлениях, поражениях и неудачах. В этом отношении труд Критовула резко отличается от труда Франдзи, Дуки и других современных византийских историков, настроенных чрезвычайно враждебно к султану, „разрушителю и губителю государства ромеев“.

Сведения о жизни Критовула скудны и фрагментарны. Современные ему источники не сохранили почти никаких следов о жизни и деятельности автора „Истории Мехмета II“ за исключением случайных и малодостоверных упоминаний его имени. Основным и почти единственным источником о жизни и деятельности Критовула остается его собственный труд.

Михаил Гермодор Критовул был грек с острова Имброс. Время рождения Критовула точно неизвестно, однако можно предположить, что он родился на рубеже XV в., так как к моменту падения Константинополя, когда он впервые выступает на исторической арене, он был уже человеком зрелым, умудренным опытом политической и партийной борьбы. Критовул происходил из знатной семьи и принадлежал к числу „первых граждан“ острова Имброса (*τὰ πρῶτα τῶν Ἰμβριωτῶν*). Большая часть жизни Критовула прошла на родном острове, где он играл видную политическую роль. Он являлся представителем туркофильского течения в Византии, одним из крупных деятелей туркофильской партии на островах Эгейского моря.

Критовул вел активную политическую борьбу в пользу турок и получил от султана Мехмета II в награду за это пост наместника острова Имброса. На склоне лет, отойдя от политической деятельности, Критовул создал историческое произведение, посвященное описанию правления Мехмета II и завоеванию турками Византии.

„История Мехмета II“ — произведение крайне тенденциозное. Общий туркофильский тон и направленность его являются ярким отражением политических взглядов автора, выразителя интересов определенных социальных групп византийского общества, прежде всего феодальной знати островов Эгейского моря, имевшей тесные связи с торговыми кругами Византии.²

Из „Истории Мехмета II“ мы ясно видим, что византийскую патрицианскую знать, в частности династов островов Эгейского моря, Пелопоннеса и других областей Византии, толкала на сближение с турками острая борьба с итальянскими феодалами за власть, за политическое преобладание. Так, например, сам Критовул при поддержке местной знати боролся на Имбросе за власть с владетельным феодалом генуэзцем Дорио Гаттелузи, динаты Лемноса, Лесбоса, Имброса, г. Эны и другие также вели борьбу за власть с итальянскими феодалами и т. п.

В своей борьбе с исконным и опасным врагом — итальянцами — византийская знать стремилась опереться на помощь турок, особенно после падения Константинополя. Часть знати, связанная с торговлей,

¹ Мы даем греческую транскрипцию имени султана, употребляемую Критовулом.

² Анализ политическим взглядов Критовула и социальной базы туркофильского течения в Византии посвящена другая работа автора данной статьи.

выступала наиболее активно в этой борьбе против итальянцев из-за торговой конкуренции с итальянскими купцами.

Немалую роль в предательской туркофильской политике византийской знати сыграли и своекорыстные личные мотивы. Так, видя, что военное счастье перешло окончательно на сторону турок, часть византийских феодалов, вместо защиты своего отечества, стремилась завоевать расположение новых властителей, получить за свое ренегатство богатые награды в виде земель, подарков, высоких должностей на службе у турецкого султана. Корыстные мотивы во многом обусловили поведение и самого Критовула, и его ренегатство, как мы видим, было вознаграждено турками.

Но основной причиной туркофильской ориентации части феодальной знати Византии был страх перед народными движениями, острой классовой борьбой, развернувшейся в Византии в последний период ее существования.

Массовые народные движения, подобные восстанию зилотов, охватившему в XIV в. значительную часть балканских владений империи, народные движения в Пелопоннесе, ожесточенные классовые и партийные столкновения в самом Константинополе, постоянная угроза нового взрыва — толкали часть феодальной знати Византии в объятия турок. Жажда крепкой власти, способной защитить их владения от народного гнева, понимание того, что слабое византийское правительство уже не способно быть их защитой и опорой, приводили к тому, что византийские феодалы все чаще обращали свои взоры к внешним силам: одни — на Запад, ища помощи и поддержки у западноевропейских государств; другие — на Восток, возлагая надежды на установление „порядка“ в империи под эгидой турецкого султана. К числу последних принадлежал и автор „Истории Мехмета II“.

Политика туркофилов встречала поддержку у части византийского купечества, в частности у греческих торговцев таких крупных торговых центров, как г. Эна, острова Эгейского моря (Имброс, Лемнос, Фесос, Лесбос и др.), города Пелопоннесского полуострова и др.

Для части торговых кругов решающую роль в их переходе на сторону туркофилов сыграли следующие причины: давнишняя торговая конкуренция с итальянцами и слабость византийского правительства, которое не было в состоянии охранять греческую торговлю, особенно морскую, от конкуренции иностранных, в первую очередь итальянских купцов.

Однако туркофилы жестоко просчитались, и если турецкое правительство сперва стремилось привлечь на свою сторону население завоеванных областей, то уже вскоре после завоевания Византии политика турок по отношению к покоренному населению резко меняется, и греки очень скоро почувствовали всю тяжесть иноземного ига. Просчитались и византийские феодалы, делавшие ставку на турок: вскоре начались массовые конфискации земель феодалов и монастырей и передача их туркам, лишение христиан права занимать гражданские и военные должности и т. п. Лишь немногие ренегаты, перешедшие в мусульманство, пользовались милостями Порты.

Турецкое государство складывалось как военно-феодалное и грабительское государство; хотя оно разрешало покоренным народам заниматься торговлей и ремеслом, положение торгово-ремесленных слоев Византии при турках было весьма незавидным. Маркс в „Хронологических выписках“ говорит, что „султаны османов“ после завоевания Византийского государства „получили с той поры флот и упо-

требляли своих греческих рабов для всех функций, требующих высокого технического и умственного образования".¹

Особенно же резко ухудшилось при террористическом турецком режиме положение народных масс Византии.

Весьма симптоматично, что труд самого Критовула — панегириста и историографа турецкого султана — не нашел признания у новых властителей и затерялся во мраке Серальской библиотеки, как бы знаменуя бесславное фиаско туркофильского течения в Византии.

Несмотря на ярко выраженную политическую тенденцию, наложившую отпечаток на все произведение Критовула, „История Мехмета II“ — ценный исторический источник, занимающий видное место среди трудов других поздневизантийских историков. Обилие и разнообразие фактического материала, ценные сведения по социально-экономической, политической и культурной истории Византии и соседних с ней государств в XV в., особенно важные данные о византийском ремесле, торговле и городской жизни этого периода — делают знакомство с трудом Критовула необходимым при изучении последних страниц истории Византии. Вместе с тем сама политическая тенденция труда Критовула представляет интерес для исследователей как свидетельство наличия туркофильского течения в Византии XV в. Произведение Критовула дает важнейший материал для определения социальной базы туркофильского течения и помогает выяснить причины, его породившие. „История Мехмета II“ позволяет определить социальные силы, стоявшие за спяной борющихся партий, разглядеть в столкновении партий и их вождей ожесточенные классовые бои, развернувшиеся в Византии в период ее крушения.

Труд Критовула привлекает особое внимание как важный источник по истории южных славян и других народов Балканского полуострова в XV в. Он содержит весьма ценный материал по истории Сербии, Боснийского королевства, Валахии и Албании в XV в.

Буржуазные ученые, особенно западноевропейские, почти полностью игнорировали данные Критовула по истории южных славян в XV в. Если принять во внимание, что, по данным Критовула, южнославянские государства выступают как государства с высоким уровнем социально-экономического развития, то политический смысл подобного замалчивания буржуазной историографией сведений „Истории Мехмета II“ о южных славянах делается вполне ясным.

Это — стремление умалить уровень социально-экономического развития южнославянских народов, скрыть данные, опровергающие распространенную в буржуазной литературе теорию о слабом развитии экономики южнославянских государств в XV в. Славянская историография (И. Радониц,² П. Погодин³ и др.) несколько восполняет этот пробел, уделяя внимание данным Критовула о южных славянах, и выгодно отличается в этом отношении от западноевропейской.

Сведения о южных славянах, содержащиеся в труде Критовула, довольно обширны и разнообразны, однако не все они имеют одинаковую ценность. Весьма подробно и обстоятельно освещает Критовул положение дел в Сербском деспотате в 50—60-х годах XV в., сообщая интересные данные по внутренней и внешней истории Сербии (кн. II и III). Много места уделено в труде Критовула походам Мехмета II

¹ „Архив К. Маркса и Ф. Энгельса“, т. VI, стр. 207.

² И. Радониц, цит. соч.

³ П. Погодин, цит. соч.

в Албанию, и лишь в общих очертаниях описана экспедиция султана в Валахию в 1462 г.

Общая туркофильская тенденция всего труда Критувула проявляется достаточно ярко и в разделах, посвященных истории южных славян. В центре повествования стоит фигура султана-завоевателя; о южно-славянских и других государствах Балканского полуострова говорится только в связи с походами Мехмета II. Автор всячески стремится прославить султана, для чего старается преуменьшить поражение Мехмета II под Белградом в 1456 г., во время осады крепости Яйце в Боснии, затушевать неудачи султана во время осады крепости Кройи и в Албании, умаляет или скрывает победы Скандербега, Гуниада и т. д.

Вместе с тем, чтобы придать победам великого „царя царей“ еще больший блеск, Критувул подчеркивает трудности, с которыми встречался на своем пути Мехмет II. Он хочет показать, что Мехмет II имел достойных противников, а страны, покоренные им, были сильны и богаты. В связи с этим он довольно подробно описывает внутреннее положение южнославянских и других государств Балканского полуострова, сохранив, таким образом, весьма ценные сведения, которые превосходят по точности и полноте данные других византийских источников (Дука,¹ Франдзи,² Халкокондил³).

Сербия

Прежде всего „История Мехмета II“ содержит характеристику экономики Сербии в XV в., характеристику, с которой по обстоятельности сведений не может сравниться, пожалуй, ни один из современных византийских источников.

Во второй книге своего труда, рассказывая о походе султана в Сербию в 1455 г., Критувул дает довольно обширный экскурс, в котором описывается географическое местоположение, природа и богатства Сербии. Он пишет:

„Страна трибаллов (так, следуя античной традиции, называет Критувул сербов. — З. У.) расположена в удобной местности Верхней Фракии и, начинаясь от верхнего Мисия и Аймонских гор, простирается до Истра и граничит по нему с державой даков и паннонцев“⁴ (даки — валахи; паннонцы — венгры).

Далее Критувул дает описание р. Истр, очень близкое к описанию Геродота,⁵ из которого, повидимому, автор заимствовал это место, и поэтому не представляющее особого интереса.⁶ Указав, что Истр, „величайшая река в Европе“, протекает по стране даков, паннонцев и других народов, автор продолжает, что соседями их являются трибаллы, „имеющие много и прекрасных городов во внутренней части страны и неприступные крепости по высокому берегу реки“ („...ἡ Τριβαλλῶν παρακείμενῃ τε τοῦτοις μέγχι πολλοῦ καὶ πόλεις ἔχουσα πολλὰς καὶ

¹ Ducas Michaelis. Historia Byzantina, rec. S. Bekker, Bonnæ, 1834.

² Georgius Phrantzes, rec. S. Bekker, 1838.

³ Laonici Chalcocondylae historiarum demonstrationes, rec. E. Darkó — I—II, Budapestini, 1922—1927. Мы цитируем по изданию Migne. Patr. Gr. v. 159, 1866.

⁴ Критувул, цит. соч., кн. II, гл. VII, стр. 109.

⁵ Herod. IV, 48.

⁶ Критувул, цит. соч., кн. II, гл. VII, § 1.

καλὰς ἐν τῇ μεσογαίᾳ καὶ φρούρια ἐρυμνὰ περὶ τοὺς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ“).¹

„Вследствие этого царь счел весьма необходимым покорить эту страну и захватить крепости на высоком берегу реки (Истра. — З. У.), чтобы стать господином переправы через нее“. „И не одно это, но и достоинства страны нисколько не меньше побуждали его (к походу), — страны удивительной и изобиловавшей всеми благами“.²

„Ведь земля там богата и плодородна и доставляет все в изобилии, что приносят времена года посевов и жатвы. На ней пасутся большие стада коз, овец, свиней, быков и прекрасных коней в немалом количестве и многих других годных в пищу полезных домашних животных, а также разного рода диких зверей щедро питает эта земля. Но самое главное, чем значительно превосходила эта страна все другие страны, это то, что она производит золото и серебро как бы прямо из источников, и повсюду там добываются крупинки золота и серебра в большом количестве и лучшего качества, чем в Индии“ („ἡ τε γὰρ γῆ πάμφορος τέ ἐστιν αὐτῇ ἐρρωμένη πρὸς ἀπάσας γονὰς καὶ πάντα μεθὰ θαψιλείας παρεχομένη ὅσα φέρουσιν ὥραι σπερμάτων τε καὶ φυτῶν, ἀλλὰ δὴ καὶ ὅσα νέμονται γῆν, αἰπόλια τε φημι καὶ πόμνια καὶ σφόδρια καὶ βουκόλια καὶ ἵππων ἀγαθῶν οὐκ ὀλίγην ποσὴν καὶ πολλῶν ἄλλων ἐδωδύμων τε καὶ χρησίμων Σώων ἡμέρων τε καὶ ἀγρίων γένη διάφορα ἅπαντα τρέφει μετὰ πολλῆς περιουσίας. τὸ δὲ μέγιστον καὶ ὃ πάσας τὰς ἄλλας νικᾷ μετ' ὑπερβολῆς, ὅτι χρυσὸν καὶ ἄργυρον ὥσπερ ἀπὸ πηγῶν ἀναδίδωσι, καὶ πανταχοῦ ταύτης ὀρυσσοντι ψήγματα παρέχει χρυσοῦ καὶ ἀργυροῦ πλεῖστα καὶ κάλλιστα καὶ κρείσσον τῆς Ἰνδικῆς“).³

„Вследствие этого уже с давних пор держава трибаллов была цветущей и гордилась своим богатством и могуществом“ („δι' α' δὴ καὶ τό ἐξ ἀρχῆς ἡ τῶν τριβαλλῶν ἀρχὴ εὐδαίμων τε ἦν καὶ ἐπὶ πλούτῳ καὶ δυναστείᾳ μέγα ἐφρόνει“).⁴

Затем автор уже в третий раз повторяет, что страна эта имела „много и больших городов“ („καὶ πόλεις εἶχε πολλὰς καὶ μεγάλας“), действительно цветущих („ἄλλα δὴ καὶ εὐδαίμονας“), и укрепленные и недоступные крепости („καὶ φρούρια ἐρυμνὰ καὶ δυσάλωτα“).⁵

Далее Критовул говорит о военном могуществе Сербии, о том, что она имела много войск и большое количество прекрасного оружия, и население ее было доблестно, и особенно славилась она храброй и мужественной молодежью. „И была она для всех удивительной и знаменитой, но и вызывала ненависть и имела много не только одних приверженцев, но и врагов“.⁶

Такова общая характеристика, которую дает Критовул сербскому государству. Прежде всего бросается в глаза, что Сербия в изображении Критовула — страна богатая и цветущая. По его словам, она уже являлась страной не только земледелия и скотоводства, но и страной с развитой городской жизнью; в ней было много больших и цветущих городов, она славилась богатыми горными промыслами по добыче золота и серебра. Несколько далее автор вновь упоминает о добыче в Сербии драгоценных металлов и указывает на географическое

¹ Там же, кн. II, гл. VII, § 82, стр. 109.

² Там же („... οὐ μόνον δὴ, ἀλλὰ καὶ ἡ τῆς χώρας ἀρετὴ οὐδὲν ἥττον ἐπέχεν αὐτὸν θαυμαστῇ οὐδ᾽ καὶ πᾶσιν ἐνθήμενῇ τοῖς ἀγαθοῖς“).

³ Там же, § 2—3, стр. 159.

⁴ Там же, § 4.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

расположение золотых и серебряных рудников. Он сообщает, что во время своего вторжения в Сербию в 1455 г. Мехмет II подошел к укрепленному и цветущему городу, называвшемуся на языке трибаллов Новоброд, где добывалось из земли много серебра и золота¹ („...ἀφικνεῖται ἐς πόλιν ἐχυσάν καὶ εὐδαίμονα Νοβοπρόδον οὕτω καλουμένην τῇ Τριβαλλῶν φωνῇ, οὗ δὴ καὶ πλεῖστος ἀργυρος καὶ χρυσός γεωργεῖται ἀνορύττομενος...“).²

Сообщения Критовула подтверждаются другими источниками XV в. О добыче серебра и золота в Сербии упоминают византийские писатели Халкокондил³ и Дука,⁴ но они говорят об этом лишь вскользь. И тот и другой указывают город Новобродо как место, где производилась добыча этих ценных металлов. Однако они не дают такой яркой общей картины экономики Сербии в XV в., как это делает наш автор. С приведенной характеристикой Сербии, данной Критовулом, вполне совпадает также описание этой страны, которое мы находим в письме венгерского короля Владислава к папе Каликсту III от 21 июля 1455 г. Он пишет: „Сербия имеет плодородную почву, изобилует плодами и чрезвычайно богата копиями золота и серебра“.⁵

На это же указывает и итальянский писатель гуманист Бонфиний, который пишет: „Мехмет, сначала вторгнувшись в Верхнюю Мизию, задумал захватить серебряные рудники, которые принадлежали деспотам Сербии, и, действительно, осадил и захватил город *povum montem* (Новоброд), очень богатый серебром и металлами“.⁶

Это же подтверждает Maurus Orbinus, который сообщает: „Monte nero ove il Turco hà ricchissime munere d'oro e d'argento“ („Новая гора, где Турок имеет богатейшие копи золота и серебра“).⁷ Для характеристики экономического положения Сербии в XV в. можно привлечь и данные византийского писателя Дуки, который пишет: „Сербия вносила ежегодную дань туркам в размере 12 тыс. золотых номисм, в то время как деспоты Пелопоннеса платили только 10 тыс. номисм, остров Хиос — 6 тыс. номисм, а Митилена — всего 3 тыс., а царь Трапезунта от 2 до 3 тыс. золотых номисм в год“.⁸ Сведения Дуки могут служить косвенным доказательством того, что Сербия в этот период считалась и действительно была страной более богатой и значительной, чем Пелопоннес, последний очаг греческой „национальности“ и культуры, или острова Эгейского моря и даже такое богатое государство, как Трапезунтская империя.

Это совпадение сведений Критовула с данными других источников подтверждает их несомненную достоверность. Однако следует иметь в виду, что, как мы уже указывали, Критовул, желая подчеркнуть важность и значение завоеваний Мехмета II и особую ценность вновь приобретаемой области, возможно, несколько сгустил краски, в известной мере преувеличил степень экономического развития и богатства

¹ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. VIII, § 4, стр. 110.

² Транскрипция названия города Новобродо у византийских и других авторов различна. Халкокондил называет его *Νοβοπρόδον* на стр. 414, § 13. Дука говорит о нем как о *Νοβοπρόδον* (стр. 209, 15). Турецкий писатель Сеад-эд-дин называет *Novobardo* и т. д.

³ Цит. соч., стр. 415, 8.

⁴ Цит. соч., стр. 17. Сведения эти использованы в работе S. Hammer. *Geschichte des osmanischen Reiches*, t. II, S. 13.

⁵ Приведено у St. Katona. *Historia critica regum Hungariae*, v. XIII, p. 1011.

⁶ Bonfinius, III, 8. Цит. по Bullialdi ad Ducae *Historiam notae*, p. 541.

⁷ Ibid.

⁸ Ducas. *Hist. Byz.*, стр. 313 и 314.

Сербии. Тем не менее по полноте данных труд Критовула в ряду других источников является важным свидетельством об экономике Сербии XV в.

Некоторые заслуживающие внимания сведения имеются в труде Критовула и по политической истории Сербии. Автор довольно подробно останавливается как на внутривнутриполитическом положении Сербии, так и на международной обстановке того времени. В первой книге своего сочинения Критовул впервые упоминает сербов, сообщая, что после падения Константинополя султан, наряду с послами из Пелопоннеса, Митилены, Хиоса, принял сербских и албанских послов,¹ прибывших изъяснить покорность султану и поздравить его с победой. Мехмет II принял их милостиво и заключил с ними соглашение, по которому они должны были платить ему установленную дань.²

Значительная часть второй книги „Истории Мехмета II“ Критовула посвящена походу султана в Сербию в 1455 г. Следует подчеркнуть, однако, что автор в угоду общей туркофильской тенденции ничего не говорит о походе Мехмета II в Сербию в 1454 г., поскольку этот поход принес султану ряд серьезных неудач. Как сообщает Дука, султан в 1454 г. потребовал от сербского деспота Георгия³ передачи его государства туркам и, когда тот отказался, двинулся против него походом. Сперва экспедиция была успешной, деспот Георгий бежал в Венгрию, и Мехмет II дошел до Смедерева и осадил его. Но в это время пришли известия о том, что венгерский полководец Гуниад⁴ с большой армией перешел Дунай и спешит на помощь осажденным. Султан принужден был снять осаду Смедерева и уйти в Софию, оставив у Крушевца своего пашу Фериз-бега с 30-тысячной армией. 10 октября 1454 г. турецкая армия Фериз-бега потерпела страшное поражение у Крушевца от объединенных сил венгров и сербов. Гуниад опустошил окрестности Ниша и Пирота и сжег Видин, как он сам сообщает императору Фридриху III в своем письме из Белграда в конце 1454 г.⁵ Критовул, повидимому, совершенно сознательно умалчивает о всех этих событиях, а также не упоминает о победе сербского отряда Николы Скобалича над турками у Глубочицы, близ Лесковца.

Свое повествование Критовул начинает непосредственно с причин похода Мехмета II в Сербию в 1455 г.⁶

Он указывает, что Мехмет II был уведомлен о готовящемся в Сербии восстании против его власти и что правитель (ἡγεμόνα) трибаллов склонен к отпадению от турецкой державы. Кроме того, „гегемон трибаллов“ тайно ведет переговоры с королем венгров и заключает с ним договор о совместных действиях против турок. Наконец, деспот Сербии под разными неблагоприятными предлогами задерживает доставку ежегодной дани, что вызвало особенно сильный гнев Мехмета II.

¹ Критовул, цит. соч., кн. I, гл. XXIV, § 1, стр. 102.

² Дука сообщает нам размер этой дани. Он пишет: „Ἀπελογίσათο οὖν πρῶτον τῷ πρῶτῳ: Σερβίας τοῦ διδόνου κατ'ἔτος τῇ ἡγεμονίᾳ τῶν Τούρκων νομισμάτων χιλιάδας ὀδονεκ“, стр. 313, 21; т. е. ежегодная дань = 12 тыс. номисм (золотом).

³ Юрия-Георгия Бранковича (1427—1456).

⁴ Ян Гуниад — по происхождению валах.

⁵ Katona, op. cit., v. XIII, p. 963—967.

⁶ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. 6, стр. 109. О походе Мехмета II в Сербию в 1455 г. немного говорит Халкокондил (цит. соч., стр. 414); подробнее пишет Сеад-ад-Дин (цит. соч., т. II, стр. 170—173).

В данном случае, следуя своей общей тенденции и желая подчеркнуть, что виновником войны был деспот Георгий Бранкович, вынудивший Мехмета II предпринять поход в Сербию, Критовул искажает факты. В то время как он утверждает, что правитель Сербии уклонился от уплаты дани, другие источники сообщают, что деспот Георгий весьма аккуратно вносил дань туркам; так, например, Дука пишет, что деспот Сербии привез в августе 1453 г. установленную дань в Адрианополь, собрав ее в кратчайший срок.¹ Тот же Дука и турецкий писатель Сеад-эд-Дин, в дополнение к Критовулу, сообщают еще один предлог, выставленный султаном в качестве причины нападения на Сербию. Мехмет II, ссылаясь на то, что он находится (по матери) в родстве с семьей деспота Сербии, претендовал на власть над всем Сербским государством.²

Однако далее Критовул все же говорит о наиболее существенных причинах, вызвавших нападение султана на Сербию. Он указывает, что Мехмет II придавал огромное значение захвату Сербии потому, что она являлась прекрасным плацдармом для нападения на Венгрию и Валахию — врагов султана.³ Но самое главное, что толкало Мехмета II на войну с сербами, это было богатство этой цветущей и прекрасной страны.⁴ Таковы были, по словам Критовула, причины, вызвавшие нападение султана на Сербию в 1455 г.

Хорошо подготовившись в течение зимы, Мехмет II с наступлением весны выступил из Адрианополя с огромным войском, состоявшим, по сообщению Критовула, из 500 тыс. конницы и еще большего количества пехоты,⁵ имея с собой много всякого оружия и артиллерию. Захватив Мисий и за семь дней перейдя через Аймонские горы, султан вторгся в страну трибаллов, уничтожая и истребляя все на своем пути. При этом он покорил „немало крепостей, одни взяв штурмом, другими овладев после осады“.⁶ Спустя 25 дней турецкие войска подошли к укрепленному и богатому городу Новоброду (Новобрдо) и разбили перед ним лагерь. Подчеркивая миролюбие султана, Критовул сообщает, что Мехмет II начал мирные переговоры с осажденными, обещая сохранить им жизнь и имущество и убеждая, что они „будут вносить ему дань такую же, как и своему царю“,⁷ и только получив отказ, он начал осаду города. Деспот Сербии Георгий (которого Критовул по ошибке именует Лазарем), узнав о вторжении султана и осаде Новоброда, по словам Критовула, „испугался и, находясь в безвыходном положении, не знал, что предпринять“.⁸ Однако Критовул отдает должное врагу Мехмета II — „мужу благородному и отличавшемуся воинской доблестью“⁹ („γενοῦται βῆτα καὶ στρατηγικόν“). Несмотря на тяжелое положение, Георгий принимает меры к отражению врага. Он

¹ Дука, цит. соч., стр. 314.

² Там же, стр. 317; Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 171.

³ „Природа страны (трибаллов) доставляла удобное положение для войны с паннонцами и даками, находящимися во вражде с ним, так как он из нее легко мог вторгнуться в землю тех“ (Критовул, цит. соч., кн. II, гл. VI, стр. 109).

⁴ Там же, кн. II, гл. VII, § 2, стр. 109.

⁵ Там же, кн. II, гл. VIII, § 3, стр. 110. Эта цифра является сильно преувеличенной, так как Критовул вообще склонен к преувеличению сил султана. Однако установить сколько-нибудь точно силы турок нельзя, так как другие источники не сообщают численности войск султана во время этого похода.

⁶ Там же, § 3, стр. 110.

⁷ Там же, § 5, стр. 110.

⁸ Там же, 13, § 1, стр. 110.

⁹ Там же, VII, § 6, стр. 110.

по возможности вооружает оставшиеся у него крепости, а все население открытых мест переселяет в крепости и неприступные горы, переносит туда скот и перевозит все имущество. В Самандрии же деспот оставляет сильный гарнизон и верного ему начальника и, снабдив город в изобилии съестными припасами и подготовив все для длительной осады, сам с женой и детьми, со всем имуществом и некоторыми приближенными переправляется через Истр и уезжает в Венгрию.¹ Однако вскоре он отправляет посольство из своих вельмож к султану и пытается богатыми подарками склонить его к миру. Критовул ничего не говорит о том, что деспот Георгий, находясь в Венгрии, несмотря на свой преклонный возраст, развил активную деятельность, пытаясь поднять силы Западной Европы на войну против турок и выступая с призывом к крестовому походу против „неверных“.² Однако его призывы оказались бесплодными, и только тогда, когда деспот увидел, что от Запада нельзя ждать никакой помощи, он начал мирные переговоры с султаном. Послы деспота, „мужи весьма разумные и опытные“,³ нагруженные богатыми подарками и, кроме того, везшие с собой установленную дань, явились к султану. Мехмет II принял их милостиво, щедро одарил и заключил с ними соглашение, по которому оставил за собой захваченные им крепости и часть страны, покоренную силой оружия, остальные же сербские земли отдал деспоту, „который должен был вносить ежегодную дань, немного меньшую, чем прежде, и поставлять условленное количество воинов в войско царя“.⁴ Здесь Критовул, как и в других местах своего труда, старается подчеркнуть милостивое отношение султана к побежденным и, в частности, к деспоту Георгию.

Описав довольно подробно осаду Новоброда, длившуюся 40 дней, Критовул сообщает, что осажденные держались до последнего, но когда стены города были разрушены артиллерией, — сдались на милость победителя, и султан пощадил их и разрешил им с женами и детьми и со всем имуществом выслаться из города и расселиться по стране.⁵

Деспот Георгий, узнав об условиях заключенного его послами мира, с радостью на них согласился, так как, продолжает Критовул, „он не рассчитывал, чтобы царь, собравший столь большое войско и произведший такие приготовления и понесший столь великие издержки в войне, заключил с ним мир“.⁶ Его радость была столь велика, что он даже не протестовал против захвата султаном части его земель,⁷ довольствуясь оставленной ему территорией, так как „он боялся раньше, что лишится всего своего государства“.⁸ И тотчас, захватив жену и детей и все свое добро и переправившись через Истр, возвратился в свою державу. Султан же вооружил захваченные им крепости, оставив там сильные гарнизоны, назначил „сатрапом“ области Али, а сам с огромной добычей возвратился в Адрианополь. „А произошло это по истечении 6963 полных лет от сотворения мира и на пятый год правления царя“.⁹ Таков рассказ Критовула о походе Мехмета II в Сербию в 1455 г.

¹ Критовул, цит. соч., кн. IX, § 1—2, стр. 110. Самандрия — так греческие писатели называют Смедерево.

² Радониц, цит. соч., стр. 75.

³ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. IX, стр. 111.

⁴ Там же, кн. II, гл. IX, стр. 111.

⁵ Там же, § 5, стр. 111.

⁶ Там же, § 6, стр. 111.

⁷ Султан захватил южную часть Сербии.

⁸ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. IX, § 6, стр. 111.

⁹ Т. е. в 1455 г. Там же, § 8, стр. 111.

Освещение событий и их оценка, общий тон рассказа Критовула о походе Мехмета II в Сербию резко контрастируют с освещением этих событий у других византийских авторов и ближе подходят к рассказу турецких историков, в частности Сеад-эд-Дина, что, конечно, определяется туркофильской позицией Критовула и панегирическим характером его труда.

Однако если отбросить некоторые преувеличения и принять во внимание общую туркофильскую окраску „Истории Мехмета II“, то при сопоставлении данных ее автора с сообщениями других византийских историков, в первую очередь Халкокондила¹ и Дуки², мы увидим, что Критовул дает довольно подробный и в целом точный рассказ о вторжении турецких войск в Сербию в 1455 г.

Осада Белграда в 1456 г.

Большой интерес представляет рассказ Критовула об осаде Мехметом II Белграда летом 1456 г. (кн. II, гл. XVII, XVIII, XIX, стр. 114—116). Источники, повествующие об этой осаде, многочисленны и многообразны, но фрагментарны. Из византийских писателей наиболее подробно описывает это событие Халкокондил,³ рассказ которого по праву считается одним из лучших источников об осаде Белграда. Другие византийские писатели — Дука и Франдзи⁴ — лишь вскользь упоминают о ней. Осада Белграда для них — просто незначительный эпизод, описание которого уместается в нескольких строках. Из других источников интересны, но весьма субъективны сообщения главных участников сражения под Белградом — Яна Гуниада и Иоанна Капистрана,⁵ а также очевидца осады — Тальякоцо.⁶ Письма и донесения Гуниада и Капистрана дают явно „западническое“ освещение приводимым фактам. Хроника Тальякоцо — рассказ очевидца, наполненный интересными и красочными подробностями, заслуженно занимает видное место среди источников об осаде Белграда турками.

Привлекает внимание описание осады Белграда у турецкого историка Сеад-эд-дина. Чрезмерное воображение автора и риторические преувеличения снижают ценность его труда, но все же его повествование, очищенное от пышности восточного красноречия и излишнего пустословия, рисует довольно точную картину осады и наполнено многими живописными деталями, особенно о жизни турецкого лагеря под Белградом.

Кратко сообщают о белградской битве сербские летописи.⁷ Некоторые известия содержит хроника Дубровника.⁸ Довольно подробно повествуют об этом событии венгерские хроники.⁹

Среди этих разнообразных источников, имеющих различную политическую, конфессиональную и национальную окраску, преобладают источники „западнической“ ориентации (за исключением, понятно, турецких).

¹ Халкокондил, цит. соч., стр. 414.

² Дука, цит. соч., стр. 317.

³ Халкокондил, цит. соч., стр. 416—426.

⁴ Дука, цит. соч., стр. 337; Франдзи, цит. соч., стр. 212.

⁵ См. Katona, op. cit., v. VI, p. 2.

⁶ Записки Тальякоцо изданы в XXIX т. *Analecta Bollandiana*.

⁷ „Гласник Српского ученого друштва“, кн. XXXII, Београд, 1871.

⁸ *Monumenta spectantia Historiam Slavorum Meridionalium*, v. XIV, Agram, 1883.

⁹ Из них нам была доступна лишь хроника Туроца, латинский перевод которой дан в труде Katona, v. XIII, p. 1096 и сл.

„История Мехмета II“ Критовула занимает особое место и по своей политической окраске резко отличается от всех византийских, славянских, итальянских, венгерских и других источников и скорее приближается к турецким.

Более того, в своем стремлении скрыть поражение Мехмета II Критовул превосходит даже турецкого историка Сеад-эд-Дина, который более чистосердечен и откровенен, чем грек-ренегат Критовул. Однако у Критовула есть некоторые подробности, которых не сообщает ни один современный писатель. Например, никто из них не дает такого подробного описания построения турецких войск и самого штурма Белграда, как это делает Критовул.

Свой рассказ Критовул начинает с описания военных приготовлений султана зимой 1455/56 г. При этом он подчеркивает, что султан держал в тайне цель этих приготовлений: „никто не знал, куда он совершит поход“.¹ Сообщения Критовула в основном совпадают с рассказом Сеад-эд-Дина² и Тальякоццо.³ Действительно, в течение зимы 1455/56 г. султан собрал к Адрианополю со всех концов своих обширных владений, с такой же неутомимой энергией, как и перед осадой Константинополя, армию, численность которой некоторыми историками (Сеад-эд-Дин) и народным воображением была преувеличена до 400 тыс., однако по самым скромным подсчетам она составляла приблизительно 150 тыс. чел.⁴ Пушки всех калибров, в том числе 20 „настоящих чудовищ“ — в 27 футов длины, подобных которым не видели раньше, были подвезены из Адрианополя к Белграду. Бесчисленное множество верблюдов, быков и буйволов, собранных из Боснии и Анатолии, везли артиллерию, военное снаряжение и продовольствие. Мельницы для размалывания зерна, печи для выпечки хлеба, большое количество железа и меди для отливки пушек — все это имелось в армии султана. Носился слух, что турки везли с собой множество собак, предназначенных для уничтожения трупов христиан.⁵

Критовул не дает этих подробностей о приготовлениях султана, ограничиваясь общими фразами, возможно, потому, что он не был очевидцем описываемых событий, а скорее всего (поскольку он писал по рассказам очевидцев и был, видимо, достаточно осведомлен) он сознательно не хотел подчеркивать грандиозности приготовлений султана, что сильнее оттенило бы размеры поражения турок под Белградом.⁶ Так, например, он значительно более подробно описывает приготовления к походу султана в Трапезунт, Синоп, Пелопоннес.

С началом весны 1456 г. султан, по словам Критовула, выступил из Адрианополя, прошел через внутреннюю Фракию и Македонию до Верхнего Мисия (ныне называемого Софией) и до Аймонского похода, перешел его, вторгся на территорию трибаллов и, опустошив их страну, прибыл к паннонскому городу, расположенному по берегу Истра и называемому Пелоград, т. е. Белград („... ἀρριμνείται ἐς τὸ τῶν Παννονων ἄστυ τὸ πρὸς τὰς ὄχθας τοῦ Ἰστρου καίενον, Πελωγράδον οὗτο καλεομενον“).⁷ Критовул яркими красками рисует неприступность Белградской крепости.

¹ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XVII, стр. 114.

² Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 183.

³ Тальякоццо, цит. соч., стр. 215—216.

⁴ Nisbet-Bain, цит. соч., стр. 240.

⁵ Там же.

⁶ Другие же хроникеры, вероятно, тоже вполне сознательно, преувеличивают размеры приготовлений, чтобы показать, сколь велика была победа над турками.

⁷ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XVII, § 2, стр. 115.

Крепость Белграда расположена на узком мысе при слиянии Истра и Савы и с двух сторон защищена самой природой: быстрым и бурным течением этих рек, обрывистыми и высокими берегами, глубокими водоворотами.¹ Со стороны суши Белград более доступен для нападения, однако человеческое искусство сделало все возможное, чтобы его укрепить. Здесь город был защищен высокой двойной стеной, глубоким рвом, наполненным водой. Город защищался сильным венгерским гарнизоном,² из „воинственных и закованных в латы солдат“. Таким образом, заключает автор, город был неприступен.

Описание Белградской крепости у Критулула вполне совпадает с данными современных ему писателей. В дополнение к сказанному Критулулом можно добавить, что со стороны суши город был также защищен крутыми скалами и опасными трясинами, а цитадель, которая стояла на скале в центре города и с которой город был связан лишь небольшим деревянным мостом, по тому времени действительно была неприступной.

Критулул прекрасно понимает также важность стратегического положения Белградской крепости и, как турецкий писатель Турсун-Бег, называет ее ключом к Венгрии.³

Затем Критулул дает подробное описание осады Белграда. Он рассказывает, как султан окружил город и начал обстреливать его и как часть внешней стены города была разрушена до основания, а ров засыпан турецкими войсками. Однако осажденные стойко сопротивлялись, и там, где стена была разрушена, „вырыли внутри города глубокий ров и насыпали высокий вал“. Но положение их было крайне тяжелым. В это время „Иоанн, правитель паннонцев и даков, находясь на другом берегу Истра, прямо против города с 4 тыс. воинов, наблюдал за происходящим“. Узнав о безвыходном положении города, он, „тайно переправившись с воинами через реку и подойдя к городу, засел там, и никто не видел с этой стороны, как он переправился“.⁴

Это место Критулула привлекает особое внимание, так как здесь автор явно искажает факты и противоречит сообщениям всех других источников.⁵ Дело в том, что Критулул ни слова не говорит о знаменитой битве, происшедшей на Дунае между турецким флотом и флотилией Иоанна Гуниада 14 июля 1456 г., и о победе Гуниада, благодаря которой он со своими войсками пробился в Белград. Умалчивая об этом сражении, Критулул стремился показать, что Гуниад проник в город тайно, а не пробился силой оружия, как это было в самом деле.

Между тем другие современные источники рассказывают, что как только Иоанн Гуниад узнал о критическом положении Белграда, он решил прорваться к осажденным. Однако попытка спасти крепость с суши была бы чистым безумием, так как небольшой отряд воинов, которым располагал Гуниад, был бы перебит раньше, чем достиг города. Не оставалось ничего другого, как попытаться спуститься

¹ Критулул, цит. соч., кн. II, гл. XVII, § 2, стр. 115.

² Критулул здесь не упоминает, что, помимо венгерских войск, город защищался сербским гарнизоном.

³ Критулул, цит. соч., кн. II, гл. XVII, § 2, стр. 115.

⁴ Там же, кн. II, гл. XVIII, стр. 115, § 4.

⁵ О битве на Дунае и прорыве войск Гуниада говорит также Халкокондил, цит. соч., 418; Тальякоцо — см. Катона, op. cit., v. VI, p. 1072—1075; Иоанн Капистран в письме к Калликсту III — Катона, op. cit., v. 1, p. 1102 и другие источники.

с флотилией вниз по Дунаю и пробить себе дорогу в город по реке. Командир Белградской крепости был извещен об этом плане, и ему были даны указания держать в боевой готовности 40 небольших кораблей, которые имели осажденные, для комбинированной атаки. 14 июля 1456 г. Гуниад пустился в свое опасное предприятие под прикрытием безлунной ночи, и его корабли тихо спустились вниз по течению Дуная к Белграду. Турецкая эскадра из 200 кораблей стояла на якоре близ города, причем турецкие корабли были соединены огромными железными цепями и, таким образом, вся река была заперта флотом, а город блокирован. С приближением флота Гуниада с турецких кораблей был дан сигнальный выстрел, и турецкая флотилия приготовилась к абсордажной битве. На турецкую эскадру одновременно напали корабли Гуниада и белградская флотилия; завязалось ожесточенное сражение.

Схватка длилась пять часов, и исход ее долгое время был неясен. Наконец, войска Гуниада одержали победу и, разорвав железные цепи, пробили себе дорогу в город. Турецкие корабли были уничтожены или захвачены Гуниадом, и лишь немногим кораблям удалось уйти. На следующий день разбитые и выброшенные на берег корабли по приказанию султана были сожжены, чтобы они не попали в руки врагов.

В сражении на Дунае воины Гуниада вели себя героически и сражались с необычайным мужеством. В этой битве с большой силой проявился патриотический подъем, охвативший народы Венгрии и Сербии в борьбе с ненавистными завоевателями. Так рисуют битву на Дунае современные ей источники.¹

Умалчивая обо всем этом в угоду султану, Критовул зато весьма детально описывает штурм Белграда турецкими войсками. Он подчеркивает, что Мехмет II, отобрав самые лучшие войска и ободрив их речами и обещаниями больших наград, „сам повел их к стене“.² „Воины же со страшным шумом и боевым кличем стремительно бросились к пролому в стене“.³ Однако, „паннонцы стойко выдержали их натиск... и доблестно сражались“. Закипела страшная рукопашная схватка, в гуще которой оказался и сам султан. Наконец, турки взяли верх и, овладев внешней стеной, ворвались в город. Но в этот момент неожиданно появился из засады Иоанн Гуниад, привел в замешательство турецкие войска⁴ и отрезал им путь к отступлению.

Далее Критовул весьма красочно описывает страшную рукопашную битву в самом городе, подчеркивая при этом, что обе стороны сражались прекрасно, но турки, поражаемые с высоты крепостных стен и крыш зданий, вынуждены были отступить к своему лагерю. Даже туркофильски настроенный Критовул принужден признать героизм осажденных.

Рассказ Критовула о штурме Белграда до этого места в целом совпадает с данными других источников. К нему можно добавить лишь некоторые подробности, которые встречаются у очевидцев и участников Белградского сражения. Так, например, источники сообщают, что осажденные совершали чудеса храбрости, но особенно отличились при отражении штурма сербы.⁵

¹ Халкокондил, цит. соч., 418—419; Катона, *op. cit.*, VI, p. 1072—1075 и др.

² Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XIX, стр. 115.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 116.

⁵ Радониц, цит. соч., стр. 76.

Защитой Белграда сербский народ стяжал себе большую славу. Простые сербские воины сражались против турок с беспримерным мужеством. Стойко держался и венгерский гарнизон. Рукопашный бой шел на каждой улице города, но наиболее жестоким он был на узком мосту, ведущем из цитадели к городу, где войсками командовал сам Гуниад. Битва длилась несколько часов, и обе стороны несли огромные потери. Участник сражения Тальякоцо рассказывает один интересный эпизод. Когда бой был в разгаре, один молодой янычар взобрался на вершину самой высокой башни и, потрясая над головой развевающимся знаменем, призывал к себе своих товарищей. Увидев это, молодой венгерский воин бросился на турка и пытался вырвать из его рук знамя; началась ожесточенная борьба, но так как силы были равны, венгр бросился вниз со стены вместе со своим противником.¹ Исход сражения был решен тем, что осажденные, собрав охапки хвороста, ветки, смолу, серу и другие горючие материалы, подожгли их и стали бросать на голову туркам; большинство турецких воинов погибло от огня, другие обратились в бегство.

Далее Критовул говорит, что венгры, преследуя турок, ворвались в их лагерь и, захватив „машины“ (так называет Критовул пушки), сбросили их в реку.² „И многие из них обратились к грабежу лагеря, и совершили бы там великое зло и разграбили бы весь лагерь, если бы царь тотчас со своими воинами... не совершил нападения в самую их гущу и, сражаясь ожесточенно, одержал блестящую победу и обратил их в бегство, преследовал до самой стены, убивая и уничтожая беспощадно... и вновь загнал их внутрь города“.³ Таким образом, заключает автор, „захвачено из лагеря было немного“, и чтобы еще сильнее подчеркнуть свою мысль, вновь повторяет: „Так как царь, как я сказал, внезапно напал на них и, обратив в бегство, преследовал“.⁴

Здесь опять сказывается тенденциозность нашего автора: он всячески стремится показать, что поражение турок было не окончательным и что султану удалось поправить положение. Однако он вынужден признать, что турки понесли большие потери, особенно много погибло „прекрасных мужей из царской гвардии“, в том числе „эпарх Европы Каратзиас“.⁶

Далее Критовул сообщает о ранении султана:

„Говорят, что царь был ранен в сражении дротиком в бедро, но, впрочем, рана была неглубокой и поверхностной“ („λέγεται δὲ καὶ τὸν βασιλέα μαχόμενον βληθῆναι δόρατι τὸν μηρὸν, ἢ μόντοι μὲγα εἶναι τὸ τραῦμα, ἀλλ' ἐπιπόλαιον“) и продолжает: „Царь, потеряв окончательно надежду на взятие крепости (ведь там находился большой гарнизон, так как многие уже вошли в нее), снимается с войском оттуда, совершает набег и захватывает часть страны трибаллов, покоряет крепости, разграбляет деревни и, захватив большую добычу для себя и раздав войску, он, поставив вновь там сатрапом Али, возвращается в Адрианополь, когда был уже конец лета“.⁸

¹ Тальякоцо, цит. соч., стр. 212; Nisbet-Bain, цит. соч., стр. 249.

² Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XIX, стр. 116.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же, §§ 6, стр. 116.

⁶ Там же, §§ 6.

⁷ Там же, §§ 6, стр. 116.

⁸ Там же, § 7, стр. 116.

Критовул, таким образом, утверждает, что султан по собственной воле снял осаду с Белграда и обратился к завоеванию сербских земель. На самом деле, как передают другие источники,¹ Мехмет II, тяжело раненный, бежал с поля сражения под Белградом, едва собрав остатки своих рассеянных войск. Весь огромный лагерь, покинутый войсками, Мехмет II приказал поджечь, чтобы не оставить добычу победителям.²

Потери турок были велики. По подсчетам Цинкайзена, турки потеряли около 24 тыс. во время штурма и не меньше во время бегства.³ Султан, раненный и подавленный поражением, не думал о покорении сербских крепостей. Лишь значительно позже, когда после Белградского поражения турок в Сербии начались волнения, султан послал пашу Махмуда с 20-тысячным войском на подавление восстания в Сербии.

По всей Европе разнесся слух о страшном поражении султана и даже гибели „великого турка“. В одном письме от 29 августа 1456 г. к миланскому герцогу Сфорца, которое приводит Тальякоццо, читаем: „Se dice che li Turchi sono caciati de Constantinopoli et della morte del grande Turco“.⁴ Венгерский хронист Туроц⁵ сообщает, что тяжело раненого, полумертвого султана приближенные перенесли в Авалу,⁶ и когда султан пришел в себя, он потребовал, чтобы ему дали яд, ибо не желал возвращаться домой опозоренным.

В Риме ходили слухи, что под Белградом пало 70 тыс. турок; папа, кардиналы и все духовенство совершали торжественные молебствия по случаю победы над „неверными“.⁷

* * *

В обороне Белграда с особой силой проявился героизм народных масс южнославянских и других государств Восточной Европы, которые с необычайным мужеством и непоколебимой стойкостью сражались против ненавистных полчищ турецкого султана.

Защита Белграда — одна из героических страниц истории сербского и венгерского народов.

Несмотря на то, что турки значительно превосходили венгров и сербов как по численности, так и по технике, султану так и не удалось овладеть Белградом и турки принуждены были с позором отступить от стен крепости.

Непоколебимые стойкость и мужество защитников Белграда ясно выступают даже из рассказа Критовула, всячески стремящегося скрыть поражение султана и преуменьшить победу венгров и сербов. Однако, несмотря на свою тенденциозность, порой приводящую к искажению и замалчиванию фактов, рассказ Критовула об осаде Белграда отличается большой простотой, ясностью, стройностью и красочностью изложения и с учетом его тенденции может быть использован при изучении этого знаменательного в истории стран Балканского полуострова события, приостановившего на некоторое время дальнейшее продвижение турок в Европе.

¹ Халкокондил, цит. соч., стр. 423.

² Aeneas Sylvius. Hist. Bohem., p. 63.

³ I. Zinkeisen. Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, t. I, S. 93.

⁴ Тальякоццо, в XXIX т. Analecta Bollandiana, p. 216.

⁵ Katona, op. cit., v. XIII, p. 1096.

⁶ 18 км от Белграда.

⁷ Тальякоццо, цит. соч., стр. 216.

Критовул, описывая осаду Белграда, упоминает, что деспот Сербии, „узнав о нападении царя на его державу, тотчас перейдя Истр, с женой и детьми и всем своим имуществом отправляется в Дакию“,¹ а после поражения турок под Белградом вновь возвращается на родину.²

В XX и XXI главах второй книги Критовул дает живую и яркую картину внутренних междоусобиц в Сербском государстве. Он рассказывает, что комендант Белграда „Михаил, брат жены Иоанна“,³ враг деспота Георгия, подстерег его в одном городке⁴ и, вероломно захватив его, бросил в темницу в Белграде. С большим трудом деспоту удалось выкупиться за 30 тыс. золотых.⁵ Деспот Георгий вернулся домой в Смедерево,⁶ но вскоре умер, „охваченный горем и удрученный тяжелой болезнью“, оставив своими наследниками жену и сына Лазаря.⁷ Критовул подробно излагает ссору нового деспота Лазаря с его матерью, рисуя Лазаря самыми черными красками, затем описывает смерть матери Лазаря и бегство его сестры Амересы и слепого брата Григория к султану. Затем следует описание неудачного правления Лазаря, который „был еще молод и неопытен в управлении государством и не имел при себе честного и близкого человека, помогавшего ему в делах, или если и имел, то не следовал его советам и не доверял ему, — плохо управлял государством и привел все в замешательство и полный беспорядок“.⁸ Правление Лазаря было очень непродолжительным, и он вскоре умер, оставив наследниками жену и малолетнюю дочь.⁹ Следуя своей обычной манере во всем оправдывать действия султана, Критовул говорит, что Лазарь перестал вносить обычную дань, что вызвало гнев Мехмета II,¹⁰ и он стал готовиться к нападению на Сербию.

Узнав о смерти Лазаря, султан приказал своему наместнику Али напасть на Сербию. Али вторгается в страну и осаждает Смедерево (Самандрию).¹¹ Не будучи в силах выдержать осаду, вдова Лазаря и ее приближенные вынуждены были сдать город, и султан, по словам Критовула, обошелся с ними милостиво, разрешил невредимыми выйти из города со всем их имуществом, а затем дал вдове Лазаря во владение два городка в Боснии и Далмации. Покинув Сербию, вдова Лазаря выдала замуж свою дочь за правителя Боснии, а сама отправилась на остров Керкиру.¹² Окончила она свою жизнь, как сообщает другой византийский писатель Георгий Франдзи, в монастыре Санта-Мария в 6982 г. от сотворения мира, или в 1474 г. н. э.¹³

Таков рассказ Критовула о последних днях Сербского государства. В целом он совпадает с данными других источников. Так,

¹ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XVIII, стр. 15, § 1.

² Там же, кн. II, гл. XX, стр. 116.

³ Михаил Свилаевич, родственник Иоанна Гуниада.

⁴ По предположению Радоница, это был Купеник на Саве (Радониц, цит. соч., стр. 75).

⁵ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XX, § 4, стр. 116. В одном современном письме говорится, что за 60 тыс. золотых дукатов.

⁶ У Критовула — Самандрия.

⁷ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XX, стр. 116.

⁸ Критовул, цит. соч., § 11, стр. 117.

⁹ Там же, стр. 117.

¹⁰ Там же.

¹¹ Критовул, цит. соч., кн. II, гл. XXI, § 1, стр. 117, § 2.

¹² Там же, кн. III, гл. II, § 1, 2, стр. 120.

¹³ Франдзи, цит. соч., стр. 450, 15.

например, Эней Сильвио в своем произведении „Еуропа“ также говорит, что слепой Георгий с сестрой бежали от притеснений Лазаря к султану и что Георгий после смерти деспота Лазаря пытался с помощью турок овладеть властью в Смедереве.¹ О неладах между Лазарем и его матерью есть сведения и в других источниках, носились даже слухи, что деспот Лазарь отравил свою мать Ирину.² Сведения о судьбе жены Лазаря Елены, которые приводит Критовул, совпадают с рассказом Франдзи,³ который сам окончил свои дни на Керкире и знал о последних годах ее жизни.

Однако некоторые места в рассказе Критовула вызывают сомнение. Так, по данным сербских летописей, деспот Лазарь уже в январе 1457 г., сразу же после прихода к власти, заключил договор с султаном, по которому Мехмет II признал за ним все земли отца, кроме Новоброда, с тем, что Лазарь будет платить туркам дань в 40 тыс. дукатов.⁴ По сообщению Тальякоцо, Лазарь был в хороших отношениях с Махмудом Анжеловичем, беглер-бегом Румелии, и из-за вражды с родственником Гуниада помогал Махмуду в его походе против венгров в Банат в конце 1457 г.⁵ Эти сведения других источников противоречат общему враждебному тону, каким говорит Критовул о деспоте Лазаре, вряд ли уместному в его труде, если бы Критовул знал о протурецкой ориентации Лазаря. Скорее всего, Критовул был недостаточно осведомлен о политике Лазаря, а передавал ту версию, которая, как ему казалось, была наиболее приятной султану. Как справедливо отмечает Радониц,⁶ известия Критовула о том, что султан готовился напасть на Сербию из-за того, что Лазарь не платил ему дань, — не точны и являются, по нашему мнению, обычным шаблоном, который часто встречается у Критовула. Если бы Лазарь находился во враждебных отношениях с турками, то как бы он мог состоять в хороших отношениях с беглер-бегом Махмудом и принимать участие в его походе в Банат?

Слишком в общих чертах и неточно описывает Критовул дела в Сербии после смерти деспота Лазаря. Например, он ничего не говорит о походе беглер-бега Махмуда Анжеловича в Сербию летом 1458 г., когда Махмуд захватил почти всю Сербию, кроме Смедерева, а в августе 1458 г. взял г. Голубац, как передает Тальякоцо.⁷ Критовул не упоминает, что Мехмет II сам захватил Смедерево 20 июня 1459 г.⁸

Но что является ценным в рассказе Критовула, — это яркая картина феодальных усобиц в Сербском государстве накануне его окончательного падения, почти такая же выразительная, как нарисованные им картины междоусобных войн в Пелопоннесе перед его захватом турками⁹ или междоусобия феодалов в Трапезунтской империи.

Босния

Весьма обстоятельно рассказывает Критовул в четвертой книге своего труда о походе Мехмета II в Боснию в 1463 г. Подобно

¹ Aeneus Sylvius. Europa, v. V, p. 230.

² Радониц, цит. соч., стр. 79.

³ Франдзи, цит. соч., стр. 386.

⁴ Радониц, цит. соч., стр. 79.

⁵ Тальякоцо, цит. соч., стр. 230.

⁶ Радониц, цит. соч., 79.

⁷ Тальякоцо, цит. соч., стр. 241, 242.

⁸ Критовул, цит. соч., кн. III, гл. II, стр. 120.

⁹ Там же, кн. III, гл. XIX, стр. 131 и сл.

описанию похода султана в Сербию, Критовул начинает свой рассказ с краткой характеристики Боснии, это описание представляет большой интерес. Он говорит, что страна бостров, некогда называвшихся далматами, расположена по сю сторону р. Савы и граничит со страной паннонцев. Племя это велико и владеет землями, изобилующими всякими плодами и окруженными непроходимыми теснинами и скалистыми горами. Держава их имеет неприступные крепости, укрепленные городки и богатых и могущественных правителей („... προσέτι δὲ φρούρια τε ἔχουσιν ἔργονα καὶ πόλινματα ἰσχυρὰ καὶ δυσάλωτα καὶ ἡγεμόνας εὐδαίμονων καὶ δυνατῶν“).¹ Бостры всегда находились в тесной дружбе с царем паннонцев и были с ним в военном союзе. В силу этого они никогда не шли на союз с турками и, в отличие от их соседей иллирийцев (албанцев) или трибаллов (сербов), отказывались платить султану ежегодную дань.² Они презрели предложение султана заключить соглашение с ним, „желая быть независимыми, свободными и не связанными никакими договорами“ („... αὐτόνομοι τε καὶ ἐλεύθεροι καὶ ἐκπύοντες πάντα εἶναι βούλομενοι“).³ По сообщению Критовула, Босния — страна могущественная, богатая и независимая. Например, он рассказывает, что во время похода 1463 г. султан Мехмет II захватил в Боснии не менее 300 крепостей и четырех гегемонов (правителей).⁴ („... λήζεται καὶ χειροῦται φρούρια ὀλίγω ἐλασσῶ τριακοντίων, συλλαμβάνει δὲ καὶ τῆσσαρας τῶν αὐτῆς ἡγεμόνων“).⁵ Некоторые ученые, например Радониц, сомневаются в правдоподобности этой цифры — 300 крепостей — для Боснии XV в.⁶ Однако если Критовул даже несколько и преувеличил эту цифру, опять-таки, чтобы подчеркнуть величие побед султана, то все же это не меняет общего впечатления о Боснии, которое мы получаем из рассказа Критовула, как о стране сильной и могущественной. Особенно подчеркивает Критовул значение неприступной крепости *Ίάτζα* (Яйце), „расположенной в удобной местности по соседству с Венгрией“, которую султан стремился захватить как важнейший опорный пункт для нападения на Венгрию.

Босния, по изображению Критовула, — типичное феодальное государство, причем центральная власть в лице их „правителя“ (кряя Боснии Стефана Томашевича) была, видимо, слаба. Так, Критовул подробно рассказывает о гибели боснийского кряя в результате измены его приближенных. Он пишет, что Мехмет II, разгневавшись на Боснию за то, что она не желала ему подчиниться и заключить с ним союз, весной 1463 г., собрав огромное войско, вторгается в Боснию и, разгромив большую часть страны, подходит к неприступной крепости Яйце, куда бежал правитель боснийского государства. Начав осаду города, он в течение немногих дней разрушил часть крепостной стены и готовился к штурму. Однако осажденные „тайно от своего правителя (гегемона) начали переговоры с царем и сдали себя и город“.⁷ Правитель же их, узнав об этом, ночью бежал из города, но был схвачен турецкой стражей и приведен к султану, и тот его тотчас казнил“.⁸

¹ Критовул, цит. соч., кн. IV, гл. XV, стр. 147.

² Там же.

³ Там же, § 2, стр. 147.

⁴ Там же, § 11, стр. 148.

⁵ Там же.

⁶ Радониц, цит. соч., стр. 81.

⁷ Критовул, цит. соч., кн. IV, гл. XV, § 8, стр. 148.

⁸ Там же.

С теми же, кто был в городе, „султан обошелся милостиво, разрешил остаться в городе на условии уплаты дани. Затем, „оставив в крепости сильный гарнизон и назначив фруархом (начальником гарнизона. — З. У.) одного из местных вельмож, опустошает всю страну бостров и далматов, прежде чем кончилось лето“.¹ Весьма интересно замечание Критовула, что султан захватил в Боснии, кроме казненного краля Стефана, еще „четырех гегемонов“. Повидимому, это были крупные феодалы, имевшие значительную власть в стране.

Таков вкратце рассказ Критовула о походе Мехмета II в Боснию в 1463 г. Об этом же походе есть сведения в других источниках. Довольно подробно говорят о нем Халкокондил,² Сеад-эд-Дин.³ Интересен рассказ об этой экспедиции очевидца Михаила Янычара. В целом изложение событий у Критовула совпадает с данными других авторов. Однако бросается в глаза одно умолчание Критовула. Он ничего не пишет о том, что паша Махмуд еще раньше осады Яйце захватил краля Боснии Стефана в г. Клуче на Сане и дал ему слово сохранить ему жизнь. Но султан не сдержал слова, данного его ближайшим помощником пашей Махмудом, и казнил Стефана.⁴ Конечно, очень возможно, что Критовул просто об этом ничего не знал, но можно предположить, что он сознательно умолчал об этом в угоду султану.

В пятой книге Критовул подробно рассказывает о походе венгерского короля Матфея Корвина в Боснию зимой 1463/64 г. и о вторичном вторжении туда турецкого султана. Матфей Корвин прекрасно понимал, какую опасность для Венгрии представляет захват Боснии турками, и поэтому решил освободить Боснийское государство от турецкого владычества.

„Вторгнувшись туда с достаточным войском и снаряжением, он тотчас склоняет к измене царю многие из крепостей, одни убеждая и привлекая на свою сторону речами, другие страхом и угрозами, но были и такие, которые он захватил силой оружия“.⁵ „Придя к крепости Яйца, он берет ее без труда, так как находящиеся внутри ее восстали, учинили резню и подчинились ему добровольно“.⁶ Пробыв недолго в Боснии и поставив в захваченных крепостях гарнизоны, Матфей Корвин возвратился в Венгрию.

Однако султан, не желая мириться с потерей Боснии, весной 1464 г. с большим войском во второй раз вторгается в Боснию. Центральным моментом этого похода была осада султаном крепости Яйце, подробно описанная Критовулом. По силе выразительности и художественности это одно из лучших мест труда Критовула. Штурм города, битва в его стенах описаны с такой живостью и драматизмом, как ни у одного другого автора. Критовул пишет, что после того как при первом штурме войска Мехмета II потерпели неудачу, султан лично повел войска на приступ, обещав большие награды тем, кто первыми взойдут на стены крепости, и объявив, что город будет отдан солдатам на разграбление. Воины со страшными криками, подобно птицам, бросились к стенам города, стремясь отличиться в присутствии султана, и закипело страшное сражение. „И они опьянели от битвы и, вспыхнув

¹ Там же.

² Халкокондил, цит. соч., стр. 530—544.

³ Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 217—222.

⁴ Радониц, цит. соч., стр. 82.

⁵ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. IV, § 1, стр. 151.

⁶ Там же.

гневом и злобой, совершенно забыли о человеческой природе и безжалостно убивали и рубили друг друга; поражая, были поражаемы, рая, сами получали раны, убивая, сами гибли; кричали, бранились, проклинали, забыв все на свете и не замечая происходящего, точно они были безумными“ („...βάλλοντες, βαλλόμενοι, τιτρώσκοντες, τιτρωσόμενοι, φονεύοντες, φονεύόμενοι, βοῶντες, ὑβρίζοντες, βλασφημοῦντες, μηδενὸς ἐπισηδινόμενοι τῶν παρόντων ὁλως ἢ τῶν δρωμένων ὥσπερ οὐκ ἐκινούμενοι“).¹

Наконец, султан, понеся большие потери, убедился, что не может взять город штурмом, и решил уйти, оставив у крепости часть войск с целью взять ее измором. Однако в это время султан узнал, что венгерский король Матфей Корвин с большим войском спешит на помощь к осажденным. Узнав о приближении венгерского короля, Мехмет II изменил план действий, сам остался под крепостью Яйце, а пашу Махмуда с частью войска послал навстречу Матфею. Махмуд, дойдя до р. Эригон, на местном наречии называемой Бринос (Дрина) („ὡς τῇ ἐπιχωρίῳ φωνῇ νῦν βρύνος καλεῖται“), хотел уже перейти через нее и напасть на венгров, но получил приказ от султана остаться на месте и наблюдать за врагом (расстояние между двумя лагерями было не более 25 стадий, так что противники могли видеть друг друга).² В это время венгерский король, „узнав, что Мехмет II продолжает осаждать Иаитзу, а Махмуд с огромным войском подстерегает его, отчаявшись открыто помочь городу“, тайно послал письмо в крепость, убеждая осажденных держаться до последнего, так как султан сам скоро снимет осаду. Затем однажды ночью, снявшись с места, он поджег свой лагерь и ушел со всем своим войском.³ Паша Махмуд поспешил за ним. Напав на обозы венгерской армии, он перебил охрану, „привел в замешательство все войско, и началось страшное бегство“. Махмуд же безжалостно уничтожал бегущих и „многих из них перебил и многих захватил живыми“. Далее Критовул пишет: „И погубило там множество врагов, и захватил он в плен живыми немного менее 200 человек, которых впоследствии царь, отвезя в Византию, всех казнил“. ⁴ Кроме того, Махмудом было захвачено много всякого снаряжения венгерской армии, повозки, оружие, кони и солдаты обоза. Сам же Мехмет II в течение немногих дней безуспешно продолжал осаду крепости Яйце. Наконец, он, убедившись, что не сможет овладеть ею, отступил, разграбил большую часть Боснии, захватил и разрушил много крепостей, мужчин перебил, женщин и детей обратил в рабство и, захватив огромную добычу и „оставив сатрапа страны“, на исходе лета возвратился в Константинополь.⁵

Анализируя это место труда Критовула, мы прежде всего должны сказать, что в целом рассказ Критовула правилен и совпадает с данными других современных ему источников. Об этой второй экспедиции Мехмета II в Боснию имеются сведения у турецкого писателя Сеад-эд-Дина,⁶ в любопытном письме венгерского короля Матфея Корвина к папе Пию II и послании к императору Фридриху III, у венгерского хроникера Туроца⁷ и в других источниках. Однако

¹ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. V, § 9, стр. 152.

² Там же, гл. VI, § 3, стр. 153.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же, § 9.

⁶ Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 234—238.

⁷ Katona, op. cit., 14, 652 и сл., p. 723 и сл.

и здесь, как и в других частях своего труда, Критовул, в силу своей тенденциозности, стремится преуменьшить неудачу Мехмета II под Иаитзой (Яйце) и для этого, значительно сгущая краски, выдвигает на первый план в своем рассказе нападение паши Махмуда на обозы венгерской армии — частный эпизод, который не менял общего положения. Кроме того, вопреки истине, Критовул утверждает, что Мехмет II, послав часть войск навстречу венгерскому королю, сам продолжал осаду Яйце. Из других же источников мы видим, что Мехмет II, узнав о приближении венгерских войск, немедленно снял осаду крепости и ушел из Боснии, оставив под Иаитзой артиллерию и снаряжение. Венгры после ухода султана овладели крепостью Serbernik и осадили город Zwornik, расположенный на р. Дрине, в котором находился сильный турецкий гарнизон. Венгры два месяца осаждали этот город. Между тем паша Махмуд лишь в ноябре, собрав 40-тысячную армию из европейских провинций, пришел на помощь осажденным. При его приближении венгры обратились в бегство и потерпели поражение от преследовавшего их врага.¹

Впрочем, следует отметить, что Критовул, не будучи в курсе дел Запада, не знает, видимо, о заключении союза Венгрии с Венецией против турок в сентябре 1463 г. в г. Петраварадине, благодаря которому венецианцы смогли напасть на Морею, а венгры на Боснию. Действительно, после подписания договора с венецианцами Матфей Корвин вторгся в Боснию и захватил в конце 1463 г. крепость Яйце и еще 30 крепостей, как он сам сообщает в письме к папе Пию II от 27 января 1464 г.² В результате захвата Яйце венгерскими войсками и превращения ее в пограничную крепость между Турцией и Венгрией, турецкое вторжение в Валахию было приостановлено еще на 60 лет.

Однако, несмотря на неточности и пробелы, рассказ Критовула в целом заслуживает доверия, а по стройности и красочности изложения значительно превосходит другие источники.

Албания

В третьей книге „Истории Мехмета II“ Критовул рассказывает о походе султана в Албанию в 1459 г. Как обычно, свой рассказ Критовул начинает с описания природы и населения Албании.

По Критовулу, албанцы, которых он называет античным именем „илирийцев“, — племена, живущие на побережье Ионийского залива, около древнего города Эпидамна. В древности их называли таулантиями и махаонами. Описание географического положения Албании и древнейшие названия племен, живших близ Ионийского залива, взяты Критовулом у Фукидида и Страбона и являются одной из античных реминисценций, столь обычных у византийских авторов.³ Повидимому, и характеристика албанцев как „варваров“, которые „в большинстве своем номады, самостоятельны и по большей части

¹ Katona, op. cit., v. I, 1, p. 728—733.

² Ibid., v. XIV, p. 667—672. Яйце Матфей Корвин берет после почти трехмесячной осады 16 декабря 1463 г., как сообщает он сам в письме к Пию II. В этом письме он пишет: „Таким образом, была возвращена в наши руки крепость и город Iaicza, а вскоре последовала сдача многих других крепостей, приблизительно около 30, и столько же сдались мне, и я имею твердую надежду на прочное, так как до этого времени ни одна крепость, даже маленькая, не смогла остаться в руках врагов“ (стр. 672).

³ Critobul, III, XVI, стр. 129; Thuk., I, 24, 1.

не имеют царей“, также взята Критовулом у Фукидида и Страбона. Фукидид называет иллирийские племена „варварами“ (βαρβαροι), „не имеющими царей“ (αβασίλευτοι). В тех же выражениях говорит о них и Критовул („οἱ δὲ βαρβαροι ὄντες... νομάδες οἱ πλείους αὐτῶν καὶ αὐτονομοὶ καὶ αβασίλευτοι ἐκ πολλοῦ“).¹

Конечно, к албанцам XV в. невозможно было применить определение „варвары“ и „номады“, и влияние античного шаблона здесь очевидно, однако нам кажется, что нельзя совершенно игнорировать это место Критовула: оно все же показывает, что Албания XV в. — страна экономически да и политически менее развитая, чем, например, Сербия, Босния или Валахия, которым наш автор таких определений не дает. Дальнейшее изложение подтверждает это. Критовул рисует Албанию как горную страну, покрытую неприступными крепостями, с воинственным и свободолюбивым населением, не желающим платить дань турецкому султану и совершающим постоянные набеги на его земли. Во время похода в Албанию Мехмет II уничтожил жатву и захватил добычу, главным образом пленников и различный скот.² Особое значение имеет сообщение Критовула о том, что, покорив Албанию, султан обложил ее данью „в виде установленного числа мальчиков, стад скота (ведь они не имели денег) и определенного числа воинов в войско царя“ („ἢ μὴν δαυρὸν τε ἐτήσιον ἀποφέρειν τῷ βασιλεῖ παῖδας τε ῥητοὺς καὶ β. σκηνμάτων ἀγέλας (οὐ γὰρ ἦσαν αὐτοῖς χρήματα) καὶ στρατιώτας ἐν ταῖς ἐκστρατείαις τοῦ βασιλέως...“).³

Это место представляет значительный интерес. Ведь дань всех других покоренных султаном народов (Сербия, Босния, Валахия, Пелопоннес, Трапезунт и др.) определялась в первую очередь в денежном эквиваленте. Правда, и другие народы платили „дань кровью“, т. е. поставляли солдат в войска султана и должны были отдавать мальчиков в янычары, но Албания платила не денежную дань, а „дань“ людьми. Возможно, что это указывает на значительно более низкий экономический уровень Албании, страны главным образом скотоводческой, на более слабое развитие там товарно-денежных отношений, чем в других государствах Балканского полуострова. Однако это, повидимому, относится главным образом к горной части Албании, так как Критовул говорит, что „на побережье Ионийского залива“ имелось много „укрепленных городков“ („...πολίσιμα ἐχούσα ἐν τῇ παραλίᾳ τοῦ Ἰονίου“).⁴

Сведения об албанцах, которые мы находим в пятой книге труда Критовула, в целом совпадают с приведенной выше характеристикой Албании, содержащейся в третьей книге. Автор различает горную часть страны, которую он рисует как совершенно неприступную и труднопроходимую, покрытую густыми лесами, перерезанную глубокими ущельями и скалами, и „нижнюю страну“, которая представляет собой равнину, „годную для верховой езды“. Эта равнинная часть Албании — страна земледельческая и скотоводческая. Здесь Мехмет II сжигает посевы и уничтожает скот.⁵ В горах же албанцы имеют неприступные крепости, куда спасается при приближении врага

¹ Критовул, цит. соч., кн. III, гл. XVI, § 2, стр. 129.

² Там же, § 6, стр. 130.

³ Там же, § 7, стр. 130.

⁴ Там же, кн. VI, стр. 129.

⁵ Там же, кн. V, гл. XI, § 6, стр. 157.

⁶ Там же.

все население равнин. В этих горах, по данным Критовула, Мехмет II захватил в плен около 20 тыс. мужчин, женщин и детей и большое количество скота.¹ Когда султан после неудачной осады Кройи решил построить рядом с ней турецкую крепость, то целью постройки было „ни в коем случае не позволять иллирийцам выходить из города и подниматься в горы, пасти скот, сеять или делать что-либо другое...“²

Такова характеристика, которую дает Критовул природным условиям, населению и хозяйству Албании.

Во всяком случае характеристика экономической жизни Албании у Критовула разительно отличается от описания хозяйства Сербии и Боснии, которые рисуются, как государства, достигшие значительно более высокого уровня экономического развития.

Некоторый свет проливает исторический труд Критовула и на политический строй Албании. Так, заслуживает внимания известие Критовула о том, что албанцы по большей части „не имеют царей“ (*ἀρχασίλευτοι*). Необходимо, однако, учесть, что эта характеристика политического строя албанцев, возможно, заимствована нашим автором у Фукидида и является одной из античных реминисценций, которыми столь богато произведение Критовула. Вместе с тем утверждение Критовула о том, что албанцы „не имеют царей“, относится и самим автором к более раннему периоду истории Албании, чем описываемая им эпоха.

Критовул сообщает, что „... Незадолго же до настоящего времени они (албанцы. — Э. У.) поставили правителей из своего племени Арейна и Александра“ („*Προστὶς αὐτοῖσι δὲ πρό χρόνων ὀλίγων ἐκ τῆς σφετέρως γένεως Ἀρειανὸν τινα καὶ Ἀλέξανδρον ἡγεμόνας*“)³ и страна их от этого значительно усилилась.

Таким образом, к началу героической борьбы албанского народа против турецкого завоевания во главе албанцев стояли правители из „своего племени“, и один из них, Александр (Скандербег), сыграл выдающуюся роль в борьбе с турками, став впоследствии прославленным вождем албанского народа, наводившим страх на войска султана.

* * *

После небольшого экскурса о природных условиях и экономической жизни Албании Критовул переходит к описанию походов Мехмета II в эту страну. Рассказ Критовула о походах султана в Албанию ярко тенденциозен. Политические взгляды автора проявились здесь особенно выпукло. Красной нитью через все повествование Критовула проходит стремление скрыть поражение султана, умолчать о победах героического албанского народа и его мужественного вождя Скандербега.

Не раз Скандербег одерживал победы над турецкими войсками, превосходящими албанские войска численностью и вооружением. Долгое время свободолюбивый албанский народ не желал склонить голову перед ненавистными завоевателями. Стремление к независимости и самостоятельности албанцев вынужден признать даже сам автор „Истории Мехмета II“.⁴

¹ Там же, § 10, стр. 157.

² Там же, кн. V, гл. XII, § 3, стр. 158.

³ Там же, § 2, стр. 129. Александром называет Критовул Скандербега.

⁴ Там же, гл. XI, § 9, стр. 157.

Долгое время Скандербег был самым опасным противником султана. Возможно, именно поэтому Критовул, стремясь заслужить милость нового повелителя, так тщательно замалчивает победы албанского народа и его вождя Скандербега.

Первый поход Мехмета II в Албанию описан Критовулом весьма лаконично и в самых общих чертах. Привлекает внимание лишь один эпизод — борьба за горные проходы между албанцами и турецкими войсками под предводительством паши Махмуда.¹ В остальном описание похода довольно шаблонно и кончается восхвалением полной победы султана и картиной покорения Албании.

Основная мысль автора в рассказе о первом походе Мехмета II в Албанию — стремление показать, что турецкие войска не встретили там серьезного сопротивления. Симптоматично, что о Скандербеге в этом рассказе Критовул даже не упоминает. Виновниками войны Критовул рисует, конечно, албанцев.

О втором походе султана в Албанию летом 1466 г. повествует Критовул в пятой книге своего труда. Рассказ этот также весьма суммарен и тенденциозен. Так, например, он ничего не говорит о том, что Скандербег еще в начале 1463 г. возобновил борьбу с султаном, и посланное против него большое турецкое войско под предводительством Шермет-бега потерпело сильное поражение близ Охриды. Умалчивает наш автор и о том, что в 1465 г. Скандербег одержал еще одну блестящую победу над турецким военачальником Баладан-Бедерой (Палапан у Критовула), который был разбит албанцами наголову. Та же участь постигла у г. Берат посланный на помощь Баладану большой турецкий отряд. После разгрома албанцами турецких войск Мехмет II летом 1466 г. решил вновь отправиться походом в Албанию. Критовул, умолчав о предшествующих поражениях турок, начинает свой рассказ непосредственно с описания похода самого султана.

Освещение этого похода у Критовула сходно с рассказом турецких историков, в частности Сеад-эд-Дина,² и расходится с изложением его у других авторов, например у византийского писателя Франдзи.³ По Критовулу, султан, разгневавшись на албанцев за неуплату дани и за то, что они „желают быть независимыми и совершенно свободными“, не подчинялись ему и даже совершали набеги на его земли, двинулся против них летом 1466 г. с большим войском, опустошил всю равнинную часть страны, а затем, овладев горными проходами, проник в горы, куда спрятались албанцы, и нанес им там поражение.

Однако Критовул вынужден признать, что албанский народ защищался с необычайным мужеством и стойкостью. Критовул рассказывает о беспримерном героизме албанских воинов. „Некоторые из них, побежденные солдатами (турецкими. — З. У.), бросались сами на скалы и камни и гибли“.⁴

Расправа султана с побежденными была необычайно жестокой: мужчины были беспощадно перебиты, а женщины и дети уведены в рабство. Захватив огромную добычу, состоявшую из рабов (около 20 тыс. чел.) и скота, он спустился на равнину. Спаслись от зверств турок лишь немногие, которые спрятались в крепостях и в горах, вместе со своим „гегемоном“ Александром (Скандербегом).⁵

¹ Критовул, цит. соч., кн. III, гл. XVI, стр. 124 и сл.

² Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 132.

³ Франдзи, цит. соч., стр. 425, 12.

⁴ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. XI, § 9, стр. 157.

⁵ Там же.

Критовул должен также признать, что попытка султана во время второго похода в Албанию овладеть неприступной албанской крепостью Кройя окончилась полной неудачей. Султан, поняв, что он не может взять крепость штурмом, приказал выстроить вблизи Кройи крепость и поместить туда большой гарнизон. Цель постройки этой крепости (Эльбассан) состояла в том, чтобы блокировать гарнизон Кройи и добиться ее подчинения султану.¹

Воздвигнув крепость, хорошо снарядив ее и поставив там сильный гарнизон с преданным военачальником,² султан, захватив огромную добычу, осенью 1466 г. вернулся в Константинополь.

Однако на следующий год Мехмет II вновь был вынужден отправиться походом в Албанию, так как был извещен о том, что „гегемон иллирийцев Александр заключил союз с паннонцами и, собрав своих сторонников, тайно из засады напал на ничего не подозревающего, оставленного там (в Албании) сатрапа царя по имени Палапана, окружившего и осаждавшего крепость Кройю“, разгромил его войска и убил самого сатрапа. Затем, снабдив провиантом Кройю и поставив там свой гарнизон и опустошив всю местность вокруг нее, отступил, „заперев в новой крепости воинов царя“.³

Султан, узнав об этом, „воспылал гневом“ и, двинувшись с большим войском в Албанию, разгромил войска повстанцев и многих убил. „Гегемон“ их Александр убежал в горы с остатками своего войска. Опустошив всю равнинную часть страны, султан послал своих солдат в горы. Те, „подобно птицам“, проникли во все самые неприступные места, в течение 15 дней опустошали и уничтожали все на своем пути и с огромной добычей вернулись к султану. Султан же подошел к Кройе и стал ее осаждать.⁴ Здесь Критовул прерывает рассказ и переходит к описанию страшной чумы 1467 г., свирепствовавшей в Константинополе. Лишь в самом конце своего труда он возвращается к осаде Кройи и сообщает, что султан летом 1467 г., потеряв надежду овладеть этой крепостью, снял осаду и, оставив войска под Кройей, вернулся в Константинополь, но по дороге, узнав, что в городе чума, повернул назад и ушел к Никополу, где и скрывался от чумы.⁵ На этом заканчивается рассказ Критовула о походах султана в Албанию и обрывается его труд, доведенный автором лишь до 1467 г.

Таковы данные Критовула о походах Мехмета II в Албанию. Туркофильская ориентация автора приводит к тому, что борьба албанского народа против иноземных завоевателей изображается им в крайне искаженном виде. Однако рассказ Критовула все же содержит ряд важных сведений о мужественном сопротивлении туркам со стороны албанского народа, тем более интересных, что они передаются ярым туркофилом, и если учесть крайнюю скудость данных источников по этому вопросу, то и труд Критовула должен быть использован при изучении этого героического периода истории Албании.

¹ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. XII, § 1, 2, 3, 4, 5, 6, стр. 158.

² Палапан — Baladan-Badera — по национальности албанец, мальчиком был захвачен в плен турками и сделался одним из выдающихся полководцев султана.

³ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. XVI, § 1 и 2, стр. 159. По сообщению Сеад-эд-Дина, причиной похода 1467 г. было то, что Скандербег отказался платить дань, опустошил область царя, осадил недавно построенную крепость Эльбассан и сжег ее предместья (т. II, стр. 240).

⁴ Критовул, цит. соч., кн. V, гл. XVI, § 4—5, стр. 160.

⁵ Там же, гл. XIX, § 1—3, стр. 161.

Значительную ценность имеют известия Критовула о борьбе с турками албанцев, живших на Пелопоннесском полуострове.¹ Он рисует их как воинственный и смелый народ, который в XV в. поднимал частые восстания против правителей Пелопоннеса, сперва против византийских деспотов Фомы и Деметрия Палеологов, а потом и против турецкого султана. Критовул сообщает, что албанцы являлись в Пелопоннесе той силой, которая наиболее активно боролась против турок и оказывала наиболее ожесточенное сопротивление во время турецкого завоевания полуострова.² Вместе с тем Критовул с большой неприязнью описывает восстания албанцев в Пелопоннесе. Он подчеркивает, что султан жестоко расправлялся с теми, кто оказывал ему сопротивление, а это „... в большинстве своем были иллирийцы (т. е. албанцы. — З. У.), которые вследствие своего упрямства, постоянных восстаний, воровства и разбоя привели к тому, что султан решил их устроить и навести на них ужас и трепет, чтобы они не оказывали никакого сопротивления и в будущем совсем не дерзали бы вести себя столь самоуверенно, полностью подчинились бы ему, стремясь к спасению“.³

Враждебное отношение Критовула к восстаниям албанцев объясняется, помимо присущей ему туркофильской тенденции, возможно, еще и тем, что эти восстания в Пелопоннесе принимали характер социального движения, направленного против византийских правителей. Критовул, выходец из феодальной знати, с ненавистью и страхом относится к народным движениям. Для него, как и для большинства других византийских авторов, народные восстания — это „бунт черни“, связанный с грабежом и разбоем, а участники народных восстаний — „разбойники“ и „грабители“. Такими „разбойниками“ являются для Критовула и албанцы.

Критовул сообщает, что за их постоянные восстания султан жестоко расправился с ними во время второго похода в Пелопоннес.⁴

Этим исчерпываются сведения об албанцах, содержащиеся в „Истории Мехмета II“. Анализ их показывает, что здесь, как и в других частях своего труда, Критовул весьма тенденциозен и не останавливается даже перед прямой фальсификацией фактов и искажением действительного хода событий. Вместе с тем характеристика экономики и политического строя Албании, скудные, но важные данные о борьбе албанского народа против турок заслуживают внимательного изучения.

В а л а х и я

В четвертой книге своего труда Критовул описывает экспедицию Мехмета II в Валахию в 1462 г. По словам Критовула, причиной этого похода была черная неблагодарность и измена „гегемона гетов Дракула“, как он называет воеводу Валахии Влада II или Владислава IV. Дракул вместе с его братом были изгнаны из своей страны Иоанном Гуниадом, который убил их отца; они бежали к отцу Мехмета II, султану Мурату, и были им радушно приняты и воспитаны в его дворце. После смерти отца сам Мехмет II продолжал им оказывать всяческие благодеяния, а потом вернул Дракулу его государство, посадив его вновь на престол. Однако Дракул, забыв оказанные ему милости и „показав

¹ К р и т о в у л, цит. соч., кн. III, гл. IV, гл. XXII.

² Там же, гл. XXII, § 4 и сл.

³ Там же, кн. III, гл. XXII, § 4.

⁴ Там же.

себя злодеем“ по отношению к султану, восстал против Мехмета II, напал на земли султана, в частности вторгся в область Никополя и Видина¹ и, захватив большую добычу и совершив немало убийств, „возвратился к себе“.² После этого султан отправил послов, чтобы возобновить с ним договор, заключенный ранее, но правитель Валахии послов Мехмета II посадил на кол, даже не спросив, зачем они явились.³

Воспылав за это на Дракула „справедливым“ гневом, Мехмет II весной 1462 г. вторгся в Валахию,⁴ разгромил ее „подобно разлившемуся бурному потоку, увлекая все на своем пути“ („... καὶ ἡερῶν δόχην ἐπάρχοντος τε καὶ παρὰ τὸν πόντον τὰ ἐν πόδι...“),⁵ крепости покорил, деревни разграбил и захватил большую добычу.⁶ Дракул же тотчас обратился в бегство и спрятался в горах.⁷ Султан, захватив всю страну, назначил правителем Валахии (гегемоном гетов) брата воеводы Влада—Раду,⁸ который жил при дворе турецкого султана и теперь был привезен Мехметом II в Валахию. Дракул, „придя в полное отчаяние“, однажды ночью совершил „безумное“ нападение на лагерь турок. Однако царь был извещен о готовящемся нападении и, для виду уведя войска из лагеря и устроив засаду, нанес затем Дракулу страшное поражение. Сам воевода едва спасся с поля битвы и бежал в Венгрию, где был схвачен венграми и брошен в темницу.⁹ Оставив правителем Валахии Раду, султан с богатой добычей, состоявшей из рабов и скота, летом вернулся в Адрианополь.¹⁰

Об экспедиции Мехмета II в Валахию более подробно и точно рассказывает Халкокондил,¹¹ в немногих словах о ней вспоминает Франдзи,¹² о ней есть сведения и у Дуки¹³ и Сеад-эд-Дина.¹⁴ Рассказ Критовула в общем совпадает с данными этих источников. Из них в добавление к Критовулу мы можем почерпнуть лишь некоторые детали. Так, Дука подробно рассказывает о посольстве султана к воеводе Валахии.¹⁵ Кроме того, Дука и Халкокондил сообщают численность армии султана. По Дуке, она исчислялась в 150 тыс.,¹⁶ по Халкокондилу — 250 тыс. чел.¹⁷ Халкокондил и Дука подробно говорят о ночном нападении Дракула на лагерь турок.¹⁸ Однако Дука исход этого ночного нападения воеводы валахов рисует совсем иначе, чем Критовул. Он говорит, что, напав ночью на турок, валахи нанесли им такое сильное поражение, что султан принужден был перейти Дунай и отступить в Адрианополь.¹⁹

¹ Критовул, цит. соч., кн. IV, гл. X, § 4, стр. 143.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же, § 6.

⁶ Там же.

⁷ Там же, § 7.

⁸ Там же, § 7. Критовул называет его Радоном. Речь идет о Раде III Красивом (1462 — 1474).

⁹ Там же, § 9, стр. 144.

¹⁰ Там же, § 10, стр. 144.

¹¹ Халкокондил, цит. соч., стр. 499—518.

¹² Франдзи, цит. соч., стр. 414.

¹³ Дука, цит. соч., стр. 343—345.

¹⁴ Сеад-эд-Дин, цит. соч., т. II, стр. 269 — 275.

¹⁵ Дука, цит. соч., стр. 344.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Халкокондил, цит. соч., стр. 505.

¹⁸ Там же, стр. 511.

¹⁹ Дука, цит. соч., стр. 345.

Можно было бы предположить, что здесь Критовул, по своему обыкновению, вновь умалчивает о поражении султана, однако другие источники, в частности Халкокондил, так же как и турецкие писатели, говорят о победе султана над воеводой Владиславом IV, и здесь в тенденциозности и искажении фактов скорее можно заподозрить Дуку, враждебного туркам, чем Критовула.

В целом рассказ Критовула о походе Мехмета II в Валахию хотя и отличается краткостью, но достаточно точен и представляет известный интерес.

Изучение „Истории Мехмета II“ Критовула позволяет прийти к следующим выводам.

Прежде всего „История Мехмета II“ является источником, мало известным в научной литературе. Между тем произведение Критовула — ценный источник не только по истории поздней Византии, но и по истории южных славян и других народов Балканского полуострова XV в. В дополнение к данным византийских, южнославянских, итальянских, венгерских, турецких и других источников он дает много важных сведений об экономике Сербии, Боснии, Валахии, Албании, о политической истории южных славян, о ходе турецкого завоевания Балканского полуострова (осада Белграда, походы Мехмета II в Боснию, Албанию, Валахию, окончательное покорение Сербии и т. д.), о сопротивлении, которое оказали туркам славянские государства.

По данным „Истории Мехмета II“, в XV в. большинство государств Балканского полуострова, особенно южнославянское Сербское государство — страны с высоким уровнем экономического развития. Так, Сербия — не только богатая аграрная страна, но и страна, где интенсивно развивается городская жизнь, государство, которое славится своими горными промыслами, особенно добычей золота и серебра. Высоким уровнем экономического развития отличаются, по данным Критовула, и другие государства Балканского полуострова, за исключением горной части Албании, которая рисуется как страна главным образом скотоводческая. Однако в прибрежных областях Албании, согласно известиям Критовула, также было много городов, развивались экономические связи с другими странами.

Туркофильская тенденция Критовула, в целом наложившая отрицательный отпечаток на все произведение византийского историка и приводящая часто к искажению им исторической действительности, в описании экономической жизни стран Балканского полуострова сыграла известную положительную роль.

Стремление ярче оттенить „блеск“ побед султана заставляет нашего автора более подробно описывать завоеванные Мехметом II страны, их богатства. Отчасти благодаря этому труд Критовула содержит такие ценные сведения по экономике стран Балканского полуострова, каких мы не находим в произведениях других современных ему авторов.

Данные Критовула о высоком развитии экономики южнославянских и других государств Балканского полуострова имеют большую научную ценность и способствуют разоблачению антинаучных построений буржуазной историографии, безуспешно пытающейся доказать низкий уровень экономического развития южнославянских и других государств Восточной Европы.

Вместе с тем политическая тенденция Критовула весьма отрицательно сказалась на освещении им борьбы народов Балканского полуострова против турок. Туркофильские настроения автора приводят здесь к прямому искажению фактов, к преуменьшению масштабов сопротивления народов Восточной Европы турецкому завоеванию, к замалчиванию побед славян, венгров, албанцев и других народов над войсками турецкого султана. Однако те немногочисленные данные, которые содержатся в произведении Критовула о героической борьбе славянских народов против турок, приобретают особую ценность, вследствие того, что о фактах мужественного сопротивления народов Балканского полуострова турецкому завоеванию не может умолчать даже такой туркофильски настроенный писатель, как Критовул, и притом в труде, посвященном турецкому султану-завоевателю.

В. Н. ЛАЗАРЕВ

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XIV ВЕКА

1. Высоцкий чин

В Государственной Третьяковской галлерее хранится монументальный византийский чин, состоящий из семи икон: Спаситель, Богоматерь, Иоанн Предтеча,¹ архангелы Михаил и Гавриил и апостолы Петр и Павел (рис. 1—7).

Иконы происходят из серпуховского Высоцкого монастыря, где они украшали соборный храм Богородицы.² Они стояли здесь над царскими вратами и входили органической составной частью в композицию иконостаса. В 1920—1937 гг. все эти иконы были подвергнуты умелой реставрации, очищены от записей и закреплены, так что в настоящем своем виде они являются первоклассным музейным памятником, дающим хорошее представление об одном из этапов развития византийской живописи.

Благодаря счастливой случайности сохранились два литературных источника, которые позволяют восстановить историю этих икон и точно определить не только время их возникновения, но и место, откуда они были привезены. Сам по себе это факт необычайно редкий, потому что в применении к памятникам станковой живописи средних веков у нас почти отсутствуют какие-либо литературные свидетельства.

Более развернутый из интересующих нас источников — „Слово о житии преп. отца нашего Афанасия Высоцкого“, написанное в 1697 г. иеромонахом Чудова монастыря Карионом Истоминим. Это житие дошло до нас в рукописном списке, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (Ундольский 288, л. 83 сл.).³ Здесь рассказывается о том, как находившийся в Цареграде Афанасий Высоцкий послал

¹ Эта икона передана в Русский музей.

² Иконы из Высоцкого монастыря бегло упоминаются в следующих работах: Д. Тренев. Серпуховский Высоцкий монастырь, его иконы и достопамятности. М., 1902, стр. 30—33, 62, табл. V—VI, VII—15; Н. Кондаков. Лицевой иконописный подлинник. Т. I. Иконография Иисуса Христа. Текст и атлас. СПб., 1905, стр. 63, рис. 101; М. Alpatov — N. Brunov. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, 1932, стр. 311, 313; В. Лазарев. История византийской живописи, I, М., 1947, стр. 367—368.

³ „Славяно-русские рукописи В. Н. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собрания“, М., 1870, стр. 218—219. В. О. Ключевский („Древне-русские жития святых как исторический источник“, М., 1871, стр. 356) пишет: „Вирши, которыми оканчивается житие, с известием, что оно написано в 1697 году, подтверждают догадку, что автор его — известный слагатель вирш Карион Истомин“.

в основании им близ Серпухова Высоцкий монастырь иеромонаха Виктора, который должен был вручить Афанасию Младшему, преемнику Афанасия Старшего, семь икон поясных и три иконы Спасителя, Богоматери и Предтечи, а также грамоту с благословением (л. 127 об.—128). О трех деисусных иконах Карион Истомин более ничего не сообщает, о семи же других иконах он пишет, что в его время они были целы и стояли в соборном храме над царскими вратами (л. 128). Там они и находились вплоть до того, как были взяты для реставрации.

Сведения, сообщаемые Карионом Истоминим, отличаются настолько большой конкретностью, что не подлежит никакому сомнению факт использования им каких-то старых источников. Человек весьма образованный,¹ Карион, повидимому, сделал выписки из ныне утраченных документов, хранившихся в Высоцком монастыре. В его сообщении внушает сомнение лишь один факт—ссылка на три иконы Деисуса (Спас, Богоматерь, Предтеча). Вполне возможно, что уже в первоисточнике эти три иконы были произвольно добавлены к семи другим, центральная часть которых как раз составляла богородично-предтеченский Деисус.²

Каков был первоисточник, использованный Карионом Истоминим, мы, к сожалению, не знаем. Вероятно, этот же первоисточник лег в основание и тех сведений, которые фигурируют в „Книге глаголемой...“—рукописи конца XVI—начала XVII в.³ Здесь также сообщается, что Афанасий прислал из Константинополя „несколько икон византийского искусства, которые и теперь целы в Высоцком монастыре“.

Афанасий (в миру Андрей) был сыном священника Оболенской пятины Новгородской области.⁴ Совсем молодым он ушел в Троицкий монастырь к Сергию. Епифаний Премудрый пишет в своем житии Сергия, что „бе Афанасий в добродетелех муж чуден и в божественных писаниях зело разумен и доброписания много руки его и донные свидетельствуют, и сего ради любим зело старцу (т. е. Сергию)“.⁵ Отсюда можно заключить, что Афанасий был человеком литературно образованным и занимался переписыванием книг. При покровительстве князя Владимира Андреевича Афанасий основал в 1374 году под

¹ О Карионе Истомине см.: „Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина“, т. I, СПб., 1827, стр. 318—320; С. Смирнов. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855, стр. 396—400; Архиепископ Филарет. Обзор русской духовной литературы, Харьков, 1859, стр. 379—381; П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, СПб., 1862, стр. 171—174; Н. Гудзий. История древней русской литературы. М., 1941, стр. 452—455.

² Из Высоцкого монастыря происходят еще иконы апостолов Андрея и Иоанна Богослова, также хранящиеся в Третьяковской галерее. Как показало их реставрационное обследование, первая икона была написана в XVII—XVIII веках, а вторая—в конце XVI века. Но обе иконы писаны на старых спемзованных досках XIV века. Поэтому не исключена возможность, что и эти иконы входили в свое время в состав апостольского деисусного чина, который включал в себя, таким образом, девять икон. Это и могло дать основание тем неточностям в перечислении количества икон, которые нашли себе место в первоисточнике.

³ „Книга глаголемая описание о Российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, всякого чина святых. Дополнил биографическими сведениями граф М. В. Толстой“. — „Чтения ОИДР“, 1887, кн. IV, М., 1888, стр. 237. Присылка церковного устава и икон ошибочно приурочивается здесь к 1401 г.

⁴ Об Афанасии Высоцком см.: С. Смирнов, Преподобный Афанасий Высоцкий, Москва, 1874; Н. Барсуков, Источники русской агиографии, СПб., 1882, стр. 66—67.

⁵ Е. Голубинский, Преподобный Сергей Радонежский и созданная им Троицкая Лавра, М., 1909, стр. 77.

Серпуховом, на высоком берегу реки Нары, Высоцкий монастырь. Семь лет спустя здесь был воздвигнут собор. В 1382 году Афанасий сопровождал Киприана в Киев, а в 1387 году он последовал за Киприаном в Цареград, где провел конец своей жизни и где он умер около 1401 года. В Цареграде Афанасий поселился в монастыре Иоанна Предтечи (Студийском). Здесь он купил себе келью, внося так наз. андрофат (андрофатом назывался единовременный взнос определенной суммы, обеспечивавшей пожизненное или на известный срок проживание в монастыре). В Константинополе Афанасий также занимался переписыванием книг.¹ У него были здесь и свои ученики.

Таким образом, у нас есть возможность довольно точно определить, когда иконы попали в Высоцкий монастырь.

Афанасий уехал в Константинополь в 1387 г. Так как посланные им иконы были вручены Афанасию Младшему, умершему 12 сентября 1395 г.,² то между этими двумя датами и следует искать время их отправки из Цареграда на Русь. К этому же времени, повидимому, относится и их возникновение: как мы убедимся в дальнейшем, есть все основания полагать, что Афанасий послал не старые, а новые иконы, которые были им специально заказаны какому-то константинопольскому мастеру.

Поскольку константинопольская живопись XIV в. представлена пока что очень немногочисленными и притом весьма случайными памятниками, что крайне затрудняет восстановление хода ее развития, иконы Высоцкого чина приобретают исключительное значение, бросая яркий свет на один из заключительных этапов ее истории.

Иконы Высоцкого чина имеют несколько необычные для греческих иконостасов размеры: их высота колеблется от 1,45 до 1,49, а ширина — от 0,93 до 1,06 метра. Это большие, монументальные иконы, рассчитанные на восприятие с известного расстояния. Запечатленные здесь образы с первого же взгляда поражают своей сумрачностью. Лица строгие и неприветливые, колористическая гамма — плотная и темная. Здесь нет и намека на ту просветленность и мягкость, которые так подкупают в русских иконах рублевской поры. Перед нами — византийские святые, суровые и фанатичные, замкнутые в себе и неприступные. К этому присоединяется еще одна характерная для поздневизантийского искусства черта — подчеркнутая засушенность формы. Это немало ограничивает диапазон психологических средств выражения художника. Лицам его святых уже присуща та стереотипность, которая приведет в XV в. к полному засилью иконописного канона.

Автор икон Высоцкого чина работает в очень сухой манере. Он очерчивает формы четкими линиями, он всячески выявляет линейный костяк складок, даже блики и света он накладывает тонкими черточками. Его рисунок отличается большой остротой и правильностью. Но ему недостает жизненности, разнообразия, ритмичности. В этом рисунке господствуют готовые приемы, стандартные решения. Изящные руки

¹ В Библиотеке имени Ленина хранится „Око церковное“, писанное в 1428 году (Рум. 445). В скопированном переписчиком послесловии собирателя входящих в состав этой рукописи сочинений упоминаются „грешный Афанасий малейший из единообразных“, царьградский монастырь Богородицы Перивлесты и 1401 год (лл. 312 об.; 313). Не исключена возможность, что этот „грешный Афанасий“ и есть Афанасий Высоцкий. См. А. Востоков, Описание русских и словенских рукописей Румянцовского Музеума, СПб., 1842, стр. 711; С. Смирнов, ук. соч., стр. 16.

² Д. Тренев, цит. соч., стр. 142.

с длинными, тонкими пальцами, изогнутые носы, вертикально поставленные крылья и симметрически расположенные локоны ангелов, плавные, параболические и беспокойные, ломающиеся под углом складки — все это повторяется без каких-либо существенных изменений, что обедняет и без того небогатый художественный язык мастера, который крепко держится за традицию и сознательно избегает всяких новшеств. Его искусство, при всей зрелости и отшлифованности, недвусмысленно говорит о том, что золотой век византийской живописи уже позади и что она вступила в полосу не только застоя, но и быстро нарастающего упадка, обусловленного резким обострением социально-экономических противоречий византийского феодального общества.

Трактуя форму крайне сухо, художник не оплощает ее, а наоборот, стремится сохранить ее пластические свойства. С помощью умело использованных пробелов он выявляет округлость скрытых под плащами рук (в этом отношении особенно показательны иконы с изображением архангелов и апостола Павла, рис. 4, 5, 7), энергичными бликами он фиксирует объем лица, такими же бликами моделирует руки. Как все византийские мастера, он строит форму с помощью интенсивных световых ударов, которые резко выделяются на темном фоне. И хотя он усиливает затененные места более плотным зеленым цветом, тем не менее его построение рельефа в корне отличается от итальянского, поскольку оно основывается не на строго продуманной системе постепенных переходов от светлого к темному, а на контрастном противопоставлении светлого и темного. Вот почему этот прием получает более верное обозначение, если характеризовать его, как красочную лепку, а не как свето-теневую моделировку. По сравнению с первой вторая знаменует более высокую фазу развития, до которой византийская живопись никогда не доросла. Этот новый прием был органическим порождением проторенессансного реализма (Каваллини и Джотто).

Как уже было отмечено, колористическая гамма икон отличается сумрачным, даже несколько мрачным характером. Ей нельзя отказать в большой и своеобразной красоте, но красота эта лишена ясности. Это чисто византийский колорит, полный какой-то внутренней напряженности. Преобладают темные, плотные краски. На иконе Спаса темновишневое одеяние сопоставлено с темносиним плащом и золотисто-коричневым клавом и обрезом книги, на иконе Богоматери — темновишневый мафорий с синим чепцом, на иконе Предтечи — голубовато-белая власяница с серебристо-зеленым плащом, на иконе архангела Михаила — грязноватого тона синее одеяние с вишневым плащом, поверх которого положены резкие голубовато-белые пробела, на иконе архангела Гавриила — золотисто-коричневое одеяние с темнозеленым плащом, обработанным голубыми пробелами, на иконе Петра — синее одеяние с желтым плащом, на иконе Павла — синее одеяние с темновишневым плащом, эффектно контрастирующим с белыми пробелами. Карнация на всех иконах имеет темный зеленовато-коричневый оттенок. Тени выполнены обычным густым оливковым тоном, описи носа — красным, блики — белым. Щеки иногда оттенены подрумянкой. Среди икон Высоцкого чина самые красивые по колориту — иконы Предтечи и Павла. На первой крайне выразительна цветовая трактовка власяницы: голубовато-белые пряди выделяются на темнозеленом фоне, который перекликается с серебристо-зеленым плащом. На второй особенно эффектен контраст между черными, как смоль, волосами апостола,

темновишневым плащом и белыми пробелами. Здесь византийская палитра приобретает совсем особую драматическую напряженность.

Качество этих икон далеко не одинаково. Более вялое впечатление производят иконы Богоматери, Спаса (эта вещь, повидимому, пострадала от многочисленных чинок), архангелов (рис. 1, 2, 4, 5). Много лучше Петр (рис. 6). Самыми сильными являются иконы Предтечи и Павла (рис. 3, 7). Но отсюда еще не следует, что мы имеем здесь дело с работами разных мастеров. Почерк всех икон тождественен. Тот же сухой и несколько застылый ритм линий, тот же острый и жесткий рисунок, та же система резких пробелов, та же несколько педантическая манера класть блики, та же форма изящных рук, то же понимание колорита. Повидимому, иконы были написаны одним мастером с большим опытом, но работавшим очень неровно.

Стиль икон Высоцкого чина не оставляет никаких сомнений в том, что их автором был византийский мастер. На это, в частности, указывают и обрывки исполненных киноварью греческих надписей, сохранившихся на всех иконах, кроме иконы Спаса. Русские надписи на раскрытой книге Христа и свитке Петра были добавлены позднее (в XVI веке).¹ Если бы мы не знали времени возникновения интересующих нас памятников, то и тогда мы датировали бы их зрелым XIV веком.² В них целиком отсутствуют пережитки той свободной живописной манеры письма, которая так характерна для произведений раннепалеологовской живописи и которая стала сменяться к середине XIV в. совсем новой манерой — сухой и линейной. Пожалуй, наиболее яркий образец этого позднепалеологовского стиля — фрески затерянной в горах далекой Мингрелии цаленджихской церкви, расписанной между 1384 и 1396 гг. константинопольским мастером Киром Мануилом Евгеником и грузинскими художниками Махаребели Квабалия и Андронике Габисулава.³ Именно в этих росписях, одновременных с иконами Высоцкого чина, последние находят себе ближайшие стилистические аналогии. Мы встречаем здесь такую же сухую манеру письма с положенными в виде параллельных тонких линий движек, такие же резкие пробела, такую же иконописную засушенность формы.⁴ Это сближение фрески с иконописью крайне характерно для поздневизантийской живописи, в которой получает безраздельное господство иконописное начало.

Принадлежность икон Высоцкого чина константинопольскому мастеру находит себе косвенное подтверждение и в их сходстве с работами одного из самых выдающихся художников XIV в. — Феофана Грека.

¹ Эти русские надписи сделаны на месте старых греческих, которые целиком погибли.

² Ср. такие иконы, как Пантократор в Музее изобразительных искусств им. Пушкина или Троица в Эрмитаже. См. В. Лазарев. История византийской живописи, т. II, М., 1948, табл. 323.

³ M. Brosset. Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie, exécuté en 1847—1848, 2-e livraison, IX rapports, St.-Petersbourg, 1850, p. 16—18; Е. Такайшвили. Сборник Грузинского об-ва истории и этнографии „Древняя Грузия“, т. III, Тифлис, 1913—1914, стр. 210—215 (на груз. языке); Д. Гордеев. Отчет о поездке в Ахалцхский уезд в 1917 г. „Изв. кавказского историко-археолог. ин-та в Тифлисе“, 1923 (1), стр. 90; Ш. Амиранашвили. Убиси. Тифлис, 1929, стр. 31—35; Н. Толмачевская. Фрески древней Грузии. Тифлис, 1931, стр. 19—20; Ш. Амиранашвили. История грузинского искусства, М., 1949, стр. 247—250.

⁴ Ср. особенно головы богоматери и апостолов Петра и Павла в апсиде, а также головы архангелов. Очень близкую манеру письма мы находим в Зарэме (например, фигура богоматери в апсиде).

Исполненные Феофаном в 1405 г. для московского Благовещенского собора чиновные иконы очень близки к некоторым из наших икон. Особенно большая близость наблюдается в иконах Предтечи и Павла.¹ Здесь использован один и тот же иконографический тип, повидимому, имевший широкое хождение в константинопольском искусстве.

Но отмечая подобное сходство между этими памятниками, отделенными друг от друга примерно десятью годами, нельзя не заострить внимание и на их коренных различиях. Не говоря уже о том, что искусство Феофана гораздо более совершенно, оно связано с совсем другими традициями, во многом восходящими к раннепалеологовской эпохе. По сравнению с тонкой одухотворенностью Феофана, с его мягким и ритмичным рисунком, с его нежной красочной лепкой язык нашего мастера кажется бездушным и отвлеченным. Здесь лишний раз убеждаешься в том, насколько константинопольское искусство последней трети XIV в. уступало искусству Феофана, который только на русской почве обрел необходимую творческую свободу.

До нас не дошел ни один византийский деисусный чин такой сохранности и такой полноты, как Высоцкий. В этом отношении он занимает совершенно исключительное место. Поскольку все старые греческие иконостасы оказались либо разрушенными, либо разрозненными, либо записанными, нам весьма трудно восстановить их первоначальный облик. Здесь приходится пользоваться как литературными источниками, так и всеми находящимися в нашем распоряжении фрагментами, сколь бы незначительными и случайными они ни были.

Развитие деисусной композиции было тесно связано с эволюцией иконостаса.² Когда она впервые появилась, сказать трудно. Во всяком случае уже Софроний Дамаскин, патриарх иерусалимский, упоминает в 629 г. большую икону, на которой были изображены Христос посередине, богоматерь налево и Иоанн Креститель направо.³ Но он не сообщает, входила ли эта икона в состав иконостаса. На архитраве алтарной преграды Софии Константинопольской Деисус, повидимому, еще отсутствовал (здесь были представлены в медальонах Христос, ангелы, пророки, апостолы и богоматерь).⁴ Есть серьезные основания

¹ В. Лазарев. Искусство Новгорода. М.—Л., 1947, табл. 57.

² О греческих иконостасах см.: Г. Филимонов. Церковь Николая на Липне близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквях. М., 1859; Е. Голубинский. История русской церкви. 1—2, М., 1904, стр. 195—215; Н. Окунев. Алтарная преграда XII века в Нерезе. *Seminarium Kondakovianum* 1929 (III), стр. 5—23; J. Konstantynowicz. Ikonostasis. Studien und Forschungen, I, Lwow, 1939, S. 145—156; S. Xydias. The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sophia, „The Art Bulletin“, 1947 (XXIX), pp. 1—24. В работе Константиновича мы находим крайне вольное толкование старых текстов, что приводит автора к ряду скороспелых и неверных выводов. Обычно Константинович отдает предпочтение литературным источникам перед вещественными памятниками, которые он изучил далеко недостаточно. В частности, им совершенно не учтены все новые открытия, сделанные за послереволюционные годы в области древне-русской живописи. В настоящее время уже невозможно писать историю иконостаса без тщательного учета тех новшеств, которые нашли себе место на русской почве в XIV—XV веках.

³ Migne. Patr. gr., t. LXXXVII, col. 3557. Ср. А. Кирпичников. Деисус на Востоке и Западе и его литературные параллели. ЖМНП, ч. ССХС, 1893, ноябрь, стр. 6. Нет никаких оснований следовать за выводами Константиновича, который трактует как деисусную композицию изображение Христа между двенадцатью апостолами в римской базилике Петра (432—440). См. J. Konstantynowicz. Ikonostasis. Studien und Forschungen, I, Lwow, 1939, S. 70—71.

⁴ Павел Силенциарий (Pauli Silentarii Descriptio ecclesiae Sanctae Sophiae, col. 2145—2147, v. 682—719; Migne. Patr. gr., t. LXXXVI—2), подробно описавший

полагать, что деисусы стали ранее всего высекать на архитравах алтарных преград, где обычно располагались изображения различных святых в медальонах.¹ Замена таких изображений Деисусом должна была быть подсказана основной идеей этой композиции — идеей заступничества. В эпоху феодализма, с ее жестокой эксплуатацией трудящихся и в первую очередь крестьянства, расположенная над царскими вратами деисусная композиция быстро получила широчайшую популярность, поскольку она использовалась феодальной церковью как средство пропаганды „христианского милосердия“. Греческие теологи насытили Деисус сложным символическим содержанием: данный иконографический тип приравнивался ими к символическому изображению всей земной церкви под водительством Христа. При этом богоматерь трактовалась как символ новозаветной церкви, а Иоанн Креститель — как символ связи Ветхого и Нового завета.²

На каком-то этапе исторического развития высеченные на архитраве изображения Деисуса должны были оформиться в виде икон, поставленных на архитрав. Повидимому, это произошло после восстановления иконопочитания. Первоначально такие иконы, которые греки называли триморфом (т. е. триобразие), писались на одной доске (к числу таких деисусных икон относятся две хранящиеся в Третьяковской галлерее иконы XII—XIII вв.).³ Эти доски имели не совсем обычную вытянутую форму и располагались как раз над царскими вратами. О популярности в Византии полуфигурных деисусов, украшавших алтарные преграды, свидетельствуют, в частности, недавно раскрытые мозаики южной галлерей Софии Константинопольской (XII в.)⁴ и миниатюра синайского кодекса Иоанна Климaksa (№ 418, л. 290, начало XIII в.),⁵ где Христос, богоматерь и Предтеча также даны в погрудных изображениях.

Не исключена возможность, что в Византии полуфигурные деисусы не только высекались на архитраве, но и наносились на него красками. Как раз такой случай мы имеем на алтарной преграде зальной церкви монастыря Цхра-кара близ селения Матани.⁶ Здесь многочисленный

алтарную преграду Софии Константинопольской, не упоминает изображения Иоанна Предтечи, но поскольку он говорит об изображениях пророков, не исключена возможность, что в числе их фигурировал и Иоанн Креститель (например, в литургии Иоанна Златоуста последний назван пророком). Тогда мы имели бы здесь Деисус. Но данное предположение не более чем гипотеза. Ср. J. Konstantynowicz, цит. соч., стр. 82 и S. Xydis. *The Chancel Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sophia*. „The Art Bulletin“, 1947 (XXIX), p. 11.

¹ Ср. архитрав алтарной преграды церкви Влахернитиссы в Арте (A. 'Ορλάνδος. 'Αρχαῖον τὸν βυζαντινὸν μνημεῖον τῆς Ἑλλάδος, 1936 (II), вып. 1, стр. 25, 49 и сл., рис. 20—21) и фрагменты архитравов в смирнском Музее (id., ibid., 1937 (III), вып. 2, стр. 144, рис. 17 и 18) и из Малой Азии (W. Buckler, W. Calder and W. Guthrie. *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*. Manchester, 1933—1939, IV, pl. 17, N 40, p. 13; VI, pl. 62, N 359, p. 122). Интересно отметить, что император Василий I (867—886) приказал изобразить Христа на архитраве алтарной преграды построенного им придворного храма Спасителя. Это изображение было выполнено в технике эмали. См. Theophanes Continuatus. *Vita Basilii*, p. 330—331 (в серии „Corps. script. Hist. byz.“, XXXIII, Bonn, 1838).

² J. Konstantynowicz, цит. соч., стр. 155.

³ См. В. Лазарев. Два новых памятника русской станковой живописи XII—XIII вв. (к истории иконостаса). „Краткие сообщения ИИМК“, 1946, вып. XIII, стр. 67—76.

⁴ Th. Wittemore. *Unveiling of the Byzantine Mosaics in Hagia Sophia*. „American Journal of Archaeology“, 1942, p. 169—171.

⁵ Фото Н. П. Кондакова.

⁶ Указанием на этот интереснейший памятник я обязан Г. Н. Чубинашвили, которому приношу глубокую благодарность. О грузинских резных алтарных преградах см. статью Р. О. Шмерлинг в „Ars georgica“, т. 3, стр. 141—190.



Рис. 1. Икона Спасителя из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.
Гос. Третьяковская Галерея.



Рис. 2. Икона Богоматери из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.
Гос. Третьяковская Галерея.



Рис. 3. Икона Иоанна Предтечи из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.
Русский Музей.



Рис. 4. Икона Архангела Михаила из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.
Гос. Третьяковская Галерея.



Рис. 5. Икона Архангела Гавриила из Высоцкого чина. 1387--1395 годы.
Гос. Третьяковская Галлерей.



Рис. 6. Икона апостола Петра из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.
Гос. Третьяковская Галлерей.

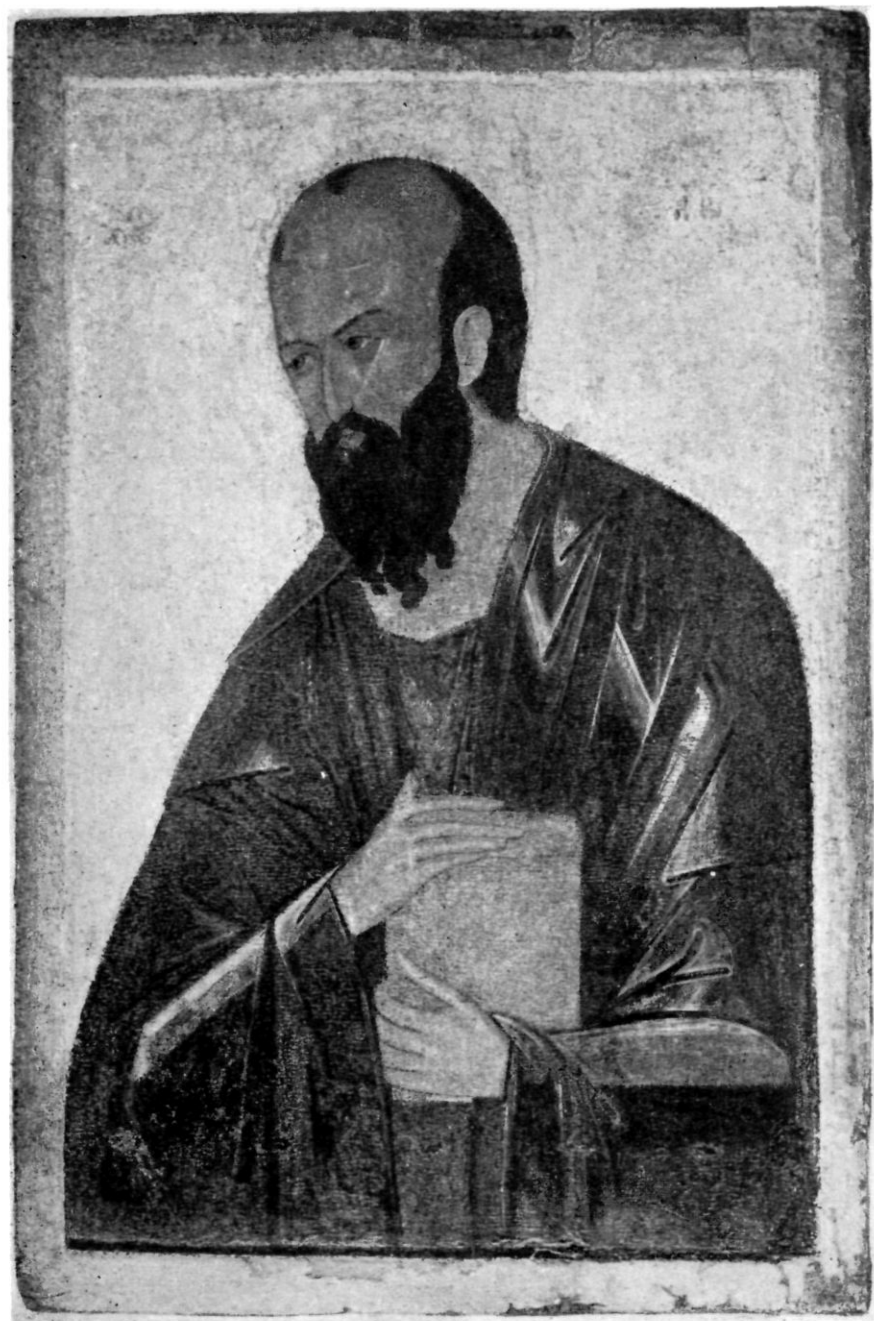


Рис. 7. Икона апостола Павла из Высоцкого чина. 1387—1395 годы.

Гос. Третьяковская Галерея.



Рис. 8. А. Рублев. Архангел Михаил. Икона из Звенигородского чина.
Гос. Третьяковская Галерея.

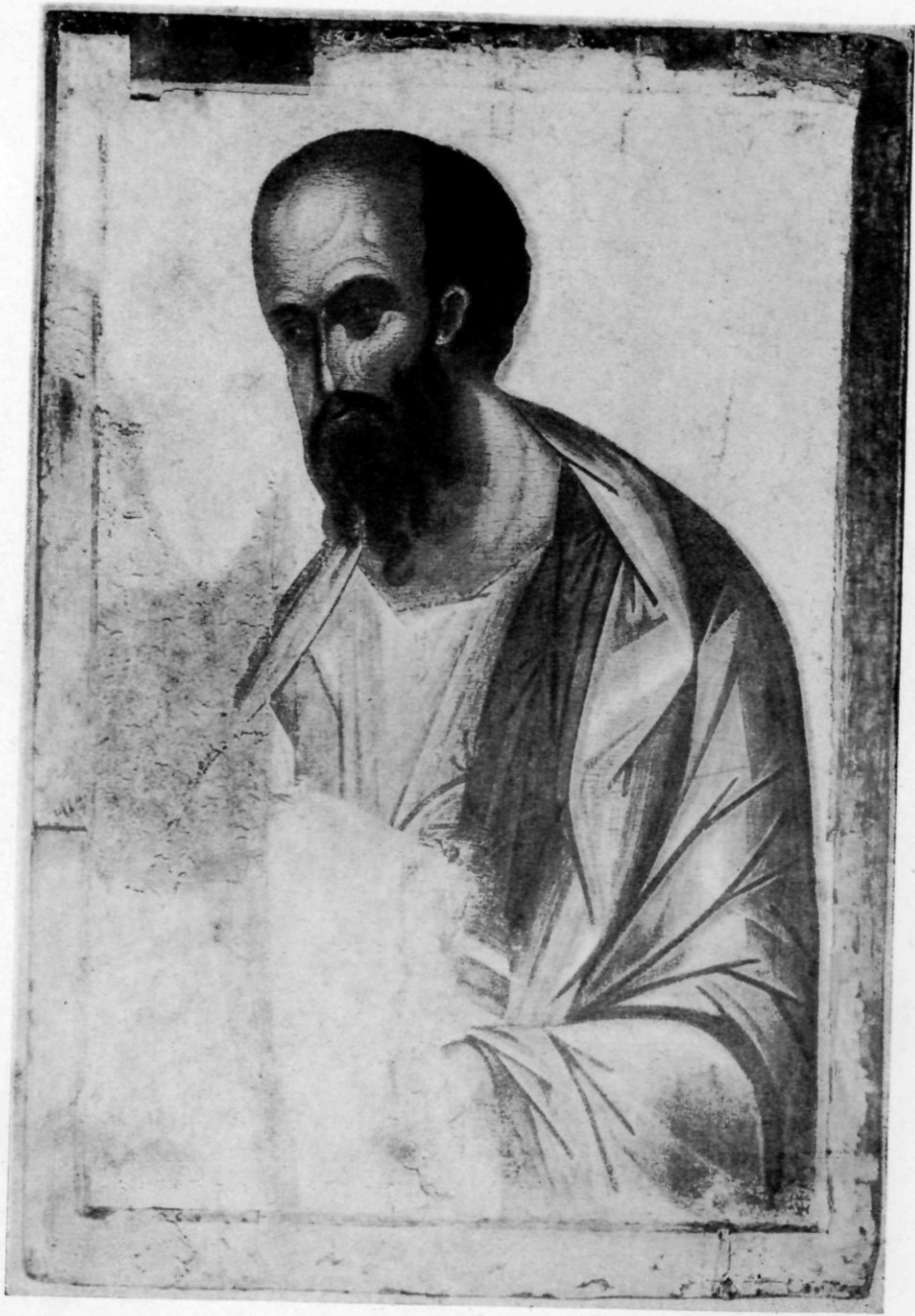


Рис. 9. А. Рублев. Апостол Павел. Икона из Звенигородского чина.
Гос. Третьяковская Галерея.



Рис. 10. А. Рублев. Спас. Икона из Звенигородского чина.
Гос. Третьяковская Галлерей.

Деисус написан прямо на архитраве. То, что практиковалось в Грузии, вероятно, находило себе место и в Византии. Но до настоящего времени до нас не дошли такие старые расписные алтарные преграды.¹ Во всяком случае есть основание полагать, что они применялись наряду с преградами, украшенными стоявшими на архитраве иконами.

После того как деисусная икона появилась на архитраве, она стала распадаться на ряд отдельных икон.² Это разрастание деисусной композиции путем включения в нее полуфигур ангелов и апостолов привело к сложению той ее классической формы, которая представлена Высоцким чином. Дальнейшая планомерная расчистка икон, несомненно, ознакомит нас со многими десятками, если не сотнями подобных памятников. Пока же они измеряются единицами. Помимо икон Высоцкого чина, к ним принадлежат неопубликованные грузинские иконы конца XIV в., вывезенные из Убиси и ныне хранящиеся в Музее Грузии в Тбилиси. Характерно, что здесь центрический момент еще недостаточно подчеркнут в композиции всего чина, что выражается в фасном положении полуфигур архангелов.

Обращаясь с заказом к константинопольскому мастеру, Афанасий Высоцкий должен был считаться с шириной пролета алтарной арки соборного храма Богородицы, для которого были предназначены посланные им с иеромонахом Виктором иконы.³ Возможно, этим и объясняются их несколько необычные для памятников византийской станковой живописи большие размеры. Оказал ли Афанасий прямое воздействие на цареградского иконописца и по линии столь излюбленного русскими строго центрического построения деисусной композиции, — сказать трудно, так как у нас нет для сравнения достаточного количества византийских чиннов.⁴

Посланные Афанасием иконы попали на Русь в 90-е годы XIV в. Это было время быстрого подъема русской культуры после Куликовской битвы. В Москве начинал свою работу молодой Андрей Рублев, закладывавший основы для блестящего расцвета московской живописи XV в. При том интересе, который господствовал в кругах московских художников к византийскому искусству, трудно себе представить, чтобы они прошли мимо такого факта, как получение Высоцким монастырем большого греческого чина, состоявшего не менее чем из семи икон. Не исключена возможность, что среди пришедших полюбоваться на новые памятники греческого мастерства находился и юный Андрей Рублев. Поэтому особенно интересно сравнить его хранящийся в Третьяковской галлерее Звенигородский чин с Высоцким чином.⁵ Это

¹ Вообще говоря, роспись применялась на алтарных преградах (например, церковь в Нерезе, церковь Георгия в с. Старое Нагоричино и др.), но среди таких росписей пока деисусная композиция не обнаружена.

² Ср. Е. Голубинский, История русской церкви, I—II, М., 1904, стр. 205—209, 211.

³ Этот собор был радикально перестроен в XVI в., так что мы лишены возможности восстановить пролет старой алтарной арки.

⁴ Наиболее естественно предположить, что Афанасий заказал иконы мастеру, принадлежавшему к тому Студийскому монастырю, в котором он проживал. В этом случае мы имели бы работу художника, связанного с монастырской традицией. Против этого отнюдь не говорят сухой стиль Высоцких икон.

⁵ И. Грабарь. Андрей Рублев. „Вопросы реставрации“, 1926 (1), репродукции на стр. 94, 99 и 105. Иконы Звенигородского чина были впервые приписаны Андрею Рублеву И. Э. Грабарем. До недавнего прошлого их связывали с Успенским на Городке собором. Теперь установлено, что они попали сюда из какого-то близлежащего храма. Наиболее вероятная дата их возникновения — конец XIV — начало XV в.

сопоставление позволит нам более четко наметить различие путей развития русской и византийской живописи в конце XIV в. и показать, как и в каком направлении переработал Рублев византийское наследие.

По своему типу рублевский Павел (рис. 9) очень близок к Павлу из Высоцкого чина (рис. 7). Но этим чисто иконографическим сходством исчерпываются точки соприкосновения между обоими образами. В истолковании Рублева Павел утратил свою сумрачность и суровость. У него доброе лицо с более мелкими чертами, с менее массивным лбом, с более светлой и распадающейся на большее количество прядей бородой. По сравнению с сутулистой и грузной фигурой Павла на Высоцкой иконе, рублевский Павел кажется стройным и изящным. Его силуэт, очерченный плавной параболой, лишен жесткости. Его плащ ложится мягкими складками, на нем отсутствуют резкие, беспокойные пробела. Край плаща образует ритмичную волнообразную линию, при сопоставлении с которой прямая линия плаща на византийской иконе кажется сухой и педантичной. Абстрактный художественный язык византийского мастера сменяется у Рублева гораздо более естественной и органичной трактовкой формы, в которой исчезает всякая напряженность. Все приобретает более открытый и жизнерадостный характер. В частности, темная и аскетическая палитра византийского художника уступает место совсем иному пониманию цвета: блекло-фиолетовое одеяние, голубой плащ и розовый обрез книги придают особую певучесть нежной высветленной гамме, в которой не остается и следа от византийской сумрачности. Так, меняя все акценты, Рублев достигает той глубокой человечности выражения, которую напрасно было бы искать в фанатичном и неприступном Павле из Высоцкого чина.

Не менее велик контраст между рублевским архангелом Михаилом (рис. 8) и аналогичной полуфигурой византийского художника (рис. 4). В последней есть что-то застылое и одеревенелое: прямо поставленный корпус, едва склоненная голова, вертикально расположенные крылья, отделенные сравнительно небольшим просветом от головы, однообразно и сухо трактованные складки. Как все это непохоже на пленительную грацию рублевского ангела! Здесь фигура приобрела редкую ритмичность и естественность. Силуэт очерчен как бы струящимися параболическими линиями, плащ образует мягкие складки, голова низко склонилась, более свободно расставленные крылья способствуют впечатлению легкости и воздушности. Вместо хмурого и неприветливого выражения лица византийского ангела Рублев передает состояние глубокой задумчивости, наполняя образ совсем новым поэтическим содержанием. Тяжелые краски византийской иконы (грязносиняя и вишневая) он заменяет нежным голубцом и прозрачным розовым тоном, которые оставляют незабываемое впечатление чистотой своего эмоционального звучания.

Третья икона Звенигородского чина дошла до нас в крайне поврежденном виде — сохранились лишь верхняя часть корпуса Христа и его голова (рис. 10). Но и этого живописного фрагмента вполне достаточно, чтобы оценить превосходство рублевского Спаса над византийским Пантократором (рис. 1). Если последний суров и неприступен, то Спас на иконе Рублева с первого же взгляда подкупает своей приветливостью и добротой. И здесь лишний раз убеждаешься в том, насколько образы Рублева мягче и человечнее образов византийских художников.

По своему общему замыслу рублевские иконы не менее сильно отличаются от произведений византийского мастера. Хотя последние имеют центрическое построение, в них ориентация полуфигур на среднюю

икону чина все же не выражена так ясно и последовательно, как у Рублева. Невольно создается впечатление, что греческому художнику не удалось преодолеть скованность движения, в его образах есть чрезмерная прямолинейность, граничащая с жесткостью. Это и порождает у зрителя чувство отчужденности. Совсем по-иному трактует фигуры Рублев. Он придает им изумительную эластичность, он тончайшим образом использует мягкий ритм параболических линий, чтобы подчеркнуть устремление фигур к центру — к иконе Спаса. В силу этого композиция чина приобретает несравненно большую слитность и гармонию. Так закладываются основы для классической формы русского иконостаса.

Нельзя, понятно, не учитывать того, что мы сравнивали произведения гениального художника с работами хотя и сильного, но отнюдь не исключительного мастера. И все же данное сопоставление глубоко поучительно. Оно ясно показывает, что к концу XIV в. византийская живопись была целиком исчерпавшим себя искусством, которое загнивало в стандартных формулах. Это искусство уже не питалось живыми соками народного творчества, оно прониклось узко церковным, догматическим духом, перед ним был закрыт путь в будущее. Такое его агонизирующее состояние отражало безнадежное внутреннее и внешнеполитическое положение византийского государства, быстро приближавшегося к своей гибели. В совсем иных условиях развивалась к концу XIV в. русская художественная культура. Она находилась на подъеме, ее мастера ставили новые задачи, смело искали новых решений. Они стремились к более человечному, к более эмоциональному художественному языку, который был бы в состоянии преодолеть византийскую скованность. И когда сопоставляешь Высоцкий чин с Звенигородским, то этот контраст между умирающим византийским и полным сил русским искусством выступает с удивительной наглядностью.

Е. Э. ЛИПШИЦ

**К ВОПРОСУ О СВЕТСКИХ ТЕЧЕНИЯХ
В ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ IX в. (Касия)**

Пути развития византийской литературы в первой половине IX в. мало изучены. В обобщающих трудах этот период истории литературы характеризуется обычно суммарно и неопределенно. Немногочисленные писатели, жившие и творившие в период позднего иконоборчества, большей частью привлекают внимание буржуазных исследователей своими полемическими, догматическими, агиографическими и историческими трудами. Поэтические же их произведения остаются в тени. Мы уже имели случай в своих предшествующих работах обратить внимание на чрезвычайно любопытную в историческом отношении поэтическую деятельность поэтов иконоборцев Иоанна Грамматика и Игнатия.¹ Последний должен быть признан по всей вероятности одним из наиболее видных писателей и поэтов своего времени, в то время как первый был выдающимся политическим деятелем иконоборческого лагеря и не лишенным значения ученым-исследователем.

Изучение этого периода в истории литературы останется, однако, неполным, если не будет уделено внимание еще одной писательнице и, притом, сильно отличающейся от рассмотренных выше писателей, а именно Касии. В отличие от Игнатия литературная деятельность Касии ограничивалась одной лишь поэзией.

Творчеством Касии до сих пор занимались мало. Автор единственной монографии о Касии немецкий буржуазный византист Крумбахер опубликовал некоторые ее поэтические произведения, но дал их разбор лишь с формальной стороны.² Если не считать отдельных случайных замечаний, он не сделал попытки дать характеристику деятельности поэтессы в целом и не определил причины, обусловившие особенности ее поэзии. Не сделали этого и другие буржуазные исследователи, ограничившиеся в своих работах вниманием к отдельным моментам биографии писательницы.

Следует отметить также, что произведения Касии до сих пор никогда не переводились на новые языки.

А между тем при всей скудости сведений о Касии и сравнительно малом по объему ее литературном наследстве изучение ее творчества дополняет картину культурной и литературной жизни Византии первой половины IX в. и рисует достаточно яркий облик писательницы, хотя и не принимавшей, подобно Игнатию, Иоанну Грамматику, Никифору и Феодору Студиту, непосредственного участия в политической борьбе своего времени, но тем не менее захваченной отчасти ее последствиями.

¹ Исторические записки, кн. 26, 1948.

² K. K r u m b a c h e r. Kasia. München, 1897.

1. Биографические данные

Литературная деятельность Касии (или в других вариантах ее имени — Кассии, Кассиане, Икасии)¹ в свое время пользовалась довольно широкой известностью. В греческих рукописных кодексах сохранилось значительное число ее эпиграмм и гимнов. Многие византийские писатели упоминают о ее выдающемся даровании. Так, Никифор Каллист Ксанфопул включил ее имя в свой рифмованный перечень знаменитых поэтов-гимнографов, поставив ее в ряд с такими признанными в Византии писателями, как Феодор и Иосиф Студиты, Косьма, Иосиф Гимнограф, Андрей (Критский), Феофан, Георгий (Кипрский), Лев и Марк.² По данным известного византийского поэта времен Комнинов Федора Продрома, Касия была не только поэтессой, славившейся своим умом, но и талантливым композитором: ее мелодии были использованы и позднейшими гимнографами. Об этом же говорит и Георгий Кодин — автор описания достопримечательностей Константинополя, связывая с именем Касии (у него — Икасии) монастырь, построенный ею недалеко от Золотых ворот, близ Студийской базилики. Кодин сообщает при этом некоторые сведения о времени жизни Касии, ее внешности и поэтической и музыкальной деятельности. „Монастырь Икасии, — пишет он, — был построен Икасией, благочестивейшей монахиней и прекрасной с виду девицей, которая была и мудрейшей и сочинила много канонов и стихирей и другого достойного удивления и польжила на музыку во времена императора Феофила“³ (Ἡ μονὴ τῆς Ἰκασίας ἐκτίσθη παρὰ Ἰκασίας μοναχῆς εὐσεβεστάτης καὶ παρθένου ὁραίας τῷ εἶδει ἥτις σοφώτατῃ οὖσα καὶ κανόνας πολλοὺς καὶ στιχερά καὶ ἄλλα τινὰ ἀξιοθαύμαστα ἐποίησε καὶ ἐμελῳδῆσεν ἐν ταῖς χρόναις Θεοφίλου τοῦ βασιλέως).

Более подробные сведения о Касии можно найти у византийских хронистов.

Так, Лев Грамматик,⁴ говоря о событиях, связанных с воцарением императора Феофила, упоминает, что мать Феофила Евфросина послала во все фемы специальных нарочных, чтобы привести самых красивых девушек на смотр невест для Феофила. Девушки были приведены ею во дворец, в так называемый триклиний Жемчуга. Затем она вручила Феофилу золотое яблоко, чтобы он отдал его той, которая ему больше всех понравится. Была среди них, говорит Лев Грамматик, „некая девушка из благородных, замечательная красавица, по имени Икасия. Феофил, увидев ее выдающуюся красоту, сказал, что, мол, от женщин исходит зло. Она же, смутившись, ответила ему, что из женщин произошло и наилучшее. Тот же, раненный в сердце ее словами, покинул ее и передал яблоко Феодоре, происходившей из Пафлагонии. Венчал Феодору в церкви Стефана и был венчан вместе с ней и сам патриархом Антонием в великую пятидесятницу (Духов день),⁵ пройдя в великую церковь (Софии) и почтив богатыми подарками патриарха вместе с клиром и синклитом“. „Названная же Икасия, потерпевшая

¹ *Κασσία, Κασία, Κασσιανή, Ἰκασία*. По мнению Крумбахера, собравшего все данные источников по этому вопросу, наиболее правильной формой следует считать *Κασία* или *Κασσία*, см. K. Krumbacher. *Kasia*, t. 108, S. 316—317.

² W. Christ et M. Paranikas. *Anthologia graeca carminum christianum*. Lipsiae, 1871, p. XLI. I.

³ Ed. Bonn, 123, 13, ff; ср. также у Г. Ласкина. Георгий Кодин. О древностях Константинополя. Словарь. Киев, 1905, стр. 94. „Иказии“ монастырь. 25. 123.

⁴ Ed. Bonn. 213, 8 = Migne. *Patr. gr.*, 1896, p. 1045.

⁵ 5 июня 830 г.

неудачу с царствованием, устроила монастырь, в котором и постриглась, ведя аскетический образ жизни, занимаясь философией и проводя жизнь с одним только богом до конца своей жизни. И сохранились многие ее писания¹.

Если не считать некоторых незначительных отступлений в деталях и форме изложения, с этим рассказом вполне совпадает изложение этих событий у Феодосия Мелитенского,¹ Псевдо-Симеона,² Георгия Амартола,³ Зонары⁴ и Глики.⁵

В значительно более поздней фольклорной версии жизнеописания Феофила, сохраненной рукописью монастыря Метеха в Константинополе, рассказ этот обогащается несколькими новыми деталями, но канва его и здесь остается прежней.

Несмотря на наличие элементов, придающих всей истории Касии отчасти легендарный характер, совокупность всех данных источников говорит о том, что в основе рассказа хронистов лежит достоверный факт. В истинности истории Касии не сомневается и Крумбахер.⁶ Основываясь на всех данных хронистов — Псевдо-Симеона, Льва Грамматика, Георгия Монаха, Зонары, Михаила Глики, он пришел к выводу, что все эти источники восходят к общему оригиналу, написанному до Псевдо-Симеона, т. е. приблизительно до 963 г.

Однако Крумбахер не принял во внимание в своих выводах одного источника, опубликованного Регелем еще в 1891 г., который дает возможность с гораздо большей точностью решить вопрос о времени возникновения рассказа о жизни Касии, включенного в рассмотренные выше византийские хроники. Этим источником является анонимное житие Феодоры, изданное Регелем в его собрании текстов „*Analecta byzantino-rossica*“.⁷

Уже Б. Мелиоранский, коснувшись попутно истории Касии в своем исследовании о семейной истории Аморийской династии, обратил внимание на важность жития Феодоры при выяснении времени сложения биографической канвы повести о Касии.⁸ Мелиоранский совершенно правильно характеризовал этот текст как полемический *pendant* к повести о Касии. Так как житие Феодоры возникло около 867 г.,⁹ то повесть о Касии, сохраненная в рассказах хронистов, должна была уже существовать до этого времени.

Следовательно, рассказ о жизни Касии, несмотря на некоторые сказочные черты, оказывается современным или почти современным жизни самой Касии, которая родилась, повидимому, около 815 г.,¹⁰ а постриглась в монастырь ок. 830 г.

¹ Ed. Tafel, 1859, p. 149.

² Ed. Bonn, 624 ff.

³ Ed. Bonn, 789 ff. Георгий Амартол перечисляет и некоторые сохранившиеся до его времени произведения Касии.

⁴ Ed. Teubner, кн. XV, 25, III. 401, 20, 402, 10.

⁵ Ed. Bonn, 536, 1.

⁶ Op. cit., 313.

⁷ Reg. l. *Analecta byzantino-rossica*. 1891, p. 1—19.

⁸ Б. Мелиоранский. Из семейной хроники Аморийской династии. „Византийский Временник“, т. VIII, 1, стр. 1—37.

⁹ Reg. l. op. cit., p. XVII.

¹⁰ Смотр невест происходил в 830 г. Касии было в то время около 15 лет, так как Эклога устанавливает возраст для вступления в брак у женщин — 13 (в вариантах 12) лет. См. *Ecloga Leonis et Constantini*, ed Zachariae von Lingenthal. Lipsiae, 1852, стр. 15. Год смерти Касии не известен; письма Феодора Студита к кандидатиссе Касии (*Migne*, *Patr. gr.*, t. 99, p. 1622, *Nova Patr. Bibl.*, t. VIII, стр. 126—127) по хронологическим соображениям не могут быть отнесены к поэтессе Касии.

Некоторые намеки, подтверждающие этот рассказ, имеются и в ее собственных произведениях — изречениях и эпиграммах, о чем речь будет ниже.

2. Произведения Касии

Литературное наследство Касии обнимает собой две группы произведений: 1) изречения и эпиграммы и 2) гимны.

Изречения и эпиграммы Касии сохранились в нескольких рукописях. Они неоднократно издавались:

1. Brit. Mus. Addit. 10072, S. 15, fol. 93. Издано сначала частично (32 стиха) Лампросом (Lampros Sp. в *Δελτίον τῆς ἱστορ. καὶ ἐθνολογ. ἐταιρείας τῆς Ἑλλάδος* 4. 1894, S. 33 и сл.), затем, полностью, К. Крумбахером (Kasia).

2. Cod. Marcianus gr. 408, s. 14 (изд. Крумбахером).

3. Cod. Laurent. 87, 16, fol. 353 и сл. (изд. Крумбахером).

4. Эксцерпт из последней в Cod. Paris. Bibl. Mazarine. P. 1231, s. 15.

5. Рукопись Метеха Гроба господня в Константинополе издана у Mystiakides (Κασία, Κασσιανή в *Ὁρθοδοξία*) 1. 1926. 247—251 и 314—319 (ср. Byz. Ztschrift, 1927, S. 422).¹

По кругу вопросов, о которых они трактуют, изречения и эпиграммы Касии могут быть отнесены к изречениям на морально-этические темы. Они написаны ямбическим триметром и, как правило, не выходят за размеры одного-двух стихов. Лишь в виде исключения среди них встречаются небольшие элегические стихотворения, состоящие из четырех или более стихов. Они просты, понятны и свободны от ученых претензий. Анализируя стихи Касии с формальной стороны, Крумбахер отметил и тот факт, что Касия пренебрегает правилами просодии и метрики.

Эти стихи группируются частью по темам, частью по внешнему формальному признаку — повторяющемуся начальному слову, которым объединяется нередко целая значительная группа изречений.

Одной из тем, которой поэтесса уделяет большое внимание, является дружба.

В целой серии стихов Касия восхваляет умного, верного, образованного друга и противопоставляет истинную дружбу показной и фальшивой:

2. „Дари любовь любящему другу,
Но не дари напрасно любви неучу“, —

говорит она в неуклюжем по форме двустииши с искусственно повторяющимся корнем φίλος:

„φίλῳ φιλοῦντι χάριζον τὸ φιλεῖσθαι
τῷ ἀγνώμονι εἰς κενὸν τὸ φιλεῖσθαι“.

В пятой эпиграмме из той же серии Касия пишет:

„Друг, пребывая в горестях с возлюбленными,
Находит облегчение и в сильных страданиях“.
„φίλος ἐν λύπαις συνὼν τοῖς φιλεστάτοις
ὕψιν εὖρε τῶν σφοδρῶν ἀλγυδόνων“.

¹ В 1926 г., как о том упоминает краткая заметка Гейзенберга в „Byzantinische Zeitschrift“, Мистиакидес опубликовал новое собрание эпиграмм Касии, которое, по утверждению Гейзенберга, не совпадает с теми, которые были изданы Крумбахером в его монографии о Касии. Собрание это, однако, осталось нам недоступным.

6. „Стремись ты к другу умному, как к золоту мошне,
От глупого ж, напротив, беги, как от змеи“.
„Φρόνιμον φίλον ὡς χρυσὸν κόλπῳ βάλλε
τὸν δ' αὖ γε μωρὸν φεύγε καθάπερ ὄφιν“.
8. „Возвысившийся друг возвышается с собой и друзей“.
„Φίλος δ' ὑψωθείς συνυψώσει τοῖς φίλους“.
9. „Лучше же всего, и золота и жемчугов, множество истинно
любящих для любимых“.
„Κρεῖσσον δὲ πάντως καὶ χρυσοῦ καὶ μαργάρων ἔσμος
φιλοῦντων πρὸς φιλοῦντας γνησίως“.
10. „Оградой произрастает любовь друзей“.
„Φραγμὸς πέφυκεν ἡ τῶν φίλων ἀγάπη“.
11. „Богатство бесполезно лишенному друзей“.
„Πλοῦτος δ' ἄχρηστος, εἰάν μὴ φίλον ἔχῃ“.
12. „Друг спасает друга и страна страну“.
„Φίλος τὸν φίλον καὶ χώρα χώραν σώζει“.
13. „В беде беседа любящих друзей
И меда сладостней и лакомства“.
„Φίλων φιλοῦντων ἐν λύπαις ὀμιλία
ἢ δούτεραι μέλιτος παντὸς καὶ ὀψου“.
14. „Несчастье выявляет истинного друга,
Ибо не отступает он от любимого“.
„Φίλον γνήσιον δὴ περίστασις δείξει
οὐ γὰρ ἀποστήσεται τοῦ φιλουμένου“.
15. „Да назовется другом любящий без коварства,
А кто с коварством, тот не друг, а враг тебе“.
„Φίλος λεγέσθω ὁ φιλῶν ἄνευ δόλου
ὁ δ' αὖ συν δόλῳ οὐ φίλος ἀλλ' ἐχθρὸς σοι“.
16. „Люби же всех, но не на всех надейся“.
„Πάντας δ' ἀγάπα μὴ θάρρει δὲ τοῖς πᾶσιν“.
20. „Как темный дом лишен улады, так и богатство без
друзей“.
„Ὡσπερ σκοτεινὸς οἶκος οὐκ ἔχει τέρψιν
οὕτως πέφυκεν ὁ πλοῦτος ἄνευ φίλων“.
21. „Любовь льстецов, как нарисованное вооружение,
Ибо они вас вводят в заблуждение хвалой утех“.
„Στεργὴ κολάκων ὡς γραπτὴ πανοπλία
πλανῶσιν (γὰρ) ὑμᾶς ἡδοναῖς ἐπαίνεται“.

Ряд изречений поэтессы проникнут пессимизмом, разочарованием в верности друзей, тоской по истинной дружбе. Таково изречение:

7. „Друг, друга любящего встретив, обрадуйся так сильно,
как найдя кучу золота“.
„Φίλον φιλητὸς φιλοῦντα συναντήσας
γέγηθε λαμπρῶς ὥσπερ ὄγκον εὐρὼν χρυσίου“.

Мысль, выраженная Касией в этом изречении, может быть сопоставлена с сходными сентенциями Максима и Менаандра. У Максима (Migne. Patr. gr. f. 91, 7—55 B) она звучит так:

„Φίλος πιστὸς σκέπη κραταία ὁ δὲ εὐρὼν
αὐτὸν εὖρε θησαυρόν“.

у Менаандра: „φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν“ (Menandri et Philemonis reliquiae ed. A. Meineke, Berlin, 1823, S. 312, v. 20).

Следующая небольшая группа сентенций трактует о зависти.

22. „Как ехидна разбивает скорлупу,
Так и зависть раздирает завистника“.
„Ὡς περ ἐχιδνα ῥήσσει τὴν τέτοκίαν
οὕτως ὁ φθόνος τὸν φθονοῦντα ῥήγνυει“.
23. „Источник зависти — счастье прекрасных, [но]
Не имея прибыли, зависть угасает“.
„Ἀρχὴ τοῦ φθόνου τῶν καλλῶν εὐτυχία
μηδὲν κερδαίνων ὁ φθόνος (ἀποκίμνει)“.
24. „Сердце завистника пылает завистью“.
„Ἀνδρὸς φθονεροῦ μέμνηεν ἡ καρδία“.
26. „О худшая зависть, кто породил тебя, спрошу,
И кто разобьет и уничтожит тебя.
У меня ты породила всяческое тщеславие
И разбила любовь к ближнему,
И, наконец, отдалила от меня страх божий
И совсем разбила смирение“.
„Φθόνε κάκιστε, τίς ὁ τέκων σε, φράσον,
καὶ τίς ὁ πατάσσει σε καὶ διαρρήσσει;
Ἐμὲ τέτοκε πάντως κενοδοξία,
πατάσσει δέ με φιλαδέλφια δῆλον,
διχάζει δέ με θεοῦ φόβος εἰς τέλος
καὶ διαρρήσσει ταπεινώσις εἰς ἅπαν“.
27. „Мне не давай, Христос, завидовать до смерти,
Но дай мне зависти достойной быть;
Ибо желаю страстно быть достойной
Всемерно зависти в божественных делах“.
„Φθονεῖν μὴ δῶς μοι χριστέ, μέχρι θανάτου,
τὸ δὲ φθονεῖσθαι δός μοι; ποθῶ γάρ τοῦτο,
τὸ δὲ φθονεῖσθαι πάντως ἐν ἔργοις θείοις“.

В последних двух стихотворениях, имеющих автобиографический характер, Касия, повидимому, намекает на события, повлекшие за собой ее уход в монастырь. К этой же группе стихов относится и 29:

29. „Всякий злопамятный явно завистлив,
Ибо злопамятность мать зависти“.
„Πᾶς μνησίκκος καὶ φθονεὺς προδήλως
γεννήτρια γὰρ μνησικακία φθόνου“.

Очень значительное место среди стихов Касии занимают изречения, бичующие глупость. Приводим наиболее характерные из них:

47. „Ненавижу глупца, мнящего, что он философствует“.
„Μισῶ τὸν μωρὸν φιλοσοφεῖν δοκοῦντα“.

В стихотворениях 69 и 73 снова сквозит намек автобиографического характера, причем под глупцом Касия, по всей вероятности, разумеет императора Феофила.

69. „Глупцу уж нет совсем лекарства,
Нет помощи ему, — одна лишь смерть,
Глупец же сановитый возносится над всеми,
Еще и чванится глупец от похвалы.
Как не согнуть высокую колонну,
Так не изменишь вовсе и глупца“.

„Οὐκ ἔστι μωρῷ φάρμακον τὸ καθόλου
οὔδε (καὶ) βοήθεια πλὴν τοῦ θανάτου
μωρὸς τιμῆς καταπαίρεται πάντων
ἐπαίνεθες δὲ θρασύνεται καὶ πλεον,
ὥς γὰρ ἄπορον κάμψαι κίονα μέγαν,
οὕτως οὐδ' ἄνθρωπον μωρον μεταποιεῖς“.

73. „Как страшно выносить глупца суждения!
Когда же он прославлен, еще всего страшней.
Хотя бы был глупец и молод, и династ,
Увы и ой, ой и увy, о боже!“
„Δεινὸν τὸν μωρὸν γνωσθεὺς τι μετέχειν
ἦν (δὲ) καὶ δόξης, δεινότατον εἰς ἅπαν
ἦν δὲ καὶ νέος ὁ μωρὸς καὶ δυνάστης
παπαὶ καὶ ἰῶ, φεῦ καὶ οὐαὶ καὶ πόποι“.

В стихотворении 70 Касия, развивая ту же тему, восклицает:

„Предпочтительнее иметь дело с умными,
Чем с богатыми глупцами и неучами“.
„Ἀρετώτερον φρονίμοις συνδιαχεῖν
ἢ περ πλουσίοις μωροῖς καὶ ἀπαιδέυτοις“.

В 71 она пишет:

„Знание для глупца — опять же глупость“.
„Γνώσις ἐν μωρῷ πάλιν ἄλλη μωρία“.

А в 72 она заключает:

„Знание для глупца — погремушка на свином рыле“.
„Γνώσις ἐν μωρῷ κώδων ἐν ρινὶ χοίρου“.

И, наконец, в 118:

„Невыносимо умному переносить глупцов,
Ибо устанет он от их противоречий.
Иль как ему их дерзость победить!
Гораздо лучше с умными делить нужду мне,
Чем разделять богатство с невеждами и дураками.
О дай, Христос, мне лучше делить нужду
С разумными и мудрыми мужами,
Чем радости сносить с неумными глупцами!“
„Μωροῖς φρόνιμος συνδιαχεῖν οὐ σθένει
ἀτονήσκει γὰρ τῇ τούτων ἀντιθέσει,
ἢ πῶς τὴν τούτων θρασύτητα νικήσας;
Ἀρετώτερον φρονίμοις συνδιαχεῖν
ἢ περ πλουσίοις μωροῖς καὶ ἀπαιδέυτοις
καὶ μοὶ δοίη γε, Χριστὸς, συγκαταχεῖσθαι
φρονίμοις ἀνδράσι τε καὶ σοφωτάτοις
ἢ περ συμπλουτεῖν μωροῖς καὶ ἀπαιδέυτοις“.

Вывод из всех этих стихов Касия формулирует в стихе 76:

„Лучше б тебе, глупец, и вовсе не родиться или, родившись, не бегать по земле“.

Это стихотворение в другом варианте (113) в полном виде звучит так:

„Лучше б тебе, глупец, и вовсе не родиться. Или, родившись, не топтать земли, но сразу же направиться в Аид“.
„Κρεῖσσον τῷ μωρῷ πᾶμπαν μὴ γεγεννηῆσθαι
ἢ γεννηθέντα τῇ γῇ μὴ βηματίζειν, ἀλλὰ
συντόμως Ἀιδῇ παραπεμφθῆναι“.

Направляя несколько эпиграмм против всевозможных нарушителей законности и добродетели, Касия в длинном стихотворении наделяет человека рядом пороков, противопоставляя их природным недостаткам. Все в целом носит характер злой карикатуры:

53. „Муж лысый, глухой, однорукий,
Заика, недоросток черный,
Кривоногий и кривоглазый
Был оскорблен каким-то обольстителем,
Прелюбодеем, пьяницей, лжецом и вором и убийцей.
О приключившемся сказал он:
«Я не виновник в том, что приключилось,
Ибо я создан был таким, и вовсе не желая.
А ты же сам создал свои пороки,
Не получил ты вовсе их от бога,
И то, что делаешь, за то ты сам и терпишь»“.
- „Ἀνὴρ φαλακρὸς καὶ κωφὸς καὶ μονόχειρ
μογγιλαλὸς τε καὶ κολοβὸς καὶ μέλας,
λοξὸς τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἅμα
ὕβρισθεὶς παρὰ τινος μοιχοῦ καὶ πόρνου,
μεθύστον, κλέπτην καὶ ψεύτην καὶ φονέα
περὶ τῶν αὐτῷ συμβεβηκότων ἔφη.
Ἐγὼ μὲν οὐκ αἰτίος τῶν συμβαμάτων.
οὐ γὰρ θέλων πέφυκα τοιοῦτος ὅλος.
σύ δὲ τῶν σαυτοῦ παραίτιος πτασμάτων.
ἅπερ γὰρ οὐκ ἔλαβες παρὰ τοῦ πλάστον,
ταῦτα καὶ ποιεῖς καὶ φέρεις καὶ βαστάζεις“.

Несколько эпиграмм посвящает Касия качествам женщин:

126. „Женский род всех сильнее,
Сказал поистине еще и Ээдра“.
- „Φῦλον γυναικῶν ὑπερισχύει πάντων
καὶ μάρτυς Ἑσδρας μετὰ τῆς ἀληθείας“.
127. „Дурно, когда жена красива и прекрасна,
Ибо имеет краса очарование.
Когда ж жена злонравна, безобразна,
Зло станет вдвое большим, к тому ж еще без прелести“.
- „Κακὸν ἢ γυνὴ κἄν ὥραία τῷ κάλει
τὸ γὰρ κάλλος κέκτῃται παραμυθίαν
εἰ δ' αὖ δυσειδὴς καὶ κακότροπος εἴη,
διπλοῦν τὸ κακὸν παραμυθίας ἄτερ“.
128. „Умеренное зло — жена блестящая с виду:
Все же красота дает утешение.
Когда ж еще жена к тому и безобразна,
Печальна вовсе участь, и жалок злой удел“.
- „Μετρίον κακὸν γυνὴ φαίδρα τῇ θέᾳ,
ὅμως παρηγόρημα τὸ κάλλος ἔχει
εἰ δ' αὖ καὶ γυνὴ καὶ δυσμορφος ὑπάρχοι,
φεῦ τῆς συμφορᾶς, φεῦ κακῆς εἰμαρμένης“.

Ирония Касии направлена и на предсказателей:

65. „Муж — предсказатель наилучший,
Ибо предсказывает он опасности в делах“.
- „Ἀνὴρ στοχαστὴς μάντις ἄριστος ἐστὶν
τεκμαίρεται κινδύνους ἐν τῶν πραγμάτων“.

Заслуживают внимания и еще некоторые сентенции на морально-этические темы. Такова, например, 129.

„Зло легче доброго.

Подобно доброе подъему вверх,
Дурное же подобно спуску вниз,
А всякий знает, насколько легче
Спускаться, чем подниматься“.

„Ῥαδίον ἐστὶ τὸ κακὸν τοῦ βελτίου;
τὸ γὰρ ἀγαθὸν εἶκειν ἀναφόρῳ,
τὸ δ' αὖ πονηρὸν οἶον τῷ κατηφόρῳ.
καὶ πᾶς τις οἶδε, πόσον κατωφορεῖν
εὐκοπώτερον ἢπερ ἀναφορεῖν“.

31. „Богатство покрывает великие пороки, — тогда как бедность обнажает все, что есть дурного“.

Большая группа сентенций имеет темой ряд случаев, которые, по мнению поэтессы, достойны осуждения. Все они начинаются словом *μισῶ*:

45. „Ненавижу убийцу, осуждающего вспылчивого“.
„μισῶ φονέα κρίνοντα τὸν θυμῶδη“.
46. „Ненавижу обольстителя, когда клеймит прелюбодея“.
„μισῶ τὸν μοιχόν, ὅταν κρίνῃ τὸν πόρνον“.
47. „Ненавижу глупца, когда он мнит, что философствует“.
„μισῶ τὸν μωρὸν φιλοσοφεῖν δοκοῦντα“.
48. „Ненавижу должника, спящего беззаботно“.
„μισῶ χρεώστην ἀμερμήνως ὑπνῶντα“.
49. „Ненавижу малого, когда не ценит он большого“.
„μισῶ κολοῦν μακρόν ἐξωθενοῦντα“.
50. „Ненавижу молчание, когда время говорить“.
„μισῶ σιωπὴν ὅτε καιρὸς τοῦ λέγειν“.
51. „Ненавижу приходящего без приглашения“.
„μισῶ μὴ ζητούμενον καὶ προσμολοῦντα“.¹
52. „Ненавижу обучающего и ничего не знающего“.
„μισῶ τὸν διδάσκοντα μὴδὲν εἰδότα“.
87. „Ненавижу судью, смотрящего на лица“.
„μισῶ δικαστὴν προσέχοντα προσόποις“.
88. „Ненавижу богатого, причитающего, как бедняк“.
„μισῶ πλούσιον ὡς πτωχὸν θρηνηδοῦντα“.
89. „Ненавижу бедняка, хвастающегося богатством“.
„μισῶ τὸν πτωχὸν καυχώμενον ἐν πλούτῳ“.
90. „Ненавижу большого, если он чрезмерен“.
„μισῶ τὸν μακρόν ἢν πελωλὲς τυγχάνῃ“.
93. „Ненавижу лгуна, чванящегося на словах“.
„μισῶ τὸν ψεύστην σεμνυνομένον λόγοις“.
94. „Ненавижу пьяницу, пьющего и жаждущего“.
„μισῶ μέθυσον πίνοντα καὶ διψῶντα“.
95. „Ненавижу лакомку, собирающего крошки“.
„μισῶ τὸν λίχνον ὡς ὀλιγοψυχῶντα“.²
97. „Ненавижу беспечного, а более сонливого“.
„μισῶ ῥέθυμον καὶ τὸν ὑπνώδη μᾶλλον“.

¹ В вар. *προσλαλοῦντα* — болтающего.

² В вар. *ὀλιγοψυχῶντα* — малодушного.

98. „Ненавижу бесстыдного в развязности“.
 „μισῶ τὸν ἀναίσχυντον ἐν παρρησίᾳ“.
99. „Ненавижу многословного, когда некогда“.
 „μισῶ τὸν πολύλογον ἐν ἀκαιρίᾳ“.
101. „Ненавижу того, кто похож на всех“.
 „μισῶ τὸν πᾶσι συμμορφούμενον τρόποις“.
102. „Ненавижу делающего все ради славы“.
 „μισῶ τὸν δόξης χάριν ποιῶντα πάντα“.
103. „Ненавижу говорящего без спросу“.
 „μισῶ μὴ ζητούμενον καὶ προσλαλοῦντα“.
106. „Ненавижу бранливого, ибо он не любит божества“.
 „μισῶ φίλεχθρον οὐ γὰρ φίλει τὸ θεόν“.
107. „Ненавижу скупого и сильно богатеющего“.
 „μισῶ φειδωλὸν καὶ μάλιστα πλουτοῦντα“.
108. „Ненавижу невежду, как Иуду“.
 „μισῶ τὸν ἀγνώμονα καθὼς Ἰούδαν“.
109. „Ненавижу клеветующего напрасно на друзей“.
 „μισῶ τὸν μάτην συκοφαντοῦντα φίλους“.

Таким же образом и другая группа изречений подобрана по внешнему признаку. Все они начинаются словом „лучше“ — *κρεῖσσον*:

39. „Лучше одиночество, чем дурное общество“.
 „Κρεῖσσον μόνωσις τῆς κακῆς συνουσίας“.

Это изречение можно сопоставить с словами Менандра:

„ἀνδρὸς πονηροῦ φεῦγε συνουσίαν αἰεί“

(Менандр, 24).

40. „Лучше и болезнь, чем дурное благополучие“.
 „Κρεῖσσον καὶ νόσος τῆς κακῆς εὐεξίας“.
41. „Лучше быть слабым, чем дурно здоровым“.
 „Κρεῖσσον ἀσθενεῖν ἢ κακῶς ὑγιαίνειν“.
42. „Молчание лучше речей несправедливых.
 Ибо от молчания не произойдет ни опасности,
 Ни насмешек, ни раскаяния, ни обвинения, ни клятвы“.
 „Κρεῖσσον σιωπᾶν ἢ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις
 ἐκ σιωπῆς γὰρ οὐ κίνδυνος, οὐ μῶμος
 οὐ μετᾳμελος, οὐκ ἐγκαλῆσις, οὐχ ὅρκος“.

У Менандра: „Κρεῖσσον σιωπᾶν ἢ λαλεῖν μάτην“ (Пам. 189).

111. „Поистине гроздь лучше справедливого,
 Чем целый урожай бесчестно беззаконного“.
 „Κρεῖσσον ἀληθῶς ἐπιφυλλίς δικαίου
 ἢ περ τρυγητὸς ἀσεβῶν παρανομίαν“.
114. „Лучше потерпеть поражение,
 Чем одержать недостойную победу“.
 „Κρεῖσσον ἡττᾶσθαι τοῦ νικᾶν ἀπεικότως“.
115. „Лучше немного хорошего законного,
 Чем самое значительное незаконное“.
 „Κρεῖσσον ὀλίγον καλὸν ἐξ εὐνομίας
 ἢ τὸ πολλοστόν ἀπὸ παρανομίας“.

Уделяя много внимания порицанию недостатков и пороков, Касия отдает должное и правдивости как одному из обязательных достоинств человека. Одиннадцать стихов посвящены этой теме.

54. „Правдивый муж бежит всемерно клятвы“.
 „Ἄνθρωπος ἀληθὴς ἐκφεύγει πάντως ὅρκον“.
55. „Правдивого слова — подобны клятве;
 Слова ж дурного — ложь, когда и с клятвой“.
 „Ἀνδρὸς ἀληθοῦς ὁ λόγος ὡς περ ὅρκος
 ἀνδρὸς δὲ ψεύδους καὶ τὸ ψεῦδος μεθ' ὅρκον“.
56. „Всякий, дающий много клятв,
 Впадает в клятву ложную“.
 „Πᾶς πολὺς ὅρκος εἰς ψευδορκίαν πίπτει“.
57. „Дурно поклясться, но хуже — нарушить клятву“.
 „Κακὸν ὁμῶσαι, χειρὸν ἐπιорκῆσαι“.
58. „Нам всячески остерегаться должно клятвы“.
 „Χρὴ παντάπασι φυλάττεσθαι τὸν ὅρκον“.
59. „Всякий спорщик умножает клятвы,
 Всякий спорщик привносит гнев“.
 „Πᾶς φιλονεικὸς πληθύνει καὶ τοὺς ὅρκους
 πᾶς φιλονεικὸς καὶ θυμὸν συνεισφέρει“.

К числу недостатков, достойных осуждения, по мнению Касии, должны быть отнесены: неумение сдерживать гнев, гордость, пьянство, чревоугодие, легкомыслие, неумение видеть свои недостатки, болтливость, развязность, честолюбие, бестактность, стремление молодиться, склонность к спорам, брани, клевете, заурядность, пошлость, скупость, суетливость, зависть, фальшь, необразованность и глупость.

Часть изречений, посвященных осуждению этих недостатков, была приведена выше. Среди прочих, относящихся к этой теме, можно отметить следующие.

116. „Быть вместе с дурными вовсе не в силах
 Ненавидящий пошлость и владеющий знанием“.
 „Κακοῖς συνεῖναι πάντων οὐκ ἐξισχύει
 ὁ κекτημένος μισοπόνηρον γνῶμην“.

По мысли это изречение очень близко к приведенному выше: „Ненавижу того, кто похож на всех“.

129. „Жаждешь похвал? — Трудись хвалы достойно!“
 „Ποθεῖς ἐπαίνους. ἐπαινετέα πράττε“.
80. „Муж гордый ненавистен всем видящим его.
 Любезен всем смиренномудрый“.
 „Ἄνθρωπος ὑψαύχην μισητὸς τοῖς ὁρῶσιν
 ἐπέραστος δὲ τοῖς πᾶσι ταπεινόφρων“.

Следует отметить также несколько едких эпиграмм против скупости:

62. „Скупой бежит от дружеских пирушек“.
 „Φεύγει φειδωλὸς συμπόσια τῶν φίλων“.
61. „Скупой, увидев друга, прячется
 И обучает слуг обману“.
 „Φειδωλὸς ἰδὼν τὸν φίλον ἀπεκρύβη,
 καὶ τοὺς οἰκέτας τὸ ψεύδεσθαι διδάσκει“.
63. „Скупой томится бедными друзьями“.
 „Φειδωλὸς ἅπας φίλους πτωχοὺς βραβεῖται“.

К числу добродетелей, по мнению Касии, должна относиться и покорность судьбе.

Стихотворения, принадлежащие к этой группе, в значительной степени пронизаны пессимизмом, разочарованием. Многие из них,

повидимому, носят автобиографический характер. К последним тесно примыкают по тематике и изречения о достоинствах одиночества;

32. „Богатства не ищи и не ищи нужды:
Один ведь наделен умом и знанием,
Другой же — горем ненасытным“.
„Πλοῦτον μὴ ζήτηι, μεδ' αὖ πάλιν πενίαν
ὁ μὲν γὰρ τὸν νοῦν φυσιοῖ καὶ τὴν γνῶσιν
ἡ δὲ τὴν λύπην ἀκατάπαυστον“.
33. „Принимай спокойно счастье и несчастье,
Храбро, в бедствие попав, сноси его“.
„Εὐημερῶν δέχδεχου καὶ δυστυχίαν
εἰς δυστυχίας δειμπεσὼν γενναίως φέρε“.

Вторая строка почти буквально повторяет изречение Менандра:

„Ἀνδρὶς προσπίπτοντα γενναίως φέρει“.
(Menandri, Mem. 13 — Пам. 88, 13).

34. „Один лишь одинок, кто горести имеет,
Вдвойне имеет он и мрачность да и праздность“.
„Μόνος μοναθεὶς ὁ τὰς ὀδύνας ἔχων
διπλὴν ἔχει σκότῳσιν καὶ ῥαθυμίαν“.
35. „Страдающим лекарством большим
бывает сочувствующих слово и слеза“.
„Μέγα φάρμακον τοῖς πενθοῦσιν ὑπάρχει
τῶν συναλγούντων το δάκρυον καὶ ῥῆμα“.
36. „Имеет испытание живущий в горе“.
„Βάσανον ἔχει τὴν ζωὴν ὁ ἐν λύταις“.
37. „Что судьба несет тебе, то сноси ты и неси;
Если же несет тебе, а ты не снесешь,
То и сам себя обидишь и то, что судьба несет“.
„Εἰ τὸ φέρον σε φέρει, φέρου καὶ φέρε.
εἰ δὲ τὸ φέρον σε φέρει καὶ σὺ οὐ φέρεις
σαυτὸν κακώσεις καὶ τὸ φέρον σε φέρει“.

Ср. у Паллада: „εἰ τὸ φέρον σε φέρει, φέρε καὶ φέρου εἰ δ' ἀγχανηταῖς, καὶ
σαυτὸν λυπεῖς καὶ τὸ φέρον σε φέρει“.¹

38. „Против рожна не иди, утруждая ноги свои;
Рожна никак не повредишь,
Себя ж изранишь, утомишь“.
„Πρὸς κέντρα μὴ λαχτιζε γυμνοὶ ποσὶ σου
ἐπεὶ τὰ κέντρα μηδαμῶς καταβλάψας
σαυτὸν τρώσεις καὶ πόνον ὑποστήσῃ“.
39. „Безмятежная жизнь — великое богатство“.
„Ἀσχανδάλιστος βίος ἢ πλοῦτος μέγας“.
77. „Попав в беду, не выпутывайся,
Ибо без божьей воли мы ни от чего не страдали бы“.
„Περὶστάσεσιν ἐπιπίπτων μὴ ἐκλύου
πάντως γὰρ οὐδὲν θεοῦ πάθομεν δίχα“.
82. „Приносит пользу мне и неудача,
Как проверяешь золото в огне“.
„Ἦνεγκέ μοι τί κέρδος ἡ δυσπραξία
ὥσπερ τὸν χρῦσον ἐν πυρὶ δοκιμάζεις“.

¹ Boissonade. Anecdota graeca. II. 475, прим. 4.

66. „Когда несчастный и золото найдет,
То, взяв его, в беду он попадает;
Счастливым же, найдя змею живую,
Всегда и пользу и прибыль извлекает“.
„Εὐρὼν δυστυχὴς χρυσίον εἶλε τοῦτο
καὶ γέγονε κίνδυνος ἐκ τούτου τοῦτο
ὁ δ' εὐτυχὴς, καὶ ὅφιν εὖρη ζώντα
εἰς ὄφελος γίνεται τούτῳ καὶ κέρδος“.
68. „Несчастливого все и всегда срамят,
Счастливому же все идет на пользу“.
„Δυστυχὴς ἅπας ἐν πᾶσι κονδυλίζει
τῷ δ' εὐτυχεὶ πέφυκεν εὖδὲ τὰ πάντα“.

Последняя группа изречений, большей частью одностиший, посвящена монахам.

В этой серии эпиграмм Касии отправной точкой служит буквальное значение слова „монах“. Иначе у поэта V в. Паллада:

„Если зовутся они одинокими, что ж их так много,
Где одиночество тут в этой огромной толпе“.¹

Касия пишет:

131. „Монах тот, кто один с собой“.
„Μοναχὸς ἐστὶν ἑαυτὸν μόνον ἔχων“.
132. „Монаху приличествует одинокая жизнь“.
„Μοναχὸς ἐστὶ μονολόγιστος βίος“.
133. „Монах, имеющий житейские заботы,
Пусть именуется одним из многих, а не монахом“.
„Μοναχὸς ἔχων βιωτικὰς φροντίδας
οὗτος πολλοστός, οὐ μοναχὸς κεκλησθῶ“.
134. „Жить легче одинокой птичке“.
„Μοναχοῦ βίος κομφοτέρως ὀρνέου“.
135. „Монашеская жизнь — без лишней заботы“.
„Μοναχοῦ βίος περιεργίας ἄνευ“.
136. „Монашеская жизнь полна мира“.
137. „Монашеская жизнь совершенно невозмутима“.
138. „Монашеская жизнь вообще молчалива“.
139. „Монаху должно иметь обученный язык“.
140. „Монаху должно иметь потупленный взор“.
141. „Монаху должно иметь убежденный ум“.
142. „Монаху должно иметь закрытую дверь“.
143. „Монаху должно быть опорой слабым“.
145. „Монашеская жизнь — светильник для всех“ и т. д.

В какой мере все эти изречения и эпиграммы могут считаться оригинальными произведениями поэтессы?

В распоряжении Касии, как и других ее современников, были, вероятно, готовые сборники изречений, которыми она могла пользоваться в качестве образца. Подобные антологии, часто встречающиеся в греческих рукописях, были очень популярны в Византии. По свидетельству одного из исследователей, специально занимавшегося изучением рукописных версий сборников изречений, — „редко можно

¹ Пер. Блуменау („Греческие эпиграммы“, 1935, стр. 207).

встретить рукопись смешанного содержания, где в числе других статей не нашлось бы каких-либо *γνώμαι διαφόροι, γνώμαι σοφῶν, φιλοσόφων, ἐκλογαὶ ἐκ διαφόρων βιβλίων* и т. п.¹ Распространенность этих антологий обусловливалась не только потребностями обыкновенного читателя, но и профессиональными интересами ораторов, проповедников, юристов, поэтов, которые пользовались готовыми изречениями. Очень обширный сборник, частично дошедший до нашего времени,² был составлен еще в V в. Иоанном Стобеем (из г. Стоби в Македонии). Повидимому, в VII в. появился другой сборник изречений *Ἀββᾶ Μαζάρου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος*.³ Сборник этот, в отличие от предшествовавшего, содержал выборки и из христианских авторов. Автором его рукопись Венской библиотеки XI в. (Cod. Theol. 197) называет Максима. Антология Максима пользовалась исключительной популярностью не только в Византии, но и у славянских народов, где она под названием *μέλισσα* („Пчела“) часто встречается в рукописных сборниках. Очень возможно, что именно из этого сборника Касия и почерпнула некоторые образцы для своих изречений. Однако ни в флорилегии Иоанна Стобея, ни у Максима, ни у Менандра, ни в других известных нам сборниках, ни, наконец, среди изречений современника Касии Феодора Студита нет (если не считать нескольких изречений, о которых упоминалось выше) стихов, аналогичных изречениям Касии.

Следовательно, творчество поэтессы в этом отношении следует признать оригинальным, и мы можем использовать его для характеристики ее литературных вкусов и того места, которое она занимала в византийской культуре первой половины IX в.

При чтении ее изречений создается впечатление, что все они сочинялись Касией в сугубо личном плане. У автора не чувствуется ни широкого жизненного опыта, ни подлинного интереса к окружающей жизни. Исходя из общих понятий добродетели и порока, добра и зла, Касия никак особенно не конкретизирует их, если не считать нескольких очень смутных намеков автобиографического характера. В ее творчестве нет отклика на животрепещущие вопросы, волновавшие византийское общество в начале IX в. Замечательно, что в изречениях монахини Касии нет никакого намека (за одним весьма проблематичным исключением) на ее отношение к иконоборческому и антимонашескому движению, которым были отмечены царствования Льва V Армянина и Феофила; отсутствуют, несмотря на значительное внимание к монахам, всякие следы знакомства с реальной жизнью и ролью и положением монахов и монастырей в первой половине IX в., что, например, сильно чувствуется у старшего современника Касии — Феодора Студита. Критикуя Феофила (если предполагать, что в изречениях намека относится к нему), Касия не выходит за рамки вопросов личного самолюбия и обиды.

¹ А. Михайлов. По вопросу о греко-византийских и славянских сборниках изречений. ЖМНП, ч. ССLXXXV, стр. 15 и сл.

² Migne. Patr. gr. 103, § 167, p. 178. Ср. Михайлов, там же; Fabricius. Bibliotheca graeca, t. IX, p. 582 и сл.; Christ. Geschichte der griechischen Literatur. München, 1905, S. 800. Переложение сборника Иоанна было выполнено в XVI в. Иоанном Ласкарисом Риндакином (Vat. Cod. R. S., № 146), где он воспроизводится в прозе. Второе стихотворное переложение было сделано Гуго Гроцием (Dicta poetarum quae apud Stobaeum extant. Parisiis, 1623).

³ Ср. полное название: Wachsmuth. Studien zu den griechischen Florilegien. Berlin, 1882, стр. 5. Возражения против датировки Ваксмута, относившего собрание Максима к X в., см. у Михайлова.

Таким образом, нельзя не прийти к выводу об узко ограниченном характере интересов Касии.

Вместе с тем, однако, творчество Касии очень любопытно в том отношении, что, несмотря на свою монашескую жизнь, несмотря на наличие среди изречений целого раздела сентенций о монахах, Касия исключительно мало уделяет внимания вопросам церковной догматики и религии. Она нигде прямо не цитирует священного писания, за исключением явно пронизанного иронией изречения Эздры о женщинах. При сравнении поэтического творчества Касии с произведениями ее современников, например Игнатия, необходимо подчеркнуть бросающийся в глаза светский характер ее произведений и интересов.

В этой черте литературной деятельности Касии нельзя не увидеть отражения характерной для IX в. особенности византийской феодальной культуры. Поворот к светской жизни, критическое отношение к основам церковной литургии, связанные с подъемом народных движений, с развитием павликианского и иконоборческого движения, сказывались во всех областях византийской культуры IX в. Проводя иконоборческую политику, императоры VIII и IX вв. противопоставляли поклонению иконам и реликвиям, которые насаждались монашеством и реакционными церковниками, всякого рода светские представления. Подобно своим предшественникам — иконоборцам Льву III и Константину V, и Феофил покровительствовал светскому изобразительному искусству, музыке, театру. Достаточно характерны в этом отношении сведения, которые сообщает, например, Игнатий в биографии патриарха Тарасия. Он указывает, что патриарх вынужден был специально призывать своих подчиненных сидеть дома, читать священное писание и распевать псалмы, а не мешать своим зрением и слухом на ипподроме и в театрах.¹

Повидимому, Касия, несмотря на узость своих интересов, также была захвачена этими передовыми для Византии течениями своего времени.

Об этом же говорит и характер музыкального творчества Касии — автора мелодий для ряда ею же самой написанных гимнов.²

Правда, сравнительно поздняя нотная запись в рукописях не дает полной уверенности в том, что первоначальный мелодический замысел автора воспроизводится в них без изменений, что он не подвергся переработке и исправлению в соответствии с изменившимися в позднейшее время музыкальными вкусами. Однако следует признать преувеличенной „осторожность“ Тильярда, который, посвятив целое исследование музыкальной деятельности Касии, не сделал из него никаких выводов.³ Впрочем, в этом отношении от него недалеко ушли и все

¹ Vita Tarasii, p. 19, 4—11. Андреев. Герман и Тарасий, стр. 182.

² Гимны Касии дошли в рукописной традиции в нескольких вариантах. При этом нередко гимны, носящие в одной рукописи имя Касии, в другой приписываются какому-либо иному автору или остаются анонимными. Авторство Касии может считаться бесспорно установленным для следующих пяти гимнов:

1. От 28/VI Петру и Павлу, начинающийся словами: τοὺς φωστῆρας.
2. От 15/XI Гурию, Самону и Авиве, начинающийся словами: Ἦ Ἐδεσσα εὐφρανέται.

3. От 13/XII Евстратию, начинающийся словами: τὴν πεντάχορδον λύραν.

4. От 25/XII в день рождества. Начинается словами: Αὐτοῦστον μοναρχήσαντος.

5. Начинается словами: Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἀμαρτίαις.

По своим литературным достоинствам, по эмоциональной насыщенности все они значительно уступают сочинениям того же рода знаменитых предшественников Касии.

³ Byz. Zeitschr. Bd. XX, 1910, S. S. 419 и сл.

другие буржуазные исследователи Касии, которые, ограничившись „реверансами“ по адресу женщины-поэтессы, также не сделали никакой попытки дать характеристику ее сочинений и определить их место в литературной истории IX в.

Но если даже, осторожности ради, подвергнуть анализу лишь основную мелодию гимнов, оставив в стороне позднейшие, быть может, ее украшения, — вывод напрашивается сам собой.

Мелодия Касии разворачивается в гораздо более широком диапазоне, превышающем не только кварто-квинтовый диапазон, характерный для более раннего времени, но и диапазон сексты. Притом для развития ее мелодии характерно восходящее направление вместо более архаического построения по нисходящему звукоряду, излюбленному и в античной музыке. Мелодия развивается обычно более или менее свободно в пределах семиступенной гаммы, в силу чего обычная для византийских гимнов монотонность значительно ослабляется и возможности разнообразия напева оказываются более широкими. Следовательно, и в этом отношении Касия не отставала от своего времени, когда музыка, не только церковная, но и светская, стала занимать столь видное место, что при дворе стали устраиваться концерты.

Известно, что императоры-иконоборцы Лев V и Феофил не только покровительствовали музыке, но и сами подвизались на этом поприще.

Папа Григорий II обвинял иконоборцев в том, что они заменяют иконы арфами, кимвалами, флейтами как средством для развлечения народа.

В своем творчестве Касия отдавала дань требованиям времени. Однако в целом поэзия ее пронизана пессимизмом и замыкается, как уже было указано, в пределах узкой нежизненной тематики, сильно обедняющей ее содержание. Личная неудача в известной степени изолировала нашего автора от общественной среды. Подобно большинству византийских писателей, Касия принадлежала к обеспеченному классу. Имея возможность на собственные средства основать монастырь, она удалилась туда уже в молодые годы, почти не зная жизни с ее борьбой, трудностями, социальными противоречиями. Как женщина она, вероятно, и раньше имела гораздо меньше возможностей, чем ее собратья, писатели-мужчины, общаться с людьми, пополнять свое образование.

В этом смысле к Касии вполне применимы слова поэта VI в. Агафия в его стихотворении „Жалоба женщин“:

„Юношам легче живется на свете,
Чем нам, горемычным,
Женщинам, кротким душою.
Нет недостатка у них
В сверстниках верных, которым они
В откровенной беседе
Могут тревоги свои, боли души поверять,
Или устраивать игры, дающие сердцу утеху,
Или, гуляя, глаза красками тешить картин.
Нам же нельзя и на свет поглядеть, но должны мы
скрываться
Вечно под кровом жилищ, жертвы унылых забот“
(пер. А. Блюменау).

В среде византийской аристократии, где женщины располагали достаточным досугом, было немало образованных женщин-писательниц.

Напомним, например, имена Феосевии — сестры историка V в. Зосима (эпиграмму которой на смерть врача Авлавия сохранила палатинская антология), Демо — писательницы, жившей во второй половине V в., Евдокии (Афинаиды), жены императора Феодосия II. Для позднейшего периода назовем мать Михаила Пселла, а также Анну Далассину, Анну Комнину. Однако у нас нет оснований предполагать, что женщины, даже в высшем классе византийского общества, были поставлены в отношении образования в равное положение с мужчинами. По характеристике одного из исследователей, „о женском образовании тогда в Византии мало заботились; женских школ не было, и в лучшем случае девочки обучались грамоте дома матерью наемным дидаскалом или самоучкой,¹ а если отдельные школы и существовали, то лишь в виде исключения в монастырях“.²

Женщины имели гораздо меньше возможностей систематически пополнять свое образование, чем мужчины. Хорошо известно, что женщины в условиях византийского средневековья были наиболее стойкими сторонницами иконопочитания, были наиболее привержены религиозным предрассудкам.

Весь строй средневекового феодального общества значительно суживал возможности умственной деятельности для женщин. Указанные причины объясняют многое и в творчестве Касии.

Сравнительно узкий жизненный опыт писательницы обеднил тематику ее произведений, ограничил круг ее интересов и не дал ее незаурядному дарованию полностью развернуться. Самый факт монашества Касии, основание ею монастыря в период, когда под влиянием упорной борьбы эксплуатируемых масс византийского Востока против господствующей церкви самые передовые слои образованной части высшего класса Константинополя встали на путь реформы, иконоборчества и борьбы против монашества, также заслуживает внимания.

Тем больший интерес представляет изучение светских элементов в поэтическом творчестве Касии, являющихся ярким свидетельством силы светских течений в византийской культуре IX в., вызванных к жизни народными движениями.

¹ Скабаланович. Византийская наука и школа. „Христ. чтение“, 1884, май, стр. 737; ср. Доброклонский. Федор Студит. 1914, т. I, стр. 294, прим. 1.

² В. Г. Васильевский указывает, что „когда вследствие борьбы за иконы усилилось греческое выселение в Италию и когда папа Захария (по происхождению тоже грек) отвел для греческих монахинь особый монастырь, то они прежде всего устроили в нем женскую школу („Труды“, т. II, стр. 304).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

I. КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВИЗАНТИНО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТРУДАХ А. А. ВАСИЛЬЕВА

(The Russian Attack on Constantinople in 860 by Alexander A. Vasiliew.
Cambridge, Massachusetts, 1946)

Советский Союз, его политика и идеология, прошлое и настоящее нашей страны непрерывно подвергаются злостным нападкам со стороны империалистического окружения и его ученых прислужников. Целая армия „историков“ мобилизована, в частности, для совершенно беззастенчивой фальсификации исторической роли русского и других славянских народов, их культуры и идеологии. Там, где исторические факты не поддаются „нужной“ подтасовке, современные „ученые лакеи империализма“ (Ленин) просто отбрасывают их, не утруждая себя подыскиванием какой-либо наукообразной аргументации. Например, французский „исследователь“ Масон объявил „Слово о полку Игореве“ подложным документом, просто заявив, что русские в XII в. якобы не могли создать такой выдающийся памятник.

К числу новейших работ такого типа относится и рецензируемая книга А. А. Васильева, бывшего русского византиниста, покинувшего Советский Союз и предавшего свою Родину.

Книга Васильева состоит из введения и глав: 1. Различные термины для обозначения скандинавских викингов. 2. Первое появление руссов в Константинополе и Ингельгейме в 838—839 г. 3. Западная Европа и норманны в IX в. 4. Источники о норманских набегах в Средиземноморье в IX в. 5. Литература XIX и XX вв. о норманских набегах в Средиземноморье в IX в. 6. Норманские набеги в Средиземноморье в IX в. 7. Вопрос о происхождении русского государства. 8. Житие Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. 9. Греческие источники о походе на Константинополь в 860 г. 10. Латинские и арабские источники. 11. Русские и старославянские источники. 12. Русский поход на Константинополь в русской литературе. 13. Русский поход 860 г. в иностранной литературе. 14. Общее положение в Византии около 860 г. 15. Михаил III и патриарх Фотий. 16. Откуда русские произвели нападение на Константинополь. 17. Аскольд и Дир. 18. Причина похода. 19. Продолжительность русского нападения и религиозные процессии. 20. Русское отступление. 21. Договоры между Византией и Русью после 860—884 гг. 22. Рюрик Ютландский и Рюрик русской летописи.

Мы привели этот перечень потому, что он дает представление не только о круге проблем, охваченных автором, но и о его концепции.

Книга Васильева лишь по недоразумению (или в целях маскировки) носит название „Русский поход на Константинополь“, так как автор рассматривает русское нападение на Константинополь в 860 г. как нападение, произведенное скандинавскими викингами, главным образом шведами. На деле она является повторением, достаточно нудным к тому же, пресловутой „норманской“ теории, сводящей, как известно, всю проблему древнейшего периода Киевской Руси к варяжскому завоеванию. Совершенно явно проступает стремление автора трактовать вопросы древней русской истории, по возможности реже упоминая о славянах, хотя он, конечно, не может отрицать, что древняя Русь — государство славянское и потому славяне, естественно, и должны находиться в центре внимания историка.

Давая только изложение внешних событий, отказываясь от всякой попытки проследить развитие общества на основе развития производительных сил и обусловленных ими социальных отношений, Васильев систематически игнорирует работы Б. Д. Грекова, Б. А. Рыбакова, А. А. Спицына, А. В. Арциховского, П. Н. Третьякова, М. И. Артамонова и других советских ученых, доказавших на основе тщательного изучения не только ранее известных письменных источников, но и вновь открытых археологических памятников, что русское государство возникло в результате внутреннего развития общественных отношений, что славянские племена задолго до так называемого „призвания варягов“ сами создали в Поднепровье свою богатую культуру, свою государственность.

Таким образом, книга Васильева не отражает современного состояния науки по вопросам древней истории нашей Родины, и все то, что на первый взгляд в этой книге производит благоприятное впечатление — широкий исторический фон, увязка фактов русской истории с историей других народов, широкое использование разнообразных источников, в частности восточных, многочисленные ссылки на литературу, — все это только внешняя и обманчивая оболочка.

Покажем это на нескольких примерах.

Норманистов не устраивают прежде всего выводы, полученные академиком В. Г. Васильевским из анализа житий Георгия Амастридского и Стефана Сурожского, говорящие о том, что уже в первой половине IX в. до 842 г. Русь нападала на Амастриду,¹ а нападение русского князя на Сурож (Судак) относится к самому началу IX в. или даже к концу VIII.² Поэтому Васильев, вслед за Грегуаром и Да-Коста Луйе поставил своей задачей опровержение выводов Васильевского. В главе „Житие Георгия Амастридского и Стефана Сурожского“ (стр. 71—90), занимающей центральное место в его работе, Васильев пытается отвергнуть всякую историческую ценность жития Стефана Сурожского и доказать, что свидетельство о нападении Руси на Амастриду, содержащееся в житии Георгия Амастридского, следует относить к походу Игоря 941 г.

Естественно, что, осуществляя эту задачу, автор вынужден допустить ряд несообразностей. Так, утверждая, что „норманские викинги на юге России в половине IX в. сделали уже господами Черного

¹ В. Г. Васильевский. Русско-византийские исследования. Вып. 2. Жития св. Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. СПб., 1893, стр. СХVI и сл.

² В. Г. Васильевский, *цит. соч.*, стр. ССXXXVI и сл.

моря“ (р. 66: „they soon became masters of the Black Sea“), Васильев в то же время со странной непоследовательностью хочет нас уверить, что русские первым объектом своего нападения на византийские владения избрали саму византийскую столицу. При этом он „забывает“ недвусмысленное указание византийских источников, что нападению на столицу предшествовали набеги русских на всем Черноморском побережье. Например, у Скилицы-Кедрина мы читаем: „На все находящееся внутри Эвксинского понта и на все его побережье нападал русский флот (народ же рос-скифский, живущий у северного Тавра, дикий и грубый), и на самый царствующий град навлекли они страшную опасность“.¹

Нам уже приходилось отмечать,² что, отвергая историческую ценность жития Стефана Сурожского, Васильев не позаботился даже точно изложить его содержание. Например, он пишет, что Стефан Сурожский претерпел мученическую смерть при Константине V,³ тогда как и в кратком греческом и полном русском житии говорится, что Стефан Сурожский был отпущен Константином V в Сурож, где и умер естественной смертью. К каким недопустимым натяжкам прибегает Васильев в своей аргументации, свидетельствует и его утверждение, что полный греческий оригинал жития Стефана Сурожского мог никогда не существовать,⁴ хотя сохранившееся краткое греческое житие, изданное Васильевским, и данные минология Василия II, независимо от сохранившегося славянского текста, с несомненностью устанавливают существование такого полного греческого оригинала.⁵

Столь же необоснованным является и „анализ“ жития Георгия Амастридского.

Как известно, Е. Э. Липшиц в работе „О походе Руси на Византию“ достаточно убедительно подкрепила вывод Васильевского о принадлежности этого жития к числу произведений Игнатия, византийского писателя первой половины IX в.⁶ Все материалы, использованные Е. Э. Липшиц, известны Васильеву. Тем не менее он, по существу не аргументируя, отвергает выводы Васильевского. Он пытается нас уверить, что только в 941 г. была ситуация, отображенная в житии Георгия Амастридского, т. е. только тогда русские сначала проникли в Пропонтиду (Мраморное море), а затем, покинув ее, достигли Амастриды. „Мы, — пишет Васильев, — имеем абсолютно точное представление об объеме русских операций в 941 г.: от Никомидии, другими словами, от Пропонтиды и Мраморного моря на юге до Пафлагонии на севере. Это меня абсолютно убеждает, что история, рассказанная в житии Георгия Амастридского, имеет дело с экспедицией Игоря“. Однако все византийские источники (Симеон Логофет, Продолжатель Феофана, житие Василия Нового) сообщают, что флотилия Игоря не проникла в Мраморное море, а у самого входа в Босфор („ἐπὶ δὲ πλοῖον τοῦ ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ φάρου ἑγένοντο, ἐν τῷ ἱερῷ λεγόμενῳ“) встретила

¹ Georgii Cedreni, ed. Bonn, II, 173; Theophani Continuatio. Patr. gr., v. CIX, p. 210.

² См. „Грегуар и его работы по византиноведению“. „Византийский Временник“, т. III.

³ A. Vasiliev. The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge, 1946, p. 81.

⁴ Ibid., p. 82.

⁵ В. Г. Васильевский. Труды, т. III, стр. 72—76.

⁶ Е. Э. Липшиц. О походе Руси на Византию. „Исторические записки“, 1948.

византийский флот и потерпела поражение.¹ Тогда отряды русских устремились к побережью Вифинии, откуда производили набеги внутрь страны.

Точное определение территории, опустошенной русскими, дает житие Василия Нового.² Житие рассказывает, что после того как в Иероне русским был прегражден путь в пролив, они высаживались отдельными отрядами на азиатском берегу Босфора и проникали внутрь до Ираклеи Понтийской и до Пафлагонской фемы. Но внутрь этой фемы и до Амастриды они все-таки не проникли, так как конечным пунктом опустошения морского побережья показана Ираклея Понтийская. В житии сказано: „Они пробрались до Ривы, простирая набеги до Понтийской Ираклеи и Пафлагонии, пройдя всю Никомидийскую область“ („ἐφθάσαν δὲ μέχρι πόντου Ἰρακλείας καὶ Παφλαγονίας ἅπαντα δὲ τὴν στρατηγίδα Νικητηδαίας διελθόντες“).

Таким образом, источники убеждают нас в том, что в 941 г. русские, во-первых, не проникали в Пропонтиду, если под ней подразумевать Мраморное море, как в этом пытается уверить Васильев, а во-вторых, не могли достигнуть и Амастриды. А в связи с этим рушатся и все построения Грегуара, Да-Коста Луйе и поддерживающего их Васильева. И если Васильев во введении к своей книге жалуется на „волну гиперкритицизма, охватившего умы многих выдающихся западных ученых“, то его самого с полным основанием можно упрекнуть в научно необоснованном гиперкритицизме по отношению к житиям Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. Политическая подоплека этого „гиперкритицизма“, впрочем, совершенно понятна.

Зато он принимает без всякой критики летописное известие о „призвании варягов“. Фольклорный мотив русской летописи, весьма далекое от исторической точности генеалогическое предание, включенное в летопись, как это доказала историческая наука, в интересах определенной династии, принимается Васильевым в качестве исторического факта. „Хронология русской летописи IX в., — пишет он, — часто ошибочна, но последовательность фактов, начиная с Рюрика, Аскольда и Дира, Олега, соответствует исторической истине и эти факты должны быть приняты как исторические вехи в первоначальной истории русского государства“.³ Между тем советскими учеными уже давно установлено, что генеалогия Рюриковичей до Святослава совершенно искусственна. Достаточно напомнить, что два первых поколения (Рюрик, родившийся, если верить Беляеву, около 800 г., и Игорь, убитый в 945 г.) занимают полтораста лет! К полутрестолетней истории Рюрика и Игоря, пишет проф. Толстов, надо прибавить еще Мафусаилов возраст последнего и его жены Ольги в год рождения Святослава (Игорю, по летописи, около 67 лет, Ольге — около 59). Выводы сравнительно-этнографического изучения генеалогии позволяют сделать заключение, что перед нами бесспорно сознательно фальсифицированная родословная“.⁴ М. Н. Тихомиров считает, что эта фальсификация была произведена летописцем в целях исторического обоснования прав династии Ярослава Мудрого, пришедшего на киевский стол из Новгорода при помощи варяжских наемников.

¹ Pseudo-Symeoni Magistri. Patr. gr., v. CIX, 442—443.

² ЖМНП, 1889, январь.

³ „The Russian Attack...“, p. 69.

⁴ С. П. Толстов. Древнейшая история СССР в освещении Г. Вернадского. „Вопросы истории“, 1946, № 4, стр. 122.

С этим трудно не согласиться. Но дело не только в искусственности генеалогии. Необходимо применять научную критику и при анализе изложенных в летописи событий.

Несомненно, значительная часть восточнославянских племен уже была объединена в единое русское государство перед походом 860 г. Это было хорошо известно патриарху Фотию, который писал о русских, что „они, поработив соседние народы и через то чрезмерно возгордившись, подняли руку на ромейскую империю“.¹

Но Васильев просто игнорирует все это. В главе „К вопросу о происхождении Киевского государства“ (стр. 65—70) он кратко и сбивчиво излагает теорию Шахматова о происхождении русского государства, с которой и соглашается. Некритически следуя за Шахматовым, Васильев считает, что в IX в. норманнами было создано три русских государства: первое — в Киеве около 840 г., второе — в Новгороде около 850 г. Затем около 855 г. отправились из Новгорода на юг варяги Аскольда и Дира и обосновались без затруднений в Киеве. Третье государство было создано Олегом, взявшим Киев и объединившим север и юг. Васильев уверен в том, что норманны Аскольд и Дир около 855 г. отправились из Новгорода на юг, без сопротивления овладели Киевом, здесь развили лихорадочную деятельность: за какие-нибудь три-четыре года освободили полян от платежа дани хазарам завершили столь великие завоевания, что о них узнал и константинопольский патриарх Фотий, а в 860 г. настолько усилились, что совершили нападение на крупнейший город тогдашней Европы. Неправдоподобие и невероятность такого построения не нуждается в опровержении. Для Васильева нет сомнений в том, что русские, напавшие на Константинополь в 860 г., были шведы, другими словами норманны, которые, несомненно, „влекли за собой (had brought south with them) известное количество славян“.² Здесь ярко проявляется концепция автора — концепция „народа-господина“, в данном случае скандинавских норманнов, подчиняющих и „организуемых“ восточнославянские племена. Откуда, спросим мы, Васильеву известно, что нападение на Царьград в 860 г. совершили шведы? Современный и притом первоклассный источник — патриарх Фотий дает характеристику нападающей Руси, и эта характеристика не подтверждает гипотезы автора. Русь у Фотия является народом скифским (а скифами византийцы IX в. обычно называли славян), народом бесчисленным („ἔθνος ἀνυρίδμητον“), рабствующим („ἐν ἀνδραπόδοις ταττομένον“, быть может, намек на хазарскую дань), степным или кочевым („νομαδικόν“).

Характеристика эта не подходит к скандинавским викингам. Конечно, никто из советских историков не отрицает, что летописные варяги были скандинавами и что они могли участвовать в нападении Руси на Константинополь в 860 г. Речь идет не об этом, а о том, какая роль принадлежала варягам в создании Киевского государства и в организации похода 860 г. Находясь в непосредственном соседстве с приильменскими славянами, норманны-скандинавы, естественно, играли в их жизни некоторую роль. Однако какого-либо влияния на дальнейшую историю восточных славян даже утверждение в Новгороде варяжской княжеской династии не имело, так как в культурном отношении варяги не стояли выше славян и, попав в славянскую среду, быстро ославянились. В своем ответе шведскому историку

¹ Valetta. Φωτίου ἐπιστολαί, p. 178.

² „The Russian Attack...“, p. 174.

Туре Арис академик Греков разъяснил, что Рюрик, если даже признать его историчность, конечно, никакого государства не организовывал. Он застал в Новгороде государственный строй уже существующим.¹ Внук Рюрика (если верить летописной родословной) носил уже чисто славянское имя — Святослав. Языческая часть дружины Олега и Игоря при заключении договоров с греками клялась славянскими богами — Перуном и Велесом. Олег и Игорь в начале X в. пользовались в сношениях с Византией славянским (русским) языком.

Отвергая жития Георгия Амастридского и Стефана Сурожского как исторические источники и пытаясь нас убедить, что имя „Рос“ впервые появляется в византийских источниках только после похода 860 г., Васильев в то же время не может отрицать, что русские были известны там раньше, что они, например, в качестве императорских гвардейцев принимали в 856 г. участие в убийстве логофета дрома Феоктиста, любимца императрицы Феодоры.² Выход из затруднения он находит в бездоказательном предположении, что русские были известны в Византии до 860 г. не под именем „Рос“, а под именем тавро-скифов. При такой „концепции“, естественно, что, говоря о широком распространении имени „Русь“ в топонимике юга нашей страны, Васильев вынужден просто отказаться от объяснения этого явления и сказать, что „решение важного, интересного и загадочного вопроса о существовании имени «Русь» в той или иной форме с незапамятных времен на юге России превышает его силы“.³

Переходя к истории самого похода (стр. 188—202) и утверждая, что русское нападение на Константинополь по количеству судов „может считаться предприятием среднего масштаба среди походов викингов IX в.“, Васильев не согласен с тем, что русские совершили свой поход на однодеревках (топохула). Он говорит, что греческие историки, рассказывающие об этом походе, нигде не называют русские суда топохула, и „норманские викинги IX в. никогда не рассматривали однодеревки как суда, могущие переплыть Черное море и пригодные к нападению на Константинополь“. По Васильеву, знаменитая девятая глава трактата Константина Порфирородного, упоминающая об этих однодеревках, говорит, что они заменялись в Киеве новыми, гораздо большими судами, которые и двигались на юг.⁴ Здесь опять-таки приходится отметить недостаточно серьезное отношение автора к цитированию и анализу письменных источников, которыми он пользуется. На самом деле в девятой главе трактата Константина Порфирородного нигде не говорится о замене в Киеве однодеревек новыми большими судами, на которых якобы только и могли плыть пресловутые викинги. Наоборот, здесь сказано совершенно ясно о продолжении пути из Киева на юг на тех же однодеревках. В тексте мы читаем: „Кривичи, лутичи и остальные славяне на своих возвышенностях вырубают в зимнее время однодеревки, налаживают их ко времени вскрытия и, когда пройдет лед, гонят их в ближайшие озера, а оттуда по Днепру в Киев, если озера соединяются с Днепром. Там продают свои суда русским, а эти покупают и снабжают лодки веслами, скамьями и другими принадлежностями, взятыми из старых судов. Затем в месяце иуне спускаются по Днепру

¹ „Новое время“, 1947, № 30.

² *Genesii IV*, ed. Bonn., p. 89.

³ „The Russian Attack...“, p. 175—176.

⁴ *ibid.*, p. 190.

до города Витичева, который подвластен русским. Там они останавливаются на два или на три дня, пока соберутся все однодеревки, а когда соберутся, то спускаются дальше по Днепру¹. Ясно, следовательно, что в X в. русские не боялись проникать в Черное море и в Константинополь на однодеревках. То же, очевидно, они делали и в IX в., не нуждаясь в судах викингов. Разумеется, размеры однодеревек были различны — от маленького челна до крупных ладей.²

Автор, желающий доказать, что Русь в IX—X вв. плавала по Днепру и Черному морю на судах викингов, должен объяснить, почему Русь свою мореходную терминологию получила от Византии, а не от норманнов.

В историю нападения на Константинополь Васильев не вносит ничего нового, ограничиваясь пересказом греческих источников. Но он пытается воскресить давно забытую гипотезу Попадопуло-Керамевса, будто осада Константинополя русскими продолжалась целый год. „Одна вещь теперь несомненна, — пишет Васильев, — представление о коротком набеге, продолжавшемся несколько дней или недель, должно быть отброшено. Русский поход на Константинополь продолжался по крайней мере 10 месяцев“.³

В подтверждение этого тезиса Васильев воспроизводит старую аргументацию Попадопуло-Керамевса.⁴ Он ссылается прежде всего на заметку греческого синаксаря, относящуюся к 5 июня, в которой мы читаем: „В этот день вспоминается бедствие, причиненное нам нападением язычников, от которых мы сверх всякой надежды были освобождены молитвами пресвятой девы богородицы Марии“.⁵ Хотя нападающие здесь не названы, а Константинополь, как известно, подвергался многим нападениям со стороны „язычников“, автор не сомневается, что нападающие — русские. Заодно он уверен, что эта дата неизвестно когда установленного церковного праздника обязательно должна обозначать точную хронологическую дату снятия осады русскими. Далее он ссылается на хронику Симеона Логофета, который говорит о вторжении русских и осаде Константинополя под 9 и 10 годами царствования Михаила III, и допускает, что русское нападение началось в одном году и продолжалось в следующем.⁶ Но ведь вся хронология Псевдо-Симеона давно уже опровергнута Гиршем как произвольная и не имеющая никакой исторической ценности,⁷ и сам Васильев на странице 205 признает это, утверждая, что датировка Псевдо-Симеоном русского похода 860 г. „абсолютно неверна“. Столь же неубедительным является и третий аргумент Васильева — ссылка на

¹ De administrando imperio, cap. IX.

² „История культуры древней Руси“, изд. Акад. Наук, стр. 282. Ряд исследователей пришел к заключению, что древние ладьи киевлян были похожи на казацкие челны Запорожской сечи, описанные военным инженером Бопланом, находившимся на польской службе. Однако ладьи IX—XI вв. были меньше позднейших казацких. Меньший масштаб был обусловлен необходимостью прохождения порогов, в чем не нуждались запорожцы. Эти ладьи использовались и для торговых и для военных походов. Так, суда, участвовавшие в походе Игоря 941 г. и в последнем походе Киевской Руси на Константинополь в 1043 г., византийские авторы, как и Константин Порфирородный, называют однодеревками.

³ „The Russian Attack...“, p. 218.

⁴ Попадопуло-Керамевс. Акафист божьей матери. „Византийский Временник“, X, 1903, стр. 391—393.

⁵ Типикон церкви св. Софии. Летопись истор.-филол. об-ва при Новоросс. ун-те, т. II. Византийская секция. Одесса, 1895, стр. 215—216.

⁶ „The Russian Attack...“, p. 205.

⁷ F. Hirsch. Byzantinische Studien. Leipzig, 1876, S. 347.

дошедшую до нас проповедь Георгия, митрополита Никомидийского, произнесенную 2 ноября 860 г., в которой говорится „о безбожных врагах, которые опустошают страну, об опасностях, которые подавляют нас“.¹ В этих словах Васильев видит прямое доказательство продолжения русской блокады Константинополя. Но он „забывает“, что у Византии было много и других не менее опасных врагов, которые не оставляли империю в покое и после ухода русских. Например, все византийские источники говорят о поражении, нанесенном Михаилу III в 860 г. у Дазимона мелитенским эмиром Омаром.² Правда Грегуар, а за ним и Васильев объявляют это поражение выдумкой враждебных Михаилу III византийских историков, основываясь главным образом на том, что об этом поражении ничего не сообщают арабские источники.³ Но ведь эти источники говорят все же, что мелитенский эмир вывел из похода 860 г. семь тысяч пленных византийцев.⁴ Известно, кроме того, что вождь павликиан Карбеас в то же время в результате удачного нападения захватил пять тысяч пленных. Крупный набег сделал и Балькаджур Фадл-ибн-Карин с двадцатью кораблями, опустошив прибрежные страны и захватив крепость Атталию,⁵ а в это же время критские арабы постоянно разоряли острова Эгейского архипелага. Таким образом, Георгию Никомидийскому было достаточно оснований для жалоб и по уходе русских.

Если бы русские действительно блокировали византийскую столицу в течение почти целого года, это, несомненно, нашло бы отражение и в проповедях патриарха Фотия, посвященных этому событию. Что же мы читаем у Фотия?

Во второй проповеди он подчеркивает неожиданность нашествия и необычайную быстроту его, говорит, что „этот удар, как молния, был ниспослан с неба“ („οὐρανὸς ἐν τῇ πληγῇ ὡς σκηπτὸν μὲνεν ἐπαρε-δῆναι“),⁶ что этот народ „неожиданный и незамеченный так грозно и так быстро нахлынул на наши пределы, как морская волна“ („οὗτος ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ὡς κύμα θαλάσσης ἐξεχύθη τοῖς ὀρίοις ἡμῶν“). Далее Фотий вспоминает о „мрачной и страшной ночи, когда жизнь всех готова была казаться вместе с закатом солнца“, о раскаянии константинопольцев в своих грехах, об умилоствлении бога литаниями и церковными службами, но у него нет даже и намека на большую продолжительность осады. Напротив, из его слов мы можем понять, что пребывание русских под стенами Константинополя было непродолжительно. „Нечаянно,—говорит Фотий,—было нашествие врагов; неожиданно совершилось и удаление их... невыразим был страх от них, но презренно было и бегство их“ („ἀσπροδόκητος ἐπέστη ἡ ἐφοδος ἐνδρῶν, ἀνέλπιστος ἐδείχθη, ἡ ἀναχώρησις αὐτῶν... ἀφαιτός ἦν αὐτῶν ὁ φόβος, εὐκαταφρόνητοι γεγόνασι τῇ φυγῇ“).⁷ Еще сильнее подчеркивает Фотий непродолжительность набега словами: „Ибо как только эта девственная риза (богоматери) была обнесена по стене, варвары принялись снимать осаду города, и мы избавились от ожидаемого гнева и сподобились

¹ Migne. Patr. gr., v. C, p. 1456.

² Theophani Continuatus; Migne. Patr. gr., v. CIX, p. 192, Skyl.-Cedreni, ed. Bonn, p. 162; Genesii Regum IV. Patr. gr., v. CIX, p. 1107.

³ H. Grégoire. Études sur le neuvième siècle. „Byzantion“, VIII, 1933, p. 520—524; IX, 1934, p. 184—185.

⁴ Tabari, v. III, p. 1449. А. Васильев. Византия и арабы, т. I, стр. 195.

⁵ Там же.

⁶ A. Nauck. Lexicon Vindobonense, p. 221.

⁷ Ibid., p. 223.

неожиданного спасения“ („ἄμα γὰρ τὸ τεῖχος ἡ παρθενικὴ στολὴ περιελήλυθε, καὶ τῆς πολιορκίας οἱ βάρβαροι ἀπείποντες ἀνεσκευάσσαντο“).¹

Можно сомневаться даже, что Михаил III успел вернуться в свою столицу из Малой Азии до ухода русских. О его возвращении говорит только один Симеон Логофет, живший во второй половине X в. Все другие источники — *anonymus Bruxellensis*, дающий точную дату нападения, Продолжатель Феофана, Кедрин и Зонара не упоминают об этом. Ни в одной из своих проповедей не упоминает об этом и Фотий.

Мы знаем далее, что в конце 860 г. в Константинополе собрался многолюдный церковный собор по делу Фотия и Игнатия. Мог ли он собраться с таким большим количеством приглашенных епископов, в том числе и папских легатов,² если бы русские продолжали блокаду Константинополя? Против Васильева говорит, наконец, тот факт, что известный просветитель славян Кирилл мог отправиться из Константинополя в Херсонес в конце 860 г., что было бы невозможно, если бы город был окружен русскими.

Научная несостоятельность методологии Васильева, а вместе с тем и политическая направленность его работы очень наглядно выступают в его отношении к домыслам Крузе—Беляева об историчности Рюрика, „основателя русского государства“, и о возможности отождествления летописного Рюрика с ютско-датским феодалом Рюриком Фрисландским.³ По Васильеву, этот Рюрик родился около 800 г., начал свою военную деятельность очень поздно, в возрасте 40 лет (в 841 г.). В середине IX в. он опустошал побережье Франкского государства, южную Фрисландию, северную Францию и даже Англию; в 855 г. потерпел неудачу в попытке захватить королевский трон Дании, временно был вассалом Карла Лысого, но затем принес клятву вечной верности Людовику Немецкому в Аахене. Он был изгнан из Фрисландии в 867 г., и затем мы снова видим его в этой стране в 870 г. Случайное созвучие двух имен, не подкрепляемое никакими иными данными, кроме самой легенды о призвании, позволяет Васильеву допустить возможность для этого искателя приключений в минимально краткий срок — в три года (867—870) основать русское государство, а затем без всякой видимой причины вернуться в Фрисландию. Автор не смущается, что в другом месте он считает годом основания норманского государства в Новгороде 850 г.

Абсолютная антинаучность и фантастичность этой „теории“ происхождения самого большого в средние века европейского государства выступает здесь с полной очевидностью. Не имеют какой-либо научной ценности и источниковедческие экскурсы автора.

Так, например, характеризуя греческие источники похода 860 г. и некритически следуя Попадопуло-Керамевсу, Васильев приходит к ошибочному выводу, что знаменитый византийский акафист богоматери был составлен в то время, когда русские войска осаждали Константинополь и впервые прочитан в церковном богослужении 22 марта 861 г. после ухода русских.⁴ Но в синаксаре, предшествующем акафисту, и в самом акафисте нет и намек на осаду Константинополя русскими. Половина содержания синаксаря посвящена чудесному избавлению

¹ Ibid., p. 222.

² Mansi, XV, 167.

³ „The Russian Attack...“, p. 236.

⁴ „The Russian Attack...“, p. 216. А. П. Попадопуло-Керамевс. Акафист божьей матери. „Византийский Временник“, т. X, 1—2, стр. 377.

Константинополя в 626 г. от авар и славян, затем кратко говорится о неудачной осаде и отступлении арабов в 677 г. при Константине Погонате. Более подробный рассказ дается о неудачной осаде Константинополя в 717 г. при Льве III Исавре. Остальной текст синаксаря посвящен прославлению богородицы за указанные благодеяния и прошениям об избавлении верующих от внутренних смут.¹

Византийские церковные предания и большинство исследователей связывают составление акафиста и учреждение праздника воздвижения креста с обстоятельствами походов Ираклия в Персию. В синаксаре действительно говорится о внутренних смутах и гражданской войне, что больше подходит к временам Сергия, чем Фотия. Да и в самом акафисте есть исторические намеки, связывающие его с VII в. Например, стих 116: „радуясь, поклонение огню прекратившая“ может быть истолкован как прославление побед Ираклия над персами. Также в стихе 112: „радуясь, мучителя извергшая из начальства“ „мучитель“ может обозначать Фоку, обвиняемого в тираническом царствовании до Ираклия.

Во всяком случае акафист не мог быть составлен во времена Фотия, так как уже в начале IX в. византийцы видели в акафисте документ гораздо более раннего времени. Например, у Георгия Монаха составление акафиста приурочивается к 677 г.²

До нас дошли, кроме того, западноевропейские латинские рукописи IX в., дающие латинский перевод акафиста и тоже относящие его составление к более раннему периоду.³

В разделе о латинских источниках похода автор специально останавливается на *Chronicon Venetum*, составленной Иоанном Дьяконом, капелланом венецианского дожа Пьетро Орсеоло II (991—1008), которая излагает историю Венеции от ее начала до 1008 г.⁴ Как известно, между византийскими и славянскими источниками о походе и Иоанном Дьяконом существуют значительные расхождения. Иоанн Дьякон называет участников похода норманнами, а не русскими, говорит о 360 кораблях, а не о 200 и, наконец, заканчивает свое известие словами: „Указанный народ с триумфом возвратился домой“ („*praedicta gens cum triumpho ad propriam regressa est*“), тогда как византийские и славянские источники говорят о неудаче Руси.

Это расхождение Васильев пытается объяснить тем, что греческие и русские источники, с одной стороны, и Иоанн — с другой, говорят о двух разных событиях: первые говорят о нападении норманнов на Константинополь с севера в 860 г., а Иоанн Дьякон описывает норманнский набег на Византию в 861 г. со стороны Средиземного моря. Но обосновать свою гипотезу вескими аргументами Васильев не удается. Он сам признает, что Гастинг и Бьёрн, опустошавшие Италию, вернулись домой в 860 г. *Saxo Grammaticus*, упоминающий о набеге викингов с юга на Грецию, очень ненадежный источник, особенно в первых девяти книгах своей компиляции,⁵ а самое главное, византийские источники, обстоятельно рассказывающие о набеге в 861 г. небольшого критского флота в 30—40 судов на Циклады и Дарданеллы, ни одним словом не упоминают о проникновении могущественного

¹ Migne, *Patr. gr.*, v. XCII, p. 1372.

² Migne, *Patr. gr.*, v. CX, p. 893.

³ „*Echos d'Orient*“, t. VII; M. Thearvič. Photius et l'Acatiste, p. 298.

⁴ Monum. Germ. Hist. Scriptores, v. VII (184), 4—38. Migne, *Patr. lat.*, v. CXXXIX, p. 875—940.

⁵ „The Russian Attack...“, p. 40.

норманского флота через Дарданеллы и об опустошении им предместий Константинополя.

Более чем натянутым является истолкование, данное Васильевым так называемому „Откровению Мефодия Патарского“. „Я абсолютно уверен, — пишет Васильев, — что откровение Мефодия Патарского имеет в виду Михаила III и может служить новым средством реабилитации блестящих военных успехов незаслуженно приниженного императора, на защиту которого выступил так блестяще Грегуар“.¹ Васильев пишет это, великолепно зная, что греческие рукописи „Откровения“ не дают имени императора-освободителя, а если в русских интерполированных версиях это имя и дается (говорится, например, что в момент опасности императора Михаила не было в Константинополе, а ангел принес его из Рима) и если в этом легендарном сказании искать намека на историческую реальность, то всего естественнее под этим освободителем подразумевать Михаила Палеолога, освободившего Константинополь от ига латинян в 1261 г.,² а отнюдь не Михаила III. Последний, всю жизнь бывший простым орудием в руках кесаря Варды, а затем Василия Македонянина, если и совершил какие-либо „подвиги“, так только в беспощадной расправе с павликианами. И именно за это и начинают прославлять Михаила III современные реакционные буржуазные историки, с нескрываемой враждебностью относящиеся ко всяким движениям трудящихся масс. В их числе находится и Васильев.

Таким образом, книга Васильева, лишенная самостоятельности, представляющая эклектическое соединение взглядов Шахматова, Попадопуло-Керамевса, Истрина, Грегуара, Беляева, игнорирующая почти целиком работы советских историков и археологов, являющаяся пропагандой норманской теории, показывает, в каком плачевном состоянии маразма и растления находится современная буржуазная наука в Америке и Западной Европе.

М. В. Левченко

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЖУРНАЛА „ÉTUDES BYZANTINES“ И „REVUE DES ÉTUDES BYZANTINES“ ЗА 1943—1948 гг.

В 1943 г. появился I том журнала „Études byzantines“, издаваемого в Бухаресте французским Институтом византийских исследований (Institut français d'études byzantines). Этот журнал явился заменой и прямым продолжением издававшегося тем же институтом журнала „Échos d'Orient“. С 1946 г. (с IV тома) журнал носит название „Revue des études byzantines“.

Под маркой французского Института византийских исследований на самом деле скрывается французская реакционная католическая конгрегация. Отсюда социальная и политическая направленность журнала. В основном журнал посвящен разработке вопросов богословия, церковной истории и церковной географии. Лишь изредка среди подавляющего все остальное материала узко-конфессионального характера встречаются статьи по политической истории Византии. Вопросы

¹ Ibid., p. 159.

² ЖМНП, 1875, май, стр. 48—50.

социально-экономического развития Византийской империи почти совершенно игнорируются редакцией журнала.

Том I (1943) открывается большой статьей S. Salaville „Vues sotériologiques chez Nicolas Cabasilas (XIV^e siècle)“ (стр. 5—57). Николай Кавасила был одним из византийских богословов эпохи Палеологов, теоретиком поздне-византийского мистицизма. Но среди литературного наследства Кавасилы встречаются, кроме богословских, философские и риторические сочинения, труды по логике и астрономии и письма. Некоторые из этих произведений могут быть использованы как источник для изучения византийской культуры XIV в. Но автор данной статьи, которой предшествовала другая его работа, „La théologie de la Rédemption chez Cabasilas“, совершенно обходит исследование философских и общественно-политических воззрений Николая Кавасилы, которые можно проследить даже и по его богословским сочинениям. Он поставил целью лишь „научно обосновать“ сотериологические взгляды Николая Кавасилы. Для осуществления этой цели автор проявляет много усердия, поистине заслуживающего лучшего применения, тщательно нанизывая одну на другую бесконечные цитаты из богословских сочинений византийского мистика. Все это обилие текстов понадобилось Salaville, чтобы сделать выводы о мнениях Николая Кавасилы о „справедливости бога“, о „позитивных и негативных условиях человеческого спасения“, о „символизме обряда крещения“, о святой деве как „идеальном типе человека“ и т. д. Советскому читателю, привыкшему к серьезной научной трактовке всех проблем идеологического порядка, основанной на единственно научной теории диалектического и исторического материализма, покажутся смешными рассуждения Salaville, которым он придает совершенно серьезный характер. Приведем два примера. Автор полемизирует с аббатом Rivière, также изучавшим произведения Кавасилы,¹ по вопросу о том, были ли соединены в представлении Кавасилы пути „воплощения“ и „искупления“, или они могут иметь самостоятельное существование (стр. 22). Значительная часть работы автора занята похвалами теоретику мистицизма за его „грандиозную“ идею о деве Марии как идеальном типе человека (стр. 35—36). Аналогичные рассуждения рассыпаны по всей статье и отчетливо показывают реакционный, антинаучный характер стряпни этого католического мракобеса.

Следующая статья в этом томе, принадлежащая перу V. Laurent, посвящена вопросу об учреждении Афинской митрополии и церковном статусе Иллирика в VIII в. (стр. 58—72).² Эти церковные реформы были связаны с бурной эпохой иконоборческого движения и, в частности, с восстаниями в Италии и собственно Греции, вспыхнувшими после первого эдикта Льва III против икон. Насильственно присоединив тогда Иллирию к Константинопольскому патриархату, Лев III создал Афинскую митрополию, сведениями о которой мы располагаем по одной из Notitiae episcopatum, относимой некоторыми исследователями к иконоборческому периоду.³ Новой митрополии даны были

¹ T. Rivière. La dogme de la Rédemption. „Études critiques et documents“. Louvain, 1931; T. Rivière, article „Rédemption“, Dictionnaire de théologie catholique, t. XIII (1937), col. 1942.

² V. Laurent. L'érection de la métropole d'Athènes et le statut ecclésiastique de l'Illyricum au VIII^e siècle.

³ Издана была G. de Boor. Nachträge zu den Notitiae episcopatum. „Zeitschrift für Kirchengeschichte“, XII, 1891, S. 303—322, 519—534, cf. G. I. Konidares. Αἱ μὲν πόλεις καὶ ἀρχιεπισκοπαὶ τοῦ οἰκουμένου πατριαρχείου καὶ αἱ τάξεις αὐτῶν, I. Ἀθήναι, 1934.

большие полномочия церковной юрисдикции путем учреждения 38 должностей суффраганов. Автор рассматривает надписи Парфенона, некоторые другие *Notitiae episcopatum*, а также послание аббата Гильдуина к Людовику Благочестивому 835 г. Эти источники позволяют ему выяснить некоторые детали положения церкви в новой митрополии и той ожесточенной борьбы, которую вела западная католическая церковь за восстановление своей власти в утраченной области. Но все эти события VIII—IX вв. изучаются автором в отрыве и от классовой борьбы и от тех изменений в социально-экономическом строе Византийской империи, которые вызывало иконоборческое движение. Это крупнейшее движение Laurent изучает лишь как догматическую борьбу, и в этом состоит порочность его работы, как и работ большинства буржуазных историков, бравшихся за исследования этого периода истории Византии.

Покойная G. Rouillard, занимавшаяся исследованиями по аграрной истории Византии, подготовила для этого тома небольшую статью, посвященную некоторым, большей частью еще неизданным хрисовулам Михаила VIII Палеолога монастырям.¹ Опубликованные ею акты могут быть использованы при исследовании прав и привилегий монастырей в поздней Византии и в частности — права иммунитета.

Две следующие статьи, принадлежащие перу R. Janin, относятся к топографии византийского Константинополя.² Обе они содержат библиографические сведения о литературе вопроса. Автор несколько расширил круг источников, привлеченных им к исследованию, по сравнению с другими учеными. В частности, он использовал агиографическую литературу, незаслуженно пренебрегаемую многими исследователями, синаксарь Константинополя, монастырские типики, Пасхальную хронику. Для второй работы автор дополнительно привлекает *De aedificiis* Псевдо-Кодина, произведения византийских историков, хронику Георгия Амартола и Феофана. Эти топографические этюды принадлежат к типу работ *de détail*, столь характерному для буржуазной историографии нашего времени. Современные буржуазные историки не берутся за разрешение крупнейших проблем византийской истории. Они занимаются обычно мелкими вопросами, выписывая десятки отрывков из источников для обоснования какой-либо мельчайшей черты изучаемого ими явления. Это — один из показателей ограниченности буржуазного византиноведения наших дней, от которого коренным образом отличается советское византиноведение, основанное на самом передовом, марксистско-ленинском методе исторического исследования, смело ставящее и успешно разрешающее основные, важнейшие проблемы византийской истории и создающее новую, марксистскую концепцию ее развития.

R. Loenertz печатает в рецензируемом томе материалы к истории Пелопоннеса в XIV в. (1382—1404),³ еще очень мало исследованной. Помимо обычных источников, привлекаемых для изучения этого периода, автор рассматривает две морейские хроники, издававшиеся Лампросом,⁴

¹ G. Rouillard. La politique de Michel VIII Paléologue à l'égard des monastères, p. 73—84.

² R. Janin. Études de topographie byzantine. Les citernes d'Aétius, d'Aspar et de Bonus, p. 85—115; R. Janin. Topographie de Constantinople byzantine. Le port Sophien et le quartiers environnants, p. 116—151.

³ R. Loenertz. Pour l'histoire du Peloponnèse au XIV-e siècle (1382—1404), p. 152—196.

⁴ S. Lampros. Βραχέα χρονικά. 'Αθήναι, 1932.

11 Византийский Временник, том IV

а также некоторый эпиграфический материал, в том числе надписи Парорийского храма возле Мистры.¹ Он останавливается главным образом на освещении прихода к власти в 1382 г. деспота Морей Феодора I Палеолога, его политики по отношению к туркам, разрыва между Баязетом и византийскими деспотами Морей в 1394 г., занятия Монеmvасии турками и ее отвоевания византийцами в 1394 г., турецких вторжений в Морею 1395—1397 гг., действий госпитальеров в Пелопоннесе в 1397—1404 гг. Внося некоторые новые детали в изложение этих событий, автор и здесь оставляет без рассмотрения вопросы общественно-экономического строя Пелопоннеса в этот период. Это игнорирование исследования социально-экономической истории полуострова является крупным методологическим пороком автора, лишаящим ценности его статью, в которой он ограничивается анализом фактов лишь политической истории.

Своеобразным интересом к нездоровой восточной экзотике, свойственным буржуазной историографии периода упадка, вызвана работа R. Guillard о евнухах в Византии, названная автором этюдом о византийской титулатуре и просопографии.² Непосредственным продолжением этого „исследования“ служит работа Guillard о функциях и званиях евнухов, напечатанная в двух последующих томах журнала.³ В введении к этим работам автор пытается обосновать научную ценность своей темы, так часто смаковавшейся буржуазными учеными — любителями эротических анекдотов и экзотических рассказов из истории византийского Востока. Он утверждает, что предпринял данные исследования, чтобы „сделать вклад в историю мало известного управления Византийской империи“, в которой евнухи играли известную роль.

Не жалея места, автор приводит давно известные выдержки из источников, свидетельствующих о множестве евнухов при византийском дворе, где они кишели, по выражению Константина VII, „как мухи в стойле в летнее время“. Тщательно прослеживая все доступные источники, он перечисляет всех евнухов, занимавших те или иные должности, а также излагает обстоятельства, при которых они возводились в эти достоинства. Но наиболее подробно автор описывает отдельные виды евнухов, снабжая эти описания такими эпизодами, что его работа местами похожа больше на бульварный роман, чем на научное исследование. Поэтому, несмотря на большой „научный аппарат“ (указатели собственных имен, должностей и функций, географических названий и т. д.), весь этот „труд“ производит такое впечатление, что он написан для „оживления“ содержания журнала, чтобы дать читателю, жаждущему до восточной экзотики, квазинаучное чтение. Это явление чрезвычайно характерно для того состояния маразма и разложения, в котором сейчас находится буржуазная реакционная историческая наука.

Первый том журнала завершается двумя небольшими статьями V. Grumel, из которых одна посвящена порядку перемещений патриархов из одного патриархата в другой,⁴ а вторая ставит целью уточнить некоторые хронологические даты константинопольских патриархов

¹ G. Millet. Les inscriptions byzantines de Mistra. „Bulletin de correspondance hellénique“, XXIII, 1899.

² R. Guillard. Les Eunuques dans l'Empire Byzantine. Étude de titulature et de prosopographie byzantines, p. 197—238.

³ R. Guillard. Fonctions et dignités des Eunuques. „Études byzantines“, II, 1944, p. 185—225; III, 1945, p. 179—214.

⁴ V. Grumel. Le περί μεταθέσεων et le patriarche de Constantinople Dosithée, p. 239—249.

за время с 1111 по 1206 гг.,¹ приведенные в „Geschichte der byzantinischen Litteratur“ Крумбахера и „Dictionnaire de Théologie catholique“. Обе эти статьи являются материалами для подготавливаемого к печати III тома регест-актов Константинопольского патриархата. Небольшой отдел библиографии, имеющийся в томе, почти целиком занят краткими рецензиями, скорее даже аннотациями на работы, посвященные узким вопросам византийского богословия, аскетики, мистики, литургии.

Второй том (1944) „Études byzantines“ открывается работой Р. Goubert о Византии и вестготской Испании.² В следующих двух томах помещена работа того же автора о византийском административном управлении в Испании.³ Тема эта разработана еще очень мало. Если по византийской Африке и византийскому экзархату в Италии, созданному в результате завоевательных походов Юстиниана I в VI в., есть обстоятельные, хотя уже и устаревшие, монографии Ш. Дия,⁴ то византийское управление в Испании совершенно не привлекало внимания исследователей, если не считать небольшой и малоценной статьи F. Görres, который ограничивается почти одними географическими описаниями испанских областей Византии.⁵

Но и рецензируемые статьи не дают сколько-нибудь полного освещения вопроса. Реакционная направленность автора, порочность его методологии наложили свой отпечаток на характер его исследования.

В первой статье (во II томе), носящей название „Byzance et l'Espagne wisigothique (554—711)“, Goubert ставил задачей проследить внешнюю историю завоевания Юстинианом I восточного побережья Пиренейского полуострова, борьбу населения завоеванной территории против византийского господства и утрату этой территории Византийской империей. Автор собрал разбросанные в источниках сведения о взаимоотношениях Византии с Вестготским королевством и дал некоторые новые подробности из истории византийского господства в Испании. Но главное внимание он сосредоточил на организации византийских епископств и вообще церковного управления. Очень характерно, что, упоминая автора одной из использованных им статей, „отца“ Zacharias Garcia Villada, Goubert называет его „мучеником испанской революции“. Это как нельзя лучше показывает реакционную политическую направленность как Goubert, так и всего журнала и свидетельствует об их политических симпатиях к фашистской Испании.

Продолжение данной работы, напечатанное в III и IV томах, посвящено анализу византийского административного управления в Испании. Порочность методологии автора ярко сказывается здесь в том, что он уделяет больше внимания характеристике последовательно сменявшихся византийских управителей-наместников — Либерия, Коментиола, Юлиана и других, чем своей задаче изучения форм византийского гражданского управления в Испании. В IV томе „Revue des études byzantines“ дано описание семи провинций, объединенных Юстинианом I

¹ V. Grumel. La Chronologie des Patriarches de Constantinople de 1111 à 1206, p. 250—270.

² P. Goubert. Byzance et l'Espagne wisigothique (554—711), p. 5—78.

³ P. Goubert. L'administration de l'Espagne byzantine. „Étude byzantines“, III, 1945, p. 127—142; „Revue des études byzantines“, IV, 1946, p. 71—133.

⁴ Ch. Diehl. L'Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533—709). Paris, 1896; Ch. Diehl. Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568—751). Paris, 1888.

⁵ F. Görres. Die Byzantinischen Besitzungen an den Küsten des spanisch-westgotischen Reiches (554—624). („Byzantinische Zeitschrift“, XVI, 1907, S. 515—538).

в один диоцез, прослеживаются административные связи византийской Испании и византийской Африки, описываются города византийской Испании Асс (современный Guadix), Astigi, Basti, Carteia, Dianium, Egabro, Malaga и др., Балеарские острова. Особое место занимает раздел о византийских влияниях на вестготскую Испанию. Но и в этом разделе автор совершенно игнорирует характерные особенности общественно-экономического строя византийской Испании. Мы находим здесь лишь положение о том, что кодекс Юстиниана был введен в действие на завоеванной в Испании территории, и отдельные попытки проследить, какое влияние оставило византийское законодательство на этой территории после того, как византийское господство прекратилось. Совершенно антинаучными являются попытки проследить корни „испанского антисемитизма“ в вестготской Испании, а тем более стремление доказать, что уже тогда зарождается это движение, которое, по мнению автора, длится, постепенно развиваясь, вплоть до реконкисты и воссоединения Испании. Немало сил потратил автор на поиски „византийских церковных влияний в Испании“. Это понадобилось ему для того, чтобы обосновать свое порочное положение о том, что завоевательная политика Юстиниана I объясняется будто бы лишь стремлением Византии вести религиозную борьбу против наступавшего в VI в. арианства.

Явно извращая исторические факты, автор пытается утверждать, что освобождение от византийского господства было подготовлено „гармоническим синтезом германских и испано-римских элементов под эгидой церкви, который позволил объединить страну против агрессии империи“. На самом деле церковь и в византийской Испании смыкалась с завоевателями и, понятно, никоим образом не могла являться двигателем борьбы за освобождение от византийского господства.

Оставляя в стороне не заслуживающие внимания статьи о богословских взглядах Талласия Ливийского¹ и монашеском быте в XIV в.,² надо несколько остановиться на небольшой заметке о так называемом „деле Льва Халкедонского“ и хрисовулле Алексея I Комнина по поводу предметов культа.³ Дело в том, что автор заметки, стараясь исправить датировку предшествующих исследователей — Лебо, В. Г. Васильевского, Шаландона, анализировавших хрисовулл Алексея I Комнина 1082 г., утверждает, что заключение данного акта предвещало новые попытки секуляризации церковных имуществ, заранее давало им оправдание. Между тем мы знаем, что время Комнинов и особенно Палеологов было периодом неограниченного роста церковно-монастырского землевладения и вообще богатств церквей и монастырей, на которые императорская власть уже не решалась посягать. Поэтому ошибочным является представление автора о рассматриваемом им хрисовулле как об акте, означающем поворот в политике византийских императоров по отношению к церковно-монастырскому имуществу.

В следующей статье рассматривается положение византийских храмов и монастырей при Латинской империи (1204—1261).⁴ Собранный автором материал из переписки папы Иннокентия III и Гонория III,

¹ M.-Th. Disdier. Le témoignage spirituel de Thalassius le Lybien, p. 79—118.

² S. Salaville. La vie monastique grecque au début du XIV-e siècle d'après un discours inédit de Théolepte de Philadelphie, p. 119—125.

³ V. Grumel. L'affaire de Léon de Chalcédoine. Le chrysobulle d'Alexis I-er sur les objets sacrés, p. 126—133.

⁴ R. Janin. Les sanctuaires de Byzance sous la domination latine (1204—1261), p. 134—184.

донесений венецианского подеста в Константинополе Тьеполо дожу Петро Зани, а также из известной хроники Виллардуэна и исторических трудов Георгия Акрополита и Никиты Хониата, дает некоторое представление, вопреки воле автора статьи, о том, как хищнически осуществлялся план ограбления Византии участниками четвертого крестового похода.

Третий том (1945) журнала „*Études byzantines*“ открывается статьей, посвященной памяти Ш. Диля, скончавшегося 1 ноября 1944 г. Статья содержит текст речи R. Guillard, одного из учеников Диля, произнесенной им на заседании, организованном в память Диля Institut néohellénique Парижского университета, и дающей краткий обзор научных трудов, научной и преподавательской деятельности покойного византиста. Этот том очень беден по содержанию: помимо уже рассмотренных работ о византийской Испании и евнухах, в нем помещены мелкие сообщения узко-богословского характера, вряд ли заслуживающие быть отмеченными в данном обзоре. Исключением является статья о двух письмах Мануила Комнина папе Александру III накануне второго крестового похода,¹ представляющая некоторый интерес для изучения международных отношений Византии в XII в.

C IV тома (1946) журнал принял название „*Revue des études byzantines*“. Этот том начинается статьей V. Laurent о румынском историке Йорга, убитом румынскими фашистами во время второй мировой войны и оставившем множество работ по истории Византии, в том числе трехтомный обобщающий труд „*Histoire de la vie byzantine*“, вышедший в Бухаресте в 1934 г.

В статье R. Guillard² собран материал, относящийся к порядку назначения и смещения высших византийских сановников. Этот материал мог бы содействовать изучению государственного аппарата Византийской империи. Но автор ограничивается собиранием фактов и не делает в своей работе никаких обобщений. Статья R. Janin посвящена храмам латинских колоний в Константинополе.³ S. Vanderlingen публикует в этом томе *Revelatio sancti Stephani*, один из памятников ранней истории церкви, относящийся к 415 г., сопровождажая его формальным анализом сохранившихся рукописей этого памятника.⁴ В статье о Галате в древности⁵ дан свод археологических материалов по трудам ученых, изучавших древности Галаты и ее окрестностей. Эта работа несколько расширяет сведения о топографии Константинополя. В этом же томе помещена довольно обширная рецензия V. Laurent на книгу R. Devreesse об Антиохийском патриархате в IV—VII вв.⁶ Мало интересная в своей критической части, она довольно подробно излагает содержание книги R. Devreesse,⁷ уже разобранный в предыдущем томе „Византийского Временника“.⁸

¹ V. Grumel. Au seuil de la II-e croisade. Deux lettres de Manuel Comnène au pape, p. 143—167.

² R. Guillard. La collation et la perte ou la déchéance des titres nobiliaires à Byzance, p. 24—69.

³ R. Janin. Les sanctuaires des colonies latines de Constantinople, p. 163—177.

⁴ P. 178—217.

⁵ E. D. d'Alessio. Galata et ses environs dans l'antiquité, p. 218—237.

⁶ V. Laurent. Le patriarcat d'Antioche du IV-e au VII-e siècle, p. 239—251.

⁷ R. Devreesse. Le patriarcat d'Antioche depuis la paix de l'église jusqu'à la conquête arabe. Paris, 1945.

⁸ Ф. М. Россейкин. Рецензия на названную книгу R. Devreesse. „Византийский Временник“, т. III, 1950, стр. 282—290.

Пятый том (1947) журнала „Revue des études byzantines“ начинается статьей G. Bardy о флорилегии Стефана Гобара.¹ Этот источник, мало еще изученный, вызывающий много недоуменных вопросов, рассматривался Фотием в его „Мириобиблионе“.² Фотий ничего не сообщает о личности автора этого флорилегия. Неизвестно даже его происхождение, так как ученые, занимавшиеся его трудом, колеблются между Сирией и Египтом. Судя по тому, что последний цитируемый им автор — Север Антиохийский, его жизнь и деятельность можно отнести ко второй половине VI в. Флорилегий Гобара является сборником вопросов и ответов на различные богословские темы. Но в отличие от обычных *Questiones et responsiones*, так распространенных со II в., автор флорилегия сам не отвечает на вопросы, а приводит разнообразные ответы, которые давались по той или иной теме как „отцами церкви“, так и представителями различных „еретических“ учений. Поэтому данный флорилегий служит интересным источником для изучения религиозной борьбы в ранний период истории византийской церкви. Основным недостатком статьи, лишаящим ее ценности, является то, что, изучая содержание флорилегия Гобара, автор ограничивается сугубо-формальным анализом этого источника, а значение его для истории церкви трактует с узко-конфессиональной точки зрения, в духе общей направленности всего журнала.

Статьи „Был ли Леонтий Византиец оригенистом?“³ о письмах Феопемпта Филадельфийского⁴ и о догматических спорах 1275—1310 гг.⁵ никакого научного интереса не представляют. V. Laurent, который готовит издание корпуса *Notitiae episcopatum*, печатает в этом томе свои соображения о так называемой *Notitia Antiochena*.⁶ Здесь дается сравнительное описание сохранившихся рукописей этой *Notitia*, причем изыскания по различным хранилищам позволили автору почти удвоить число находившихся до сих пор в обращении рукописей и на этом основании сделать ряд новых наблюдений.

Заметка R. Guiland⁷ уточняет функции декана и референдария как в церковном, так и гражданском аппарате Византийской империи.

В небольшой статье „К происхождению молдавской церкви“⁸ V. Laurent устанавливает порядок назначения первых молдавских митрополитов и излагает историю борьбы вокруг этого назначения между Византией и другими государствами Восточной Европы. Приложением к этой статье является публикация неизданного отрывка из греческой рукописи Парижской Национальной библиотеки № 1379, относящегося к истории назначения Иеремии митрополитом Молдавии.

В журнале напечатан также неизданный акт сербского деспота Константина Драгаса, публикуемый тем же автором. Это — один из актов, издававшихся сербскими правителями на захваченной ими византийской территории. Подобные акты, большое количество которых

¹ G. Bardy. Le florilège d'Etienne Gobar, p. 5—30.

² Photius. Bibliotheca, cod. CCXXXII; Migne. Patr. gr., v. CIII, col. 1092—1105.

³ M. Richard. Léonce de Byzance était-il origéniste?, p. 31—66.

⁴ S. Salaville. Une lettre et un discours inédits de Théopempe de Philadelphie, p. 101—115.

⁵ S. Salaville. Deux documents inédits sur les discussions religieuses byzantines entre 1275 et 1310, p. 116—136.

⁶ V. Laurent. La Notitia d'Antioche. Origine et tradition, p. 66—89.

⁷ R. Guiland. Le décanos et le référendaire, p. 90—100.

⁸ V. Laurent. Aux origines de l'église de Moldavie, p. 158—170.

было издано в последнее время,¹ составлялись по византийским образцам с учетом византийских общественно-экономических институтов. Желая привлечь на свою сторону афонское монашество, пользовавшееся большим влиянием, сербские правители не только сохраняли прежние привилегии афонских монастырей, но даже жаловали им новые. Опубликованный в томе акт — один из подобных актов сербских правителей, в которых известному Батопедскому монастырю жалуются иммунитетные и другие привилегии.

С. Danguitsis в своей статье возвращается к вопросу о первоначальной версии эпоса о Дигенисе Акрите,² вопросу, имеющему уже значительную литературу. По мнению автора, основное значение имеют Гротта-Ферратская и Эскуриальская рукописные версии. Все остальные, в том числе и Оксфордскую и Трапезунтскую, автор считает производными. Полемизируя с Грегуаром, Гесселингом и другими авторами, занимавшимися изучением эпоса о Дигенисе Акрите, Danguitsis утверждает, что первичной является Эскуриальская рукописная версия и что критическое издание этого эпоса возможно только на этой основе.

Две следующие статьи Grumel посвящены узким вопросам о положении протов Афона при Алексее I Комнине³ и о роли Фотия в вопросе о добавлении *filioque* к никейско-константинопольскому символу веры.⁴ Заметка о вновь открытой в Преславе протоболгарской надписи⁵ в основном представляет собой пересказ статьи болгарского ученого Венедикова,⁶ опубликовавшего эту надпись, открытую Мавродиновой в экспедиции 1945 г. Надпись содержит такие термины, как „внутренние бояре“, „боилы“, „жупаны“, и может быть привлечена к исследованию внутренней истории Первого Болгарского царства.

Данный том оканчивается обзором опубликованных в Венгрии за время войны (1939—1945) работ по истории Византии.⁷ Из перечисленных в обзоре трудов венгерских ученых надо отметить работу академика Г. Моравчика „Byzantinoturcica“ о языковых остатках турецких народов в византийских источниках. Труд Моравчика⁸ содержит обширную общую библиографию по истории, библиографию, относящуюся к истории народов, соприкасавшихся с Византией, а также анализ громадного количества источников, причем по каждому из них приводятся указания на все те места, в которых встречаются упоминания того или иного народа. Следует подчеркнуть, что в работе Моравчика отражены ошибочные взгляды реакционной так называемой тюркской школы этногенеза венгерского народа. Поэтому его работа

¹ A. Soloviev i V. Mosin. Гръцке повеље српских владара (Diplomata graeca regum et imperatorum Serviae). Beograd, 1936.

² С. Danguitsis. Le problème de la version originale de l'épopée byzantine de Digénis Akritas, p. 185—205.

³ V. Grumel. Le protes de la Sainte-Montagne de l'Athos sous Alexis I-er Comnène et le patriarche Nicolas III Grammaticos, p. 206—217.

⁴ V. Grumel. Photius et l'addition du *filioque* au symbol du Nicée-Constantinople, p. 218—234.

⁵ F. Dénj. Une inscription en langue proto-bulgare découverte à Preslaw, p. 235—239.

⁶ И. Венедиков. Новооткритиат в Преслав прѳобългарски надпис. „Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare“, XV, 1946, p. 146—160.

⁷ M. Gyoni. Les études byzantines en Hongrie pendant la guerre, 1939—1945, p. 240—256.

⁸ G. Moravcsik. Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvolker (Magyar Görög Tanulmányon-Ouygrosallhyniki Meléti, 20). Budapest. 1942, 378 S. II. Sprachreste der Türkvolker in den byzantinischen Quellen (MGT, 21), Budapest, 1943, 326 S. mit 8 facsimilés.

должна быть критически рассмотрена советскими учеными-специалистами. Преобладающее большинство остальных отмеченных в обзоре исследований и публикаций венгерских византинистов относится к области византино-венгерских отношений.

В 1948 г. вышли два выпуска VI тома „*Revue des études byzantines*“. Первый выпуск открывается статьей V. Laurent о титуле вселенского патриарха и патриаршей подписи.¹

О направленности всей статьи достаточно отчетливо говорит определение автором значения титулатуры. По его мнению, титулатура „предстает в лоне самых различных цивилизаций как фактор порядка и социального благополучия“ (стр. 5). Для советского читателя антинаучность подобного утверждения очевидна, ибо ни в одном классовом антагонистическом обществе, а тем более в Византии, где угнетение непосредственных производителей достигало высшей точки, невозможно говорить о каком бы то ни было общем порядке и социальном благополучии.

Как и многим другим реакционным буржуазным ученым, утверждение о „социальном благополучии Византии“ понадобилось автору данной статьи для того, чтобы идеализировать теократический характер Византийской империи, расценивавшей классиками марксизма как препятствие для распространения прогресса в Европе.

Далее в первом выпуске напечатана статья Грегуара о первоначальной версии эпоса о Дигенисе Акрите,² представляющая собой ответ на отмеченную выше статью С. Danguitsis по этому же вопросу.³ Грегуар считает ложным метод исследования этого автора, отмечает незнание его с новейшей литературой вопроса, считает легковесным его вывод, в котором он отдает предпочтение той или иной случайно сохранившейся рукописи в качестве основы для критического издания эпоса. Следует отметить, что даже Грегуар, всегда стремящийся принизить значение русской культуры, вынужден признать, что при выяснении происхождения этого эпоса нужно прежде всего изучать его русские версии, что эпос о Дигенисе Акрите невозможно понять без исследования вопроса о влиянии на него русских былин. „Всякая попытка, — говорит Грегуар, — восстановления оригинала, которая оставляет без внимания русские тексты, является порочной. От русской версии следует отправляться, чтобы оценить, в большинстве случаев, значение греческих рукописей“ (стр. 39). Грегуар подчеркивает, что только русский оригинал сохранил пролог ко всему эпосу. Только русская версия дает возможность установить время, место и обстоятельства, при которых сложился этот эпос, отражающий ненависть павликиански настроенных масс к Византийской империи.

Итальянский историк Меркати опубликовал в первом выпуске VI тома неизданный акт о различных пожалованиях Манганскому монастырю (по Ватиканской рукописи № 128).⁴ В комментариях автор останавливается на некоторых особенностях языка акта. Приложен снимок образца письма рукописи, по которой публикуется акт.

¹ V. Laurent. Le titre de patriarche oecumenique et la signature patriarchale. „*Recherches de diplomatique et de sigillographie byzantines*“, VI, 1948, fasc. I, p. 5—26.

² H. Crégoire. Le problème de la version „originale“ de l'épopée byzantine de Digenis Akritas, p. 27—35.

³ „*Études byzantines*“, V, 1947, p. 185—205.

⁴ S. G. Mercati. Un testament inédit en faveur de Saint-Georges de Mangan, p. 36—47.

Следующая статья первого выпуска VI тома посвящена служебной карьере Георгия Франдзи,¹ византийского историка эпохи Палеологов. Автор лишь устанавливает роль, которую играл Франдзи в византийском правительстве, и вместе с тем сообщает некоторые детали о развитии византийской „табели о рангах“ в последние десятилетия существования Византийской империи.

Историографическая заметка V. Grecu рассматривает произведение Никиты Хониата, цитируемое обычно под названием „De signis“.² Речь идет о небольшом произведении Никиты Хониата, посвященном описанию памятников искусства, находившихся в столице Византии до четвертого крестового похода и разрушенных латинянами после завоевания Константинополя. Опровергая мнение Шаландона, Крумбахаера, Монтелатичи, Острогорского, Моравчика о том, что „De signis“ Никиты являлось самостоятельным произведением, будучи добавлением к его „Истории“, автор доказывает, что оно было лишь частью и естественным продолжением „Истории“ Никиты Хониата. Решение, даваемое автором, не может считаться окончательным, и этот вопрос подлежит дальнейшему исследованию.

После небольшой заметки о синодике афинской церкви³ в первом выпуске помещена статья⁴ о книге Lemerle по вопросу о Македонии.⁵

Автор делает некоторые добавления к труду Lemerle. Они касаются хронологии сборщиков налогов Фессалоникской фемы XIV в., некоторых уточнений данных о чиновниках фемы Стримона и описания стены Христополя.

Остальная часть первого выпуска VI тома посвящена хронике и библиографии. Здесь напечатана заметка о французской школе в Афинах в связи со столетием со времени ее основания.⁶ Далее идет обзор, написанный автором этих строк в начале 1947 г. для Антифашистского комитета ученых СССР. Самый факт напечатания этого обзора без ведома и против желания автора свидетельствует о нравах желтой прессы, процветающих в органах реакционной буржуазной науки. Но наибольшее возмущение вызывает „введение“ господина Laurent, которым редакция сочла возможным снабдить этот обзор. В этом „введении“ с легкой руки Грегуара, который специализируется на клеветнических выпадах против передового советского византиноведения, по отношению к которому нам уже приходилось выступать в печати,⁷ господин Лоран повторяет его клеветнические домыслы об упадке и даже „запрещении“ (proscription), которому якобы одно время подвергались византийские исследования в СССР. Между тем всем, кто внимательно и беспристрастно следил за развитием передовой советской исторической науки, хорошо известно, что она, в том числе и византиноведение, как одна из ее отраслей, получая постоянную помощь и поддержку партии, правительства и лично вождя и учителя

¹ R. Guiland. Le protovestiarite Groiges Phrantzès, p. 48—57.

² V. Grecu. Autour du De Signis de Nicéas Choniate, p. 58—66.

³ V. Grumel. Remarques sur le synodicon d'une église de Grèce, p. 67—73.

⁴ V. Laurent. La Macédoine orientale à l'époque byzantine. A propos d'un livre récent, p. 74—85.

⁵ P. Lemerle. Philippos et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et byzantine. „Recherches d'histoire et d'archéologie“ (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 158, Paris, 1945).

⁶ Ch. Delvoye. L'Ecole française d'Athènes et les études byzantines (à l'occasion du centenaire), p. 86—93.

⁷ Б. Горянов. По поводу выступления проф. Грегуара. „Вопросы истории“, 1948, № 1.

народов СССР И. В. Сталина, переживала с первых дней советской власти и переживает и сейчас такой подъем и расцвет, о котором и мечтать не может находящаяся в упадке буржуазная историография, как и вся буржуазная наука. Господину Лорану зачем-то понадобилась выдумка о том, что первый том „Византийского сборника“ якобы исчез при каких-то таинственных обстоятельствах и что второй том этого сборника, вышедший в 1945 г., в измененном виде повторяет содержание первого тома. Хорошо известно, что вышел всего один том „Византийского сборника“. Он был готов к печати до начала Великой Отечественной войны, но его печатание задержалось из-за условий блокады города-героя Ленинграда, и он вышел в свет в 1945 г. Необходимо, кроме того, подчеркнуть, что самовольно напечатанный редакцией обзор этот касается работ советских византистов кончая 1946 г. и, будучи напечатан в 1948 г., уже не отражал тогдашнего состояния советского византиноведения.

В конце выпуска помещена справка об изданиях византийских текстов после 1939 г.

Второй выпуск VI тома (1948) открывается статьей Лорана о епископальных летописях в византийской церкви Кипра.¹ Далее печатается статья R. Guiland, содержащая некоторые комментарии к „Книге церемоний“ Константина VII Порфирородного² по топографии византийского Константинополя. Перу того же Лорана принадлежит заметка о митрополите Фессалоники—Исидоре Главе.³ В статье Банеску,⁴ изгнанного правительством Румынской Народной Республики из состава профессуры, рецензируются, вернее, аннотируются две византиноведческие работы, в том числе работа А. А. Васильева⁵ о нападении русских на Константинополь в 860 году.⁶

В этом же выпуске помещен „археологический бюллетень“ за 1940—1947 гг.,⁷ содержащий довольно полный перечень мировой литературы по ранне-христианской и византийской археологии, вышедшей за указанные годы. Лоран печатает в этом выпуске обзор исследований по различным отраслям византиноведения, появившихся в Румынии в 1939—1946 гг.,⁸ с большим перечнем литературы. В отделе библиографии — несколько мелких рецензий, носящих скорее характер аннотаций, авторы которых излагают содержание рецензируемых работ, не давая им принципиальной оценки.

В хронике второго выпуска VI (1948) тома печатается краткая информация о работе VI и VII международных конгрессов византистов, состоявшихся в 1948 г. один за другим в Париже и Брюсселе. Судить о сообщениях и докладах, сделанных на этих конгрессах, можно будет

¹ V. Laurent. Les fastes épiscopaux de l'église de Chypre, p. 153—166.

² R. Guiland. Autour du livre des cérémonies, l'augusteus, la main d'or et l'onopodion, p. 167—180.

³ V. Laurent. Isidore Glabas, métropolite de Thessalonique (1380—1396), p. 181—190.

⁴ N. Banescu. Deux études byzantines, p. 191—198.

M. Gyöli. L'oeuvre de Kekaumenos, source de l'histoire roumaine. „Revue d'histoire comparée“, XXIII, 1945, p. 96—180.

⁵ A. A. Vasilev. The Russian attack on Constantinople in 860. „The Medieval Academy of America“, Cambridge, Massachusetts, 1946.

⁶ Об этой книге А. А. Васильева см. критическую статью проф. М. В. Левченко „Фальсификация истории византино-русских отношений IX в. в трудах А. А. Васильева“ в этом томе „Византийского Временника“.

⁷ P. Lemerle. „Bulletin archéologique“, 1940—1947, p. 199—240.

⁸ V. Laurent. Les études byzantines en Roumanie 1939—1946, p. 241—268.

лишь тогда, когда будут напечатаны обещанные к изданию акты обоих конгрессов. Наконец, нужно остановиться на „собственной информации“, которую напечатал в этом выпуске уже упоминавшийся нами клеветник господин Лоран, директор издания, о византийских исследованиях в СССР. По существу Лоран пересказывает информацию о сессии Отделения истории и философии АН СССР 1947 г., посвященной вопросам византиноведения, напечатанную в „Вопросах истории“ (1948, № 1—2), пересыпая эту информацию собственными злостными клеветническими измышлениями против передового советского византиноведения, приходящегося не по нраву реакционеру-мракобесу „отцу“ Лорану. Эти измышления свидетельствуют о непонимании процессов, развивающихся в советском византиноведении, которое как и вся советская историческая наука, строится на основе самого передового в мире марксистско-ленинского метода исторического исследования, а также о желании реакционных мракобесов оклеветать советское византиноведение, в корне отличающееся от загнивающего буржуазного византиноведения. Лучшим доказательством этого загнивания и маразма служит содержание журнала „Revue des études byzantines“, обзор которого за 1943—1948 гг. мы дали здесь.

Б. Т. Горянов

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ В РУССКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Крестовые походы, как одно из выдающихся событий средневековой истории, издавна привлекали внимание русских историков.

Как и в других областях знания, русские исследователи и в этом вопросе шли не проторенной дорогой, они прокладывали новые пути в науке, делали самостоятельные открытия, двигали вперед исследовательскую мысль. Они внесли много ценного в разработку этой проблемы в целом и в частности, но, как буржуазные историки, не смогли разрешить ее удовлетворительным образом. Созданные ими концепции крестовых походов свидетельствуют о методологической слабости, классовой ограниченности, а зачастую и политической реакционности их авторов, отражавших общественно-политические устремления господствующих классов царской России.

Товарищ И. В. Сталин учит, что „...источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать... в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т. п.“¹ Именно этим „общественным бытием“, своеобразием исторического процесса, классовой борьбы и общественно-политических отношений в России второй половины XIX и начала XX вв. объясняются в конечном счете как достижения, так и недостатки работ русских буржуазных медиевистов по истории крестовых походов.

Задачей настоящего обзора является, проанализировав в хронологическом порядке работы русских буржуазных ученых по истории

¹ История ВКП(б), Краткий курс, стр. 110.

крестовых походов, выявить то ценное, что они дали в этой области истории средних веков, и в то же время оттенить их слабые стороны и недостатки.

Первые исследования в области истории крестовых походов начались в России в середине XIX в. Наиболее ранними результатами этих исследований были работы: П. Медовикова „Латинские императоры в Константинополе...“¹ и В. А. Бильбасова „Крестовый поход императора Фридриха II“.² Обе работы представляли собой магистерские диссертации. Возникновение интереса у русских ученых к истории крестовых походов³ стояло в тесной связи с обострением так называемого восточного вопроса, с подготовкой и последствиями Крымской войны и было своеобразным откликом русской медиевистики на внешнеполитические события того времени.

Исследование П. Медовикова — одна из самых ранних попыток изучения политического строя Латинской империи и ее отношений с греческими государствами и Болгарией. Автор довольно подробно нарисовал сложную картину военной, политической и дипломатической борьбы крестоносцев с Никейской империей, Эпирским деспотатом и Болгарией. Он считал, что по своему политическому устройству Латинская империя была „сколком с организации королевства Иерусалимского“, и резко подчеркнул в качестве причины ее скорого падения враждебное отношение греческого населения к завоевателям — франкам. Медовиков опроверг распространенное в современной западноевропейской буржуазной литературе мнение Гиббона о том, что будто бы только помощь Генуи обеспечила восстановление Византийской империи. Критически разобрав и сопоставив ряд латинских и византийских источников (хроники Каффаро, Мартина Сануто, договор Никейской империи с Генуей, показания Никифора Григоры и др.), Медовиков доказал, что греки освободили в 1261 г. Константинополь до прибытия запоздавшего генуэзского флота.⁴ Однако в целом диссертация Медовикова не имела существенного значения в разработке проблем крестовых походов. В ней не были даже поставлены некоторые конкретные вопросы, пути к разрешению которых можно было уже наметить, учитывая состояние изданных к середине XIX в. источников. На это обстоятельство обратил внимание Т. Н. Грановский в своей рецензии на книгу Медовикова.⁵ Т. Н. Грановский указал, что при „внешней полноте и богатстве фактов“ в книге отсутствовала глубокая разработка коренных проблем внутренней истории Византии; в частности, не было показано состояние империи перед захватом ее крестоносцами и не объяснены причины их быстрых успехов.⁶

¹ П. Медовиков. Латинские императоры в Константинополе и их отношения к независимым владетелям греческим и туземному народонаселению вообще. М., 1849.

² В. А. Бильбасов. Крестовый поход императора Фридриха II, СПб., 1863. В. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX вв., ч. I, стр. 114 и вслед за ним О. Вайнштейн. Библиография средних веков, стр. 303 — ошибочно относят названное сочинение к 1883 г.

³ Отметим попутно, что в 1865 г. в III т. Хрестоматии М. М. Стасюлевича „История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых“ были изданы в отрывках в переводе на русский язык важнейшие источники по истории крестовых походов.

⁴ П. Медовиков, цит. соч., стр. 154—155, 164.

⁵ Т. Н. Грановский. Латинская империя. Соч., т. II, стр. 135—152. М., 1856. Рецензия написана в 1850 г.

⁶ Там же, стр. 140 и сл. Необходимо заметить, что в своей рецензии Т. Н. Грановский высказал ряд чрезвычайно глубоких и интересных мыслей по истории Византии. Его статья требует специального изучения со стороны наших византистов.

Работа Медовикова была проникнута реакционной политической тенденцией защиты монархизма, православия, захватнической политики царизма на Ближнем Востоке. Непомерное место в ней занимают церковно-религиозные вопросы. Даже борьбу греков против латинского владычества автор объясняет приверженностью „массы народонаселения“ к православию.¹

Реакционная политическая концепция Медовикова ярко проявилась в его стремлении доказать, что основание западными рыцарями Латинской империи способствовало „утрате священной земли“ и ее переходу к „враждебным последователям лжепророка“.² Обвиняя Венецию в „ниспровержении державы, которая, может быть, еще долго служила бы оплотом против сарацин“,³ Медовиков выдвигал положение о „вине“ Запада перед „христианством“. Политический смысл этой „идеи“, которая впоследствии получила более подробное развитие у В. Г. Васильевского и особенно у Ф. И. Успенского, заключался в косвенном оправдании притязаний царизма в восточном вопросе накануне Крымской войны.

„Крестовый поход императора Фридриха II“ В. А. Бильбасова — одна из самых старых в русской медиевистике работ собственно по крестовым походам. Бильбасов привлек обильный материал источников и разработал ряд важных документов, опубликованных в издании Гийар-Бреколля в 1859 г. Особенно тщательно Бильбасов проанализировал „Итинерарий Фридриха II“ и договор Фридриха II с Египтом (1229). Следует отметить, что этот анализ был произведен Бильбасовым еще до того, как в западноевропейской медиевистике появились специальные исследования названных источников. Работа Бильбасова показательна для высокой исследовательской техники русской медиевистики начала 60-х годов. Некоторые выводы Бильбасова, в частности, оценка договора Фридриха II с египетским султаном, имевшего большое значение для развития торговых и политических отношений Запада с Востоком,⁴ и др. — не утратили своей научной ценности и до сих пор. Однако по своей методологической основе исследование Бильбасова является сугубо идеалистическим. В большей своей части оно совершенно устарело и может представлять лишь исторический интерес.

Следующий этап в развитии русской буржуазной историографии крестовых походов связан с усилением византиноведческих занятий в России в последней трети XIX и начале XX вв.

Известно, что это оживление русского буржуазно-дворянского византиноведения было вызвано в значительной мере определенными политическими целями правящих кругов царской России, надеявшихся использовать историю Византии для пропаганды принципов монархизма и православия в противовес усиливавшемуся революционному движению и для исторического „обоснования“ своих экспансионистских стремлений на Ближнем Востоке.⁵ Дальнейшее обострение „восточного вопроса“ в 70-х гг. было той непосредственной причиной, которая стимулировала интерес русских буржуазно-дворянских византинистов к периоду крестовых походов — периоду острой борьбы за византийские владения между Западом и Востоком.

¹ П. Медовиков, цит. соч., стр. 69, 71.

² Там же, стр. VI.

³ Там же.

⁴ Бильбасов, цит. соч., стр. 120.

⁵ См. Э. В. Удальцова. К вопросу об оценке трудов акад. Ф. И. Успенского. „Вопросы истории“, 1949, № 6, стр. 117.

Естественно, что это не могло не наложить своего отпечатка на политические и общеметодологические установки исследований по истории крестовых походов. Вместе с тем, однако, то обстоятельство, что проблемы истории крестовых походов стали у нас разрабатываться главным образом византологами, в то время как на Западе эти проблемы составляли монополию преимущественно исследователей западноевропейского средневековья и отчасти ориенталистов, — имело и некоторое положительное значение. Оно позволило русским буржуазным историкам внести свежую струю в изучение крестовых походов, выдвинуть новые точки зрения, по-новому осветить и разрешить многие вопросы истории крестоносного движения. Русские ученые сумели ввести в оборот новые многочисленные источники, углубить и обновить интерпретацию ранее известных материалов. Они выдвинули и разработали оригинальные концепции крестовых походов, значительно раздвигавшие исторические рамки, достигнутые современной им западноевропейской медиевистикой.

Все эти особенности нашли достаточно яркое отражение уже в работах выдающегося русского византиста В. Г. Васильевского — „Византия и печенеги“ (1872) и „Союз двух империй“ (1877).

В первой из них В. Г. Васильевский исследовал вопрос об отношениях между Византией и странами Западной Европы накануне первого крестового похода, имеющий большое значение для понимания истории возникновения крестоносного движения. В. Г. Васильевский признал подлинность знаменитого послания Алексея Комнина к графу Роберту Фландрскому и привел веские доводы в пользу этого взгляда.¹ Он утверждал, что Византийская империя, находясь в тяжелом положении в связи с угрозой одновременного нападения со стороны печенегов и турок-сельджуков, в 1091 г. обратилась за помощью на Запад и что это обращение явилось первым по времени стимулом для развертывания движения в пользу крестового похода среди западных феодалов. Идея крестового похода „в умах графов Фландрских, Боэмундов и Робертов Нормандских... созрела независимо от папы“,² определяющую роль в этом сыграло положение Византии и ее обращение на Запад за помощью. Впоследствии же „призыв папы Урбана потому нашел такой скорый и сильный отзыв в рыцарстве Фландрии, Нормандии и Франции, что ему предшествовал призыв императора Алексея“.³

В. Г. Васильевский обратил внимание на грабительские цели западных феодалов, показав, что ими руководили „не мистические порывы и аскетические потребности“: они шли с „надеждой на мирские выгоды, с мыслью о богатствах Византии“.⁴ Васильевский доказывал, что, по первоначальному плану, крестовый поход „прежде всего должен был направиться против печенегов“,⁵ но победа, достигнутая византийцами с помощью половцев и русских над печенегами в 1091 г.,

¹ В. Г. Васильевский. Труды, т. I, стр. 149—164. СПб. 1908. Впоследствии мнения исследователей разделились. Взгляд В. Г. Васильевского был принят Ф. И. Успенским („История крестовых походов“, стр. 6—8. СПб., 1901). Против признания подлинности этого документа выступил Д. Н. Егоров („Крестовые походы“, ч. I, стр. 134—138. М., 1914). Точка зрения В. Г. Васильевского оказала влияние на некоторых западных историков, например, Н. Hagenmeyer. Der Brief des Kaisers Alexios I Komnenos an den Grafen Robert von Flandern. „Byzantinische Zeitschrift“, B. VI, S. 26. Leipzig, 1897.

² В. Г. Васильевский, Труды, т. I, стр. 93.

³ Там же, стр. 94.

⁴ Там же, стр. 94.

⁵ Там же, стр. 95, 96.

укрепив положение империи, изменила направление крестового похода, который, по его мнению, мог бы иметь „совершенно другой исход, если бы Боэмунды и Готфриды явились как спасители греческой столицы“.¹

Несмотря на спорность некоторых выводов, сделанных В. Г. Васильевским, значение этого исследования заключается в том, что оно доказало, во-первых, несостоятельность распространенной в историографии точки зрения о папстве как о решающей силе, будто бы вызвавшей первый крестовый поход. Во-вторых, исследование В. Г. Васильевского привлекло внимание историков крестовых походов к изучению внутреннего и внешнеполитического положения Византийской империи. После этой работы стало невозможным искать причин первого крестового похода только во внутреннем состоянии Западной Европы, как это обычно делали западноевропейские историки. Европеоцентристским представлениям о начале крестоносного движения был нанесен серьезный удар.²

Такое же значение, но по отношению ко второму крестовому походу, имела статья „Союз двух империй“. Она посвящена изучению международных отношений Византии с середины 40-х до середины 50-х годов XII в., но в ней затронута и история второго крестового похода, хотя события собственно похода занимают немного места. В. Г. Васильевский связал историю этого похода с состоянием и развитием международных отношений Византии с западноевропейскими и мусульманскими государствами и проследил то влияние, которое оказали на исход второго крестового похода международные противоречия того времени. Заслуга В. Г. Васильевского состояла главным образом в том, что он, разработав обширный круг конкретно-исторических вопросов в области международных отношений середины XII в., поставил проблему второго крестового похода на более широкую историческую основу.

Едва ли можно сомневаться, что такая направленность работ Васильевского находилась в связи с обострением международных противоречий на Востоке в 70-х годах XIX в. Последнее обстоятельство и побудило русского историка ближе приглядеться к международным отношениям XI—XII вв.

Однако как по своим методологическим, так и политическим установкам обе работы В. Г. Васильевского страдают серьезными пороками.

В концепции возникновения первого крестового похода, предложенной В. Г. Васильевским, идейная ограниченность буржуазного историка-идеалиста сказалась в переоценке роли графа Роберта Фландрского и венгерского короля Владислава. Их „преждевременная“ смерть, по мнению В. Г. Васильевского, серьезно изменила первоначальное развитие крестового похода.³ В работе „Союз двух империй“ В. Г. Васильевский совершенно обходит вопрос о материальных, экономических предпосылках той системы международных политических отношений, которую он обрисовал очень подробно и в условиях которой происходил второй крестовый поход.

В статье „Союз двух империй“ политическая подоплека концепции В. Г. Васильевского выступает весьма рельефно. Особенно характерны его рассуждения о причинах неудачи первых двух крестовых походов.⁴

¹ Там же, стр. 108.

² В нашу задачу не входит анализ и оценка общей концепции этой работы В. Г. Васильевского. См. Б. Д. Греков. История древних славян в работах В. Г. Васильевского. ВДИ, 1939, № 1, стр. 341—346.

³ В. Г. Васильевский. Труды, т. I, стр. 95—96.

⁴ Там же, т. IV, стр. 18—21. Л., 1930.

Разбирая взгляды Зибеля и Куглера по вопросу о том, кто „виновен“ в неудаче — Византия или крестоносцы, В. Г. Васильевский утверждает, что „в XII столетии, точно так же как и в XIX, ... самым необходимым и существенным вопросом, обуславливавшим победу или же горькое разочарование, было соглашение католической Европы с православною империею и восточным православным императором“.¹ Это — откровенная поддержка внешнеполитической линии самодержавия в 70-х годах XIX в. на Ближнем Востоке. Реакционная политическая тенденция В. Г. Васильевского, пронизывающая его работу, существенно обесценивает ряд сделанных им наблюдений и выводов. Например, в статье „Союз двух империй“ В. Г. Васильевский, стремясь доказать во что бы то ни стало невинность Византии („православной империи“) в том, что не состоялось соглашения с Западом, допускает явно необоснованную гипотезу. По его мнению, Алексей Комнин ничего более как возвращения Малой Азии не добивался, а на Сирию и Палестину он не претендовал,² хотя хорошо известно, что политика Комнина состояла в том, чтобы заставить западных рыцарей принести ему ленную присягу и тем самым приобрести право на все земли, которые ими будут завоеваны.

Концепция В. Г. Васильевского подверглась дальнейшему развитию в работах некоторых русских византистов, например Ф. И. Успенского (см. ниже), П. Безобразова³ и др.

Крупный вклад был внесен русской исторической наукой в разработку истории четвертого крестового похода, в частности по одному из наиболее запутанных вопросов: об обстоятельствах и причинах изменения направления этого похода от первоначально намечавшейся цели — Египта — на Константинополь.

Бессильная вскрыть действительные причины и цели крестового движения, буржуазная историография не могла, понятно, дать научно обоснованный ответ и на этот интересный и весьма существенный вопрос. Все историки сводили дело к желаниям и стремлениям той или иной группы лиц, расходясь лишь в определении персонального состава этих групп. С середины 70-х годов в западноевропейской литературе о четвертом крестовом походе широкое распространение получила так называемая „теория германской интриги“.

Сущность этой теории заключалась в том, что все события четвертого крестового похода объявлялись плодом германского вмешательства. Основным „виновником“ поворота крестоносцев на Константинополь эта теория признавала германского короля Филиппа Швабского Гогенштауфена, который, действуя заодно с маркизом Бонифацием Монферратским, еще в 1200 г. якобы задумал направить подготовлявшийся тогда крестовый поход на Константинополь, а в 1201 г., оказав помощь в организации побега византийскому царевичу Алексею Ангелу (на сестре которого, Ирине, Филипп Швабский был женат), начал практически осуществлять задуманную политическую комбинацию. Сторонники этой теории утверждали, что в 1201 г. при дворе Филиппа Швабского в присутствии царевича Алексея, который, по теории „германской интриги“, был одной из главных пешек в комбинации, заду-

¹ В. Г. Васильевский. Труды, т. IV, стр. 18.

² Там же, стр. 20.

³ См. П. Безобразов. Боэмунд Тарентский. ЖМНП, 1883, ч. ССХХVI, стр. 37—119. Эта типично позитивистская по своей методологии статья лишь отчасти затрагивает общие вопросы истории первого крестового похода. Политическая ее тенденция в целом совпадает с взглядами В. Г. Васильевского, но проводится в более завуалированной форме.

манной германским королем, — между Филиппом Швабским и Бонифацием Монферратским был подписан договор. Согласно этому договору, маркиз Бонифаций в качестве главы крестоносцев обязался дать крестоносному войску задуманное при германском дворе направление, т. е. двинуть его на Константинополь под предлогом оказания помощи царевичу Алексею. Вся эта „теория“ была построена на совпадении ряда фактов предистории четвертого крестового похода с датой бегства из Византии царевича Алексея (лето 1201 г.), считавшейся тогда твердо установленной и бесспорной.

Главным „творцом“ и защитником теории „германской интриги“ выступил в середине 70-х годов французский ученый Риан,¹ который пытался обосновать эту теорию показаниями источников.

Внешне представляя собой стройную и цельную концепцию, теория „германской интриги“, однако, была крайне односторонней, не учитывавшей многих важных обстоятельств, среди которых развивались события четвертого крестового похода. К тому же она была подсказана определенными политическими взглядами французского историка: эта теория была создана вскоре после франко-прусской войны и носила ярко выраженную националистическую окраску. Стремление Риана „обвинить“ Германию в изменении направления похода было одним из проявлений той волны национализма, которая захлестнула французскую (как, впрочем, и немецкую) буржуазную историческую литературу в 70—80-х годах прошлого века.

Решительный удар теории „германской интриги“ был нанесен исследованием В. Г. Васильевского, результаты которого нашли свое отражение в его статье — рецензии на работу Ф. И. Успенского „Образование второго Болгарского царства“.² Занимаясь вопросами византино-болгарских отношений, В. Г. Васильевский установил, что царевич Алексей бежал в Европу не в 1201, а в 1202 г. Свою датировку он вывел путем чрезвычайно тонкого и мастерского анализа источников: показаний византийского историка Никиты Акомината, Новгородской летописи, письма Иннокентия III к императору Алексею III от 16 ноября 1202 г., данных Виллардуэна, Большой Кельнской хроники, „Деяний Иннокентия III“ и хроники Робера де Клари.

Соткрытием В. Г. Васильевского стало ясно, что если царевич Алексей бежал в Европу в 1202 г., т. е. тогда, когда крестоносная рать во всяком случае находилась уже в Венеции, то ни о каком договоре Филиппа Швабского с Бонифацием Монферратским по поводу восстановления Алексея на престоле с помощью крестоносцев, договоре, подписанном, согласно Риану, при германском дворе в 1201 г. в присутствии Алексея, не могло быть больше и речи. Поэтому и последующие события не могли более рассматриваться как дальнейшее развитие планов Штауфена. Здание теории „германской интриги“ рухнуло.

Но русская историческая наука разрушила не только эту ложную и искусственную концепцию четвертого крестового похода. Ей принадлежит заслуга критического пересмотра и ряда других не менее искусственных построений, созданных западноевропейской историографией по этому вопросу.

Дело, начатое В. Г. Васильевским, продолжал П. Митрофанов, опубликовавший в конце 90-х годов специальное исследование „Изменение

¹ P. Riant. Innocent III, Philippe de Suabe et Boniface de Monferrat. Paris, 1875.

² В. Г. Васильевский. „Образование второго Болгарского царства“ Федора Успенского. ЖМНП, ч. 204, стр. 337—348. СПб., 1879.

в направлении четвертого крестового похода¹, целиком построенное на критическом разборе точек зрения западноевропейских историков по поводу отдельных этапов этого похода.

П. Митрофанов не дает специального историографического очерка: он перемежает историографические экскурсы с попытками нарисовать собственную схему конкретной истории похода на основании параллельно проводимого им разбора источников. Но эти историографические отступления составляют существенную часть его статьи и в своей совокупности дают более или менее полное представление о развитии взглядов на четвертый крестовый поход и его отдельные этапы в буржуазной историографии XIX в. Необходимо подчеркнуть, что в разработке историографии четвертого крестового похода русская историческая наука значительно опередила западноевропейскую.²

При этом Митрофанов не просто пересказывает те или иные точки зрения — он подвергает их критическому рассмотрению: даже соглашаясь с какими-либо мнениями данного ученого, он тут же указывает на его слабые стороны, нигде не робелепствуя перед заграничными авторитетами.

На примере английского ученого Пирса П. Митрофанов разоблачает научную косность и отсталость иных „маститых“ буржуазных ученых Запада, для которых авторитет предшественника служил прикрытием собственного бессилия в разрешении трудных проблем. Наиболее ярко Митрофанов вскрывает научное идолопоклонство Пирса при рассмотрении вопроса о роли Венеции в повороте крестоносцев на Зару осенью 1202 г.

В свое время — в 60—70-х годах прошлого века — этот вопрос вызвал обширную литературу. Одни историки, защищая теорию, которую Риан назвал „теорией случайностей“, полагали, что поход против Зары был одной из многочисленных случайностей, наполняющих, по их мнению, всю историю четвертого крестового похода. Эту „теорию“ отстаивали Наталис де Вайи, издатель хроники Виллардуэна, опиравшийся на показания этой последней, Ганото, Гейд, исследователь левантийской торговли, и Тессье. Они представляли дело так, что Венеция просто воспользовалась затруднительным положением крестоносцев в своих торговых интересах, на пути которых лежала Зара. Другие буржуазные ученые — Мас-Латри, Гопф, Штрейт, а в начале и Риан — высказались за то, что поход против Зары был плодом обдуманной политической интриги венецианцев: венецианцы, для которых торговые интересы стояли выше религиозных соображений, сознательно взяли задержать и отклонить крестоносцев от их цели — Египта, так как Венеция имела там важные торговые интересы. По мнению этих историков, венецианцы вступили в соглашение с „неверными“ и за деньги и торговые льготы продали „святое дело“ султану Малек-Аделю, т. е. предумышленно „изменили“ делу „освобождения гроба господня“, имея в виду свои коммерческие выгоды.

В результате полемики, перипетии которой Митрофанов излагает живо и талантливо, перевес склонился на сторону защитников „теории случайностей“, и наиболее добросовестные ученые из числа сторонников „теории предумышленности“, вроде Риана, перешли в лагерь

¹ П. Митрофанов. Изменение в направлении четвертого крестового похода. „Византийский Временник“, т. IV, стр. 461—523. СПб., 1897.

² Работа E. Gerland. Der vierte Kreuzzug u. seine Probleme („Neue Jahrbücher für das klassische Alterthum, Geschichte u. deutsche Literatur“, B. XIII, S. 505—514) появилась только в 1904 г.

своих бывших противников. Но у „теории предумышленности“, которая после 15-летних споров, казалось, была погребена в архивах, в 1885 г. нашелся еще один запоздалый и, по остроумному замечанию Митрофанова, самый неудачный защитник. Это и был англичанин Пирс. Яркими красками Митрофанов рисует поистине достойное иронии положение, в котором оказался этот последний „верный рыцарь“ давно опровергнутой теории. В своих доказательствах Пирс „очень мало обращает внимания на известия современных источников: он упоминает о них только между прочим, не входя даже в рассмотрение вопроса об их происхождении или степени их достоверности“.¹ Пирс, после того, как было доказано, что никакого договора между Венецией и Египтом в 1202 г. не было подписано, снова взывает к этому несуществовавшему договору, который положил в основу своей концепции Гопф — ученый, которого Риан уличал „в намеренном обмане и переделке имен“.² Пирс „словно игнорирует всю литературу по этому вопросу, не обращает никакого внимания на статьи Штрейта, Ганото, Риана, Гейда и Тессье. Гопф продолжает служить для него незыблемым авторитетом, о который сокрушаются все направленные против него доказательства“.³

П. Митрофанов пытался не только пересмотреть тенденциозные и односторонние взгляды западных историков, но и дать свое оригинальное решение вопроса. „Воздавая должное“ интересам Венеции, ее „хитроумному“ дожу Дандоло, П. Митрофанов отказывается видеть в нем „единственного астор rerum всей этой грандиозной исторической эпопеи“.⁴ Он доказывает, что необходимо принимать во внимание побудительные мотивы остальных участников похода — политические расчеты Филиппа Швабского, притязания Бонифация Монферратского на Востоке, „благочестивое“ стремление большей части духовенства видеть греческую церковь воссоединенной с западной, наконец, жадность крестоносцев к деньгам, их любовь к грабежу. Все эти мотивы, по его словам, существовали несомненно „наряду с политическими расчетами венецианцев“.⁵

Аргументация, выдвинутая П. Митрофановым в защиту мысли о сложности мотивов и причин, приведших крестоносцев к стенам Константинополя, способствовала преодолению предвзятой односторонности, в которую впадали западноевропейские буржуазные историки. Тем самым исследование русского историка, отбросившего в сторону фетиши, которым поклонялись некоторые из буржуазных медиевистов Запада, доводя это поклонение до абсурда, было серьезным шагом вперед в изучении проблемы четвертого крестового похода.

Однако значение работы П. Митрофанова умаляется тем, что он, буржуазный историк-идеалист, не сумел вскрыть экономические основы сцепления политических интересов, результатом которого, по его мнению, был захват Константинополя крестоносцами. П. Митрофанов не показал, в частности, материальную подоплеку политики католической церкви во время четвертого крестового похода. Его вывод о „благочестивых стремлениях духовенства“ является сугубо идеалистическим и совершенно не оправданным. П. Митрофанов не смог также разглядеть те общественные группы, в интересах которых действовали тайные

¹ П. Митрофанов, цит. соч., стр. 490.

² Там же, стр. 488.

³ Там же, стр. 490.

⁴ Там же, стр. 519.

⁵ Там же.

и явные руководители четвертого крестового похода. Сведение противоречий и интересов политических сил к противоречиям и интересам отдельных лиц свидетельствует о буржуазной ограниченности автора статьи „Изменение в направлении четвертого крестового похода“.

Наиболее значительным произведением русской буржуазной исторической литературы по крестовым походам была книга известного византиниста Ф. И. Успенского „История крестовых походов“.¹ Она представляет собой последовательное изложение всех главных событий крестовых походов с конца XI до конца XIII в. Текст этой работы в значительной части вошел в „Историю Византийской империи“ того же автора.²

В книге Ф. И. Успенского намеченная еще В. Г. Васильевским идея важности изучения международных отношений для понимания крестовых походов получила конкретное воплощение в ряде ценных наблюдений и выводов. Так, например, уже при рассмотрении обстоятельств, ближайшим образом предшествовавших началу первого крестового похода, Ф. И. Успенский подчеркивает значение отношений между Западом и Византией для возникновения крестового похода. В основном следуя выводам В. Г. Васильевского („Византия и печенеги“), Ф. И. Успенский считает, что толчок к крестоносному движению был дан из Византии.³

Говоря о втором крестовом походе 1147—1149 гг., Ф. И. Успенский одной из причин его неудачи считал своеобразную международную обстановку, сложившуюся во время похода: союз Византии с Иконийским султанатом и, с другой стороны, союз Рожера II Сицилийского, врага Византии и Германской империи, с Египтом — создали крупные осложнения для крестоносцев и неблагоприятно отразились на ходе дела. Точно так же при изложении истории третьего крестового похода Ф. И. Успенский обращает большое внимание на международные политические отношения: англо-французский конфликт, англо-норманские и англо-германские противоречия в Сицилии, византийско-германские отношения. Много места уделяется международным отношениям славянских государств Балканского полуострова (Сербии и Болгарии), стремившихся воспользоваться крестовым походом для того, чтобы полностью освободиться из-под власти Византии. Ф. И. Успенский подробно рассматривает международные отношения Сербии, Болгарии, а также Венгрии в связи с третьим крестовым походом и их влияние на судьбу похода.

Четвертый крестовый поход занимает центральное положение в книге Ф. И. Успенского. Ф. И. Успенский показал, что при изучении этого похода „необходимо считаться и с общим строем европейских дел, и с отношением Византии к Италии, и, наконец, с борьбой светской власти с духовной“.⁴ Ф. И. Успенский неоднократно и настойчиво повторяет эту мысль, критикуя одновременно западных историков за их пристрастие

¹ Ф. И. Успенский. История крестовых походов, СПб., 1901.

² Ф. И. Успенский. История Византийской империи, т. III, стр. 136—168, 216—226, 329—345, 364—377. М.—Л., 1948.

³ В своей вводной статье к „Истории Византийской империи“ Ф. И. Успенского (т. III, стр. 14) Б. Т. Горянов очень неточно передает взгляд Ф. И. Успенского на историческое значение обращения Алексея Комнина к Западу. Ф. И. Успенский рассматривал это обращение не как „одну из причин первого крестового похода“, а только как „решительное и последнее побуждение“ к началу похода. Ф. И. Успенский. История крестовых походов, стр. 3. То же в „Истории Византийской империи“, т. III, стр. 137.

⁴ Ф. И. Успенский. История крестовых походов, стр. 113.

к односторонним концепциям, искусственным, хотя порой и остроумным домыслам в построениях.¹

То, что Ф. И. Успенский ввел историю крестовых походов в рамки международных политических отношений, было бесспорным достижением русской медиевистической мысли и означало шаг вперед в изучении и понимании крестовых походов. Благодаря этому новому аспекту крестовые походы перестали представляться продуктом чисто религиозной борьбы, как они рисовались со времен Мишо и Зибеля (борьба „креста с полу-месяцем“). Крестовые походы предстали перед читателем как серия мероприятий политического характера, непосредственно связанных с развитием международной жизни в XII—XIII вв.

Несомненно, что повышение роли международных отношений в конце XIX—начале XX вв. и место, которое занимала в их системе царская Россия, оказали решающее влияние на концепцию Ф. И. Успенского, направили его внимание в область международных отношений эпохи крестовых походов и позволили русскому историку сказать новое слово в изучении этой проблемы.

Однако, несмотря на указанные достоинства, концепция Ф. И. Успенского была далеко не совершенна. Она несла на себе отчетливый отпечаток идейной ограниченности буржуазного историка и его реакционных политических устремлений.

Политическое кредо этого историка как одного из усердных проповедников политических идей русского самодержавия получило в его „Истории крестовых походов“ яркое конкретно-историческое выражение. Ф. И. Успенский видел в крестовых походах „эпизод столкновения двух миров, разделяющих и поныне господство в Европе и Азии“; более того — он видел в них „вступительную главу в историю восточного вопроса, в разрешении которого России суждено принять деятельное участие“.² Стремлением Ф. И. Успенского обосновать и оправдать захватническую политику русского самодержавия на Ближнем Востоке проникнуты многие страницы „Истории крестовых походов“. Это стремление лежит в основе своеобразного взгляда Ф. И. Успенского на отношения между крестоносцами и Византией и на византийскую восточную политику. Ф. И. Успенский берет под защиту все действия византийских императоров по отношению к крестоносцам, снимает с них обвинения современников и новых историков в коварстве, вероломстве и хитрости, почти во всем и всегда отстаивает их правоту и идеализирует внешнюю политику византийских императоров. Так, например, он явно приукрашивает отношение Алексея Комнина к крестьянскому ополчению крестоносцев: „Император отнесся к этой крестоносной толпе со всей гуманностью и состраданием“. Ф. И. Успенский, как это ни странно у такого знатока источников, некритически принимает тенденциозный рассказ Анны Комнин о том, что Алексей якобы высказал полное расположение к „мечтателю“ Петру Пустыннику, сделал ему подарок, приказал раздать деньги и припасы его отряду и т. д.³ На самом деле византийское правительство в первую голову заботилось о том, чтобы удержать голодных и нищих пришельцев из Европы от грабежей и поспешило переправить их на азиатский берег, как только убедилось в неисполнимости этой задачи. Алексей руководствовался политическим расчетом, а отнюдь не „гуманностью и состраданием“.

¹ Ф. И. Успенский. История крестовых походов, стр. 105.

² Там же, стр. 2.

³ Там же, стр. 14.

Характерны рассуждения Ф. И. Успенского о причинах неудач крестовых походов. Говоря о первом крестовом походе и обвиняя в бедствиях и неудачах крестоносцев Боэмунда и норманнов, Ф. И. Успенский пишет: „Христиане на Востоке должны были (разрядка наша — М. З.) преследовать одну цель: твердо сохраняя солидарность между собою, они должны были заключить в то же время прочный союз с Византийской империей и направить все силы на мусульман“.¹ Как бы извлекая „политический урок“ из событий первого крестового похода, Ф. И. Успенский указывает, что „роковая ошибка (!? — М. З.) христиан заключалась ... во вражде с Византией“.² Он словно санкционирует задним числом захватническую политику крестоносцев на мусульманском Востоке, однако лишь при условии союза западных христиан с православной Византией, т. е. при условии, чтобы завоеванное крестоносцами досталось не только им, но и византийским императорам, наследником которых Ф. И. Успенский, как известно, считал русское самодержавие.³ Нет сомнения, что перед нами в замаскированной историческим прошлым форме определенная политическая программа: крестоносцы совершили ошибку, сокрушив Византийскую империю; Запад „виноват“ перед наследницей „второго Рима“ — Российской империей, которая должна восстановить свои исторические „права“ на Востоке, попранные в свое время по вине крестоносцев: „Не достигнув цели крестовых походов, западноевропейцы несут тяжкую ответственность перед судом истории“.⁴

Эту реакционную политическую тенденцию Ф. И. Успенского, элементы которой имелись еще у П. Медовикова и которая была отчетливо сформулирована В. Г. Васильевским, можно проследить и в других местах „Истории крестовых походов“. Проводя ее, Ф. И. Успенский иногда допускает явные фактические неточности. Например, обвиняя крестоносцев, он утверждает, что отрицательная оценка поведения крестоносцев в 1204 г., данная в Новгородской летописи, является единственной в своем роде и стоит особняком среди хвалебных описаний действий крестоносцев в западноевропейских хрониках. Ошибочность этого мнения показал П. М. Бицилли, посвятивший специальную статью вопросу об известиях о четвертом крестовом походе в Новгородской летописи.⁵

Идеализм составляет наиболее существенный методологический порок работы Ф. И. Успенского. Он помешал автору прежде всего вскрыть социально-экономические предпосылки крестовых походов. В „Истории крестовых походов“ мы не найдем подлинно научного объяснения этого важнейшего вопроса. Буржуазный историк-позитивист, Ф. И. Успенский стоит на позициях пресловутой „теории равноправных факторов“. При крайне схематичном изложении причин крестовых походов, перечислив такие „факторы“, как папская власть и влияние духовенства, „подвинувшего западные народы к исполнению воли римского первосвященника“, как „привычка к войне и жажда приключений“ рыцарства, отодвинув на последнее место „тяжкое экономическое и социальное положение народных масс“, — Ф. И. Успенский заявляет (заявление это чрезвычайно

¹ Ф. И. Успенский. История крестовых походов, стр. 47.

² Там же, стр. 168.

³ О концепции „третьего Рима“ у Ф. И. Успенского см. З. В. Удальцова. К вопросу об оценке трудов акад. Ф. И. Успенского. „Вопросы истории“, 1949, № 6, стр. 123.

⁴ Ф. И. Успенский, цит. соч., стр. 169.

⁵ П. М. Бицилли. Новгородское сказание о IV крестовом походе. „Исторические известия“, №№ 3—4, стр. 54—55. М., 1916.

характерно для сторонника „теории факторов“), что „все эти мотивы имели значение при возбуждении первого крестового похода“, но „ни каждый в отдельности, ни все вместе они недостаточно объясняют принятое крестовыми походами направление“.¹ В целом, по мысли Успенского, причины крестовых походов „остаются до сих пор не вполне ясными“.²

В „Истории крестовых походов“ Ф. И. Успенский нигде, кроме только что цитированной фразы, не уделяет внимания вопросу о положении народных масс и совершенно игнорирует проблему классовой борьбы в ту эпоху. Зато он крайне преувеличивает значение религиозных мотивов для возникновения крестовых походов. Он считает, что большие жертвы в первых трех крестовых походах были „принесены в удовлетворение религиозного чувства“,³ что „главные массы крестоносцев возбуждаемы были религиозными мотивами“.⁴ Впрочем, впадая в противоречие с самим собой, в другом месте он замечает, что уже к 1149 г. „религиозная идея похода совершенно отступает на задний план“.⁵ Такого рода непоследовательности встречаются в книге Ф. И. Успенского весьма часто.

С порочными методологическими основами работы Ф. И. Успенского тесно связана и непосредственно вытекает из них ошибочная переоценка роли отдельных участников и предводителей крестовых походов. Ф. И. Успенский пишет, например, что если бы в октябре 1093 г. не последовала смерть графа Роберта Фландрского, крестовый поход „имел бы тогда совершенно иное значение и... другие цели“, т. е. был бы направлен не на Иерусалим, а на Константинополь.⁶ Еще более показательна преувеличенная оценка, которую он дает значению деятельности Бозмунда Тарентского в первом крестовом походе: Бозмунд, по мнению Успенского, „принес много вреда всему христианскому делу на Востоке... он есть главный виновник всех бедствий, неудач и потерь крестоносцев... Он своим честолюбием поселил антагонизм между Византийской империей и крестоносцами“.⁷ Вместо того чтобы вскрыть действительную подоплеку антагонизма между Византией и Западом, Ф. И. Успенский сводит все дело к честолюбию нормандского князя и этим обесценивает свою собственную концепцию: политические противоречия Византии и Запада повисают в воздухе.

„История крестовых походов“ Ф. И. Успенского до настоящего времени остается единственным оригинальным сочинением в этой области, принадлежащим перу крупного русского ученого и охватывающим всю историю крестовых походов. Она содержит богатый фактический материал и читается с живым интересом. Ф. И. Успенский, используя результаты исследований своих предшественников—В. Г. Васильевского и П. Митрофанова, внес важные поправки в традиционные толкования ряда вопросов истории крестовых походов. Особенно существенно то, что он поставил историю крестовых походов в связь с историей Византии и международных отношений.

Однако отсутствие анализа социально-экономических основ крестовых походов, идеализм, отразившийся в объяснении причин этого

¹ Ф. И. Успенский, цит. соч., стр. 3.

² Там же, стр. 2.

³ Там же, стр. 113.

⁴ Там же, стр. 167.

⁵ Там же, стр. 67.

⁶ Там же, стр. 9. Ср. В. Г. Васильевский. Византия и печенеги. „Труды“, т. I, стр. 96.

⁷ Там же, стр. 47.

движения, в переоценке роли вождей крестоносцев, в чрезмерном преувеличении значения церковно-религиозных вопросов, в постановке историографических проблем (четвертый поход), наконец, политическая концепция автора, служившая „историческим“ обоснованием агрессивных планов царского правительства и русской буржуазии, — все это делает выводы Ф. И. Успенского нуждающимися в глубоком критическом пересмотре, а его работу в целом — чуждой и неприемлемой для советской историографии.

Через 15 лет после работы Успенского вышло другое сочинение по интересующему нас вопросу, на этот раз не принадлежавшее перу византиниста. Это был курс лекций Д. Н. Егорова „Крестовые походы“.¹ Лекции не являлись систематическим курсом истории крестовых походов, а излагали лишь отдельные наиболее важные проблемы этого движения. В своих выводах Д. Н. Егоров во многом расходился с Ф. И. Успенским, хотя идейно-методологическая основа исторических взглядов Д. Н. Егорова в главных чертах была той же, что и у Успенского.

Курс лекций Д. Н. Егорова носит ярко выраженный полемически-заостренный характер. Считая проблему крестовых походов далеко нерешенной проблемой („настоящий историк крестовых походов еще впереди“), Д. Н. Егоров строит все изложение на критике традиционных взглядов западноевропейской историографии по ряду узловых вопросов (подготовка крестовых походов, их цели и движущие силы, характер первого крестового похода и его отличие от остальных, причины неудачи и последствия крестоносного движения и т. д.). Самая постановка вопроса: „крестовые походы — нерешенная проблема“ — приковывает интерес читателя. Этот интерес усиливается по мере того, как в ходе тонкой критики традиционных взглядов, выработанных западноевропейской историографией XVIII и XIX вв., критики, основанной на глубоком и самостоятельном изучении источников, Д. Н. Егоров разбивает одно за другим устаревшие положения и создает новые оригинальные построения и выводы.

Особенно подробно останавливается Д. Н. Егоров на характеристике причин крестовых походов.

Он показывает, во-первых, что крестовые походы не являлись, как полагали многие западные историки, борьбой двух религий.² Путем анализа восточных и западных источников (Коран, высказывания Петра Достопочтенного и различных деятелей католической церкви, *De statu sacrasenorum* Вильгельма Триполитского — 1273 г. и др.) Д. Н. Егоров устанавливает, что до XIII в. в источниках нет ничего, что говорило бы о религиозной ненависти западных христиан к исламу; наоборот, и в церкви, и в народной среде существовало распространенное мнение о близости ислама к христианству.³ Религиозная ненависть появляется не в роли возбудителя крестовых походов, а в качестве результата их, в качестве итога полуторастолетней борьбы.⁴ Крестовые походы не могут быть объяснены как плод религиозной ненависти: „религиозные побуждения, как причина крестовых походов, совершенно неприемлемы“.⁵ Таким образом, Д. Н. Егоров совершенно правильно отрицает религиозный мотив как главный возбудитель крестовых походов.

¹ Д. Н. Егоров. Крестовые походы. Части I и II. М., 1914—1915.

² Там же, ч. I, стр. 72—80.

³ Там же, стр. 78.

⁴ Там же, стр. 73.

⁵ Там же, стр. 184.

Во-вторых, Д. Н. Егоров, вопреки традиционному взгляду западно-европейских историков, доказывает, что по своему происхождению крестовые походы не были папским предприятием. Анализ писем Григория VII от 1074 г. свидетельствует о том, что ошибочно считать Григория VII „отцом идеи крестовых походов“.¹ В отношении Урбана II эта же мысль подтверждается у Д. Н. Егорова остроумной попыткой реконструкции и разбором известной речи в Клермоне.² В свое время Зибель превозносил роль папства в организации первого крестового похода. О клермонской речи он высокопарно писал: „Слова, сказанные в тот день, бросили жизнь целого мира на новый путь“.³ Аналогичные высказывания можно найти и у других немецких и французских историков: Гёфеле, например, прямо называл Клермонский собор „создателем крестовых походов“.⁴ Эти историки видели в деятельности папства решающую причину, вызвавшую крестовые походы.

Д. Н. Егоров, порывая с традиционной точкой зрения западных историков, противопоставляет ей более близкий к истине взгляд: папы „не вызывают, не направляют крестовых походов, а лишь поддерживают их“.⁵ В соответствии с этим он и оценивает значение клермонской речи Урбана II: она способствовала развязыванию крестового похода, но лишь постольку, поскольку попала на уже подготовленную почву, — мысль, которой до известной степени нельзя отказать в справедливости.

Отрицание религиозной ненависти западных христиан к мусульманству и деятельности пап как главной причины крестовых походов разбивало традиционные конфессионально окрашенные концепции буржуазных историков Запада и содействовало более правильному уяснению проблемы происхождения крестоносного движения.

По мнению Д. Н. Егорова, идея крестовых походов зародилась в светских кругах.⁶

Крестовые походы готовились в течение всей второй половины XI в. Это был длительный процесс. Он происходил главным образом на юге Европы, где наиболее тесно „соприкасались арабский и христианский миры“.⁷

Идея крестовых походов, зародившись стихийно в светских кругах Южной Европы, приобрела затем широчайшую популярность в Западной Европе благодаря сочетанию различных причин материального и идейного порядка. Главная мысль Д. Н. Егорова, красной нитью проходящая через эту часть его курса, состоит в том, что невыносимо тяжелые условия материальной жизни западноевропейского крестьянства в XI в. были основным условием, сделавшим народные массы чрезвычайно восприимчивыми к идее крестовых походов. Эти тяжкие условия толкнули крестьянство к походу на Восток. В ярких красках, оперируя умело подобранными местами из источников (страшное описание голода в хронике Рауля Глабера, народные песни о „конце мира“, продиктованные страхом голодной смерти), Д. Н. Егоров рисует живые картины народных бедствий в десятилетия, предшествовавшие крестовому походу.⁸ Эти картины, в высшей степени выразительные, захватывают своей силой. Трудно найти во всей европейской литературе крестовых походов

¹ Там же, стр. 109—115.

² Там же, стр. 124—131.

³ H. Sybel. Geschichte des ersten Kreuzzuges, S. 185. Leipzig, 1881.

⁴ K. Hefele. Conciliengeschichte, B. V, S. 227. Freiburg. 1886.

⁵ Д. Н. Егоров, цит. соч., ч. I, стр. 131.

⁶ Там же, стр. 132.

⁷ Там же, стр. 106.

⁸ Там же, стр. 159 и сл.

такие широкие и яркие полотна, рисующие бедствия голодающего крестьянства накануне первого крестового похода.

Д. Н. Егоров полагает, что голод, как наиболее тяжелое бедствие для населения деревни, имел два „параллельных“ последствия: прежде всего он толкал крестьян к бегству с насиженных мест, затем — обострял испугательно-религиозное настроение, направившее их именно в Иерусалим.

Д. Н. Егоров весьма трезво оценил и истинные побуждения рыцарства. Он называет западных рыцарей „хищниками“ и „авантюристами“. „Пред нами, — писал Д. Н. Егоров об участниках первого крестового похода, — типичные искатели приключений, жадные, жестокие...“; „полная беспринципность, ненасытная алчность к наживе — вот чем должен быть отмечен этот рыцарский авантюризм“.¹ По мысли Егорова, дворян побуждала к участию в походе возможность „прежде всего“ „разделаться со значительной задолженностью“.² Кроме того, рыцари искали „поместий и владений“;³ их привлекало также „богатство восточных городов“. В конечном счете „надежда на грабеж“⁴ была одним из главнейших стимулов для рыцарства.

Немало интересного материала можно найти в лекциях Д. Н. Егорова и по вопросу о влиянии арабского Востока на материальную и духовную культуру Западной Европы в результате крестовых походов. Д. Н. Егоров отвергает „европоцентризм“ западных историков, их представление „об изначальной, извечной культурности Запада“, о том, „что всякие культурные радиации идут от Запада, от Европы“.⁵ На конкретных примерах Д. Н. Егоров показывает значительное превосходство арабского Востока над „франкским варварством“ и полезное влияние для Западной Европы тех заимствований, которые шли через „главные ворота“ этого влияния — крестовые походы. В этом отношении Д. Н. Егоров занимает более правильную позицию по сравнению с Ф. И. Успенским, склонным отрицать положительное значение крестовых походов для Запада.

Однако лекционный курс Д. Н. Егорова страдает рядом глубоких недостатков.

Д. Н. Егоров, как известно, не стоял на позициях материализма. Его весьма путанные историко-философские взгляды были в основе идеалистическими. Он был сторонником „теории равноправных факторов“. Поэтому, например, вскрыв чисто материальные мотивы, побуждавшие к походу рыцарство, Д. Н. Егоров тут же оговаривается: „неправильно“ „указывать только эту сторону крестовых походов...“; у Европы „несомненно было“ „идеалистическое настроение...“; „отдельные части крестоносного войска были пропитаны бескорыстными мистическими мотивами“⁶ и т. д.

Буржуазная ограниченность Д. Н. Егорова не позволяет ему глубже проникнуть в причины голода, поражавшего деревню: Д. Н. Егоров видит в нем только результат стихийных явлений — градобития, засухи, наводнения и т. п. и проходит мимо основного — феодальной эксплуатации, гнавшей крестьян на Восток. Как буржуазный историк Д. Н. Егоров закрывает глаза на факты обострения классовой борьбы накануне и во время крестовых походов.

¹ Д. Н. Егоров, цит. соч., ч. I, стр. 139 и 140.

² Там же, стр. 141.

³ Там же, стр. 142.

⁴ Там же, стр. 152.

⁵ Там же, ч. II, стр. 83.

⁶ Там же, ч. I, стр. 143.

С этими методологическими основами его построений тесно связан порочный метод изучения крестовых походов: это — метод формально-юридического анализа, берущий отдельные факты крестоносного движения сами по себе, метафизически, в отрыве от совокупности процессов, обусловивших те или иные события. Д. Н. Егоров широко прибегает в своем „Курсе“ к этому методу, глубоко чуждому марксистско-ленинской науке. Поэтому ко многим выводам и построениям Д. Н. Егорова необходимо подходить крайне осторожно и весьма критически.

Порочность методологии и политическая направленность всей работы Д. Н. Егорова очень ярко проявилась в общей оценке исторического места и значения крестовых походов. В противовес „традиционному“ пониманию крестовых походов в качестве „характерного эпизода средневековья“, Д. Н. Егоров выдвигает тезис, якобы „выводящий“ крестовые походы из средневековых рамок. По его мнению, крестовые походы вовсе не являются эпизодом, характерным только для средних веков. На протяжении всей мировой истории происходили попеременные „перекаты“ Запада на Восток и Востока на Запад. Крестовые походы были одним из проявлений этой „закономерности“ мировой истории: ослабление мусульманского мира создало благоприятные предпосылки для очередной „волны“ или „переката“ Запада на Восток. В этом положении в полной мере сказалось присущее буржуазной исторической науке начала XX в. отрицание исторического развития, — в основе этого отрицания лежало стремление увековечить капитализм. Как известно, в наиболее законченном виде это последнее проявилось в антинаучной концепции Допша, к которой, отметим попутно, Д. Н. Егоров относился более чем одобрительно.¹ В приведенном тезисе Д. Н. Егорова, кроме того, отразились бессильные попытки буржуазного исследователя исторически объяснить происхождение современных ему событий первой мировой империалистической войны и, протянув нить от этих событий к отдаленному прошлому, показать извечность и „фатальную неизбежность“ войн Востока и Запада. Д. Н. Егорову было чуждо понимание экономической и социально-политической сущности империализма как особой стадии общественного развития. Он рассматривал „империализм“ только как сумму завоевательных стремлений „вообще“ и возводил „империализм“ в этом „своеобразном“ понимании в вечную категорию.² Уже в XII—XIII вв. Егоров находил „конфликты интересов империалистических государств“.³ Вековые „перекаты“ Запада на Восток и Востока на Запад, одним из моментов которых были, по его мнению, крестовые походы, должны были послужить „историческим“ обоснованием и оправданием „истории текущей“. Не случайно во вводной лекции Егоров замечает: „Крестовые походы являются завязкой современного узла; именно тогда были сделаны первые шаги к созданию конфликтов, разрешающихся на наших глазах“.⁴ В этих словах в полной мере сказалась идейно-политическая ограниченность буржуазного историка, его реакционное стремление „исторически“ оправдать первую мировую империалистическую войну.

¹ См. Д. Н. Егоров. Новый взгляд на социально-экономическое развитие Запада в средние века. „Анналы“, т. II, Петроград. 1922.

² Наиболее развернуто эту точку зрения, с многочисленными „примерами“ из истории различных эпох, Д. Н. Егоров изложил в специальном цикле лекций об „Империализме культурном, экономическом и политическом“, который он читал в течение ряда лет в Московском коммерческом институте.

³ Д. Н. Егоров. Крестовые походы, ч. I, стр. 8.

⁴ Там же, стр. 3.

Работой Д. Н. Егорова завершается развитие русской буржуазной историографии крестовых походов. После нее русские буржуазные ученые дали только несколько популярных очерков, ярко демонстрирующих безысходный кризис буржуазной науки. Примерами могут служить работы О. А. Добиащ-Рождественской: „Эпоха крестовых походов (Запад в крестоносном движении)“,¹ „Западные паломничества в средние века“² и „Крестом и мечом (Приключения Ричарда Львиное Сердце)“.³

Хотя эти работы изданы после Великой Октябрьской социалистической революции, но по своим методологическим установкам они всецело принадлежат буржуазной историографии. Они проникнуты крайним идеализмом и религиозностью. О. А. Добиащ-Рождественская рассматривает крестовые походы как „огромных размеров паломничество“.⁴ Она идеализирует роль папства в крестовых походах, противопоставляя „бескорыстную мечту Урбана“ политическим целям итальянских норманнов.⁵ Ее книжка „Крестом и мечом“ проникнута духом антиисторизма. Деятельность Ричарда Английского в ней расценивается не с точки зрения тех условий, места и времени, в которых она протекала, а во „вневременном аспекте“, с позиций „эстета“, „романтика“,⁶ попросту говоря, — эклектика и идеалиста. О. А. Добиащ-Рождественская безмерно идеализирует Ричарда, возводит в бескорыстные подвиги самые неприглядные моменты в его политике, вплоть до того, что в бесстыдном ограблении английского народа этим авантюристом накануне третьего крестового похода она видит деятельность „первоклассного организатора“ и результат крестоносного порыва, увлекшего короля,⁷ оправдывает его жестокости в отношении мусульман, воспекает мнимое „благородство“ Ричарда, награждая его самыми лестными эпитетами.⁸

Работы О. А. Добиащ-Рождественской являются шагом назад по сравнению с тем, что было написано русскими буржуазными историками о крестовых походах. О. А. Добиащ-Рождественская игнорирует твердо установленную в их трудах важность роли международных отношений для крестовых походов, перенося центр тяжести на борьбу Ричарда — „льва“ — с „лисицами“ (Филиппом II Августом и Генрихом VI), в которой она видит только „личную трагедию“ „викинга во французской культуре“. В книжке „Крестом и мечом“ идеалистическая переоценка роли личности достигает своего наивысшего предела.

С позиций, типичных для буржуазного историка новейшего времени, О. А. Добиащ-Рождественская замазывает факты обострения классовой борьбы в XI в., отрицает ухудшение „материальных условий жизни“ крестьянства, преуменьшает его бедствия накануне первого крестового похода.⁹

Несмотря на довольно интересный фактический материал, работы О. А. Добиащ-Рождественской о крестовых походах являются совершенно чуждыми марксизму и для нас абсолютно неприемлемыми.

¹ О. А. Добиащ-Рождественская. Эпоха крестовых походов. 1918.

² О. А. Добиащ-Рождественская. Западные паломничества в средние века. 1924.

³ О. А. Добиащ-Рождественская. Крестом и мечом. 1925.

⁴ О. А. Добиащ-Рождественская. Эпоха крестовых походов, стр. 2.

⁵ Там же, стр. 30.

⁶ О. А. Добиащ-Рождественская. Крестом и мечом, стр. 12—13.

⁷ Там же, стр. 43—45.

⁸ Там же, стр. 5—6, 132, 133 и др.

⁹ О. А. Добиащ-Рождественская. Эпоха крестовых походов, стр. 10—14. Ср. „Западные паломничества в средние века“, стр. 38.

Подводя итоги, необходимо отметить, что русская буржуазная историография крестовых походов имела некоторые достижения в разработке этой проблемы. Она сделала многое для уяснения истории четвертого крестового похода. В ней была подчеркнута важность изучения крестовых походов в рамках международных отношений. Развитие русской буржуазной историографии крестовых походов шло самостоятельными путями, обусловленными спецификой русской социально-политической действительности. Русские ученые вырабатывали оригинальные построения истории крестовых походов, подвергая смелой критике устарелые и рутинные взгляды западноевропейских исследователей. В русской исторической литературе была с особой силой подчеркнута экономическая подкладка мотивов, побудивших к участию в крестовых походах рыцарство и крупных феодалов. Если западноевропейские историки за незначительными исключениями (мы имеем в виду главным образом просветителей XVIII в.) видели в крестовых походах великий „подвиг“ западных народов, то русские ученые во главу угла справедливо поставили захватнический и грабительский характер движения. Грабительские цели крестоносцев-рыцарей подчеркивали В. Г. Васильевский, Ф. И. Успенский, Д. Н. Егоров и другие исследователи крестовых походов. Русские медиевисты сорвали с крестовых походов ореол подвига „во славу господина“, разоблачили колонизаторские стремления рыцарства и князей западноевропейских стран. На множестве конкретных фактов они показали и заклеили варварское поведение франкских рыцарей на Востоке.

Вскрывая реальные мотивы, лежавшие в основе крестовых походов, низводя „подвиги“ крестоносцев на мусульманском и православном Востоке на уровень обыкновенного грабежа, русские историки двигали вперед изучение подлинного характера этого движения.

Но наряду с достижениями работ русских буржуазных историков крестовых походов были присущи коренные пороки, вытекавшие из классово-политической природы, идейной и методологической ограниченности этих историков как идеологов правящих классов царской России.

Русская буржуазная историография не сумела разрешить вопросы о социально-экономических причинах крестовых походов, об их историческом значении и последствиях, не поставила проблемы классовой борьбы в эпоху крестовых походов, не сумела с достаточной четкостью проследить изменения в характере крестовых походов.

Работы русских буржуазных историков крестовых походов проникнуты идеализмом. Во многих из них проводились реакционные политические идеи.

Проблема истории крестовых походов была по-новому поставлена и в основном разрешена лишь в советской историографии. Важнейшие стороны этой проблемы, как, например, вопрос о причинах крестовых походов, получили в советской исторической науке, вооруженной единственно правильной научной теорией марксизма-ленинизма, принципиально новое освещение: крестовые походы были поставлены в связь с теми глубокими изменениями, которые происходили в экономическом и социально-политическом развитии феодального общества с XI в. — отделением ремесла от земледелия, ростом городов, усилением феодальной эксплуатации зависимого крестьянства и обострением классовой борьбы. Советские историки, руководствуясь указаниями классиков марксизма-ленинизма, выяснили, что в конечном счете крестовые походы были результатом сдвигов в положении различных классов

западноевропейского общества, вызванных этими изменениями, и перемен в международных отношениях в XI—XIII вв.

Советская медиевистика, развивая „лучшие образцы, традиции“ отечественных исследователей „с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры“,¹ критически используя наследство буржуазной историографии крестовых походов, отбрасывая ее слабые стороны, продолжает и углубляет разработку проблемы крестовых походов.

М. А. Заборов

II. РЕЦЕНЗИИ

М. Я. СЮЗЮМОВ. ПРОБЛЕМЫ ИКОНОБОРЧЕСТВА В ВИЗАНТИИ

Отдельный оттиск из „Ученых записок Свердл. гос. педагогич. ин-та“, т. IV, стр. 48—110, Свердловск, 1948.

Исследование свердловского историка М. Я. Сюзюмова „Проблемы иконоборчества в Византии“ является извлечением из его кандидатской диссертации, защищенной в 1943 г. М. Я. Сюзюмов попытался поставить и разрешить некоторые основные вопросы ранней истории Византии и прежде всего вопрос о переходе к феодальной формации.

Работа состоит из трех глав. Первая глава — „Дофеодальный период византийской истории“ — дает общий очерк истории Византии до начала XI в.; во второй главе — „Иконоборчество и монастырское землевладение“, носящей преимущественно критический характер, и в третьей главе — „Роль изъятия церковных сокровищ в иконоборческом движении в Византии“ — автор пересматривает традиционные представления об иконоборческом движении и излагает собственные взгляды на эту многократно изучавшуюся, но все еще недостаточно изученную проблему.

Основная часть исследования М. Я. Сюзюмова составляет содержание двух последних глав; введением к ним служит заключительный раздел первой главы, дающий периодизацию иконоборческого движения. Такая конструкция работы является не вполне удачной, так как периодизация базируется на выводах, к которым автор приходит уже в последних двух главах: поэтому читателю приходится принимать эту периодизацию до того, как он ознакомился с концепцией, объясняющей сущность самого иконоборческого движения.

М. Я. Сюзюмов рассматривает иконоборчество как широкое общественное движение, в котором на различных его этапах принимали участие различные слои населения, внешне объединенные отрицательным отношением к иконам (стр. 69). По его мнению, иконоборческое движение зародилось в эпоху гибели крупного рабовладельческого землевладения и распространения свободной общины. На первых порах оно развивалось в крестьянской массе и в качестве ереси являлось выражением протеста крестьян против старых господствующих классов и поддерживавшей их церкви. Это движение развивалось „в массах независимо от иконоборческой политики“ (стр. 101).

В дальнейшем, по мнению М. Я. Сюзюмова, социальная база иконоборчества расширяется, вместе с тем меняется и его характер.

¹ Ленинский сборник, т. XXXV, стр. 148.

В него включается часть господствующего класса в лице растущей фемной знати, интересы которой отражала династия Исавров, а также части малоазиатского епископата, стремившегося путем незначительных уступок в вопросах культа сохранить свое положение и влияние на массы.

Автор считает, что противником фемной знати в этой борьбе выступает главным образом константинопольский патрициат. В иконоборческом движении интересы константинопольской знати столкнулись с интересами провинциального фемного землевладения, потому что, по мнению автора, спор об иконах был борьбой не против монастырского землевладения, как это считается обычно, а за овладение церковными сокровищами. В тяжелых условиях арабского вторжения, когда государственные доходы сократились в связи с упадком средиземноморской торговли, фемная знать, тогда еще заинтересованная в сохранении централизованного государства, стремилась воспользоваться храмовыми сокровищами, пополнить за их счет казну и отстоять независимость Византии. Константинопольская же знать выступила против изъятия церковных сокровищ, потому что, по мнению М. Я. Сюзюмова, они играли роль резервного фонда ростовщического капитала (стр. 103), черпая из которого, константинопольский патрициат умножал свои богатства. Таким образом, автор пытается вскрыть социальные корни иконоборчества на этом этапе, рассматривая его как борьбу между фемной знатью и городским патрициатом за захват монастырского, главным образом, движимого имущества, а не как борьбу „государства“ против „крупного землевладения“ вообще. Тем самым М. Я. Сюзюмов выступает и против традиционного представления буржуазного византиноведения, идеализирующего византийское государство; он показывает, что и в Византии государство не было абстрактным противником феодализма и крупного землевладения, но являлось выразителем интересов определенной социальной группировки.

Интересная по замыслу концепция М. Я. Сюзюмова не может быть, однако, признана достаточно аргументированной.

Прежде всего автору не удалось дать четкую периодизацию истории Византии.

Свою работу М. Я. Сюзюмов начинает с характеристики того периода, который он называет „позднерабовладельческим“ и относит к I—VI вв. В целом автор дает правильную характеристику этого периода как периода реакции в условиях кризиса рабовладельческой системы, однако некоторые положения его вызывают возражения. При рассмотрении периода I—VI вв. автор недостаточно четко разграничивает отдельные стадии в развитии позднерабовладельческого Рима, смешивая три по существу различных этапа, через которые прошло в это время рабовладельческое общество.

Для I в. еще рано говорить об ослаблении рабовладельческого поместья, наоборот, в это время имеет место максимальный рост рабовладельческого землевладения: хотя Колумелла и жалуется на истощение почвы вследствие применения рабского труда, тем не менее и он предпочитает рабский труд свободному. Кроме того, в I в. попытки выйти из кризиса носят иной характер, чем это представляется автору: в это время устанавливается открытая диктатура рабовладельцев. Автор не учел этого обстоятельства и перенес уже на I в. процессы, которые начались в следующие столетия.

В действительности, только во II—III вв. наблюдается относительный подъем мелкого землевладения как результат той „потребности

в более инициативном работнике“, осознание которой господствующим классом М. Я. Сюзюмов склонен относить уже к I в. Во II—III вв. появляется и расширяется практика сдачи земли в аренду *proximis possessoribus*, развивается свободный колонат, распространяется пекулий. И только в это время (отнюдь не в I в.) появляются юридические теории, отражающие попытки рабовладельцев выйти из кризиса путем повышения заинтересованности в труде непосредственного производителя. К слову сказать, не Ульпиан, как пишет М. Я. Сюзюмов (стр. 51), а еще до него Гай первым объявил рабство учреждением *juris gentilis*, т. е. учреждением *contra naturam*. Появление теорий естественного равенства было следствием сдвигов, которые произошли в социальных отношениях и в идеологии рабовладельцев, и объективным назначением этих теорий было оправдание новых форм эксплуатации непосредственного производителя. Поэтому нам представляется неправильным объяснять возникновение учения о естественном равенстве необходимостью повысить самосознание раба (стр. 51). Едва ли теории Гая и Ульпиана предназначались для рабов.

Новые формы эксплуатации рабского труда не привели, однако, к преодолению кризиса рабовладельческого общества — они дали лишь временный выход из него. М. Я. Сюзюмов упустил из виду обострение классовой борьбы рабов и колонов в III в. (*quasi-servile bellum* в Сицилии, восстание багаудов) и в IV в. (движение циркумцеллионов).

Наконец, можно выделить третий этап развития поздне рабовладельческого общества (IV—VI вв.): в это время происходит консолидация рабовладельцев. На Западе, где рабовладельческое государство было расшатано движением рабов, колонов и варварскими завоеваниями, она не увенчалась успехом. На Востоке, где господствующий класс в значительной мере существовал за счет централизованной эксплуатации непосредственного производителя через государственный аппарат, восторжествовала рабовладельческая реакция (эпоха Юстиниана).

Более четкое разграничение этих этапов в развитии поздне рабовладельческого общества устранило бы ряд недоуменных вопросов, которые вызывает у читателя ознакомление с первыми страницами исследования М. Я. Сюзюмова.

Автор недостаточно четко поставил здесь вопросы о колонате, об общине, о социальных функциях христианства.

Например, весьма спорной является мысль М. Я. Сюзюмова о христианстве поздне рабовладельческого периода как об идеологическом факторе, при помощи которого рабовладельцы стремились сделать раба более инициативным работником (стр. 52).

Нельзя согласиться и с мнением М. Я. Сюзюмова о том, что в VI в. свободное крестьянство в Византии „в подавляющей массе не знало общины“ (стр. 53). Этот вопрос получил иное освещение в советской литературе: в работах М. В. Левченко¹ и А. Б. Рановича² было показано, что общинные отношения сохранялись во Фракии, Галатии, Египте, Писидии, Сирии и даже в наиболее развитой римской провинции — Азии.

Поскольку основной проблемой исследования являются процессы, развернувшиеся после крушения „поздне рабовладельческого“ общества, естественно, главное внимание читателя привлекает интерпретация

¹ См. „Византийский сборник“, М.—Л., 1945, стр. 12 и сл.

² А. Ранович. Восточные провинции Римской империи в I—III веках. М.—Л., 1949, стр. 256—257.

автором проблем развития византийского общества в VI—VIII вв. (стр. 55 сл.). Собственно, в понимании автором особенностей этого периода и заключаются предпосылки его концепции иконоборческого движения.

Отправным пунктом всего исследования М. Я. Сюзюмова является мысль о том, что в истории Византии, так же как и западноевропейского общества, существовал период, когда античное рабство исчезло, а феодальная зависимость еще не сложилась.

Несомненная заслуга М. Я. Сюзюмова состоит в отчетливом показе того, что в Византии, как и на Западе, гибель рабовладельческого общества происходила революционным путем. М. Я. Сюзюмов начисто порвал с теорией, рисовавшей социально-экономическое и политическое развитие Византии как процесс медленного и постепенного перерождения византийского рабовладельческого общества в феодальное. В его работе убедительно показано, что переход к феодальной формации в Византии явился грандиозным переворотом, в котором массовые революционные выступления „низов“ сочетались со славянскими вторжениями на Западе и арабскими завоеваниями на Востоке. И в Византии времени генезиса феодализма предшествовал период коренной ломки старых общественных отношений.

Значение революции VII в. заключалось, по справедливому суждению М. Я. Сюзюмова, в том, что она лишила преобладающего положения землевладельцев, строивших свое хозяйство на эксплуатации рабского труда, что „в буре варварских нашествий и народных волнений“ пало старое крупное землевладение и „Византия превратилась в страну свободного крестьянства“ (стр. 58). Рисуя византийскую деревню этого периода, которую данные „Земледельческого закона“ и житийной литературы позволяют представить как общину свободных крестьян-собственников, М. Я. Сюзюмов правильно подчеркивает, что она была создана „на обломках в значительной степени ослабленного крупного рабовладельческого землевладения“ (стр. 61).

Специфическая особенность Византии этого периода состояла в том, что город не потерял своего значения (стр. 66). Это в значительной степени определило сложность социальной структуры, классовых интересов и противоречий в Византии. Анализ социальной жизни и политической роли византийского города в эту эпоху является весьма ценным. М. Я. Сюзюмов вскрывает специфику византийского города, показывает, что город довлел над деревней, эксплуатировал ее экономически (ростовщичество и т. д.) и политически (административный и фискальный гнет) (стр. 58 сл.).

Однако ни в коей мере нельзя согласиться с тем, что М. Я. Сюзюмов называет этот период дофеодальным. По нашему мнению, этот термин следует применять лишь к тем обществам, которые, подобно Киевской Руси, миновали в своем развитии рабовладельческую формацию.

Часть исследования, посвященная характеристике „дофеодальной“ Византии, содержит ряд недостатков. М. Я. Сюзюмов не устанавливает четких хронологических рамок „дофеодального“ периода. Иногда он определяет этот период VII—VIII вв. (стр. 57), в других местах относит его то к VIII—IX, то к VIII—X вв. (стр. 61, 62, 64, 66 и др.); наконец, в качестве последнего этапа иконоборческого движения автор выдвигает 922—1025 гг., называя это время „последним этапом дофеодального периода истории Византии“ (стр. 76), т. е. относит к „дофеодальному“ периоду даже начало XI в. Весь вопрос заклю-

чается в том, следует ли относить к „дофеодальному“ периоду X век, который сам автор на стр. 62 называет веком „аграрного переворота“, отделяя его от „дофеодального“ периода. В этот вопрос следовало бы внести большую ясность, поскольку от правильной периодизации зависит многое в понимании процесса феодализации в Византии.

Отсутствие четкости в этом вопросе приводит к ряду неверных положений в работе М. Я. Сюзюмова: он утверждает, что в VIII—X вв. (румынский историк Н. Константинеску растягивал этот период даже до XII в.) в Византии не было крепостных крестьян (стр. 64). Это положение неверно. Во-первых, в этом случае остается неясным, что представляла собой фемная знать, чей труд она эксплуатировала. Во-вторых, даже для IX и тем более для X в. источники свидетельствуют о наличии зависимого крестьянства. Зависимых крестьян знают акты Лавры св. Афанасия и Латрского монастыря (X в.), говорящие о *προσκαθήμενοι*; акты монастыря Иоанна Колову¹ (начало X в.) трактуют париков в смысле зависимых крестьян. Вполне возможно, кроме того, что зависимые крестьяне понимаются под терминами *δοῦλοι, οἰκέται*.² Наконец, жития IX—X вв. постоянно говорят об отпуске на волю рабов с наделением их *λεγῶτα*, т. е. наделами. Эти данные не согласуются с категорическим утверждением М. Я. Сюзюмова о том, что „в VIII—X вв. византийская деревня была поселением свободных крестьян, собственников и арендаторов исполу и десятинников“ (стр. 64). Эти данные заставляют характеризовать этот период в истории Византии как время сосуществования и борьбы по меньшей мере трех укладов: рабовладельческого, феодального и, если так можно выразиться, общинного.

Серьезным недостатком исследования является умаление роли классовой борьбы трудящихся масс и некоторая идеализация политики правящих классов. Восстания Фомы Славянина автор касается очень бегло (стр. 74). Между тем именно это восстание привело к сплочению всех прослоек господствующего класса, внешним выражением чего явилось восстановление иконопочитания в 843 г. Этим восстанием завершается период иконоборчества в узком смысле слова.

И в той части исследования М. Я. Сюзюмова, в которой (правда, очень бегло) рисуется наступление феодалов на крестьянство (стр. 65—66, 75—76), недостаточно освещена классовая борьба византийского крестьянства: автор ничего не говорит о восстании Лже-Дуки, или Василия Медной руки, о смутах Фок и Склиров, в которых, несомненно, принимало широкое участие крестьянство. Вскрывая противоречия внутри господствующего класса, М. Я. Сюзюмов отодвигает на задний план значение классовой борьбы закрепощаемого крестьянства. Недостаточное внимание уделено павликианам.

В ряде случаев М. Я. Сюзюмов чрезмерно идеализирует отношения между византийским государством, отражавшим интересы правящих классов, и крестьянством. Эта идеализация является следствием недостаточно продуманных формулировок, может быть, стремления заострить мысль, и иногда прямо противоречит основным и правильным взглядам автора.

У М. Я. Сюзюмова проскальзывает тенденция изображать правительственную власть Византии в роли выразительницы народных

¹ Изд. Порф. Успенский. История Афона, т. III.

² Ср. Е. Э. Липшиц. Восстание Фомы Славянина и византийское крестьянство на грани VIII—IX вв. ВДИ, 1939, № 1, стр. 364.

интересов, переоценивать значение актов государства „в защиту“ крепкого крестьянства, хотя, с другой стороны, автор вполне отчетливо видит, что подлинной защитницей крестьянства являлась его общинная организация. На стр. 54 автор пишет, что Юстиниан „был неумолимым“ и „беспощадно действовал против сильных людей“. Такая формулировка тем более досадна, что на той же странице выясняются действительные причины, толкавшие Юстиниана к обузданию крупных землевладельцев. Диссонансом звучат такие выражения, как, например: „Византийская государственность на отдельных этапах... действительно была заинтересована защищать мелкую крестьянскую собственность...“ (стр. 58). Здесь речь идет о Македонской династии, крестьянскую политику которой автор противопоставляет политике Каролингов, объявляя последнюю не в пример первой чисто декларативной и приписывая Македонским императорам „действительную заинтересованность“ в защите крестьянства. При всем различии феодализационного процесса на Западе и в Византии трудно, однако, отрицать принципиальное сходство побуждений, диктовавших принятие в законодательном порядке мер, направленных против посползновения растущей феодальной знати к закреплению свободного крестьянства как на Западе, так и в Византии. Факты показывают, что новеллы Романа I были не следствием заинтересованности государственной власти в защите крепкого крестьянства, но результатом крестьянских восстаний, т. е. вынужденными уступками. Мы уже отмечали, что М. Я. Сюзюмов упустил из виду эти восстания X в. Было бы, может быть, правильнее говорить лишь о некоторых дополнительных стимулах (по сравнению с Каролингами) крестьянской политики византийских императоров — удовлетворение в какой-то мере интересов городской чиновно-ростовщической верхушки, составлявшей в Византии, в отличие от варварских королевств Запада, существенную часть государственного аппарата и эксплуатировавшей крестьянство в форме взимания централизованной ренты, что так рельефно отмечено в исследовании. Говорить же о „действительной заинтересованности“ Македонской династии в защите крестьянства не приходится. Нельзя, кроме того, сбрасывать со счета и то, что политика императоров Македонской династии не была единой. Совершенно различными были мероприятия Льва VI, Романа I, Константина Багрянородного, Никифора Фоки, выступавших выразителями интересов различных групп правящего класса. Таким образом, нет оснований изображать политику Македонской династии в виде осуществления единой и строго последовательной программы, тем более, — программы защиты крестьянства.

Такого же рода ошибочные взгляды автора можно отметить и в других частях его работы. М. Я. Сюзюмов пишет об изменении отношения византийского крестьянства к варварам в VIII—IX вв. и указывает, что в это время „крестьянство... дружно отстаивало независимость своего государства“ (подчеркнуто нами. — М. З.) (стр. 65). В доказательство своей точки зрения он приводит легенду о Дигенисе Акрите, считая этот образ созданием народного эпоса. Доказательство автора в этом вопросе, однако, неубедительно. Нельзя забывать, что Дигенис в эпосе — выходец из знати (его родственники — стратиги и т. д.) и крупный собственник. Точно так же неубедительно приписывать народному творчеству превращение Константина V в образ богатыря.

На стр. 66 М. Я. Сюзюмов безоговорочно утверждает, что крестьянин в Византии мог в большей мере, чем на Западе „получить защиту

от государства": создается впечатление, что византийское государство выступало в роли благодетеля крестьянских масс. Указывая, что в отдельных случаях „государство всерьез и деловито (подчеркнуто нами. — М. З.) защищало от династов свободного крестьянина“ (стр. 68), М. Я. Сюзюмов в данной формулировке проходит мимо того, что это была „защита“ крестьянства от одной группы господствующего класса ради выдачи того же крестьянства на поток и разграбление другой фракции господствующего класса, хотя об этом он сам говорит в другом месте. Тем самым М. Я. Сюзюмов, в результате нечеткой формулировки, затушевывает классовую сущность политики византийских императоров, „всерьез и деловито“ защищавших не крестьянство, а интересы различных эксплуататорских прослоек.

В своей работе М. Я. Сюзюмов подвергает радикальной критике теорию иконоборческого движения, которую он называет „военно-бенефициальной“. Он справедливо отмечает, что эта теория противоречит прочно доказанному советскими исследователями положению о распространении свободной крестьянской общины (прежде всего в результате славянской колонизации) как основы глубокого обновления социального и военного строя Византии. М. Я. Сюзюмов отвергает главные положения „военно-бенефициальной“ теории, которая: 1) признавала колоссальные размеры церковного землевладения; 2) исходила из того, что такое положение было опасным для государства и 3) утверждала, что в результате борьбы с монастырским землевладением была введена система харистикий, которые эта теория приравнивала к западноевропейским бенефициям.

М. Я. Сюзюмов исходит из того факта, что монастырское землевладение потерпело огромный ущерб в результате славянских и арабских вторжений; в то же время земельные богатства монастырей и других крупных собственников были захвачены крестьянами. Из этого М. Я. Сюзюмов делает вывод, что никакая группировка господствующего класса не могла быть заинтересована в том, чтобы вступить в борьбу с крупным монастырским землевладением: „Никаких лозунгов секуляризации в источниках найти нельзя, да и никакой необходимости в секуляризации не было“ (стр. 89).

Утверждение М. Я. Сюзюмова о незначительных размерах монастырского землевладения накануне иконоборчества, как видим, служит главной предпосылкой для его гипотезы о том, что борьба с монастырским землевладением не могла являться основой иконоборческой политики. Таким образом, вопрос о размерах монастырского землевладения приобретает значение центрального вопроса всего исследования. Следует выяснить, насколько автору удалось его разрешить.

Проблема церковного и, в частности, монастырского землевладения накануне иконоборчества недостаточно изучена. Традиционное представление о том, что церкви в это время принадлежала треть земельной площади империи, не соответствует действительному положению вещей. М. В. Левченко, специально занимавшийся вопросом о церковных имуществах в Византии V—VII вв., показал, что это представление не находит себе подтверждения в источниках.¹ Источники, относящиеся ко времени варварского вторжения, как отмечает М. Я. Сюзюмов, ничего не сообщают о „монастырях-княжествах“, представление о которых так раздуто буржуазной историографией.

¹ М. В. Левченко. Церковные имущества V—VII вв. в Восточно-Римской империи. — „Византийский Временник“, т. II, 1949, стр. 18—19.

Однако нельзя считать, что вопрос о размерах монастырского землевладения получил в работе М. Я. Сюзюмова убедительное решение. Чтобы получить исчерпывающий ответ на этот центральный вопрос своего исследования, автор должен был бы собрать все конкретные данные житийной литературы и других памятников о возможно большем числе отдельных монастырей. К сожалению, М. Я. Сюзюмов не сделал этого; он привел лишь несколько примеров незначительности размеров земельных владений, а также указал, что точка зрения тех исследователей, с которыми он полемизирует, не аргументирована. Однако этого явно недостаточно. К тому же не следует забывать, что житийная литература тенденциозно преуменьшает размеры монастырских владений, подчеркивая „бедность“ и „нестыжательство“ монахов. Поэтому гипотеза М. Я. Сюзюмова отнюдь не может считаться доказанной. Правильно указывая, что иконоборчество явилось формой борьбы различных группировок господствующего класса, М. Я. Сюзюмов, однако, не смог доказать, что в его основе не лежала борьба за землю. Самый факт существования крупного церковного землевладения не может отрицать и автор, который приводит ряд ярких фактов, свидетельствующих о наличии значительных земельных владений в руках епископов-иконоборцев (стр. 81).

Далее М. Я. Сюзюмов отвергает традиционное представление о харистикии как об условном феодальном держании, аналогичном западноевропейскому бенефицию. Он показывает, что этот институт возник еще до эпохи иконоборчества и лишь позднее „в условиях роста феодальных институтов приобрел феодальный смысл“ (стр. 90). Доказательство необоснованности традиционного отождествления харистикии с бенефицием автором аргументировано более убедительно.

М. Я. Сюзюмов отрицает связь иконоборчества с развитием харистикарной системы и тем более — с введением военных бенефициев. По его мнению, единственным реальным результатом иконоборческого движения были упадок крупного и укрепление мелкого крестьянского землевладения: „Иконоборческая политика не содействовала развитию крупного землевладения, в конечном результате к концу VIII в. укрепилось... свободное крестьянство“ (стр. 96). Однако с этим выводом трудно согласиться.

Прежде всего следует отметить, что материал источников, которым оперирует автор для доказательства тезиса о значении иконоборчества как фактора, усилившего дальнейшее развитие свободного крестьянского землевладения, слишком ограничен: по существу речь идет лишь о 12-м правиле собора 787 г., в котором умалчивается о необходимости возвращения монастырю крестьянских участков, возникших на месте ранее разгромленных монастырских владений (стр. 96). Это *argumentum ex silentio* в качестве единственного довода для обоснования столь важного положения не может считаться достаточным. С другой стороны, восстание Фомы Славянина в самом начале IX в. убедительно свидетельствует о том, что эпоха иконоборчества была временем не укрепления свободного крестьянства, а началом становления феодальной зависимости.

Исследование М. Я. Сюзюмова заставляет пересмотреть основные положения „военно-бенефициальной“ теории иконоборчества, хотя выдвинутая им оригинальная концепция, по-новому объясняющая сущность иконоборческого движения, отнюдь не может считаться окончательно разрешающей проблему.

Работа М. Я. Сюзюмова обладает рядом других существенных недостатков. Автор чересчур бегло касается ряда кардинальных вопросов, сплошь да рядом высказывая интересные мысли, но почти не аргументируя их. Многие параграфы работы заслуживают того, чтобы быть развернутыми в специальные исследования. В противном случае отдельные, даже убедительные положения автора остаются все же недоказанными. Наконец, в отдельных случаях недостаточно четкие формулировки препятствуют правильному пониманию мыслей автора.

Хорошо выясняя социальную и политическую роль константинопольского патрициата, М. Я. Сюзюмов в то же время не уделяет должного внимания константинопольской чиновничьей бюрократии; иногда он отождествляет ее с патрициатом (стр. 68), однако ведь цеховые мастера и синклитики не составляли единого целого. Не случайно император Феофил заявлял, что синклитикам не пристало заниматься торговлей.

Убедительно вскрывая специфику византийского города и его социально-политическое значение в VII—IX вв., выдвигая тезис о большом значении, которое имел город в истории Византии, М. Я. Сюзюмов, однако, ссылается только на Константинополь. Роль таких городов, как Херсонес, Солунь, Трапезунд, Амастрида, автором не показана. Поэтому вывод о том, что и „после краха юстиниановской Византии город оставался в центре византийской жизни“ (стр. 60), оказывается недостаточно аргументированным.

Нельзя признать успешными попытки автора решить сложный вопрос об уровне сельскохозяйственного производства и его основных признаках в VIII—IX вв. (стр. 61). Соглашаясь с М. Я. Сюзюмовым в том, что применение примитивного бесколесного плуга в зерновом хозяйстве не может служить решающим признаком, мы не считаем возможным принять тезис автора о комбинации зернового хозяйства с огородным, садовым хозяйством и домашним скотоводством как решающем признаке уровня сельского хозяйства для этой эпохи: ведь если примитивный плуг применялся в зерновом хозяйстве до XIX в., то и указанная комбинация различных видов хозяйства отнюдь не свойственна только эпохе Салической правды или „Земледельческого закона“, — она была характерна еще для древнего Востока. Автор ставит этот вопрос мимоходом, между тем он требует специального углубленного изучения.

Своего рода „мимолетность“ в постановке отдельных вопросов особенно вредит автору там, где он пытается подтвердить свои выводы аналогиями с процессами, протекавшими на Западе. Автор высказывает ряд замечаний по вопросу о причинах сохранения более ярко выраженных, по его мнению, элементов крепостнической зависимости на Западе по сравнению с Византией (стр. 64); однако эти замечания вызывают серьезные сомнения. М. Я. Сюзюмов указывает, что на Западе крепостнические формы зависимости сохранились благодаря тому, что в процессе завоевания Западной Римской империи варварами между вождями варваров и остатками римской знати заключались компромиссы, между тем как в Византии варваризация происходила „более стихийно“. Получается, что сила революционных выступлений рабов и колонов на Западе была меньшей по сравнению с Византией. Это не вяжется с известными фактами восстаний именно в областях будущего франкского государства. Моменты компромисса носили временный, преходящий характер и имели место главным обра-

зом лишь в южных областях Западной Римской империи (остготское и вестготское королевства). Этим компромиссов было меньше во франкском государстве: не случайно Энгельс пишет о свободном франкском крестьянине, стоявшем между римским колоном и средневековым крепостным.

Неубедительна также и мысль автора о том, что условия для варварских вторжений в пределы Византии были более благоприятны, чем для вторжений в Галлию. Автор этим стремится отчасти объяснить причины более глубокой ломки элементов крепостничества в Византии по сравнению с Западом. Но не говоря уже о „мощных традициях централизованного государства“ в Византии (стр. 67), трудно согласиться с тем, что границы Меровингской Галлии были более защищены, чем границы Византии, и поэтому-де в Византии была менее благоприятная почва для компромиссов старой знати с варварской, чем на Западе. И этот вопрос нуждается в более углубленном исследовании.

Серьезным недостатком рецензируемой работы, подрывающим доверие к выводам автора, является прием доказательства тех или иных положений, касающихся определенных фактов определенной эпохи, путем ссылок на другие факты и источники, взятые из совершенно других эпох. Известно, что Ф. Энгельс в письме к К. Марксу от 15 декабря 1882 г. резко критиковал немецкого историка Маурера как раз из-за „привычки приводить доказательство и примеры из всех эпох рядом и вперемешку“.¹ Товарищ И. В. Сталин учит, что „непозволительно для марксиста смешивать и валить в одну кучу такие разнородные явления“, которые „отражают две совершенно различные эпохи, отличающиеся друг от друга не только по времени (что очень важно), но и по самому своему существу“.² Пренебрежение этими указаниями классиков марксизма-ленинизма ослабляет весомость многих доводов автора и приводит его порой к рискованным аналогиям.

Например, М. Я. Сюзюмов использует житие Феоктисты Лесбосской, относящееся, как доказал В. Г. Васильевский, к X в., для иллюстрации тезиса о запустении и разрухе старых рабовладельческих поместий в VII—начале VIII вв. (стр. 56); житие Илариона (конец IX в.) — для анализа социальных процессов первой половины VIII в. (стр. 72); исследуя порядок судопроизводства в византийской деревне VIII—IX вв., автор привлекает монастырские акты XIII—XV вв. (стр. 63). На стр. 58 автор уподобляет стратиотское землевладение землевладению в областях казачьего войска в России. На стр. 74 он пишет: „Подобно полякам в 1605 г., арабы использовали самозванца и т. д. . . ., проводя таким образом политику интервенции“, и проводит аналогию между Фомой Славянином (Аже-Константин) и Аже-Дмитрием.

Самого серьезного упрека заслуживает недостаточно критическое отношение М. Я. Сюзюмова к отдельным представителям и выводам буржуазного византиноведения. В особенности некритично отношение автора к некоторым положениям и выводам Г. Острогорского, например в вопросе о времени завершения феодного устройства (стр. 57), и Б. А. Панченко, идеалистическое высказывание которого М. Я. Сюзюмов цитирует, не давая ему критической оценки (стр. 57).

В этой связи нельзя не обратить внимания также на тот факт, что М. Я. Сюзюмов, подвергая пересмотру буржуазные концепции развития

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 599.

² И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 342.

Византии и проблемы иконоборчества, не проводит необходимого разграничения между буржуазным и советским византиноведением. Он пишет об исторической традиции „от Гиббона до стабильных учебников вузов советского периода“ (стр. 51), ставит в один ряд авторов советских учебников по истории средних веков и советских византинистов с буржуазными византологами Ш. Дилем и Папаригопуло (стр. 79). Следовало бы вообще подробнее остановиться на критике буржуазных концепций иконоборчества (Брейе, Острогорский и др.).

В заключение остановимся на некоторых более мелких недостатках рецензируемой работы.

В отдельных случаях М. Я. Сюзюмов дает неправильное или неточное толкование текста источников. В настоящее время нет нужды возвращаться к устарелому толкованию того места из тацитовской „Германии“, которое М. Я. Сюзюмов приводит на стр. 49 (см. также стр. 76, прим. 3) в доказательство того, что германцы-воины сами земледелием не занимались: это место („Германия“, гл. 15) относится скорее всего не вообще к германцам, как безоговорочно полагает автор, а к знати.

На стр. 57 неправильно указывается, что в житии Филарета Милостивого „подробно перечисляются его проастии“ — на самом деле в этом житии только указывается их число [кстати, проастии — это не обязательно пригородные имения, как думает автор (стр. 66)]. Пытаясь на основе данных этого жития доказать переход земель магнатов в руки мелких производителей, М. Я. Сюзюмов не учитывает того, что, по тексту жития, земельные владения Филарета были заняты не только земледельцами и соседями, „окрест его“ жившими, но и „династами“ (стр. 57). Таким образом, толкование автором источника является натянутым.

В работе встречаются различные неточности, мало удачные и недостаточно продуманные определения, спорная и неясная терминология и т. д. „Грузинское“ житие Илариона правильнее называть греческим, оно только сохранилось в грузинском переводе (стр. 72). На стр. 57 говорится о крахе рабовладельческого поместья во второй половине VII и в VIII в. в результате нашествий славян, персов и арабов, но ведь персидского государства во второй половине VII в. уже не существовало.

На стр. 63 дается ссылка на Салическую правду, XIX, 1; в действительности речь идет о титуле — *De migrantibus* (XLV).

Неясным представляется термин „позднерабовладельческое крепостное право“ (стр. 55). Крепостное право предполагает уже сложившееся феодальное общество. Если автор имеет в виду колонов, то Энгельс определяет их как „предшественников средневековых крепостных“.¹ Если этим термином автор обозначает известные формы зависимости крестьянской общины, существовавшие истари в странах древнего Востока, то ведь „царские земледельцы“ известны еще эллинистической эпохе, и по отношению к этой форме зависимости термин „позднерабовладельческое крепостное право“ также неприложим.

Наконец, хочется указать на техническую небрежность автора, проявленную в ссылках. Следовало бы выработать и привести список сокращений. Ссылки на одни и те же издания и памятники автор

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 126.

зачастую дает в разных произвольных вариантах, иногда очень неполно. Это затрудняет чтение работы и проверку ее выводов.

Все эти замечания не должны все же помешать общей положительной оценке работы М. Я. Сюзюмова. Нет сомнения, что после ее выхода трудно будет излагать по-старому историю Византийской империи в VII—IX вв. Работа М. Я. Сюзюмова разрушает традиционные представления об иконоборчестве как о борьбе государства против крупного монастырского землевладения. Однако позитивные положения М. Я. Сюзюмова, которые он выдвигает взамен традиционной концепции, вызывают, как мы видим, самые серьезные возражения: проблемы иконоборчества требуют еще очень серьезной работы советских исследователей.

М. А. Заборов

МАРИАН МАЛОВИСТ. КАФФА — ГЕНУЭЗСКАЯ КОЛОНИЯ В КРЫМУ И ВОСТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА В 1453—1475 гг.

381 стр. 1947.

**Marian Malowist. Kaffa — Kolonia genueńska w Krymie i problem wschodni
w latach 1453—1475.**

Монография польского историка М. Маловиста, посвященная истории Каффы в последний период ее существования, как генуэзской колонии, по тематике представляет несомненный интерес не только для Польши, торговля которой в средние века была тесно связана с львовско-каффинским направлением,¹ но и для советской историографии. История средневековой Каффы — современной Феодосии — часть нашего прошлого как в силу торговых связей Крыма и особенно Каффы с Киевом и Московским государством, так и в силу того, что Крым — часть нашей Родины. В истории Каффы средневековье Запада и средневековье Руси сливаются воедино.

Кроме новейшей обширной литературы, Маловист использовал большое количество опубликованных источников по истории разных стран (Польши, Литвы, России, Румынии, Италии, южнославянских стран, Венгрии): хроники, акты, произведения средневековых писателей, папские эпископии и др. Частично работа базируется на материалах, извлеченных автором из венецианского и генуэзского государственных архивов.

Книга состоит из двух частей. В первой из них автор дает краткую историю черноморских колоний Генуи до середины XV в. и более развернутую характеристику Каффы в середине XV в. со стороны топографии, населения, управления, финансов, торговли (внутренней и внешней) и отчасти ремесла. Больше всего внимания он уделяет внешней торговле. Гораздо более обширная вторая часть книги целиком посвящена истории международных политических отношений в Юго-Восточной Европе в 1453—1475 гг.

¹ Истории львовско-каффской торговли посвящены работы: S. Kutrzeba. *Handel polski ze wschodem w wiekach średnich*. Krakow, 1903; L. Charewiczowa. *Handel sredniowiecznego Lwowa*. Lwow, 1925.

Автор выделяет как объект исследования третью четверть XV в. Такое отмежевание определенного хронологического периода в истории Каффы дает автору возможность конкретизировать и тем самым несколько изменить обычное в буржуазной историографии суммарное представление о месте, которое занимала Каффа в международной торговле средних веков. Маловист следующим образом характеризует торговлю Каффы: вначале Каффа снабжала Восточную Европу продуктами Леванта в обмен на продукты севера. Но эта торговля не могла принять большие размеры, так как контрагенты Каффы не могли поглотить большого количества дорогих товаров. Уже в первой половине XV в. торговля Каффы левантскими продуктами отступает на задний план в общей сумме ее торговых оборотов. Во второй половине XV в. этот факт становится еще более заметным. Товары Леванта не исчезают совершенно с рынка Каффы, но преобладающую роль на нем теперь играют зерно и рабы. Зерно вывозится каффскими купцами главным образом из земель, расположенных у устьев Дуная и Днестра, преимущественно из Молдавии. Эти же области представляют рынок и для сбыта товаров, привозимых из Каффы. Торговые сношения с Молдавией приобрели огромное значение в экономической жизни Крыма, в частности Каффы. Города Белгород (современный Аккерман) и Килия стали связующими узлами между областью Днестра и Дуная, с одной стороны, и генуэзскими колониями Крыма — с другой. Эти два города были главными центрами экспорта зерна и продовольствия. В XIV в. Белгород находился под властью Генуи и лишь в начале XV в. перешел под власть молдавских господарей. Кроме того, земли, расположенные на низовьях Дуная и Днестра, являлись для генуэзских колоний в Крыму транзитным путем в Центральную и Западную Европу, что стало особенно важным после завоевания Турцией проливов. Из Белгорода через Сучаву можно было попасть либо в Польшу, либо в Венгрию, а затем и в Италию. Торговая связь между Каффой и Польшей, главным образом через Львов, — факт, установленный на основании источников, хотя детали этих сношений до сих пор не обследованы.

Если местности, прилегающие к Черному и Азовскому морям, были для Каффы главными поставщиками зерна и другого продовольствия, то главным поставщиком рабов был для нее Кавказ. В рассматриваемый период Каффа — знаменитый рынок рабов, снабжавший живым товаром Константинополь, острова Архипелага, Египет, Сирию, а также и Италию, в частности Геную. Повидимому, Генуя ввозила в Каффу взамен этих товаров различного рода сукна.

Каффа поддерживала торговые сношения как с Киевом, так и с Москвой. Однако Маловист утверждает, что торговая связь с Москвой не играла большой роли в экономической жизни Каффы, так как она имела возможность получать товары севера через Львов и Белгород (Аккерман).

Подводя итоги той части своей работы, которая посвящена характеристике международных торговых сношений Каффы в XV в., Маловист приходит к следующим выводам. Связи Каффы с северным побережьем Черного моря были значительно более интенсивными, чем сношения с южным его побережьем. Каффа сыграла прогрессивную роль в развитии Польши, Украины и Молдавии. Своим спросом на зерно она содействовала развитию сельского хозяйства в плодородных равнинах, расположенных у устьев Дуная и Днестра. Она пробудила энергию и торговую предприимчивость у населения этих стран и при-

общила их к участию в левантийской торговле. По мнению Маловиста, города Львов, Белгород, Сучава и Килия своим расцветом в XIV—XV вв. были обязаны в значительной степени Каффе. Иной характер носили экономические связи Каффы с Кавказом. Здесь генуэзцы выступали как эксплуататоры местных племен. Они были лишь организаторами охоты за рабами. В этом смысле они являются предшественниками турок. Товаров они привозили сюда немного и не содействовали развитию местного производства. Однако — таков конечный вывод автора — отрицательное влияние Каффы на развитие кавказских народностей компенсируется общей плодотворной ролью, которую она сыграла в черноморских областях. „Современный исследователь, — говорит Маловист (стр. 103—109), — должен оценить тот неизмеримо важный факт, что генуэзские купцы — не только торговцы рабами и эксплуататоры народов, стоящих на низшей ступени культуры“, они превратили Крым в центр международной торговли.

Далеко не все эти выводы можно признать убедительными.

Утверждение автора, что рабы стали одним из преобладающих объектов каффской торговли лишь в последний период существования Каффы как генуэзской колонии, нуждается в существенной оговорке. Уже в конце XIII в. каффские купцы очень часто заключали сделки купли-продажи рабов, как об этом свидетельствуют акты генуэзских нотариусов Перы и Каффы, относящиеся к этому времени.¹ Вообще оценка каффской торговли страдает преувеличениями и идеализацией. Безусловно, Каффа была крупным центром международной торговли. Но говоря о Львове, не следует забывать значения и других направлений его торговых связей.² Более чем сомнительно утверждение Маловиста о незначительной роли московской торговли в общем торговом обороте Каффы. Совершенно неясно, на чем базируется этот вывод. Если только на том, что власти Каффы проявили неуступчивость и настойчивость в известном конфликте между ними и Иваном III, вызванном ограблением каффскими купцами московских купцов, то подобное основание представляется нам явно недостаточным. Скорее, решающим моментом в данном случае являлась отдаленность Москвы от Крыма (сам автор указывает на этот момент). В русской исторической литературе уже подчеркивалось значение торговли Москвы с Крымом, а в советской историографии было высказано даже мнение, что „развитие и ранний расцвет московской торговли определились не столько западными, сколько юго-восточными ее связями“.³ Вопрос о размерах и значении торговли между Москвой и Каффой для обоих контрагентов требует еще очень внимательного исследования.

Но наибольшие возражения вызывает оценка кавказской политики Каффы, даваемая Маловистом. Терпимое отношение к эксплуатации народов, „стоящих на низшей ступени развития“, отразившееся в приведенной выше фразе автора, совершенно для нас неприемлемо. Никакие заслуги генуэзцев в смысле стимулирования торговой предприимчивости у населения Причерноморья не в состоянии заслонить фигуру генуэзца-хищника, генуэзца-работоторговца, наживавшего огромные капиталы на торговле живым товаром.

¹ См. Bratianu. Actes des notaires génoés de Péra et de Caffa.

² См. указ. выше польскую литературу.

³ Е. В. Сыроечковский. Гости-сурожане. 1935, стр. 9.

Во второй части монографии Маловист дает характеристику международных политических отношений в Юго-Восточной Европе в 1453—1475 гг., или, по его обозначению, восточной проблемы того времени. Автор рисует последовательные фазы этой проблемы, специально оттеняя в рамках каждой из них международное положение генуэзских колоний в Крыму, в особенности Каффы. Для внешней истории международных отношений этот раздел дает большой фактический материал. Перед читателем встает сложная сеть политических отношений между Польшей, Венгрией, Турцией, Золотой и Крымской ордой, Молдавией, итальянскими городами и республиками, мелкими крымскими государствами — Готией, Кампанией, генуэзскими колониями в Крыму. Этот раздел вводит также в изгибы отношений между враждующими коалициями итальянских городов и проливает свет на генуэзско-венецианское (а следовательно, и каффско-венецианское) противоречие интересов. Ряд данных показывает, что Генуя и Каффа выиграли от венецианско-турецкой войны и что этот факт благоприятно отразился на экономическом развитии Каффы.

„Восточная проблема“ сводится для Маловиста к вопросу о том, чем объясняются успехи Турции вообще и в отношении Каффы в частности. По мнению автора, тайну турецких успехов надо искать в тяжелом политико-экономическом кризисе, охватившем всю Европу. Время крестовых походов миновало, говорит он, глубокие противоречия политических и экономических интересов, существовавшие между европейскими государствами, исключали возможность организации общей обороны против турецкой агрессии. Все государства переживали период централизации и, чувствуя свою внутреннюю слабость, старались усилиться путем агрессии против соседей. Что касается Каффы, то она, будучи расположена вдали не только от метрополии, но и от какого бы то ни было крупного государства, не могла рассчитывать ни на чью помощь. Это и побуждало ее к уступчивости в отношении Турции. Однако политика уступок оказалась бесполезной для Каффы после того, как султан, одержав победу над Венецией, перешел к агрессии против придунайских земель. Когда же крымские татары выступили против Каффы под руководством князя Кампании Эминека, обратившегося за помощью к султану, последний понял, что создавшаяся международная ситуация благоприятна для подчинения ему генуэзских колоний Крыма. Тогда он заключил перемирие с Венецией, бросил свои силы на Черное море и осадил Каффу. Лишенные помощи извне и опасаясь дальнейшего обострения будто бы неожиданно вспыхнувших в городе национальных и религиозных противоречий, городские власти через пять дней капитулировали перед турками, после чего последние совершили массу жестокостей в отношении населения.

Рамки нашей рецензии не позволяют подробно остановиться на изложенной концепции в целом. Отметим только, что ее основной порок, делающий ее совершенно неприемлемой для историка-марксиста, заключается в игнорировании экономического развития европейских стран и классовой борьбы, развертывавшейся в них. Конечно, к XV в. время крестовых походов миновало. Но оно миновало прежде всего потому, что исчезли причины, вызывавшие крестовое движение: развились производительные силы, выросли города и весь экономический строй западноевропейских государств претерпел глубокие изменения. Те причины прекращения крестовых походов, на которые указывает Маловист, тоже сыграли известную роль. Но все это

причины вторичного, производного характера. К тому же некоторые из них (например, агрессия как результат внутренней слабости государств) неправильно истолкованы. А для автора именно эти производные факторы являются решающими.

В выдвинутой Маловистом проблеме нас интересует главным образом вторая ее половина — вопрос о падении Каффы.

Если отвлечься от чисто внешних описаний осады и капитуляции Каффы, которые часто встречаются в работах буржуазных историков, то придется констатировать, что проблема ее падения почти не затронута ни в западноевропейской, ни в дореволюционной русской буржуазной историографии. Даже те авторы, которые в виде исключения пытались дать не только описание, но и какое-то объяснение быстроте падения Каффы, были очень далеки от подлинно научного решения этой проблемы. Примером могут служить статьи Колли, напечатанные в 1911—1912 гг. в „Известиях Таврической архивной комиссии“.¹ Колли совершенно игнорирует социальную жизнь Каффы и классовую борьбу в ней.

То же по существу мы видим и в рецензируемой книге. Автор, правда, касается развернувшихся в Каффе социальных противоречий, но он явно недооценивает их значение для истории города вообще и для его падения в частности. В его книге противоречия эти играют лишь роль дополнительного аксессуара. Объяснения особенностей истории Каффы в последнее десятилетие ее существования Маловист ищет, главным образом, во внешнеполитических факторах: в сплетении международных отношений, подготовивших изоляцию Каффы и породивших безучастность других государств к драматической развязке ее истории. Классовая борьба в Каффе, очень многогранная, часто осложнявшаяся национальными и религиозными противоречиями, дана лишь отрывочно и неясно. Восстанию 1454 г., в котором участвовала масса городского населения и которое выдвинуло лозунг „Смерть аристократии! Да здравствует народ!“, отведены всего две-три строки. Совершенно не упомянуты восстания матросов, очень характерные для специфики и остроты классовых противоречий в генуэзских колониях Крыма.

Автор монографии вообще уделяет очень мало внимания внутренней жизни города. Так, характеристике каффского управления посвящено всего 10—11 страниц, и оно представлено лишь в общих очертаниях. Между тем устав 1449 г.² дает богатый материал для изучения основ колониального господства генуэзцев. Он показывает политическое неравноправие других народностей, населявших Каффу и подвергавшихся эксплуатации со стороны ничтожного генуэзского меньшинства: в момент падения Каффы в городе с 70-тысячным населением насчитывалось лишь две тысячи генуэзцев. В монографии Маловиста наблюдается тенденция представить эту эксплуатацию в смягченном виде, т. е. та же тенденция идеализации генуэзских правителей, которую мы констатировали у него применительно к сфере кавказской политики Каффы. Признавая факт подчинения жителей Каффы небольшой группе богатых генуэзцев, Маловист пишет: „Необходимо, однако, подтвердить, что генуэзское господство не было слишком обременительно. Правительство Генуи, а позднее банк св. Георгия, которому Генуя передала в 1453 г. власть над своими крымскими колониями,

¹ См. № 45 и 48, 1911—1912.

² Оpubл. Юргевичем в „Записках Одесского об-ва истории и древностей“, № 5.

заботились о судьбе подданных и старались обеспечить им свободу вероисповедания и возможность обогащения. Чрезмерное усиление налогового бремени и другие проявления гнета встречали суровое порицание со стороны генуэзских властей. Эти последние не руководились в своем поведении гуманитарными мотивами. Они хотели выжать из Каффы возможно больший доход, но понимали, что предпосылкой прочной эксплуатации является благосостояние населения и его довольство существующим положением вещей. Генуэзцы хорошо понимали, что должны избегать конфликтов с населением, хотя бы из-за турок, татар и других соседей Каффы, которые жадными глазами взирали на богатый город. Нужно признать, что генуэзцы достигли своей цели. Почти до 1470 г. совместное существование многих народов и вероисповеданий не вызывало на почве Каффы никаких серьезных опасений. Армяне, евреи и греки были привязаны к Генуе и охотно давали деньги на оборону колоний, правильно рассуждая, что турецкое или татарское владычество было бы значительно тягостнее, чем генуэзское господство. Они обладали широкой религиозной автономией, платили не слишком большие налоги, а обширная генуэзская торговля гарантировала им значительные прибыли" (стр. 103). Такова концепция Маловиста. Она глубоко искажает историческое прошлое.

Даже те факты о положении народных масс в городе, которые приведены в книге, несмотря на их явную неполноту, совершенно опровергают нарисованную Маловистом идиллию. Они свидетельствуют о глубоком недовольстве широких кругов городского населения, не раз приводившем к волнениям и восстаниям. Они опровергают и другое утверждение автора, а именно, что протекторы банка св. Георгия стремились к радикальной реформе управления в Каффе на началах большей справедливости и уравнительности. Ни одна из проведенных ими реформ не удовлетворила массу населения. Об этом ярко свидетельствуют не прекращавшиеся в Каффе народные волнения.

Мысль Маловиста целиком течет в обычном фарватере буржуазной историографии, нисколько не поднимаясь над ее уровнем. Для его монографии характерны те же черты, которые мы встречаем у других буржуазных историков, писавших о Генуе и Каффе (Канале, Донавера, Примоды и др.): то же подчеркнутое внимание к политическим судьбам Каффы, та же недооценка значения ее социальной истории, та же апология международной торговой роли генуэзского купечества.

Только глубокий социальный анализ существовавших в Каффе классовых противоречий в состоянии с полной удовлетворительностью показать, каким образом укрепленный город с 70-тысячным населением, обладавший достаточным количеством вооружения, мог в течение пяти дней пасть под напором турецкой армии. Но такой анализ может быть дан лишь на основе марксистско-ленинской методологии истории. Одна только характеристика международных политических отношений, с какой бы полнотой она ни была произведена, не даст научного разъяснения проблемы.

Исследование социальной истории Каффы уже начато в нашей советской историографии.¹ Долг наших историков продолжить эту работу.

В. В. Стоклицкая-Терешкович

¹ См. статью Е. С. Зевакина и Н. А. Пенчко „Из истории социальных отношений в генуэзских колониях Северного Причерноморья в XV в.“. „Исторические записки“, АН СССР, 1940, т. 7.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ в XIII—XIV вв.

**Actes de Kutlumus, Édition diplomatique par Paul Lemerle (Archives de l'Athos II).
Texte, Paris, 1946, pp. VI+305. Album, Paris, 1945.**

Изданные П. Лемерлем „Акты Кутлумуша“, одного из афонских монастырей, представляют собой второй том серии „Архив Афона“, первый том которой был издан в 1937 г. и содержал акты лавры св. Афанасия.¹

Значение афонских актов как исторического источника впервые было показано русскими византинистами еще во второй половине XIX в. Тогда же — гораздо раньше, чем в Западной Европе — русские византилисты приступили и к их опубликованию. Уже в 1873 г. Ф. Терновский издал акты Русского монастыря св. Пантелеймона; в 1880 г. Т. Флоринский опубликовал большое количество афонских актов по фотографиям П. Севастьянова; в 1898 г. В. Регель напечатал акты монастыря Ватопед. Особенно большую роль в издании афонских актов сыграл „Византийский Временник“, на страницах которого были опубликованы акты Ксенофонта, Зографского, Хиландарского, Эсфигменова, Филофеева монастырей и монастыря Пантократора. Издание афонских актов продолжали и советские византилисты. Например, в 1949 г. во II томе „Византийского Временника“ были изданы акты монастыря св. Павла. В отличие от большинства западноевропейских историков, русские и советские византилисты никогда не считали, что эти акты должны служить источником лишь для истории самих афонских монастырей, но стремились извлечь из них материал для внутренней, в первую очередь аграрной, истории последних веков Византийской империи. Именно в этом плане работали над актами В. Г. Васильевский, Ф. И. Успенский, П. В. Безобразов, Б. А. Панченко, И. И. Соколов, Б. Т. Горянов и др.

Поэтому естественно, что издание П. Лемерля должно привлечь внимание советских византистов.

Рецензируемый том содержит 80 актов, освещающих период от 1012 до 1856 г. Из них относятся: к XI в. — 1 акт; к XIII в. — 4 акта; к 1300—1349 гг. — 16 актов; к 1350—1399 гг. — 21 акт; к 1400—1453 гг. — 5 актов и к более позднему периоду — 33 акта.

Следовательно, из документов византийского периода основная масса приходится на XIV в., причем наиболее интересными по содержанию являются акты XIII и первой половины XIV в.

Акты изданы аккуратно. Каждому акту предшествует небольшое введение, описывающее внешний вид подлинника и излагающее его содержание. Здесь же издатель делает некоторые замечания по содержанию акта, обращая основное внимание на упоминание монастырей и церковных лиц (афонских протов и т. п.). Судя по всем данным, текст прочитан удачно, хотя кое-где можно было бы дать иное чтение. Так, в документе № 7 стк. 4—5 вместо *πράσεως τὴν..... φόβου ἢ δόλου* явно следует читать: *πράσεως τῆς γενομ(ένης) οὐκ ἐκ φόβου ἢ δόλου* (стр. 49).

В конце книги приложен указатель, облегчающий использование издания (стр. 281—299). Отдельно издан альбом фотографий некоторых актов.

¹ G. Rouillard et P. Collomp. Actes de Lavra, v. I, Paris, 1937

Книге предпослано введение, посвященное внешней истории Кутлумушского и Алипийского монастырей (стр. 1—25). Этот очерк обладает всеми пороками буржуазного исследования: автор не связывает истории монастырей не только с общей историей Византийской империи, но даже и с историей Афона; он не прослеживает влияния социальной борьбы на жизнь афонских монастырей и не уделяет должного внимания идеологической борьбе на Афоне и, в частности, идиоритму, несмотря на то, что в актах имеется кое-какой материал по этому вопросу.

Автор совершенно игнорирует тот материал по аграрной истории, который содержится в изданных им актах, и не отмечает, что можно было бы почерпнуть из них для понимания общих путей развития палеологовской Византии.

Не ставя перед собой задачи дать в этой краткой рецензии полное и всестороннее освещение содержания Кутлумушских актов, мы остановимся в дальнейшем лишь на тех документах, которые представляют, по нашему мнению, известную ценность для историка аграрных отношений империи.

Документ № 2 проливает новый свет на борьбу крупной церковной вотчины против среднего и мелкого землевладения. Он рассказывает о судьбах маленького монастырька, носившего название „Поле Агиопатита“ (Ἀγρός τοῦ Ἀγιopatίτου), в XIII в. Подобные мелкие монастырьки существовали в разных частях империи: они известны нам, например, по кодексу Лемвийского богородичного монастыря, расположенного вблизи Смирны. Один из них, монастырек св. Пантелеймона, обладал всего 40 модиями земли, виноградником в 1 модий, некоторым количеством олив и смоковниц и пасаками.¹ Столь же невелик был и монастырек Георгия Аскрувулита.²

Бесьма вероятно, что многие из таких монастырьков были построены крестьянами: во всяком случае в одном из писем Михаила Пселла мы находим известие о крестьянке, которая сообща со своими односельчанами участвовала в постройке монастырька,³ надеясь, повидимому, хоть в какой-то степени облегчить свое положение. Но в действительности эти монастырьки присваивались крупными монастырями, которые превращали их в зависимые земельные владения, называвшиеся метохами. При этом, правда, иной раз выдвигалось требование, чтобы метох сохранял характер религиозного учреждения и не был превращен в „поле“, т. е. поместье (ἀγρός).⁴

Интересующий нас монастырек Агиопатита был, однако, превращен в „поле“ и находился во владении монастыря Ихтиофага. Монахи этого монастыря передали „поле Агиопатита“ Алипийскому монастырю в обмен на другие земельные угодья. Вскоре было издано патриаршее повеление освободить монастырьки, находящиеся в подчинении у больших монастырей, и афонский прот Даниил объявил монастырек Агиопатита свободным. Но он не мог долго сохранять свою независимость и через несколько лет впал в прежнюю бедность (εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐρημίαν) и вновь превратился в зависимый. Перед нами,

¹ F. Miklosich—J. Müller. *Acta et diplomata graeca medii aevi*, v. IV, p. 58 sq.

² Ibid., IV, p. 107.

³ C. Sathas. *Bibliotheca graeca*, v. V, p. 376. Ср. Н. Скабаланович. *Византийское государство и церковь в XI в.* СПб., 1884, стр. 433.

⁴ Акты Русского на св. Афоне монастыря св. великомученика Пантелеймона. Киев, 1873, стр. 34.

таким образом, один из типичных эпизодов процесса поглощения крупной церковной вотчиной мелкого и среднего землевладения.

Интересный материал содержат документы № 8 и 18, позволяющие поставить вопрос о связях византийского поместья XIV в. с городом. Оба эти акта содержат описание владений крупных феодалов. В акте № 8 перечислено имущество Косьмы Панкалоса, переданное в 1313 г. константинопольскому монастырю Пантократора: кроме земли в районе г. Серры, Косьма имел дома, три эргастерия в Серрах и две пекарни (μαγειρεία). Одну из этих пекарен он купил, другая же была выстроена по его приказанию. Из акта № 18 мы узнаем, что Феодора Кантакузина передала в 1338 г. монастырю Кутлумуш имущество, в состав которого входили, помимо садов, виноградников, земли и скота, ремесленные помещения, сдававшиеся в аренду (εργαστήρια ἐνοικιακὰ), и пекарня. Таким образом, эти акты примыкают к давно уже изданному описанию владений Гуделиса, имевшего в конце XIII в., кроме земли, лавки и ремесленные помещения в Смирне.¹ Все эти документы показывают, что византийские поместья XIII—XIV вв. часто находились в тесной связи с городом и что многие феодалы были не только владельцами земли, но и собственниками лавок, пекарен, ремесленных помещений, за которые они, как мы знаем из описания поместья Гуделиса, взимали огромную ренту с ремесленников.

В актах монастыря Кутлумуш находятся и некоторые материалы для характеристики положения элевтеров. Особенно любопытные сведения содержит акт № 21. Он представляет собой решение, вынесенное в 1348 г. по жалобе монахов Алипийского монастыря на то, что архонтопулы г. Серры незаконно завладели их „приселившимися“ элевтерами (ἐλεύθεροι προσκλήμενοι), уведя их из монастырского метоха и распоряжаясь ими как собственными. Во время разбора дела монахи доказывали свои права не только ссылкой на показания свидетелей — они предъявили ряд „стародавних документов“ (παλαιγενῶν δικαιωμάτων), в том числе и императорских указов.

Этот документ показывает, что в XIV в. так называемые „свободные“ (элевтеры) представляли собой зависимых крестьян. Элевтеры, осевшие в монастырском метохе, повидимому, вынуждены были жить в нем из поколения в поколение, коль скоро монастырь мог доказывать свои права на них ссылкой на „стародавние документы“.

В документе № 7 от 1305 г. упоминается право близости. Из этого акта мы узнаем, что при продаже виноградника некто Михаил Врихон поставил на грамоте signum в знак отказа от своего права близости на продаваемую землю (τοῦ ἀποβαλλομένου τὸ δικαίον τοῦ πλησιαιότητος αὐτοῦ) (стк. 31). Этот акт является, таким образом, новым свидетельством сохранения права близости в XIV в.

В актах № 7 и 8 мы находим новые данные о цене виноградников в Византии:

- 1) 3 стремы продаются за 8 перперов — № 8.24;
- 2) 5 стрем — за 25 перперов № 7.9—10;
- 3) 4 стремы — за 35 перперов № 8.18—19.

Иначе говоря, цена за стрему виноградника составляет соответственно $2\frac{2}{3}$, 5 и $8\frac{3}{4}$ перпера; цена в $2\frac{2}{3}$ перпера является наиболее низкой среди известных нам цен на виноградники.

¹ F. Miklosich—J. Müller. Acta, IV, p. 286.

Очень интересный материал содержит и документ № 14, говорящий о дарении пѣрика вместе со всеми его владениями (μετὰ καὶ πάντων τῶν δακρίων καὶ προνομίων αὐτοῦ). Если мы не ошибаемся, до сих пор были известны лишь два таких случая: один указан в кодексе Лемвийского монастыря, другой — в описи монастыря богородицы Спилеотиссы (μετοχῇ τοῦ Τιμῆζου). Документ № 20 проливает новый свет на характер *ποσότης*, которая в XIV в. передавалась по наследству.

Во многих актах встречаются важные для аграрной истории термины: *зевгарь*, *ὀσπίτιον*, *ζευγηλατεῖον*, *προσκαθήμενοι* и т. д. Встречается в них и упоминание *Рѡς*, русских (№ 26.9). Следует отметить наличие на некоторых актах славянских и русских подписей.

Все это показывает, что акты монастыря Кутлумуш имеют большое значение для аграрной истории Византийской империи XIV в. Их данные должны учитываться советскими византинистами.

А. Ф. Вишнякова и А. П. Каждя

ПУБЛИКАЦИИ И ПЕРЕВОДЫ ИСТОЧНИКОВ

ПРОФ. К. Н. УСПЕНСКИЙ. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ИКОНОБОРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В VIII—IX вв. ФЕОФАН И ЕГО ХРОНОГРАФИЯ

(Продолжение)¹

Сам собой сейчас же выдвигается любопытный вопрос: если Феофан в повествовании о первых иконоборческих царствованиях исходил, хотя бы и сокрушая все на своем пути, из завещанных враждебной стороной изображений, которые до известной поры, до усиления реакции в 80-х годах VIII в., можно считать господствовавшими и общепринятыми, то все ли он без остатка отверг из этого материала, все ли заменил своей правдой? Если от изложения „иконоборческих“ выступлений императоров Льва III и Константина V, с которым враждебно столкнулся Феофан в своем источнике — „иконоборческой хронике“, уцелело, пусть в переработанном и переименованном виде, даже одно, два, три сообщения, то все-таки этим самым устанавливался бы хотя минимальный фонд фактичности его хронографии. Единственным и то очень приблизительным способом решения такой задачи является опять сопоставление состава повествования Феофана с таковым же патр. Никифора (в *Ἱστορία σύντομος*). Та или иная степень близости по содержанию и по форме отдельных пассажей должна засвидетельствовать заимствование их из общего источника. Таких совпадений в изложении внутренней, теснее — иконоборческой деятельности императоров у них значительно меньше, чем в истории внешней политики и стихийных событий. В пределах царствования Льва III их можно указать всего два. Первое из них, однако, таково, что не внушает никаких сомнений в пользовании здесь со стороны обоих историков одной хроникой враждебного направления, поскольку оба вступают с ее рассказом в полемику, причем Никифор даже иронически цитирует источник.

Theoph. 404,¹⁸ ἐν αὐτῷ δὲ τῷ
ἔτει..... ἀτμίς ὡς ἐκ Καμίνου πυρός
ἀνέβρασεν ἀναμέσον Θήρας
καὶ Θηρασίας τῶν νήσων ἐκ τοῦ
βυθοῦ τῆς θαλάσσης ἐπὶ ἡμέρας
τινάς, καὶ κατὰ βραχὺ παχυ-
νομένη καὶ ἀπολιθούμενη τῇ
ἐξάψει τῆς πυρώδους ἐκκαύσεως,
ὅλος ὁ καπνὸς πυροφανῆς ἐδείκ-
νυτο. τῇ δὲ παχύνητι τῆς γεώ-

Niceph. 57,⁵ Οἷον δὲ κατὰ τοὺς
χρόνους ἐκείνους περὶ τὰς νήσους
τῆς τε Θήρας καὶ Θηρασίας...
...συμβέβηκεν... παραδραμεῖν οὐκ
ἄξιον. θέρους ὥρας ἐνεσθηκαὶς συνηνέχθη
τὸν θαλάττιον βυθὸν πλείστον
ὅτι καπνώδη ἀτμὸν ἐξερέυσσεν,
ἐξ οὗ ἐπὶ πολὺ πυκνούμενου
τοῦ ἀέρος πῦρ ἐξαφθῆναι καὶ
μετὰ τὸ πῦρ λίθους Κισσιρώδεις

¹ См. „Византийский Временник“, т. III, стр. 393—438.

δους οὐσίας πετροκισσῆρους
μεγάλους ὡς λόφους τινὰς ἀνε-
πεμψε καθ' ὅλης τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας καὶ Λέσβου καὶ Ἀβύδου καὶ
τῆς πρὸς Θάλασσαν Μακεδο-
νίας ὡς ἅπαν τὸ πρόσωπον τῆς
Θαλάσσης ταύτης Κισσῆρων ἐπιπο-
λαζόντων γέμειν μέσον δὲ τηλικούτου
πυρὸς νῆσος ἀπογεωθεῖσα τῇ
λεγομένῃ Ἱερᾷ νήσῳ συνήφθη,
μήπω τὸ πρὶν οὐσα, ἀλλ' ὡς αἱ
προῤῥηθεῖσαι νῆσοι, Θήρα τε
καὶ Θηρασία ποτὲ ἐξεβράσθη-
σαν, οὕτω καὶ αὕτη νῦν ἐπὶ τῶν
χρόνων τοῦ... Λέοντος

διεκβρασθῆναι εἰς πλήθος μέγι-
στον, ὥστε εἰς εἶδος νήσου τοῦς
λίθους συστῆναι, ἐνωθῆναι τε
τὴν γῆν τῇ Ἱερᾷ καλουμένῃ
νήσῳ, ἣν δὴ καὶ αὐτὴν φασὶ τῷ
ὁμοίῳ τρόπῳ τοῦ βυθίου ἀνα-
δοθῆναι χώρου, καθάπερ καὶ
τὰς ῥηθείσας λόγος Θήραν καὶ
Θηρασίαν νήσους. Τῷ ἀπείρῳ δὲ
πλήθει τῶν ἀναδιδόμενων λίθων ἀνά-
πασαν κατεστορέσθαι τὴν
ἐκείνην Θάλασσαν ἐνθ' ἐνδε τε
ἀφικέσθαι ἄχρις Ἀβύδου καὶ
τῆς Ἀσιάτιδος παραθαλασ-
σίου.

И самая передача сущности катастрофы, и сходство выражений, и, наконец, характерное тождество упоминания о Святом Острове (Ἱερὰ νῆσος) не оставляют ни малейшего сомнения в выписывании обоими историками одного определенного источника, след которого у патр. Никифора остался в допущенном им обороте с φασι. Ввиду этого и дальнейшее совпадение Феофана и Никифора в сообщениях о связи катастрофы с началом иконоборчества Льва III необходимо сводить на тот же общий источник, который, надо сознаться, у Никифора прощупывается явственнее, чем у Феофана.

Theoph. 405,¹. Ὅς τὴν κατ' αὐτοῦ
θεῖαν ὀργὴν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λογισάμενος
ἀναδύστερον κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπ-
τῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον, σύμμαχον
ἔχων Βησῆρ τὸν ἀρνησίδεον καὶ τῆς
ἰσῆς ἀλογίας ἐφάρμιλλον...

Niceph. 57,²¹. Ταῦτα φασιν
ἀκούσαντα τὸν βασιλέα ὑπολαμβάνειν
θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα,
καὶ ἥτις αἰτία ταῦτα κελίγηκε
διασκέπτεσθαι. Ἐντεῦθεν λοιπὸν
κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται καὶ τῶν
ιερῶν εἰκονισμάτων μελετᾷ τὴν καθάρ-
ρσιν ὡς ἐκ τῆς τούτων ἰδρύσεως
τε καὶ προσκυνήσεως γεγονέναι
οἰόμενος τὸ τεράστιον, κακῶς
εἰδῶς. ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν λαὸν τὸ
οἰκτεῖν ἐπεχείρει δόγμα.

Ясно, что оба историка переделывали здесь одно и то же место общего источника, в котором стояло что-нибудь близкое к следующему: „Таῦτα δ' ἀκούσας, ὁ εὐσεβὴς βασιλεὺς ὑπελάμβανε θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα, καὶ ἥτις... διασκέπτετο. Καὶ οἰόμενος (λογισάμενος), ὡς ἐκ τῆς... γέγονε τὸ τεράστιον, τῶν εἰκονισμῶν, τὴν καθ. μελετᾷ, καλῶς εἰδῶς, καὶ...“ Но Феофану пришлось не только опровергнуть, как это добросовестно делает Никифор, это объяснение начала реформации Льва III, которое и стояло в источнике, но и исказить самый факт. Так как он уже под а. м. 6215 и 6217¹ приписал Льву III первые приступы к иконоборчеству, то здесь он должен был говорить не о первом „нечестивом“ выступлении императора, а о „более бесстыдном возбуждении войны против икон“, которое он сейчас же и разъясняет как попытки уничтожения икон (приводится халкопильское столкновение). Между тем у патр. Никифора, а судя по нему, и в источнике речь шла только о подготовке (μελετᾷ) уничтожения икон — в границах пропаганды

¹ Theoph. 402,8 ff и 404, 3—9.

в народе собственного учения (ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν Λ. τὸ οἰκεῖον ἐπεχειρεῖ δόγμα). Что и Феофан читал в источнике только о подготовке и распространении новых взглядов императора, свидетельствует его начальная фраза дальнейшего очерка: „οἱ δὲ κατὰ τ. βασι. π. ὄχλοι... λυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καινὰς διδασκαλίαις...“ Но я решаюсь отметить и еще одно характерное искажение, допущенное в данном сообщении Феофаном: ведь Никифор указывает два шага или две меры, принятые Львом III после истолкования значения катастрофы: вторая — это подготовка ниспровержения икон, но первая — это „κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται“. Едва ли можно считать последнее за общее обозначение, а первое за частичное; ведь под εὐσεβεία в VIII—IX вв. подразумевали нечто весьма определенное, а не вообще благочестие,¹ и εὐσεβῆς βίος было почти однозначуще с μονήρης βίος. Что стояло в источнике на месте этого εὐσεβεία, мы не знаем, но Феофан почему-то оторвал это гонение на благочестие и перенес его непонятным образом в окончание рассказа о восстании Космы и Агаллиана.²

Второе совпадение Феофана и Никифора касается конца драмы патр. Германа, каковой опять-таки вполне допустим и в иконоборческом источнике, только, конечно, в соответствующем освещении.

Theoph. 408,³¹. τῇ δὲ Ζ' τοῦ Ἰανν..... Λέων ὁ δυσσεβὴς σελέντων κατὰ τῶν ἁγίων.... εἰκότων ἐκρότησεν ἐν τῷ τριβουναλίῳ τῶν ἐν' ἀκουβίτων, προσκαλεσάμενος καὶ τὸν ἁγ. πατρ. Γερμανόν, οἰόμενος πείθειν αὐτὸν υπογράφαι κατὰ τῶν ἁγ. εἰκ. Ὁ δὲ γενναῖος τοῦ χρ. δ. μηδ' ὅλως πεισθεὶς τῇ μυσαρᾷ κακοδοσίᾳ αὐτοῦ, τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομήσας ἀπετάξατο τὴν ἀρχειρῶσύνην ἐπιδοὺς τὸ ὡμοφύριον καὶ εἰπὼν μετὰ πολλοὺς διδασκ. λόγους „ἐάν ἐγὼ εἴμῃ Ἰωνᾶς, βάλετε με εἰς τ. θ. χωρὶς γὰρ οἰκουμένης συνόδου καινοτομήσαι πίστιν ἀδυνατῶν μοι, ὦ β.

Καὶ ἀπελθὼν ἐν τῷ λεγ. Πλατανίῳ εἰς τὸν γονικὸν αὐτοῦ οἶκον ἡσύχασεν, ἀρχιερατεύτας ἔτη...

τῇ δὲ κβ'... χειροτονοῦσιν Ἀναστάσιον τὸν ψευδ. μαθητὴν καὶ Σύγκελλον τοῦ αὐτοῦ μ. Γερμανοῦ συνθέμενον τῇ Λ. δυσσεβεῖα... Γρηγόριος δὲ... καθὼς

καὶ προέφην, Ἀναστάσιον ἅμα τοῖς λιβέλλοις ἀπεκήρυξεν ἐλέγχας τὸν Λέοντα δι' ἐπιστολῶν ὡς ἀσεβοῦντα καὶ... ἀπέστησεν. Ἐκμανεὶς οὖν ὁ τύραννος ἐπέτεινε τὸν κατὰ τῶν... εἰκότων διωγμὸν, πολλοὶ τε κληρικοὶ καὶ μονασταὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοὶ ὑπερεκινδύνευσαν τοῦ ὀρθοῦ λόγου

Niceph. 58,³⁷. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀθροίζει πλείστον λαὸν τῆς πόλεως περὶ τὰ βασίλεια, καὶ συγκαλεῖ τὸν τότε τῆς πόλεως ἀρχιερέα Γερμανόν, καὶ συγγράφειν κατὰ τῆς καθαιρέσεως τῶν εἰκόνων... ἠνάγκαζεν. Ὁ δὲ παρητεῖτο καὶ τὴν ιερωσύνην ἀπέβαλεν, λέγων ὅς, „ἀνευ οἰκουμένης συνόδου ἐγγράφον πίστιν οὐκ ἐκτίθεμαι.

Ἐκείθεν ἐπὶ τὸν πατρικὸν οἶκον γενομένος αὐτοῦ τὸν τῆς Ζωῆς βιοτεῶν διατέλεσε χρόνον.

Μετ' αὐτὸν δὲ προχειρίζονται ἀρχιερέα Ἀναστάσιον κληρικὸν τῆς μεγ. ἐκκλ. τυγχάνοντα.

Ἐξ ἐκείνου τοίνυν πολλοὶ τῶν εὐσεβοῦντων, ὅσοι τῷ βασιλεῖ οὐ συνετίθεντο δόγματι, τιμωρίας πλείστας καὶ αἰχισμούς ὑπέμενον.

¹ Theoph. I, 442,²⁴, а главное у самого Никифора: 71, 10, 22; 72, 14, а также в βίος Στεφάνου του Νέου.

² 405,²⁴ „αὐτῆς δὲ τῇ κακίᾳ Λέων... καὶ οἱ τοῦτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διωγμὸν ἐπιτείνοντες“.

Этот случай является более замысловатым, чем первый. Одинаковое строение рассказа как будто подсказывает пользование и здесь со стороны обоих историков одним источником. Но само собой разумеется, что даже у более сухого и сдержанного Никифора этот эпизод должен был подвергнуться решительной переделке — в сторону сочувствия патр. Герману. Во всяком случае между сопоставляемыми авторами оказываются и значительные расхождения. Главное из них то, что у патр. Никифора, это первое и единственное столкновение между Львом III и Германом; у Феофана же — последнее из целого ряда их, приводящее к печальному исходу патриарха. В то же время патр. Никифор изображает дело так, что император только подготавливает иконоборческие мероприятия, но еще не дошел до их осуществления. По Феофану, истребление икон к данному моменту уже в полном разгаре. Отчего произошли такие явственные несогласия? Правда, Никифор весьма решительно сокращает и сжимает повествование — и, может быть, всю вереницу столкновений между патриархом и императором он стянул в один конечный инцидент. Против такого предположения говорит, однако, то обстоятельство, что, по Никифору, предшествующих столкновений между Львом и Германом и не могло быть, так как правительство еще не принимало решений против икон и только устроило большое собрание для выработки такового (συγγραφὴν κατὰ...), пригласив на него как авторитетное лицо и патриарха. Судя по известному наименованию патр. Германа „двоедушным“ в определениях Собора 754 г., можно думать, что он до последней решительной минуты не высказывал своего мнения относительно замыслов императора. Трудно сказать, к какому времени относится его послание к еп. Константину Наколийскому, но там он по вопросу об отношении к иконам говорит в весьма уступчивом и миролюбивом тоне.¹ Таким образом, есть основание оказать большее доверие Никифору, чем Феофану, который предположил этому „исходу“ Германа несколько более ранних выступлений его в роли исповедника иконопочитания — с целью показать „правду“ о нем и опровергнуть иконоборческое представление о нем как о двоедушном. Никифор более строго выписал из враждебного источника могшее там стоять сообщение о созыве большого собрания при дворце с предварительным silentium² в „трибунале девятнадцати акувитов“, на который был приглашен и патр. Герман, подававший повод к тому, чтобы ожидать от него присоединения к реформационной партии. На этом собрании поставлен был, вероятно, между другими и вопрос об уничтожении икон. Здесь же и произошел решительный разлад между императором и патриархом, отказывавшимся собственной властью, без вселенского собора, вводить какие-либо церковные реформы.

¹ См. у Migne. Patr. Gr. 98, 164. „... διαβεβαιουμένη μὲν πρὸς ὅσιν τοῦ Κυρίου, ἢ τῶν ἁγίων αὐτοῦ, ἐνεκεν τῆς τούτων εἰκόνας εἰπεῖν ἢ διαπράττειν, ἀλλ' ἢ μόνον τὴν Γραφικὴν προτάειν διδασκαλίαν περὶ τοῦ μὲν τῶν ἐν χρισμᾷ τῆς θείας ζωῆς τιμῆς. “Нүтина καὶ ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν οὕτως εἶναι, καὶ βεβαίως χρᾶτομεν, καὶ ομολογοῦμεν“.

² Вопрос о том, что представляли собой silentia в Византии в VIII в. не раз обсуждался в исследованиях. Принятое теперь мнение, что это народное собрание, в котором император обращается с речью к толпе, принадлежит В. Г. Васильевскому (ЖМНП, т. 191, стр. 286). Тот же ученый принимает перерождение silentia к X в. в совещание императора с сановниками — сенаторами. Несмотря на него я все-таки решаюсь в данном случае разделить народное собрание от silentia, собранного в Трибунале 19 акувитов, т. е. в помещении, едва ли рассчитанном на большое количество людей, на „толпу“.

Разлад повел к отказу престарелого Германа от патриаршества, замещению его клириком Великой Церкви, учеником и синкеллом Германа — Анастасием и преследованию лиц, заявлявших о несогласии с правительственными взглядами.

5

В пределах царствования Константина V таких переработанных выписок из враждебного источника у Феофана можно установить уже несколько больше. Самое начало этого ненавистного ему царствования, т. е. узурпационная попытка Артавазда и ее неудачный исход, в своих эпизодах и деталях изложенная очень близко к тому, что мы застаем (именно в частностях и номенклатуре) у патр. Никифора, могла быть заимствована только из предшествующей хроники, так как рассказана чрезвычайно точно и подробно (даже с излишними подробностями).¹ И снова приходится, отдавая и здесь преимущество более солидной работе патр. Никифора, выверять Феофана последним. Оказывается, что наименее пострадали в переделках Феофана самый ход и перипетии борьбы Константина с Артаваздом, которые эксперпированы довольно одинаково обоими историками, но, конечно, симпатии их (особенно явственно у Феофана) перетянуты на сторону Артавазда, хотя он и выступал дерзким узурпатором против законного и уже назначенного наследника престола.² Происхождение же смуты, ее мотивы, отношение народа к тому и другому претенденту, несомненно, искажены в передаче Феофана, так как во 1) не поддерживаются патр. Никифором, а во 2) в повествовании получились крупные недоразумения и противоречия. Именно тенденциозно придуманное Феофаном объяснение самой попытки Артавазда, неуклюже вплетенной в иконоборческое движение, однако, он за все царствование Льва III факто в этого движения так и не сумел привести, и заставляет обратить внимание на весь этот эпизод. Феофан связывает его с общей характеристикой Константина (по поводу его воцарения). Уже эта характеристика, которая дается им, вероятнее всего, под впечатлением вычитанного во враждебном, иконоборческом источнике панегирика и в опровержение этой „лжи“, поражает и раздраженной гиперболичностью и явными несуразностями. Составлена она, очевидно, из противоположений иконоборческой „похвалы“, совершенно риторически, без всякой реальной, фактической опоры. Это и есть первый опыт обещанного здесь „выявления правды“ о Константине V на пользу всем заблуждающимся и в опровержение утвердившегося мнения о нем. „Этот всегубительный, лютейший зверь, тиранически и далеко не законно воспользовавшись верховной властью, прежде всего отступился от бога и спасителя нашего Иисуса Христа и пречистой его матери и от всех святых, заблуждаясь в волхвованиях, непотребствах и кровавых жертвах, в лошадином кале и моче, восхищаясь развратом и

¹ Theoph. 413,20—414,2 = Niceph. 59,17—20;
414,18—415,22 = „ 59,25—60,28;
417,23—418,11 = „ 60,28—61,20;
419,7—421,6 = „ 61,20—62,20.

² Между прочим в своем пристрастии Феофан позволяет себе говорить это о Константине: „αὐτὸς γὰρ ὁ πανώλης καὶ ἀγριώτατος διὰ τὴν τυραννικὴν καὶ οὐκ ἐννόμην τὴν κράτην χρησάμενος“ (413,18—19), что характерно для его „правдолюбия“. Ничего подобного нет у Никифора.

общением с демонами, и просто с малых лет сжился со всеми растлевающими душу (упражнениями) делами".¹ Поскольку этим невероятным обвинениям Константина V придан quasi-фактический характер и поскольку здесь уже намечаются основания для позднее утверждающихся в „православной“ среде прозвищ этого императора *Κοτρώνυμος* и *Καβαλλῆνος* (которых, правда, сам Феофан еще не употребляет), мы должны разобраться в приведенной выше характеристике, возникшей в ожесточенной полемике с иконоборческими прославлениями Константина как „пророка и победоносного героя“, как „христолюбца, жизнь которого есть жизнь благочестивого, благочестивейшего от рождения, как сокрушителя нечестия идолослужения“.² Здесь необходимо принять в соображение, для более справедливой оценки Феофана, что он не одинок в такой испепеляющей ненависти к Константину V: те же преступления, те же скверны, те же мерзостные пороки приписывают ему и все прочие „православные“ писатели с начала IX в. Не миновал их в своих богословских сочинениях и сдержанный в „Краткой истории“ патр. Никифор. С риторической яростью раскрашиваются они и в агиографии и в таинственной *Oratio contra Const. Caballinum*. Они не являются, следовательно, индивидуальным творчеством какого-либо одного автора — Феофана, или Никифора, или диакона Стефана. „Уничтожение“ Константина (поскольку мы можем судить по дошедшей до нас литературе) создавалось в безличной монастырской среде, несомненно, как отпор епископально-военному превознесению любимого императора. Православная легенда о Константине в своих главных чертах готова была уже к последнему десятилетию VIII в., и Феофан уже уверенно пользуется и максималистическими ее положениями и пущенными в ход полюбившимися анекдотами-пасквилями, начиная с знаменитого инцидента при крещении Константина V.

Этот „случай“, который обычно и считали поводом для прозвания Константина *Κοτρώνυμος*,³ приводится Феофаном несколько ранее⁴ со ссылкой на „очевидцев“, но рассказывается так, что соблазнительный термин *κότρος* как раз отсутствует; и связь Константина с *κότρος* устанавливается в другой области, в увлечении этого императора лошадьми и скачками, в котором, самом по себе, конечно, ничего предосудительного и достойного обвинения не было, даже если оно доходило и до таких высоких степеней, о каких свидетельствует Житие св. Стефана Нового.⁵ Уже автор последнего явно допускает некоторую карикатуру, но легко же себе представить, как невинное и притом характерное для восточного императора увлечение конским спортом могло быть и преувеличено и извращенно перетолковано в мстительной монастырской среде. Кони — конюшни — навоз — вот

¹ Theoph. 413, 18—25.

² Провозглашение Собора 754 г. — в актах VII Вселенского Собора — Mansi XIII.

³ Впервые эта связь определенно зафиксирована, кажется, только Зонарой. См. Migne, Patr. Gr. 134, 1320 B. „ὅτε λέγεται κότρος αὐτὸν ἐκκρίνει τῇ θείᾳ κολυμβήτρᾳ καταδυσμένον, κἀντεῦθεν ἐπονομασθῆναι Κοτρώνυμον“.

⁴ Theoph. 400, 9—10. „ἀφοδεύσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγίᾳ κολυμβήτρᾳ, ὡς φασιν αἱ ἀκριβῶς αὐτόπαι γεγονότες“.

⁵ Migne. Patr. Gr. 100, 1113. „Καὶ ὅπου μὲν ἦν Χριστοῦ, ἢ τῆς Θεοτόκου σ. εἰκόνες — ἢ . . . ἀναχρίσει παρεδίδοντο. Εἰ δὲ ἦν . . . μάλιστα δὲ τὰ Σατανικὰ ἵππολάσια, κυνήγια . . . καὶ ἵπποδρόμια . . . ταῦτα τιμητικῶς ἐναπομένειν . . .“ Ibid. 1172. — „ἅπερ ὁ νεὸς Βαβυλωνίος τυράννος ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καταχρίσας . . . — το Σατανικόν ἵππολάσιον καὶ τὸν φιλοδαίμονα ἡνίοχον, ὅνπερ καὶ σατανικὸν ὠνόμασεν, ὡς αὐτοῦ προσφιλῆ . . . ἀνιστόρησεν, ὑπὲρ τοὺς ἀγ. Πατέρας τούτον τιμήσας“.

веки полета злобствующей фантазии: увлечен лошадьми, наездники — первые друзья, милее св. отцов, сам вечно в конюшнях, пропитан навозом и мочой лошадей, как истый лошадики — Καβαλλῖνος,¹ а далее — и сам полон скверны и навоза, настоящий Копроним. И родился полный этой скверны и крещение осквернил тем же. Я настаиваю на такой эволюции „копронимии“ Константина V, так как только с принятием этой „кривой“ становятся понятными указания Феοφана, который воспринимал православную легенду о Константине V уже в завершённом составе, даже больше, когда уже эпизод при крещении, вытекший из „лошадничества“ Константина, успел оторваться от последнего и превратиться в самостоятельный.² Так можно объяснить себе происхождение у Феοφана странного на первый взгляд обвинения Константина V в Καβαλλῖας τε κόπρος καὶ οὐρος ἀπατᾶσθαι,³ которое могло возникнуть как злобная карикатура на прославленное со стороны иконоборцев увлечение императора Константина спортом.

Что касается другого обвинения в разврате и всех пороках, то в унисон с Феοфаном поют ту же песню и патр. Никифор⁴ и Жития св. Стефана и Никиты Мидийского.⁵ И сам Феοфан в последующем повествовании не раз возвращается к этому сюжету.⁶ Можно, конечно, верить и не верить этим утверждениям Феοфана, но не в этом дело: утверждения — гол о словны, так как Феοфан не иллюстрирует их никакими фактами. Константин V мог быть и очень безнравственным и развратным человеком, но ясно, что Феοфану только хотелось, чтобы так было, но он ничего не знал об этом. Иначе он охотно привел бы фактические доказательства. В такой же общей форме эти обвинения выдают свое чисто диалектическое происхождение как антитезы иконоборческого панегирика и показывают отсутствие у Феοфана всякого материала для отрицательного суждения о Константине V.

Наконец, самое тяжелое обвинение, выдвигаемое Феοфаном против ненавистного императора, заключается в „отступлении от Иисуса Христа, богородицы и всех святых и в тяготении к колдовству, язычеству с кровавыми жертвами и обращениями к демонам“. Повторяемое на разные лады во всех известных нам писаниях той же эпохи, оно особенно характерно для мстительного монашества и иконодулии.

¹ Странно только, почему это „лошадиное“ прозвище выражено на латинском языке. Может быть, здесь надо видеть указание на ту „книжно-интеллигентную“ среду, в которой изобретено было наименование?

² Происхождение имени Копронима равно как и Кабаллина из увлечения Константином лошадьми отстаивал еще Панке — Weltgesch. V, 80; а за ним Шварцлозе — Bilderstreit, 58 и Lombard — Constantin V, 12—13.

³ Ср. Theoster. Vita Nicetae A. A. S. S., apr., I, XXIV. „Τοσοῦτον δ' ἔχαιρεν τῇ δυσωδίᾳ τῆς ἀκαθαρσίας ὁ δυσωδέστατος, ὥς καὶ τὰ ἀλισγημὰτα τῶν ἀλόγων χρίσθαι καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τοῦτο ποιεῖν πρὸς κελεύσθαι, οὗς ἐθεράπευεν...“ Niceph. Antirr. I (Migne, 100, 295): „τῆς κοπρίας ἢ οὐράς“.

⁴ Antirr. I (Migne, 100, 290 (и III), i. id., стр. 504).

⁵ Например, Migne, 100, 1172 и 1178 и A. A. S. S. loc. pr. cit.

⁶ Например, 442, 38. „αὐτὸς δὲ κιδαρωδῖας ἔχαιρε καὶ συμπόσιας, αἰσχρολογίας τε καὶ ὀρχησμοῦς ἐκπαίδευον τοὺς περὶ αὐτόν“. 443, 8—ff. „καὶ μάλιστα τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ καὶ μιστοὺς γεγονότας τῶν αὐτοῦ ἀσελγείων καὶ ἀρρητοποιῶν θανάτῳ καθυπέβαλεν...“ И далее: „Стратηγιον... ἀστέιον ὄντα τῷ εἶδει προσλαβόμενος (ἐφίλει γὰρ προσοικειοῦσθαι τοῖς τοιοῦτοις διὰ τὰς ἀκολασίας αὐτοῦ) αἰσθόμενος τε αὐτὸν ἀηδῶς ἔχοντα πρὸς τὰς ἀθεμίτους ἀνδρομανίας αὐτοῦ...“ Заметим кстати, что эпизод с казнью Стратегия очень неловко придуман Феοфаном: он сам (438, 10) называет Стратегия в числе 25 сановников, которые были казнены, „ὡς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευτάμενοι“, что подтверждается и Никиф. Antirr. 72, 74, 18; и непонятным образом дублирует гибель этого знатного юноши. Между тем этого эпизода, связанного с св. Стефаном, не знает автор жития последнего.

В один голос: и Феофан, и патр. Никифор,¹ и наиболее авторитетные агиографы — Феостирикт² и диакон Стефан,³ и *Oratio contra Const. Caball.*⁴ и т. д. заявляют о великой разнице между нечестием Льва III и его сына. Лев начал иконоборчество, но затем явился Константином, несравненно более нечестивый, предтеча антихриста, объявивший войну всей правой вере, выступивший врагом Христа, богородицы и всех святых, проявивший явную склонность к язычеству, чернокнижью и магии. Диакон Стефан прямо сообщает, что император поклонялся Дионису и посвятил его культу старинный загородный храм, где происходили даже человеческие жертвоприношения.⁵ Можно сказать, что эти обвинения Константина V представляют собой общее место в православной исторической и богословской литературе IX в. Несмотря, однако, на такое единодушие и уверенность, с которыми они выражены здесь, мы должны отнести к ним в высшей степени подозрительно, и прежде всего потому, что они просто невероятны для византийского императора VIII в. Кроме того, совершенно же ясно их происхождение, с одной стороны, как ответа на иконоборческие упреки „православию“ в раздроблении Христа, отождествлении иконы с божеством и языческом идолопоклонстве, а с другой — как противоположения иконоборческому же восхвалению этого императора именно как нарочито возлюбившего Христа, утвердившего правую веру, провозгласившего нераздельность двух естеств Христа и освободившего христианство от идолов и служения им. В частности, Феофан мог в своей контрхарактеристике исходить из своего возмущения, охватившего его при чтении панегирика Константину, возможно, стоявшего в его источнике. Наконец, подозрительность наша по отношению к основательности этих обвинений должна смениться полным недоверием, лишь только мы обратимся к тем декларациям, которые вынесены были на Соборе 754 г. относительно почитания и богородицы и всех святых.⁶ Отступление от них, иллюстрированное даже многочисленными анекдотами и свидетельствами лиц, якобы слышавших подобные нечестивые признания императора собственными ушами, не только невероятно, но опровергается документальными данными.

Увлеченный „уничтожением“ Константина V, Феофан принужден был указать, что все (христиане), т. е. большинство населения, никогда не относились сочувственно к этому „тирану и извергу“: лишь некоторые „сбитые с толку людишки“ (τοῖς καὶ νῦν πλανωμένοις ἀθλοῦ ἀνδράριος) верили в его „избранничество и богоугодность“. Очевидно, он и поспешил воспользоваться не совсем спокойным и гладким утверждением Константина во власти, чтобы доказать свою мысль.

¹ Antirr. III y Migne. Patr. Gr. 100, 532.

² V. Nicetae. A. A. S. S., apr., I, XXIV—XXVIII.

³ V. Steph. Jun. Migne, 100, 1110.

⁴ Migne 96, 337.

⁵ Migne 100, 1169 B. „Ὅδὲ... βασιλεὺς, ὁ πᾶσαν Ἑλληνικὴν σπονδὴν μουσικῶς ἐκτελῶν... διόνυσον καὶ Βροῦμον εὐφημῶν... καὶ Μῆδραν τὸν τόπον ὀνόμασεν, ἐνθα καὶ τὰς πρὸς τοὺς δαίμονας συνήρχας ἐποιεῖτο. Καὶ μαρτυρεῖ τὸ εἰς θυσίαν δοθὲν τοῦ Σουλταμίου παιδάρου...“

⁶ „Кто не исповедует, что приснодева Мария воистину богородица, что она выше всякой видимой и невидимой твари, и не просит у нее ходатайства с искренней верой, как у имеющей дерзновение к рожденному от нее богу нашему — анафема“.

„Кто не исповедует, что все святые... досточтимы перед очами его как по душе, так и по телу, и не просит молитв у них, как у имеющих дерзновение, согласно церковному преданию, ходатайствовать о мире — анафема“. См. в Деяниях VII Вселенского собора. Mansi XIII.

Может быть, это была и просто смелая догадка с его стороны, но он решительно переработал сообщение своего общего с патр. Никифором источника о начале смуты после смерти императора Льва III. Оттого у него и получилось такое значительное расхождение с *Ἱστορία σύντομος*, строже придерживавшейся источника:

Theoph. 413.²⁵ ἐπεὶ δὲ τὴν πατρικὴν ἀρχὴν σὺν τῇ κακίᾳ προσέλαβεν... οὐ μικρὰ γὰρ ταύτην βλέποντας πάντας (χριστιανούς) κατέλαβεν ἀθυρία, ὥστε ἐκ προουμιῶν... μισῆσαι αὐτόν, καὶ Ἀρτανάσδω... προστεθῆναι... καὶ τὴν βασιλείαν αὐτῷ (ὡς ὀρθόδοξῳ) παραδῶναι.

Niceph. 59.¹⁵ Λέων... μεταλλάττει τὸν βίον... διαδοχὸν δὲ τῆς ἀρχῆς τὸν ὁ Κ. καταλαμβάνει. Ἀρτάβαζος δὲ... ἠύλκετο. καὶ δὴ τυραννίδα εὐθὺς κατ'αὐτοῦ μελετᾷ, τὸν τοῦ πενθέρου θάνατον πυθόμενος. καὶ ὅρκους τὸν ὑπὸ χεῖρα κατεδέσκει λαὸν αὐτῷ μὲν εὖνουν ἔσεσθαι, ἕτερον δὲ εἰς βασιλέα μὴ δέχεσθαι.

Таким образом, узурпационная попытка, предпринятая на свой риск зятем Константина Артаваздом, причем в дальнейшем ему пришлось перетягивать столичное население на свою сторону посредством обмана (будто Константин умер) и удерживать посредством клятв, у Феофана неожиданно превратилось в народное движение и в провозглашение Артавазда императором вместо ненавидимого всеми Константина. Что это собственная переделка Феофана, доказывается тем, что он не выдерживает принятого тона и очень быстро подчиняется рассказу источника, заставляя, согласно с Никифором, Артавазда переубеждать в свою пользу тот народ, который будто бы его выдвинул, лживым уверением, будто Константина уже нет в живых,¹ а Артавазд провозглашен императором всеми фемами. И хотя Феофан тотчас же пытается сгладить неказистый поступок узурпатора, симпатий к которому он не скрывает, заявлением о том восторге, с каким принята была народом весть о смерти Константина V,² но этой новой самостоятельной переделкой рассказа источника (так как она не поддерживается Никифором) создает в своем повествовании великую путаницу. На самом деле народ, конечно, не мог „извергать“ Константина за то, что он „негодяй и враг бога“ (*ἀλάστορ καὶ ἀντίθεος*), так как рано было еще судить о нем и радоваться его гибели как избавлению от величайшей беды, равно как не мог тот же народ провозглашать Артавазда как православного и поборника божеских догматов (ὡς ὀρθόδοξον καὶ θεῶν δογμάτων ὑπέρμαχον), так как он, будучи близким ко Льву и действуя все время рука об руку с ним, скорее был иконоборцем.³ И вообще надо сказать; что „народ“, вопреки уверениям Феофана, с самого начала иконоборческого движения до первой „ирининской“ реакции по крайней мере безмолвствовал, если не был на стороне правительства. Главное недоразумение заключается в выдуманном и мало понятном привлечении к участию в перевороте иконоборческого патриарха Анастасия. Выступление его, всем

¹ 415.² „Ἀρτ. δὲ γράφει πρὸς Θεοφάνην... ὁ δὲ προσκείμενος τῷ Ἀρτανάσδω, σφωρεύσας λαόν... καὶ διὰ τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ λεχθέντος Ἀθανασίου πείθει πάντας, ὡς ὁ βασιλεὺς τέθνηκεν...“

² Theoph. 415.⁸ „Τότε δὲ πᾶς ὁ λαὸς σὺν Ἀναστασίῳ τῷ ψευδωνύμῳ πατρ. ἀναθέματι καὶ ἀνασκαφῇ ἔβαλον αὐτόν ὡς ἀλάστορα καὶ ἀντίθεον, καὶ ἀστειῶς τὴν αὐτοῦ ἐδέξαντο σφαγὴν ὡς μεγίστου κακοῦ λυτρωθέντες, Ἀρτ. δὲ ἀνεκέρυττον βασιλέα ὡς ὀρθόδοξον καὶ θεῶν δογμάτων ὑπέρμαχον.“

³ Феофан и Никифор говорят о восстановлении икон в Константинополе вступившим туда Артаваздом, но этому сообщению едва ли следует верить, так как ни тот, ни другой не указывают, когда при Льве III эти иконы были уничтожены.

известного, „погубителя“ патр. Германа, верного сотрудника правительства Льва III и Константина весьма изумительно, особенно в клятве перед всем народом, будто Константин сам ему говорил: „Не почитай сыном божим рожденного Марией, глаголемого Христа, но простым человеком: ибо Мария родила его, как и меня моя мать Мария!“ Но, пожалуй еще более изумительно то, что, по Феофану,¹ этот изменник и предатель, оклеветавший своего государя перед богом и народом, дважды во главе последнего анафематствовавший и „извергавший“ Константина, провозглашавший „православного“ Артавазда, — восторжествовавшим Константином не был уничтожен наравне с главнейшими участниками смуты и сторонниками Артавазда, а только предан позорному наказанию: был бит и, посаженный на осла лицом к хвосту, проведен был перед народом по гипподрому. А потом, как единомышленник (?) императора снова был посажен на святейший трон. Получается невообразимая путаница, которой избежал патр. Никифор, совершенно не вводящий в рассказ о мятеже патр. Анастасия, не упоминающий о нем и в ликвидации смуты. Почти нет сомнения в том, что эти лишние против Никифора эпизоды вписаны Феофаном не из источника, а „от себя“ и притом по недоразумению. На это недоразумение указывал еще Папарригопуло,² считавший все рассказы Феофана о патр. Анастасии вымыслом. Примыкая к нему, проф. И. Андреев³ настаивает на его предположении, что Феофан, писавший или по памяти, или по изустной передаче, в данном случае перенес на Анастасия то, что постигло его преемника по кафедре, патр. Константина. С этим мнением нельзя не согласиться; только мне кажется, что здесь мы имеем дело со стороны Феофана не столько с перенесением жестокого обращения Константина V с одного патриарха на другого, сколько с дублированием страшного события, за возможность которого Феофан мог охотно ухватиться и для того, чтобы ярче показать кровожадность и жестокость „дикого зверя и тирана“. Ведь рассказав о злоключениях Анастасия, он в своем месте без всяких колебаний повествует о преследовании и казни патр. Константина, спокойно повторяя о тех позорных наказаниях по отношению к последнему, каким раньше был, по его сообщению, подвергнут Анастасий.

В достоверности позорной казни патр. Константина сомневаться нет оснований, так как о ней в близких к Феофану выражениях сообщает и патр. Никифор. Можно думать поэтому, что рассказ о ней стоял и в той иконоборческой хронике, которую оба историка высказывают.

Повидимому, события, с которыми связаны были суд над патриархом и предание его позору и смертной казни, были весьма крупными и излагались в источнике, свидетельством чего служит довольно подробный пересказ их не только у Феофана, но и у сжимающего обычно повествование Никифора. Это был значительный заговор, составившийся в среде виднейших сановников против царствующего императора, которому во второй раз угрожала серьезная опасность лишиться престола (первый раз именно — в виду попытки Артавазда). Заговор был открыт, и целых девятнадцать очень видных сановников

¹ 420, 27. „Ἰππικὸν δὲ ποιήσας εἰσῆλθε Ἀρταβάσδην σὺν τοῖς υἱοῖς... δεδεμένους δια τοῦ διπλίου ἀπὸ Ἀναστασίου τῷ ψευδ. π. τυφθέντι δήμεσίως καὶ ἐπὶ ὄνου ἐξανίστασθαι κατημένῳ, ὃν... ἐπόμευσεν, πάλιν δὲ ὡς ὁ μὲν φρονῶν αὐτοῦ ἐκφοβήσας καὶ δουλώσας ἐν τῷ θρόνῳ τῆς ἱερωσύνης ἐκάθισεν“.

² Ἱστορία τοῦ ἑλλ. ἔθνους — т. III, 432 ff.

³ Герман и Тарасий, патриархи. 37—38.

(ἐπίσημοι ἄρχοντες) были преданы публичному позору и казни. Патр. Никифор, а особенно Феофан, перерабатывая источник, не преминули выразить сомнение в действительном существовании заговора, причем последний с обычной для него безапелляционностью заявляет:¹ „Ἦχθησαν... ἄρχοντες ἰθὺς καὶ ἐπόμεψαν ὥς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευσάμενοι, συκοφανθέντες οὐκ ἐν ἀληθείᾳ, ἀλλὰ φθονῶν αὐτοῖς διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ εὐεθεῖς καὶ ῥωμαλέους καὶ παρὰ πάντων ἐπαινούμενους, τινὰς δὲ αὐτῶν καὶ δι' εὐλάβειαν καὶ ὥς εἰς τὸν προῤῥηθέντα ἔγκλειστον (Стефан Новый) ἀπερχομένους...“ Ясно далее, что в связи с раскрытием этого заговора была установлена причастность к нему и патр. Константина. Но исправлением показаний источника Феофан (отчасти и Никифор) приведен был к необходимости превратить разрыв между императором и патриархом в ничем не мотивированный и непонятный, так как, если сановники были замучены Константином из зависти к их блеску и популярности, то по каким побуждениям мог „вознеистовствовать“ Константин против патриарха, им самим поставленного и остававшегося единомышленным ему (συνφρων αὐτοῦ)?

Если мы сопоставим повествования Феофана и Никифора о гибели патр. Константина,² то из поразительных фактических и словесных совпадений убедимся в заимствовании его Феофаном из общего с Никифором источника, но отсюда же мы почерпнем и разгадку удвоения этого события Феофаном. Легко заметить аналогичность всех обстоятельств, окружающих и сопровождающих преследование того и другого патриарха, как они изображены Феофаном. Там и здесь налицо заговор и узурпационная попытка, направленная против Константина V; там и здесь восторжествовавший император одинаково расправляется с главными участниками движения — очень видными сановниками (одинаковое проведение по гипподрому с преданием публичному позору и затем жестокие казни). Разгром второй попытки, связанной с именами братьев Подопагуров, повел к позору и казни патриарха. Мне представляется совершенно естественным, что Феофан в то время, когда он еще составлял повествование о царствовании Льва III и заносил в свою летопись рассказ о столкновении патр. Германа с будущим его преемником по кафедре Анастасием,³ еще не успел отчетливо изучить события царствования Константина V. Он смутно помнил лишь, что с иконоборческим (συνφρων αὐτοῦ) патриархом этот император жестоко расправился, предав его позорному наказанию именно на гипподроме (εἰς Διῆπιν), раздраженный на него за его измену и причастность к заговору. Комментируя обращение Германа к наступившему на край его мантии Анастасию: „Μὴ σπεῦδε, φθάσεις γὰρ εἰσελθεῖν εἰς τὸ διῆπιν“, обращение, в котором, как и во всех изречениях Германа, Феофан и вообще „православная“ среда неуклонно усматривала пророческий смысл, он, по невольной ассоциации (εἰς Διῆπιν), вспомнил позорное введение в гипподром на осле патриарха, уличенного в участии в заговоре, перепутавши, однако, узурпационные попытки. Позднее, когда он дошел в повествовании до борьбы императора Константина V с Артаваздом, он мог даже убедиться в ошибочности своего предварительного сообщения, но эта ошибка бледнела и отходила на второй план перед необходимостью исполнения пророчества

¹ Theoph. 438, 2 ff.

² Theoph. 438, 26—439, 5 = Niceph. 74, 21—75, 4;

Theoph. 441, 5—442, 12 = Niceph. 75, 5—22

³ Theoph. 408, 6—18.

патр. Германа. Ему уже волей-неволей пришлось ввести патр. Анастасия в качестве действующего в смуте лица и, в осуществление предсказаний вешего (θεσπέσιος¹) Германа, предать его позорному наказанию на гипподроме. Если бы Анастасий действительно вел себя в дни смуты так, как изображает Феофан, и если бы Константин V карал его заодно с Артаваздом, то едва ли ему удалось бы уцелеть: за такие тяжкие преступления против государя, как предание его проклятию и „извержение“ его, как всенародное под присягой обвинение его в непризнании Христа сыном Божиим, его едва ли могли только пострадать да посрамить, тогда как патр. Константин, хотя он был таким же *συμφων* императора, был беспощадно казнен за менее серьезные проступки. Но умертвить Анастасия Феофан не мог, так как он уже знал, что он патриаршествовал вплоть до времени иконоборческого собора: он чисто логическим путем установил факт пощады Анастасия Константином и восстановления его в сане патриарха, не приняв в расчет немислимости такого факта: опозоренный публично, всенародно даже просто битый (*τυφθεῖς*²), а не ослепленный, проведенный в нагом виде верхом на осле, лицом к хвосту по всему скаковому полю, как он мог потом благословлять и поучать самый народ, который был свидетелем и даже участником в его унижении и опозорении? Наконец, и самая мотивировка неожиданно мягкого отношения императора к изменнику-патриарху, как ее ставит Феофан,³ едва ли приемлема. Справедливо замечает проф. Андреев,⁴ что такое объяснение фальшиво. Феофан как бы дает понять, что Константин не хотел расстаться с Анастасием, так как другого единомышленного патриарха ему трудно было бы найти, но всего через несколько лет нашел же он целых три с половиной сотни епископов, на Соборе 754 г. утвердивших его реформуацию.

Продвигаясь дальше в наблюдениях за тем, насколько исправно и согласно между собой Феофан и Никифор эксцерпируют общий источник в пределах повествования о „внутренних“ событиях царствования Константина V, мы замечаем, что патр. Никифор довольно полно и отчетливо, в течение целого ряда лет отмечает все факты данной категории, не отставая от Феофана, хотя и сжимая самые сообщения; и таким образом, он здесь является особенно важным свидетелем для проверки и документальности Феофана (т. е. зависимости его от источника).⁵ И здесь с великим изумлением мы должны констатировать, что даже такое капитальной важности сообщение, как рассказ о знаменитом Соборе 754 г., — оба историка, судя по тождеству состава и сходству некоторых уделевших от переработки выражений, берут из иконоборческой хроники, а не составляют самостоятельно на основании каких-либо иных материалов.

¹ Theoph. 408, 19.

² Если принять чтение перевода Анастасия против единогласного во всех греческих рукописях Феофана — *τυφλωθεῖς*.

³ 421, 1 — „Πάλιν δὲ ὡς ὁμόφωνον αὐτοῦ ἐκφράζηται καὶ δουλώσας ἐν τῷ θρόνῳ τῆς ἰερωσύνης ἐκάθισεν...“

⁴ Op. cit. 38, прим.

⁵ а. 746 (6237) — взятие Германики; а. 747 (6238) — Великая чума; а. 748 и 749 — восточные события, не выписываемые Никифором; а. 750 (6241) — рождение у императора сына Льва (Землетрясение в Сирии и чудо в Месопотамии); а. 751 (6242) — венчание Льва; а. 752 (6243) (Взятие Мелитины и Феодосиюполя); а. 753 (6244) — знаменательный пропуск у Никифора известия о каждодневных селениях Константина; а. 754 (6245) — смерть патр. Анастасия; иерейский собор.

Theoph. 427,²⁵. Τούτῳ τῷ ἔτει Ἀναστάσιος ὁ ἀνιέρως τοῦ θρόνου Κ. ἡγησάμενος τέθνηκε. . . . τῷ δ' αὐτῷ ἔτει καὶ Κ. ὁ δυσσεβὴς κατὰ τῶν ἀγ. καὶ σεπτῶν εἰκόνων παράνομον συνέδριον τλή ἐπισκόπων συνέλεξεν ἐν τῷ τῆς Ἱερείας παλατίῳ ὧν ἐξῆρχε (Θεοδόσιος) ὁ Ἐφέσιος υἱὸς Ἀψιμάρου καὶ Παστυλλᾶς ὁ Πέργης. Οἱ κατ' ἐαυτοὺς τὰ δόξαντα δογματίσαντες, μηδενὸς παρόντος ἐκ τῶν καθολικῶν θρόνων Ῥώμης, φημί, καὶ. . . ἀπὸ ἰ τοῦ Φεβρ. μηνὸς ἀρξάμενοι διήρκεσαν ἕως ἡ' τοῦ Αὐγ. . . . Καθ' ἣν ἐν Βλαχέρναις ἐλθόντες οἱ θεοτόκου πολέμιοι (sic!) ἀνῆλθε Κωνστ. ἐν τῷ ἄμβωνι κρατῶν Κ. μοναχόν, ἐπίσκοπον γενόμενον τοῦ Συλλαίου καὶ ἐπευξάμενος ἔφη μεγάλη τῇ φωνῇ „Κ. οἰκ. πατρ. πολλὰ τὰ ἔτη. . . ἀνῆλθεν ὁ βασις. ἐν τῷ Φόρῳ σὺν Κ. τῷ ἀνιέρῳ προέδρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις, καὶ ἐξεφώνησαν τὴν ἐαυτῶν κακὸ-δοξὸν αἵρεσιν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ ἀναθεματίσαντες Γερμανὸν τὸν ἀγ. καὶ Γεώργιον τὸν Κύπριον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόρροον Δαμασκητὸν τὸν Μανσοῦρ ἀνδρας ἀγ. καὶ αἰδес. διδ.

Niceph. 65,²⁴. . . Ἀναστάσιος ὁ τοῦ Β. ἐτελευταῖα ἱεράρχης.

Κ. δὲ καθ' ἅπαζ πρὸς τὴν ὕβριν τῆς ἐκκλησίας ἰδὼν καὶ πρὸς τὴν εὐσεβειαν ἥδη ἀπομαχομενος, ὡς ὑπὸ τοῦ ἀγοντος αὐτὸν ἐναντίου πνεύματος κινούμενος, σύνοδον ἱερῶν ἀδελφῶν οὐκ ὀκτώ καὶ τριάκοντα καὶ τριακοσίους τὸν ἀριθμὸν συγγήγουσαν (ταύτης ἐξῆρχε Θεοδόσιος ὁ τῆς Ἐφεσίων πόλεως ἀρχ.) ἀρχιερέα τε τῆς πόλεως ἀνακηρύσσει Κωνσταντινὸν τινα τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα περιβεβλημένον, ἐπίσκοπον δὲ τῆς τοῦ Συλλαίου πόλεως γεγονότα

θρονὸν δὲ πίστεως ἐκτίθενται, ἐν ᾧ ὑπεστημήναντο ἅπαντες κακῶς καὶ δυσσεβῶς συμφρονήσαντες, τὴν τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων καὶ αἵρεσιν ἐκφωνήσαντες καὶ ὥσπερ νηπιωδεῖς ἐπ' ἀγορᾶς ταῦτα ἀνεθεματίζον μεθ' ὧν καὶ Γερμανὸν τὸν ἀρχιερέα τοῦ Βυζ. γεγονότα Γεώργιον τε τὸν ἐκ Κύπρου τῆς νήσου ὀρμώμενον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀπὸ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ ἐπὶ κλῆν Μανσοῦρ

Хотя оба историка, конечно, в душе должны были придавать большое значение собору 348 епископов, заседавшему более полугода и выработавшему постановления, которыми руководились и государство и церковь в течение более тридцати лет, но они не хотят этого показать, стараясь говорить о нем как о ничтожном событии. Ведь и Феофан и Никифор составляли свои летописи в промежутке между 787 и 815 гг., когда „православие“ выступало с уверенностью в окончательном торжестве. Феофан в своем рассказе берет даже иронический тон, с презрительной усмешкой изображая, как заседал этот незаконный синод епископов, догматизируя все, что им самим заблагорассудилось, при полном отсутствии патриархов, с февраля по август, как потом, уже во Влахернах, император, вытаскивая на амвон некоего Константина — монаха, помолился и гаркнул: „Константину, вселенскому патриарху, многая лета!“ Мы не знаем, что стояло в источнике, который перерабатывает Феофан: может быть, он многое и опускает. Но ясно, что он дает злобную карикатуру на некоторые моменты собора, изображавшиеся в иконоборческой хронике, вероятно, в противоположном, торжественном тоне. Если бы случайно не сохранился ὅρος πίστεως этого собора в актах VII Вселенского собора и мы судили бы о нем только по данным хронографии, то, конечно, мы сочли бы его за жалкую и комическую пародию на вселенский синод, к которой по заслугам отнеслись с презрением современники: и свои и чужие. Едва ли необходимо напоминать о том, что оба историка должны были прекрасно знать о том, что происходило на

VII Вселенском соборе, должны были быть осведомлены и о важных постановлениях Собора 754 г., подробно разбиравшихся и опровергавшихся там. Хотя на обсуждение Собора 787 г. поставлено было далеко не все, что явилось результатом продолжительных соборных заседаний с февраля по август 754 г., все-таки даже и в таком ограничении этот *βρος πίστεως* представлял собой нечто весьма крупное и значительное, о чем хронист-исповедник обязан был сообщить. Но оба они, и Феофан и патр. Никифор, упорно не желают считаться с действительным учением „иконоборчества“. Второй даже в своем основном произведении — трех Антирретиках имеет дело не с этой официальной декларацией иконоборчества, а с каким-то проблематическим трактатом „Мамоны“, в котором некоторые исследователи пытались усмотреть то предварительные *προϋράσματα*, разосланные императором всем епископам перед собором,¹ то особое богословское произведение Константина V, в котором он выражал свои взгляды, значительно более радикальные, чем установленные на соборе.² Видно по всему, что поздним оппонентам иконоборчества (т. е. уже начала IX в.) казалось не особенно выгодным и удобным иметь дело с иконоборчеством в том выражении его сущности, какое дано было Собором 754 г. Может быть, им памятна была не совсем удавшаяся попытка отцов VII собора опровергнуть именно такой состав иконоборчества. Они и предпочитали вместо исторической действительности оперировать с легендой „о злейшей из ересей“. Ведь если бы Феофан пожелал иметь перед собой хотя бы известную нам часть *βρος* а 754 г., ему бы необходимо стало снять с ненавистного ему Константина V целый ряд тягчайших обвинений, которыми он его клеймит во имя своей „правды“. Таким образом, в передаче Феофаном этого центрального события иконоборческого движения мы особенно чувствительно и больно сталкиваемся с главным своеобразием исторической его работы, которое почти неисправимо затрудняет пользование им как источником по истории иконоборческого движения. Мы явственно ощущаем у него присутствие его источника, из которого он заимствует фактический материал. Но к сожалению, это — далеко не простое заимствование, даже не эксцерпирование материала с „пересвещением“ с своей точки зрения, а нечто большее: основная, ни на мгновение не отодвигаемая задача Феофана — разгром „нечестия и ереси“ и, поскольку он выступает историком, разгром утвердившихся и распространенных представлений о ходе и деятелях этого нечестия, а средство, поскольку опорой таких взглядов является „иконоборческая историография“ — неуклонная полемика с предшественником, опровержение, в котором беспощадно переделываются не только оценки фактов и отношения к событиям, но и самые эти факты и события. При таких условиях из повествования Феофана,³ в тех частях его, которые являются переработкой более раннего летописного произведения, мы более или менее в состоянии узнать, как в православно-исповеднических (монашеских) группах начала IX в. считалось должным и обязательным смотреть на „иконоборчество“ и представлять себе его состав и движение, но из-за этой „высшей правды об иконоборцах“ мы никак не можем рассмотреть исторической действительности VIII в.

¹ Мелиораяский — Георгий Кипрский; 115 ff.

² Lombard. L'empereur Constantin V, 113 ff.

³ В общем то же самое придется потом сказать и о другом историке, патр. Никифоре.

6

Далее, приходится настаивать на заимствовании Феофаном из основного своего „источника“ такого сообщения, которому, на первый взгляд по крайней мере, как будто не должно было бы находиться места в иконоборческой хронике. Как ни странно, я разумею мученичество св. Стефана Нового, которое вдохновило диакона Великой Церкви Стефана приблизительно в те же годы, когда создавалась Хронография Феофана и, может быть, *Ἱστορίαι συντομικαί* патр. Никифора, к созданию большого жития этого мученика, признанного новейшими исследованиями¹ как одно из самых ярких и ценных в историческом отношении. Под влиянием такой высокой оценки этого жития, одного из наиболее читаемых² и влиятельных в агиографической литературе, высказывалось предположение о возможности влияния его даже на Феофана и патр. Никифора, по крайней мере в пределах сообщений о Стефане Новом и о других гонениях на благочестивых и иконопочитателей при Константине V. Хронологически такое взаимоотношение произведений могло быть допустимо, так как в точности фиксировать годы „выхода в свет“ почти одновременно составлявшихся хроник и жития все-таки невысказуемо. Вспомогательная, однако, в сопоставленных между собой и являющие признаки несомненного родства и даже единого происхождения рассказы Феофана и патр. Никифора о мученичестве св. Стефана с Авксентиевой горы и прилагая их к огромному житию этого мученика, мы в конце концов все-таки должны притти к заключению о полнейшей независимости передач обоих историков от агиографического труда. С одной стороны, не может не казаться странным безусловно опустошенное изложение большого жития, передача огромного сочинения в двух-трех почти не отражающих его богатого содержания фразах, но что особенно поучительно, фразах одного и того же состава у обоих „эксцерпторов“. Так совпасть в сокращении и изложении сущности чужого труда можно только или при дружной совместной работе, или под влиянием одного на другого. Так как обоих последних условий предполагать нельзя, то сходство эксцерптов остается мало объяснимым чудом. Но чудо немедленно перелется в несообразность, когда, с другой стороны, мы констатируем явные расхождения между Житием и единоголосием Феофана и Никифора. Самое заметное и отчуждающее из них касается формулировки обвинения, предъявленного Стефану правительством Константина V. В Житии, написанном диаконом Стефаном, преследование святого отшельника начинается с требования дать подпись под постановлениями Собора 754 г.,³ а после отказа его преступления выражены были в доносе на имя императора будто бы следующим образом: во-первых (и это главное), он анафемствует память императора, как еретика, называет его сирогеном и Виталом и, сидя на своей горе, роет ямы против него — и т. д.⁴ Хотя затем его и стараются уличить в соращении в монашество наперекор

¹ В. Г. Васильевский. Житие св. Стефана Нового; Х. Лопарев. Византийские жития святых.

² О чем свидетельствует большое количество рукописей с этим сочинением, дошедших и до нас. Целый их ряд, между прочим, находится и в Московской синодальной библиотеке.

³ Migne. Patrol. Gr. 100, 1124. „... καὶ ὀρθόδοξοι ἡμῶν βασιλεῖς Κωνστ. καὶ Λέων κελεύουσι υπόγραφαι σε πρὸς τὸν τῆς ὀρθοδοξίας ἡμῶν συνόδου ὄρον“.

⁴ Migne 100, 1125 c. „Ὡς ὅτι πρῶτον καὶ ἐσχίρετον ἀνεθεματίζει σου τὴν μνήμην ὡς αἱρετικοῦ. Συρογενῆ τε καὶ Βιτάλην σε ἀποκαλεῖ. Καὶ βόθρους χατὰ σοῦ ὀρύσσει ἐν τῷ ὄρει καθήμενος...“.

императорскому запрещению, но ясно и определенно этого именно обвинения не выдвигают в качестве заслоняющего остальные. Между тем у Феофана и у патр. Никифора, в полном согласии их между собой, выдвигается исключительно только последнее обвинение (в совращении в монашество); при этом патр. Никифор точно выписывает (в кавычках) самую формулу, но выписывает, конечно, не из Жития, так как там ее нет, да едва ли возможно ее таким образом и скомпановать на основании этого произведения. Мысль об истечении сообщений Феофана и Никифора из труда диакона Стефана приходится решительно отбросить, но несомненным остается пользование со стороны обоих историков в передаче страшной участи св. Стефана — одним и тем же источником, что выясняется из нижеследующего сопоставления:

Theoph. 436,²⁸—²⁸. Τούτῳ τῷ ἔτει (a. m. 6257), τῇ κ' τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς ἰνδικτιῶνος δ', ἐκμανῆς γενόμενος ὁ δυσσεβὴς καὶ ἀνόσιος βασιλεὺς κατὰ παντὸς φοβούμενου τὸν Θεόν

— краткое, стянутое в одну общую фразу выражение расчлененного очерка Niceph. 71,⁹—72,⁹.

Theoph. 436,²⁸. Στέφανον τὸν Νέον πρωτομάρτυρα συρθῆναι προσέταξεν ἐγκλειστον ὄντα εἰς τὸν ἅγιον Αὐξέντιον εἰς τὸ πλησίον ὅρος τοῦ Δαματρῦ: ὃν λαβόντες οἱ τῆς ἀπαίδευσιος αὐτοῦ μετέχοντες καὶ ὁμόφρονες αὐτῷ γεγονότες σχολαριοὶ τε καὶ τῶν λοιπῶν ταγμάτων καλωδίῳ δῆσαντες αὐτοῦ τὸν πόδα εἰλκον αὐτὸν ἀπὸ τοῦ πραιτωρίου ἕως τῶν Πελαγίου, ἔνθα καὶ διασπάσαντες ἔρριψαν τὰ τίμια αὐτοῦ λείψανα ἐν τῷ τῶν βιοθανάτων λάκκῳ ὡς πολλοὺς νουθετοῦντα πρὸς τὸν μονήρη βίον καὶ καταφρονεῖν πείθοντα βασιλικῶν αἱσιμάτων καὶ χρημάτων αἰδέσιμος γὰρ ὁ ἀνὴρ πᾶσιν ὑπῆρχε διὰ τὸ περιεῖν χρόνους ποιῆσαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐγκλείστῳ καὶ ἀρεταῖς πολλαῖς διαλάμπειν.

Niceph. 72,⁹. Ἐντεῦθεν συλλαμβάνονται Στέφανόν τινα, ἄνδρα ὅσιον καὶ θεοφιλῆ τυγχάνοντα, μοναστήν δὲ τῷ σχήματι καὶ περιεργμμένον ἐν οἰκιδίῳ στενωπῶν πάνυ ὑπάρχοντα, ὑπὸ τὴν τοῦ μεγίστου ὁρους ἰδρυμένον ἀκρωρειαν, ὃ καλοῦσι τοῦ ὁσίου Αὐξεντίου λόφον ἐγκλημὰ τε εὐσεβείας ἐπάγουσιν αὐτῷ οἱ ἀνόσιοι, „ὡς πολλοὺς“, φασίν, „ἐξαπατᾶ διδάσκων δοξῆς τῆς παρούσης καταφρονεῖν οἰκων τε καὶ συγενείας ὑπερορᾶν καὶ τὰς βασιλείους αὐτὰς ἀποστρέφεισθαι καὶ πρὸς τὸν μονήρη βίον μεταρρουμιζέσθαι“. καὶ διὰ ταῦτα πληγαῖς τε πλείσταις αἰκισάμενοι καὶ δεσποτήριον οἰκεῖν καταδικάσαντες, τέλος σχοινίοις αὐτὸν κατὰ τοὺς πόδας ἐξάψαντες καὶ τῶν βασιλικῶν ἀφορμήσαντες περιβόλων, μέχρι τῆς λεγομένης τοῦ Βοὸς ἀγορᾶς ἐλκύσαντες διέσπασαν, καὶ αὐτοῦ τὸ σῶμα ἐν τοῖς καλουμένοις τάφοις τῶν Πελαγίου ὡς κακούργου οἱ δυσσεβεῖς ἀπέρριψαν αὐτόθι γὰρ τα τε τῶν ἐθνικῶν ἀμυήτων σώματα καὶ τῶν ἐπὶ θανάτῳ ἀπηγορευμένων τελευτώντων ἐξεπέμπετο.

Замечательно то, что совпадение идет и в дальнейших пассажах:

Theoph. 437,⁹. Πολλῶν τε ἀρχόντων καὶ στρατιωτῶν διαβληθέντων προσκυνεῖν εἰκό-

Niceph. 72,²⁶. Πλείστους τῶν τε ἐν τέλει καὶ τοῦ στρατιωτικοῦ ὑπευθύνους καθιστῶντες,

νας διαφόροις τιμωρίαις καὶ
πικροτάταις χιχίαις τούτους
παρέδωκαν

Theoph. 437,¹¹ Ὁρχον δὲ καθο-
λικὸν πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν
αὐτοῦ βασιλείαν ἀπῆτησεν
εἰκόνι μὴ προσκυνῆσαι τινα,
μεθ' ὃν καὶ Κωνστ. τὸν ψευδώνυμον
πατριάρχην ἐπὶ ἄμβωνος ἀνελθεῖν
καὶ ὑψῶσαι τὰ τίμια καὶ ζωο-
ποιὰ ξύλα καὶ ὁμῶσαι πεποίη-
κεν, ὡς οὐκ ἐστὶ τῶν προσκυ-
νούντων τὰς εἰκόνας. Καὶ τοῦτον
παρὰ τὰ στεφανίτην ἀντὶ μοναχοῦ
ἐπεισε γενέσθαι καὶ κρεῶν μεταλαμβάν-
ειν καὶ κιδαρῶδὸν ἀνέχεσθαι ἐν τῇ
βασιλικῇ τραπέζῃ.

προσκυνεῖν ἱεράς εἰκόσι κατα-
τιόμενοι, ὥσπερ ἐπὶ καθοσιώσει ἀλόντας
διέφθειραν, οὐς μὲν διαφόροις
θανάτοις παραδιδόντες, οὐς δὲ
τιμωρίαις ξέναις καθυποβάλλ-
οντες, πλήθη τε ἄπειρα ὑπερορίας
παραπέμποντες.

Niceph. 73,¹⁴ Ἐφοῖς ὄρκοις
βεβαιοῦν ἐβουλεύσαντο ἅπαν
αὐτοῖς τὸ ὑπήκοον ὡς τὸ λοιπὸν
εἰκόσι μὴ προσκυνεῖν ἁγίων
τινῶν. Φασὶ δὲ ὡς καὶ τὸν τηνι-
καῦτα τῆς πόλεως ἀρχιερεῶς
θεασάμενοι ὑψῶσαντα τὰ ζωο-
ποιὰ ξύλα ὁμωμοκέναι μὴδ'
αὐτὸν εἶναι τῶν προσκυνούντων
τὰς ἱεράς εἰκόνας.

Предположение, что в этом большом очерке, распадающемся на целый ряд очень ярких, но расположенных даже в одинаковой последовательности эпизодов, явно совпадающих в значительной части выражений, Феофан и патр. Никифор встали сразу, как по команде, под воздействие нового источника, мне представляется мало приемлемым, так как, с одной стороны, кроме уже отвергнутого нами Жития св. Стефана, мы не знаем ни одного такого произведения, исшедшего с „православной“ стороны до 810 г., которым могли бы воспользоваться оба историка; а с другой — так как пришлось бы снова допускать совсем необычную для византийских хронистов IX в. компилятивно-эклéктическую манеру составления труда. И почему, спрошу я, немислимо заимствование и этих сведений из постоянного иконоборческого источника? Почему в составе последнего им бы и не нашлось места, конечно, в соответствующих тонах и оценке? События, которых они касаются, являлись немаловажными как для той, так и для другой стороны. Возьмем ли мы преследования и казни „многих“ сановников и военных, отказавшихся примкнуть к санкционированной „вселенским“ собором правительственной реформации, или грандиозную всенародную присягу в верности этой реформации, или не менее торжественную клятву самого патр. Константина в непринадлежности к иконопочитателям,¹ или, наконец, страшное дело

¹ Что понималось, повидимому, несколько шире простого отказа от поклонения образам, потому что иначе самая клятва патриарха была бы странной и запоздалой демонстрацией. Ведь патр. Константин был носителем своего высокого сана уже на последних заседаниях Собора 754 г. и участвовал (судя по надежно выписанному сообщению Феофана, 428,6—12) во всенародной декларации иконоборчества („ἀνῆλθεν ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ φόρῳ συν Κωνσταντίνῳ, τῷ . . . προέδρῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπισκόποις καὶ ἐξέφωνησαν τὴν αἵρεσιν ἐνώπιον παντός τοῦ λαοῦ“), и поводов заподозрить его отступничество от последнего, как такового, никаких нельзя себе представить. Если же мы обратим внимание на весь контекст Феофана и дальнейшие шаги патриарха свяжем с клятвой, то дело более или менее разъясняется. Поскольку установилось уже совпадение иконопочитания с монашеством, поскольку есть основания утверждать, что Собор 754 г. высказался в той или иной форме против существования монашества и поскольку, наконец, весь разбираемый нами очерк

Стефана, упорного и влиятельного руководителя монашества, выступавшего явным мятежником, смелым ослушником постановлений собора и воли императора, — все это представляется для историка-иконоборца не менее достойным упоминания, чем для православного хрониста, только, конечно, с совершенно различных точек зрения. Первый, надо думать, и излагал все эти факты в восторженном тоне, как смелое и величественное проведение реформации и разгрома монашества. По крайней мере в передачах и Феофана и патр. Никифора можно подметить, сверх отвращения к самим излагаемым фактам, еще некоторые следы ужаса и перед тем рассказом, из которого они узнали об этих событиях. Со скорбным трепетом сообщают они, словно отказываясь постигнуть, как возможно подобное извращение всех понятий, о преследовании и предании жестоким мучениям стойкого святого отшельника за то, как указывалось в источнике, что он многих совращал в монашество и убеждал презирать мирскую славу и царскую службу. С гадливым же изумлением пересказывают православные историки и известие о клятве патриарха перед животворящим древом, о его дальнейших выступлениях, причем Никифор считает нужным упомянуть об аутопсии („φασὶ ὡς δεῦρο μὲν...“) того повествования, из которого он почерпает сообщение.

Любопытным и характерным для Феофана как историка иконоборческого движения представляется то неуклонное его нежелание признать „монахомахию“ даже одной из главных линий „иконоборчества“ наряду с отменой почитания икон, которое у него проявляется несравненно упорнее и резче, чем у патр. Никифора. Для него, как он стремится показать, вся сущность „смути“ — в „ереси“ и беснующемся нечестии императоров: гонение на монашество, глумление над монахами и преследование их, как изображено у Феофана, — все это явления производного характера. Монахов гнали и истребляли не как таковых, а как определившиеся, сплоченные группы стойких исповедников иконопочитания и борцов за поруганное православие. Тенденциозная искусственность такой конструкции иконоборчества, и до сих пор преобладающей в исторической литературе, изобличается уже более спокойным и беспристрастным изложением патр. Никифора,¹ который все-таки дает понять, что монахомахия при Константине V была самостоятельным движением, по своей значительности даже заслонявшим борьбу по вопросу о почитании икон. Вот что, думается мне, обусловило и в данном месте со стороны Феофана пропуск того общего очерка решительного натиска на монашество, который патр. Никифор предпосылает сообщению о мученичестве св. Стефана, связывая их словом ἐντεῦθεν и тем показуя, что в таком составе он застал повествование в своем источнике. Феофан же, избегая этого несоответствующего его воззрениям известия, сжал всю яркую картину в одну мало выразительную фразу: „ἐκ μὲν τῆς γενόμενης οὐ δυσσεβείας καὶ

касается этой двинутой после собора и в осуществление его предначертаний „монахомахии“, постольку выступления патриарха, взятые вместе, становятся целесообразными и необходимыми. Подтвердивши новой клятвой, что он примыкает к партии собора и реформации и что у него нет ничего общего с противоположной партией „почитателей икон“, он показал пример ревностного выполнения постановлений собора: он (пусть даже под давлением императора — ἐπιτετα) отказался от своего монашества, вступил в брак, нарушил обет постничества и перешел к светскому образу жизни. С точки зрения „православия“ это было гнусное глумление над благочестием, но с точки зрения „реформации“ это было одно из крупнейших ее выступлений, акт решающего значения.

¹ Подробнее о конструкции иконоборчества у Никифора — см. ниже.

ἀνόςιος βασιλεὺς κατὰ παντὸς φοβούμενου τὸν θεόν“ и превратил мученичество св. Стефана в одиноко стоящую, ничем не подготовленную дику выходку „бесившегося“ Константина V. Но для изучающего историю иконоборчества необыкновенно важно отметить, что в иконоборческой среде, насколько возможно все-таки разглядеть ее точки зрения сквозь переработку в эксцерптах из иконоборческой хроники у Феофана и патр. Никифора, борьба с монашеством как таковым выдвигалась на одно из самых видных мест в составе движения.

И тем не менее факты оказывались сильнее схемы: словно помимо воли самого Феофана они прорываются у него сквозь тонкий покров общего построения. Мы замечаем это в продолжении того же повествования о годе а. м. 6257. Ведь не подлежит никакому сомнению, что точно фиксированное хронологически сообщение о монахоборческой манифестации в гипподроме, совпадающее с таковым же у патр. Никифора, снова является переведенной только в иной тон выпиской из руководящей хроники, продолжавшей ярко изображать великое гонение на монашество как одно из славных дел императора Константина V. Прочитаем параллельно эти рассказы:

Theoph. 437,²⁵ Καὶ τῇ κα' τοῦ Αὐγούστου μηνὸς (обращаю особенное внимание на точность даты) τῆς αὐτῆς δίνδικτιῶνος ἐσθλήτευσε καὶ ἠτίμασε τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν ἐπὶ τοῦ ἵπποδρομίου παρακλευσάμενος ἕνα ἕκαστον ἄββαν κρατεῖν γυναῖκα τῇ χειρὶ καὶ οὕτω παρελθεῖν αὐτοὺς τὸ ἵπποδρόμιον ἐμπτυομένους καὶ ὑβρίζομένους ὑπὸ παντός τοῦ λαοῦ.

Niceph. 74,¹ Ἐπὶ δὲ πνέων κατὰ τῆς εὐσεβείας τὸ ἱερὸν τῶν Ναζχαίων σχῆμα καθύβριζεν, εὐθὺς γὰρ ἀγῶνα ἱππικὸν ἐπέτελει, καὶ τινὰς τούτων ἐπιτρέπει ἐν μέσῳ τῇ θεάτρῳ διέλκεσθαι καὶ αὐτῶν ἕκαστον γυναῖκα μονάστριαν παρὰ χεῖρα φέρειν πολλῶν τε παρὰ τοῦ πλήθους τῶν θεωμένων ὕβρεων αὐτοῖς καὶ ἐμπτυσμάτων, οἷα περὶ τὸ ὄχλῳδες καὶ ἀγέλαῖον συμβαίνειν εἶωθε καταχθέντων οὕτω τὸν ἄθεσμον ἐκείνον καὶ χίσχιστον διήνυσαν δίαυλον.

Здесь, кроме точной даты у Феофана и снова поразительного совпадения даже в словах с Никифором, подсказывает пользование со стороны обоих источников именно враждебного направления еще и не совсем осторожное сохранение указания на участие в манифестации „всего народа“, поскольку православный историк усиленно старается показать социальную узость иконоборчества и несочувствие народа, христиан правительственной реформации. Патр. Никифор, как бы сознавая неловкость сообщения, пытается ослабить его значение вставкой: „οἷα περὶ τὸ ὄχλῳδες κτλ“.

И следующий непосредственно за тем рассказ о разгроме заговора против императора, в который вовлечен и патр. Константин, выписывается Феофаном из иконоборческого источника, чему свидетелем является опять-таки патр. Никифор.¹ Последний более сух и сжат в своем эксцерпте, но зато и более корректен, чем Феофан, который желает по-своему понять сущность страшного события, вступая в краткую полемику с источником. Здесь причины жестокого умерщвления видных сановников приблизительно намечены были так же, как это осталось у патр. Никифора.² Против этого и вооружается

¹ Сопоставляются и обнаруживают большую близость друг к другу и происхождение из одного источника:

Theoph. 438,²—439,⁵ = Niceph. 74,⁸—75,⁴

Theoph. 440,¹¹—13 + 441,⁵—442,¹⁶ = Niceph. 75,⁵—22.

² Theoph. 438,² „ἡχθῆσαν ἐπὶ ἵπποδρομίας ἐπιστήμοι ἄρχοντες καὶ ἐπὶ πνεύματι, ὥς κατὰ τοῦ βασιλέως πονηρὰ βουλευσάμενοι συκοφαντή-

Феофан, заявляя, что сановники, которых постигли жестокие кары, хотя и были, как указано, в заговоре против императора, но „правда“ заключалась не в этом, а в том, что Константин V завидовал их блеску и популярности и озлобился на них за их общение с Стефаном Новым и восхваление его страданий. Наивная придуманность мотивировки, мне думается, ясна сама собой, характеризую Феофана как историка-прагматиста, но в то же время снова явственно обнаруживая под его руками переделываемое „по правде“ иконоборческое повествование. Дальнейшее изложение разгрома заговора, который, несомненно, имел чисто политические мотивы, но который Феофан попробовал вначале насильно притянуть к церковно-религиозной борьбе, захват и ссылка патр. Константина на о. Иерию и на Принкип, суд над ним, позорное проведение его через гипподром на осле и, наконец, смертная казнь в Кинигии и поругание его труп — все это, согласно изображенное у обоих историков с поучительным совпадением собственных имен, может быть принято как более или менее точная и исправная выписка из источника. Это выписывание чужого повествования, сопровождаемое лишь комментариями возмущения вроде: „ὅ τῆς ἀλογίας καὶ ὁμότητος καὶ ἀσπλαγγίας τοῦ ἀνήμερου θῆρος. οὐκ ᾔδεσθ' τὴν ἀγίαν κολυμήθραν ὁ ἄθλιος... πάντοτε μὲν οὖν θηριώδης τὸν τρόπον καὶ ἀνήμερος ἦν“, Феофан ведет для того, чтобы показать всю извращенную бесчеловечность и гнусную скверну врага господа и богородицы и гонителя всего святого. Он довольствуется выступлениями Константина V, представленными в иконоборческой хронике, передавая их даже без особых исправлений, так как убежден, что факты сами говорят за себя. В этом смысле получают значение и прибавленные к казни патриарха под тем же годом эпизоды, уже как будто опускаемые патр. Никифором. Говорю: как будто — потому, что мы скоро убедимся, что все эти известия находят себе поддержку в *Ἱστορίᾳ συντομῆς*, несколько иначе располагающей тот же материал. Я хочу сказать, что сообщение о захвате и казни св. Петра Стилита, продолжавшего вести свою иноческую жизнь, несмотря на императорские указы,¹ далее о напряжении террора против οἱ εὐσεβοῦντες (разумей: монашествующих), причем, кроме различных видов мучительства называются отчетливо главные сподвижники Константина V в монахомахии, можно счесть похожими на вышедшие все из того же основного источника. Они фактичны, они сохранили точные указания лиц, которые не могли просто запомниться в православной среде на протяжении полустолетия. Где, от каких памятливых старожил мог он узнать (а в то же время и зачем бы ему специально понадобились) имена безвестных и ничем не выдававшихся единомышленников императора и руководителей монахомахии в столице: патрикия и доместика схол Антония и Петра магистра. К ним Феофан прибавляет и провинциальных, фемных „мнихоборцев“ — „уже упомянутых выше стратигов“,² разумея названных им под предшествующим годом (а. м. 6258) как вновь назначенных стратигов фем: азиатской — Михаила Мелиссина,

θέντες δὲ οὐκ ἐν ἀληθείᾳ = Nicephorus, 74... ἀνδρας τινὰς τῶν ἐν ὑπεροχαῖς καὶ ἀξιώμασιν ἐκκλησιαστικῶν βαρυτάτοις συκοφαντῶν ὑπάγει ὡς εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῶ ἐπιβουλευεῖν πειρομένους“.

¹ Theoph. 442,19. „Ἀποστείλας γὰρ κατήνευκε Πέτρον τὸν αἰοίδιμον στυλῖτην ἀπὸ πατρὸς (?) καὶ μὴ υπεῖχοντα τοῖς δόγμασι αὐτοῦ ζῶντα, ...“ Я не могу относить ζῶντα к δήσας, так как это и синтаксически не безукоризненно и в достаточной мере бессмысленно.

² Theoph. 442,27 „ἐν δὲ τοῖς ἔξω θεμασι διὰ τῶν προῤῥηθέντων στρατηγῶν“.

фракисийской — Михаила Лаханодраконта, букелларийской — Маниса. О них и главным образом о наиболее активном из них τῆς κακίας αὐτοῦ (т. е. императора) ἐπαΐους ἐργάτης, Михаиле Лаханодраконте, Феофан вписывает известия несколько раз: 1) и 2) 440,²⁴ по поводу их назначения императором и в разбираемом пассаже, 3) 445 (а. м. 6262) о решительном натиске на монашество со стороны Лаханодраконта во всей фракисийской феме, 4) 445,²⁸ (6263) о разгроме всех монастырей и истреблении всего монашества в феме уполномоченными комиссарами Лаханодраконта. Едва ли будет рискованным, несмотря на молчание в данном случае патр. Никифора, все-таки возводить эти сведения о главных „монахомах“ к тому же иконоборческому источнику. Только в нем мог почерпнуть Феофан уже первое сообщение с точной хронологической датой¹ и с весьма отчетливым распределением новых стратиггов по фемам: ни по памяти, ни по справке (да и зачем он мог об этом справляться?), ни, наконец, по какому-либо православному трактату (поскольку, кроме Феофана и Никифора, мы от конца VIII и начала IX в. общеисторических трудов не знаем) хронист не мог установить такого события, а в современной или почти современной, опубликованной хронике ему было совершенно естественно иметь место. Но спрашивается, зачем все-таки оно понадобилось Феофану, равно как и последующие сведения о терроре Лаханодраконта? Судя именно по последним, он интересовался из всех трех главных деятелей монахомахии почти исключительно Лаханодраконтом, который оставил по себе в монашеской среде, повидимому, тяжелую и страшную память.² Он очень долго стоял стратиггом: погиб в сражении с болгарами уже при Константине VI (Ирине) в 791 г. Это „драконо-именное наследие“ Константина V мог хорошо помнить и сам Феофан. Две ненавистные фигуры ассоциировались друг с другом. Страшный стратиг, во всем походивший на своего учителя,³ выполнявший все его желания, сливался в представлении Феофана с самим императором; и его неистовства еще ярче характеризовали мрачное царствование Константина V. Сталкиваясь в своем источнике (а в иконоборческой хронике об этом не могло не быть речи) с изображением монахоборческой ревности Михаила Лаханодраконта, Феофан не мог пройти мимо этих, действительно крутых „ἀνοσιούρηματα“. Он и передает их в общем, повидимому, так, как они были рассказаны в старой летописи: точно, живо и деловито, даже не переделывая, так как он опять-таки убежден, что факты говорят за себя. Первый из привлекаемых нами эпизодов стоит под а. м. 6262.⁴ В нем мы читаем о том, что Лаханодраконт согнал в Эфес всех монахов и монахинь, находившихся в пределах фракисийской фемы, вывел их на равнину и заявил им: „Кто желает повиноваться императору и нам, пусть тотчас же облечется в светлое платье и возьмет себе жену; кто же не поступит так, будет ослеплен и сослан на Кипр!“ За словом последовало и дело, и много мучеников явилось в тот день. Но многие погубили себя отступничеством — к ним благосклонно относился Дракон. В том же индикте, в январе месяце у императора Льва и Ирины родился сын и был назван Константином, еще при жизни деда Константина. Самая

¹ Theoph. 440,²⁴. „Τῇ δ' αὐτῇ ε' ἰνδικτίωνι προβαλλεται στρατηγούς ὁμόφρονας αὐτοῦ καὶ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπαΐους ἐργάτας...“.

² Имя это весьма распространено в агиографии.

³ Theoph. 445,³. „μιμητάμενος ὁ Λαχανοδράκων τὸν διδάσκαλον“.

⁴ Theoph. 445,³⁻¹⁴.

форма рассказа вместе с прибавкой о рождении Константина VI более всего похожа на выписку из старой летописи. Еще пассивнее заимка второго сообщения о разгроме монастыря Лаханодраконтом, где можно обнаружить только одну поправку со стороны Феофана: в конце, в фразе „ὁ καὶ μαθὼν ὁ μισάγαθος βασιλεὺς это μισάγαθος“ заменило, вероятно, φιλόγαθος источника. В остальном весь рассказ с полным правом мог стоять и в иконоборческой хронике,¹ особенно явственный след которой остался в цитате из благодарственного послания императора к Лаханодраконту: „ὁ καὶ μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἔγραψεν αὐτῷ εὐχαριστίας λέγων, ὅτι „εὐρὸν σε ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιεῖς πάντα τὰ θελήματα μου“, а также в указании двоих комиссаров стратига, имена которых нигде в другом месте Феофан не мог бы почерпнуть.

Собирая вместе эти разбросанные у Феофана отдельные проявления и эпизоды крутого и решительного натиска на монашество как таковое, натиска, имевшего место не только в столице, но и по всей империи, мы, несмотря на то, что получаем впечатление действительно значительного и определенного в мотивах и замыслах движения, напряженного энергией Константина V, все-таки ясно можем разобрать, что Феофан многого не договаривает из того, что он почерпнул и узнал об этой стороне дела в своем источнике. Этого и следовало от него ожидать, поскольку у него свои взгляды на „иконоборчество“ и своя „правда“, которая, конечно, не совпадала с правдой иконоборцев. Последние в лице императорского правительства с поддержавшим его епископатом боролись с непомерным усилением монашества и ростом монастырей, в своей недосыгаемости и „экскуссивности“ становившихся для государства все более тяжелой обузой и грозной враждебной силой, а в своей аутодеспотичности для церкви и ее управления (епископов) — группами, ускользавшими из-под их воздействия. А летописец-исповедник старался выдвинуть на всезакрывающее место ересь и поход против бога и всего святого, выражавшиеся ярче всего в уничтожении иконопочитания и жестоком преследовании стойких его защитников и исповедников. Оттого и состав повествования у Феофана и в его источнике далеко не был тождественным; оттого Феофан и сам откровенно отказывается помещать в своем труде все, что считал важным записать относительно монахомахии правительства Константина V — его источник, иконоборческий хронист.²

¹ Theoph. 445,28—446,15. „Τῷ δ' αὐτῷ ἔπειτα ὁ Λαχανοδρακὼν ἀποστείλας Λέοντα τὸν νοτάριον αὐτοῦ (τὸν ἐπιλεγόμενον κουλούκην) καὶ Λέοντα ἀπὸ ἀββάδων (τὸν Κουτσαδάχτυλον) ἔπρασε πάντα τὰ μοναστήρια ἀνδρεῖά τε καὶ γυναικεῖα καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη καὶ βίβλια καὶ κτήνη, καὶ ὅσα ἦν εἰς ὑπόστασιν αὐτῶν, καὶ τὰς τοῦτων τιμὰς εἰσεκόμισε τῷ βασιλεῖ καὶ πολλοὺς μὲν τῶν μοναχῶν διὰ μαστίγων ἀνήλωσεν, ἔστι δ' οὗς διὰ ἑίφους ἀναριθμήτους δ' ἐτύφλωσεν. καὶ τῶν μὲν τὰς ὑπὲρ κεφαλῆς κηλεαίφ' ἀλείφον ὑφῆπτε πυρ καὶ οὕτω τὰ τε πρόσωπα αὐτῶν καὶ τὰς κεφαλὰς κατέκαιεν τοὺς δὲ μετὰ πολλὰς βρᾶνους ταῖς ἑσθρίαις παρέπεμπεν. καὶ τέλος οὐκ εἶσεν εἰς ὅλον τὸ ὑπ' αὐτὸν θέμα ἓνα ἄνθρωπον μοναχικὸν περβελλημένον σχῆμα τοῦτον οὖν μιμησάμενοι καὶ οἱ λοιποὶ τὰ ὅμοια διέπραττοντο“. Нетрудно видеть, что здесь Феофан повторяет опять те же жестокости и мучительства над монахами, которые он уже перечислял выше — 442,22—27, приписывая их тем же сподвижникам Константина V, но это и суть τὰ ἀνοσιουργήματα „стратигической троицы“, которые целиком во всех частностях Феофан считал невозможным описать, но о которых он с ужасом читал в „иконоборческой“ хронике, как об энергичном проведении императорской „реформации“ („ἔργα πρὸς θεραπείαν τοῦ κρατοῦντος γινόμενα“) (Theoph. 440,18—441,2).²

² Theoph. 440,28. „Καὶ τίς ἱκανὸς διηγεῖσθαι τὰ τοιούτων ἀνοσιουργήματα, ἃ μερικῶς ἐν τοῖς ἰδίαις τόποις συγγράφομεν; πάντα γὰρ κατὰ μέρος συγγράφειν τὰ τοιούτων ἔργα πρὸς θεραπείαν τοῦ κρατοῦντος γινόμενα σὺδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον

Параллельно напрашивается и другое, как мне кажется, довольно ценное наблюдение. Выше было указано, что все яркие эпизоды буйной монахомахии, которые по особым условиям просочились в хронографию Феофана из источника, общего у него с патр. Никифором, последним как будто решительно опускаются. Теперь мы можем уверенно внести поправку в это призрачное утверждение. Опять-таки, собирая разбросанные у Феофана указания на преследование монашества в одну цельную картину, мы в общем получим нечто весьма близкое по составу к тому выразительному и содержательному очерку „монахомахии“, который патр. Никифор предпосылает сообщению о смерти св. Стефана Нового как наиболее ярком проявлении этого гонения. Никифор более прямолинеен и не останавливается перед признанием преследования монашеского строя („τῶν μοναζόντων τὸ ἱερὸν ἐδιώκετο τάχα“) в качестве значительнейшей и самодовлеющей линии императорской реформации, как он должен был это воспринять из источника. Несмотря на крайнюю сжатость изложения, он все-таки не считал возможным опустить этот момент страшного царствования Константина V, но, что замечательно, о специфическом иконоборчестве, к которому с такой словоохотливостью то и дело возвращается Феофан, он упоминает в *Ἱστορίᾳ σύντομος* только мимоходом. Очерк Никифора, правда, чрезвычайно кратко, но зато исчерпывающе суммирует разрозненные, а потому и ослабленные показания, находимые нами у Феофана. Никифор захватывает даже больше фактического материала в свой обзор, который и представляет собой вдумчиво и отчетливо составленный конспект того большого и детального описания монахоборческих ἀνοσιουργήματα императорских τῆς κακίας ἐργατῶν, которых не вместили бы „все пишемые книги вселенной“, по жеманному выражению Феофана.

Поразительно совпадающие: Theoph. 440,¹⁴⁻²⁴ + 443,¹⁸⁻²² = Niseph. 75,²³ — 76,¹⁴ — оба историка принимают из своего общего источника по одинаковым и понятным побуждениям. И Феофан и патр. Никифор с большой готовностью обозначили новое несчастье, постигшее Константинополь при Константине V, потому что это было лишнее доказательство „несчастливости“ этого царствования, в опровержение иконоборческого прославления его.¹ Если в первой половине сообщения

χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία εὐαγγελικῶς εἰπεῖν οἰκειότερον“. Феофан знал о них все или много, но обещает рассказать только часть, ибо всего прямо „не вместили все пишемые в мире книги“ — излюбленная в агиографии риторическая фигура.

¹ Theoph. Καὶ ἐγένετο ἀβροχία, ὥστε μὴδὲ δρόσον πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐξέλιπε παντελῶς τὸ ὕδωρ ἐκ τῆς πόλεως. καὶ ἤρρησαν τὰ τε δοχεῖα καὶ τὰ λουτρά, οὐ μὴν δὲ καὶ τὰ πηγάδια νάματα τὰ ἀενάως ῥέοντα πρότερον τοῦτο ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ἤρξατο ἀνακαινίζειν τὸν Οὐαλεντινιάνου ἀγωγὸν μέχρι Ἡρακλείου χρηματίσαντα καὶ ὑπὸ τῶν Ἀβάρων καταστραφέντα, ἐπιλεξάμενος δὲ ἐκ διαφόρων τόπων τεχνίτας ἡγαγεν ἀπὸ μὲν Ἀσίας καὶ ἀπὸ τοῦ Πόντου οἰκοδόμους, α καὶ χρίστας σ', ἀπὸ δὲ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν νησιῶν

Niseph. Πέμπτη δὲ ἰνδικτιῶνι ἀβροχίας ἐπικρατούσης αὐχμῶδες καὶ ἐπὶ γέγονε τὸ κατὰστημα, ὥς καὶ αὐτὴν ἐπιλελοιπέναι τὴν ἀέριον δρόσον, ἔτι καὶ τὰ πηγάδια ὑποστέλλεσθαι νάματα, ἀργά τε μένειν ἐντεῦθεν καὶ τὰ λουτρά τῶν ἐκδοχείων κενῶν ὑπαρξάντων ἐκ τοῦτου βουλευέται Κωνσταντῖνος τὸν τοῦ ὕδατος ὀλκὸν ἀνακαινίζειν ὃν Βαλεντινιανὸς ὁ βασιλεὺς κατεσκεύασεν, ὑπὸ δὲ Ἀβάρων ἐπὶ τὸν Ἡρακλείου χρόνων τοῦ βασιλέως καταστραφέντα καὶ πλείστους ἄνδρας τεχνίτας εἰ

оба они допустили довольно корректную передачу иконоборческого рассказа о том, как Константин V реставрировал водопровод Валентиниана и сделал столицу „с водой“, что, наверное, и ставилось ему в заслугу в старой хронике, то другая решительная мера императора, которая не без восхваления излагалась в источнике и которая устанавливала в Константинополе изобилие и дешевизну, изображается Феофаном с молчаливой поправкой („καὶ τοὺς γεωργοὺς ἐγὺμνωσεν“), а патр. Никифором в открытой полемике с хроникой враждебного направления („ὅπερ τοῖς μὲν ἀνοήτοις εὐφορία τῆς γῆς καὶ пр. εὐθηνία ἐνομίζετο“ — представление источника; „τοῖς δὲ εὐ φρονούσι“, т. е. самому Никифору — „τυραννίδος ἔργον καὶ ἀπανθρωπίας νόσος ἐκρίνετο“).

И наконец, последний пассаж, выписываемый Феофаном, в согласии с Никифором, из основного источника, помещается под тем же годом а. м. 6259.¹

Легко заметить, сравнивая передачи обоих историков, что патр. Никифор и здесь серьезнее и исправнее заимствует и не позволяет себе произвольно и тенденциозно разрушать контекст, как это делает Феофан, пропуская начало сообщения о том, что патр. Никита произвел реставрацию обветшавших от времени зданий вселенской церкви, и выхватывая лишь понравившийся ему конец об уничтожении тем же патриархом старых икон и ликов в некоторых частях патриаршего дворца. Соблазнительно же он для Феофана был потому, что это одно

οὐτρακαρίους φ', ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς
Θρακῆς ὀπέρας, ε καὶ κεραμοποιούς σ' καὶ
ἐπέστησεν αὐτοῖς ἀρχοντας ἐργωδιώκτας καὶ
ἓνα τῶν πατρικίων. Καὶ οὕτω τελεσθέν-
τος τοῦ ἔργου εἰσῆλθε τὸ ὕδωρ ἐν τῇ
πόλει.

Ἐποίησε δὲ εὐθηνῆσαι τὰ εἶδη ἐν τῇ πόλει.
νέος γὰρ Μίδας γενόμενος τὸν
χρυσὸν ἀπεθησαυρίσε καὶ τοὺς
γεωργοὺς ἐγὺμνωσεν, καὶ διὰ τὴν τῶν
φόρων ἀπαίτησιν ἡναγκάζοντο οἱ
ἄνθρωποι τὰς τοῦ θεοῦ χορηγίας
εὐώως πιπράσκειν.

οἰκοδομὴν ἐμπείρους ἐκ τῆς ὑπὸ
Ῥωμαίων ἀρχῆς συναθροίσας,
πολλὰ τε δαπανήματα αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων
χρημάτων προσναλώσας, οὕτω τὸ τοιοῦ-
τον ἔργον ἐτέλεσε.

φιλόχρηστος δὲ ὢν ὁ μισόχρηστος νέος Μί-
δας Κωνσταντῖνος ἀναδείκνυται
καὶ τὸν χρυσὸν ἅπαντα ἀποθησαυ-
ρίζει ἐν οἷς συνέβαινε ἐν ταῖς
τῶν φόρων πράξεσι τῶν φορολο-
γούμενων βιαζομένων εὐώως τὰ
τῆς γῆς καρπήματα καὶ γεννήματα
διαπιπράσκεισθαι, ὥς τῷ νομίσματι
ἐξήκοντα μοδίους σίτου διαγοράζεσθαι, κριθῆς
δὲ ἑβδομήκοντα, καὶ πλεῖστα ἄγαν βραχεῖα
πάνυ ἀπεμπολεῖσθαι ποσότητι. ὅπερ τοῖς
μὲν ἀνοήτοις εὐφορία τε γῆς καὶ
πραγμάτων εὐθηνία ἐνομίζετο,
τοῖς δὲ εὐ φρονούσι τυραννίδος καὶ φιλοχρη-
ματίας ἔργον καὶ ἀπανθρωπίας νόσος ἐκρίνετο.

Niceph. 76.¹⁵. ... ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν
καιρὸν Νικήτας ὁ τῆς πόλεως πρόεδρος τινὰ
μὲν ἐκ χρόνου διαφανέντα τῆς καθολικῆς
ἐκκλησίας ἀνακαινίζει κτίσματα, τὰς δὲ ἐν
τοῖς ἐκείτῃς ἰδρυμένοις τῶν προδῶν οἰκίας,
ἃς Ῥωμαῖοι σέκρετα καλοῦσι, τὸ τε μικρὸν
δόμημα καὶ τὸ μέγα, τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν
ἁγίων οὐσας διὰ ψηφίδων χρυσῶν καὶ κηρο-
χύτου ὕλης εἰκονογραφίας ἀπέβυσσε.

¹ Theoph. 443.²². Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει
Νικήτας, ὁ ψευδώνυμος πατριάρχης, τὰς ἐν τῷ
патриархείῳ εἰκόνας τοῦ μικροῦ σεκρήτου διὰ
μουσείου οὐσας ἔξεσεν, καὶ τοῦ μεγάλου
σεκρήτου τῆς τροπικῆς ἐξ ὀλογραφίας οὐσας
κατήνεγκεν, καὶ τῶν λοιπῶν εἰκόνων τὰ
πρόσωπα ἔχριπεν καὶ ἐν τῷ Ἀβραμιάῳ δὲ
ὁμοίως πεποίηκεν.

из очень немногих конкретных указаний на уничтожение икон, т. е. на проявление настоящего, специфического иконоборчества. У самого Феофана это всего — второе и последнее¹ такое показание. Он должен был жадно ухватиться за это „признание“ самого иконоборческого хрониста, упуская, однако, из виду, что тем самым обесценивает и колеблет все свои предшествующие утверждения о крутом и беспощадном истреблении икон по повелениям еще императора Льва III. Ведь само собой разумеется, что если то, что называют иконоборчеством, было в своей главной сущности решительной борьбой с почитанием образов или даже с его эксцессами, то никак не могло случиться, чтобы иконы так долго (до 27-го года царствования Константина V) уцелели в патриаршем доме, несмотря на то, что в нем уже давно „на Моисеевом седалище воссели“ „лжеименные“, по выражению Феофана, патриархи: нуда — Анастасий и всенародно отрясший прах иконопочитания Константин. Уничтожение иконопочитания, сближенного с идолопоклонством, входило в реформационную программу правительственно-епископского блока, но не оно было боевым его пунктом. Оттого и осуществление его проводилось вяло и не радикально. В своем месте мы еще постараемся показать, как эта линия борьбы была выдвинута и разожжена другой боровшейся стороной — монашеством, как вопрос об изображении Христа и святых и об отношении к ним, приподнятый до догматической важности, обострился и был даже подвергнут серьезному обсуждению на Соборе 754 г., но именно под влиянием выступлений таких оппонентов правительства, как Иоанн Дамаскин, патр. Герман и инспирированные ими (неизвестные нам) прочие богословы из монахов. Но при всей силе и ясности теоретической разработки „иконаборчества“, перед которой в значительной мере опустили руки даже отцы VII Вселенского собора, практическое осуществление его, повидимому, не входило в неотложные задачи правительства и если и проводилось, то спорадически, случайно и без особого ожесточения. Прежнее „поклонение“ иконам и „почитание“ их были отменены (официально — Собором 754 г.), население (по крайней мере столицы) весьма беспрекословно присягнуло на верность соборному и императорскому „догмату“², но самые иконы, хотя и признанные произведениями дьявольского искусства, продолжали в массе висеть на своих местах и украшать их как художественные вещи. И случаи действительного их удаления или закраски были своего рода выдающимся событием: их запоминали, их считал нужным занести в свою летопись иконоборческий хронист. Если бы было иначе, то какое основание было упоминать о тихом удалении икон патр. Никитой, опуская более яркие и более крупные эпизоды иконоборчества?

Мы перебрали повествование Феофана об иконоборческом движении при первых двух самых ярких иконоборцах-императорах, материал, который из доступного здесь сопоставления Хронографии с современной ей *Ἱστορίᾳ συντομῶς* может быть сведен на определенный, убедительно прощупывающийся источник. Но последний, как было уже замечено, являлся и единственным возможным для пользования в этом отделе Летописи. Повторяя то, что было мной

¹ Первое относится еще ко Льву III: знаменитое столкновение у Медных ворот.

² Даже православные историки не пытаются указать ни одного намека на какой-либо протест.

уже признано, именно, что выделение материала, почерпнутого Феофаном из иконоборческой хроники, с помощью *Ἱστορίαι συντομολογ* патр. Никифора, не может претендовать на безусловную и исчерпывающую точность и полноту, что оно и велось, так сказать, с известным приближением, мы все-таки в праве накопленную сумму отложить в качестве особого фонда повествования Феофана, который в смысле исторической надежности должен быть оценен соответствующим образом: здесь мы чувствуем почву под ногами, так как знаем, что это заимствование, пусть даже подвергшееся переработке, идет из определенного произведения с фактическим содержанием, из работы, составленной близко по времени к описываемым событиям, а потому и хорошо осведомленным автором. Если он был и пристрастен, если его задача была и панегиристическая (но это еще под вопросом), то его тенденциозность могла отразиться более на окраске лиц и фактов, на выборе последних, чем на содержании и смысле их. Тон и оценка могли быть фальшивы, но самые факты — ни в коем случае, поскольку читатели, сами хорошо знавшие и помнившие изображенные события, могли уличить историка во лжи. Каков этот материал, каково его фактическое содержание, на эти чрезвычайно важные вопросы я предпочитаю дать ответ после того, как будет дан отчет в той любопытной категории сообщений Феофана об иконоборчестве, которая ложится в качестве остатка после отслоения выписок из предшествующей хроники. К этому изучению и обращаюсь.

7

Приступая к анализу и оценке образовавшегося „остатка“ в пределах двух первых иконоборческих царствований у Феофана, я считаю необходимым прежде всего заметить, что установить или даже просто угадать незримые источники, из которых питался Феофан в данных частях своего рассказа, едва ли возможно при наличных наших ресурсах, т. е. раз приходится искать источники, до нас не дошедшие ни целиком, ни в отрывках, ни даже в простых упоминаниях о них. Я уже говорил и сейчас снова скажу, что такая работа, исходящая даже из кропотливейшего изучения стиля и языка повествования Феофана, тончайших переливов и легчайших колебаний точек зрения и взглядов, из обнаружения эпизодов и пассажей, разнствующих и с основным тоном и между собой, все-таки должна быть признана в достаточной мере бесплодной, так как результаты ее никогда не окажутся бесспорными. А затем, если после напряжения и затраты неимоверных усилий и удалось бы вместо известного все-таки нам Феофана поставить неизвестные X, Y, Z..., даже всего его разложить на ряд таких безликих незнакомцев, едва ли от этого получился бы крупный выигрыш в смысле определения ценности и достоверности сообщений Хронографии как исторического источника. Единственно, к чему здесь желательно было бы стремиться, это к частичному оправданию Феофана, т. е. доказательству того, что он пишет не „от себя“, что даже в явно несообразных сообщениях вина должна быть сложена с него на его источники. Но в таком случае, т. е. если критика заменяется „оправданием“ и „спасением“, последние могут напрягаться до бесконечности, и остаток „повествования от себя“ никогда не будет убедительной гранью: он все будет казаться только еще не разгаданным и не разведенным. В то же время, оправдав Феофана посредством переложения

ния вины на его укрывшиеся источники, мы все-таки не ликвидируем самой вины: почему Феофан должен заслуживать доверия больше, чем его первоисточники и наоборот — эти вопросы просто неразрешимы.

Таковы условия, которые заставляют с самого начала снять с очереди обычные задания и привычные приемы исторической критики в применении к занимающим нас частям повествования Феофана и поставить на их место иные. Не разложение на первоисточники с целью установления степени обоснованности и достоверности его, как историка, должно быть написано на знамени изучающего, а исследование и оценка фактической содержательности его повествования, степени его реальной полновесности.

Снова мы — в пределах царствования Льва III и здесь в качестве таких „самостоятельных“ сообщений Феофана должны выделить следующие места:¹ Theoph. 401,²⁹—402,¹⁸ (о происхождении иконоборчества); 404,³—⁹ (о начале иконоборчества); 405,²—¹⁴ (о первых иконоборческих выступлениях Льва III); 406,²⁵—³¹ (начало столкновения императора с патр. Германом); 407,¹⁵—408,³¹ (исход этого столкновения); 409,¹⁴—¹⁹ (о протесте папы Григория II, отложении Италии и лютом гонении против икон).² Здесь, как видим, и сосредоточен основной материал повествования о специфическом иконоборчестве, а потому необходимо оказывается возможно тщательнее разобраться в каждом из этих главенствующих показаний Феофана.

Первое из них, которое надо считать одним из наиболее ответственных и капитальных в рассказе его об иконоборческом движении, претендует на общее разрешение сложного и темного вопроса о происхождении „нечестия и гонения на святые иконы“. Феофан примыкает здесь к тому построению начала иконоборчества в империи, которое, повидимому, пришлось весьма по вкусу оппонентам этого движения, так как, будучи уже публично высказано и раньше, оно и в последующей „православной“ литературе снова не один раз повторяется. В основе его лежит утверждение, что иконоборчество складывается под влиянием мусульманства с участием иудейства — и это утверждение, в котором было более оскорбления и раздражения, чем проницательности, претворено было в известное сцепление фактов, т. е. выставлено было в форме легенды. В ряде ее последовательных выражений можно наблюдать весьма любопытное движение, своего рода эволюцию этой легенды — и версия, которую мы застаем у Феофана, не является уже изначальной. Это — уже третья „перемена“, поскольку мы можем судить на основании дошедшего до нас литературного материала. Первой, исходной (насколько опять-таки нам известно) формулировкой следует считать ту, которую мы читаем в деяниях

¹ Если не считать 400,²—¹⁷, прославленного анекдота о крещении Константина V.

² Повествование о папе Стефане и франках, несмотря на то, что оно поддерживается Анастасием, я все-таки склонен считать вставным и не принадлежащим летописцу Феофану. Интерполированность изобличается, помимо случайности и неожиданности этого сообщения, еще и нетвердостью его местоположения в хронографии: в латинском переводе оно стоит под а. н. 6234, в греческом тексте — а. н. 6216. Ср. De Vogt. Theoph. Chron. I, 402, прим.; сообщение считается схолием к известию: „Στέφανος δὲ ὁ πάππας Ῥώμης, προσέφυγεν εἰς τοὺς Φράγγους“ (403, ²⁹).

VII Вселенского собора в качестве „собственной диегесы достопочтеннейшего иерусалимского монаха Иоанна“, бывшего „представителем“ восточных архиереев.¹

Каково происхождение диегесы, претендующей „показать со всей истиной, как, когда и откуда получила свое начало злейшая и богоненавистная ересь (sic!) иконоборцев“?² Едва ли будет ошибкой признать в ней работу „по специальному заказу“ — для собора. И целью ее было отмстить иконоборчеству сближением его с мусульманством и иудейством за его обвинение церкви в идолопоклонстве и суевории, о чем можно догадываться из контекста этой диегесы. Председательствовавший на соборе патриарх Тарасий мотивирует переход к докладу монаха Иоанна весьма недвусмысленно: „Поелику, — говорит он, — в предшествующем выяснилось, что церковь подвергалась обвинениям за честные иконы со стороны евреев, язычников, самаритов, манихеев... то подобает выслушать и возлюбленного брата нашего... Он имеет разъяснение, откуда пошло низвержение икон“. Доклад монаха Иоанна не был неожиданным для патриарха, а вероятно, и для многих участников Собора 787 г., откровением: патриарх заранее знал о нем и выбирал для него только удобный и подходящий момент. И никакого особого эффекта диегесы не произвела: ее выслушали совершенно спокойно и последовали далее. Поэтому более всего она и похожа на подготовленную, с ведома, вероятно, президиума собора, Иоанном ту формулу происхождения иконоборчества, которую собор и предполагал санкционировать и выдвинуть в качестве „официальной“. Эта формула для убедительности была конкретизирована и историзирована, причем самые исторические факты, на которые она поставлена, не были придуманы *ad hoc*: они имели место в действительности. Эти факты могли быть хорошо известны иерусалимскому монаху, но он слишком прямолинейно и беззастенчиво их и выразил и связал, чтобы эта комбинация могла быть принята за действительность. Указания на халифа Езида (Язйда II), на его указы против христианского культа, даже на некоторое участие в антихристианской пропаганде евреев — поддерживаются свидетельствами арабских историков, так что сомневаться в реальности личности Язйда и его „иконоборчества“ не приходится.³

Пользуясь синхронизмом попыток халифа Язйда II и начала иконоборчества при императоре Льве III, православные писатели радостно встретили эти „арабские события“, чтобы притянуть их и слить все

¹ Кроме Mansi. Coll. Conc. XIII — у Migne. Patr. Gr., т. 109, стр. 517—519.

² „ἡ ποδοβία μετὰ πατρὸς ἀληθείας, ὅπως καὶ πότε, καὶ ὅθεν ἐτεῖν τὴν ἀρχὴν ἡ κακία, καὶ θεοστοιχῆς αὐτῆς... εἰκονομαχῶν αἰρέσις...“.

³ В переводах арабских историков, сделанных и напечатанных Н. Медниковым в выпуске 50 Православного палестинского сборника (1897), находим у Ибн-Тагриберди (стр. 652), ал-Макрийя (стр. 551) и ал-Мекина (стр. 1763) довольно определенные указания на притеснения христиан (глазным образом монашества и духовенства) в Египте, при халифе Язиде II (101—105 гг. = 720—724 гг.), преемнике Смара II. Эти притеснения представлены там как продолжение таковых же при Сулеймане и вырисовываются не столько как проявление религиозной нетерпимости мусульман, которой вообще последние проявляли мало, а как последствия отказа христиан, главным образом монахов, платить вновь наложенные и увеличенные подати, а также как стремления арабского правительства воспользоваться очевидным процветанием христиан и перетянуть себе хотя бы часть огромных средств и земель церквей и монастырей (см. также Н. Медников. Палестина от завоевания ее арабами, в Правосл. палест. сборнике, т. XVII, вып. 2 (I), стр. 686, 687, 719 и др.). Историки говорят о поведении Язйда II уничтожать церкви, кресты и иконы и говорят так, что эти приказы подлежат считать приведенными в исполнение. Последнее важно заметить для оценки сообщений Феофана о том же событии.

в своего рода единое „безумие и нечестие“ и этой связью с арабами опозорить и свое „иконоборчество“. При этом диегеса монаха Иоанна наивно (с популяризационным расчетом) драматизирует и индивидуализирует события. Враждебное христианству еврейство персонифицируется в лице некоего волшебника и дьявольского вождя незаконных иудеев в Тивериаде Серантапиха.¹ Этот таинственный еврей с явно вымышленным греческим именем и приводится весьма примитивно в общение с халифом, причем сообщается в точности разговор, происшедший между ними. Еврей обещает Язиду долголетие и владение в течение 30 лет,² если тот без всякого промедления повелит написать и разослать по всему государству окружную грамоту (ἐγκύκλιον τὴν ἐπιστολὴν) о том, чтобы уничтожили всякое живописное изображение, где бы оно ни было сделано и т. д.³ „Тиран“ выразил свое согласие и, разослав по всей подвластной ему земле людей, уничтожил („κατέλεν ἀπὸ πάσης ἐπαρχίας τῆς ὑπὲρ αὐτὸν τὰς ἁγίας εἰκόνας καὶ λοιπὰ ὁμοιώματα“) святые иконы и прочие изображения. Далее совершенно бездоказательно и явно надуманно устанавливается связь: „Узнав об этом лжеепископ Наколии со своими присными принялса подражать незаконным иудеям и безбожным арабам и опозорил церкви божи“.⁴ Но Язид II прожил после этого не более двух с половиной лет, а после его смерти иконы были восстановлены. Сын же его Улид (Валид) повелел предать жестокой казни еврея, понесшего, таким образом, заслуженное возмездие за свое лжепророчество.

Патриарх Никифор,⁵ называя иконоборчество горчайшей из ересей и соединением всех прежних, подчеркивает в нем „Ἰουδαϊκὸν καὶ θεοσυγῆς τὸ φρόνημα“ и в подкрепление этого своего воззрения ссылается на построение начала этой ереси, какое он находит у старых людей („τῶν πρεσβυτέρων τινέс“). Этот рассказ представляет собой не что иное, как риторически распространенную и литературно прибранную диегесу монаха Иоанна (старые люди!). В основных положениях Никифор остается ей безусловно верен. Одинаково и там и здесь героем является небезызвестный в Тивериаде еврей, маг и дьявольский волшебник Тессаракоптапихис, который втирается в доверие легкомысленного халифа Язида, и за обещание долгой жизни и тридцатилетнего благополучного владения добивается от него повеления как можно скорее уничтожить все священные изображения и иконы во всем царстве. Приказ приводится в исполнение евреями и сарадинами — и затем одинаково необоснованно указывается на восприятие этой язвы иерархами Римской империи с епископом Наколийским во главе. Конец

1 „Ἦν δὲ τις ἐν Τιβεριάδι προηγέτης τῶν παρανόμων Ἑβραίων, φαρμακόμαντις, δαιμόνων ψυχοβλαβῶν ὄργανον ἐπωνομαζόμενος Σεραντάπηχος“.

2 „δι' οὗ σοι προστεθήσεται ζωῆς μῆκος καὶ διαμείνης χρόνους τριάκοντα ἐν τῇ δὲ σοι ἀρχῇ“.

3 „ὥστε πᾶσαν εἰκονικὴν διαχωρήρῃσιν, εἴτε ἐν σάνισιν εἴτε διὰ μουσείων ἐν τοίχοις εἴτε ἐν σκεύεσιν ἱεροῖς καὶ ἐνδυταῖς δυσιστηρίων καὶ ὅσα τοιαῦτα εὐρίσκειται, ἐν πάσαις ταῖς τῶν χριστιανῶν ἐκκλησίαις ἀφανίσαι καὶ τελῶς καταλῦσαι...“

4 „Τούτων ἀκηχώδης ὁ ψευδεπίσκοπος Νακολίας καὶ οἱ κατ' αὐτὸν ἐμιμήσαντο τοὺς παρανόμους... καὶ ἐνύβρισαν τὰς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ“.

5 В своем комментарии к De haeresibus Иоанна Дамаскина под заголовком: „Сто вторая ересь“ — „Αἵρεσις ρβ! χριστιανοκατήγοροι ἤγουν Εἰκονοκλασταί“, который застал в Cod. Paris. Левкийний, — см. в прил. к Antirr. III у Migne. Patr. Gr. 100, 528—529.

рассказа совпадает уже почти буквально.¹ И в то же время в заключении мы наблюдаем здесь некую, может быть, идущую от самого патр. Никифора, может быть, воспринятую им со стороны довольно существенную, хотя и проходящую без фактической опоры прибавку: „ἀπαξ δὲ τῆς πικρίας ἔχειντες ἡ ῥίζα τῇ Ῥωμαϊκῇ ἐμφυεῖσα πολυτεία, φθάνει καὶ μεῦρε τοῦ τότε κρατοῦντος. Λέων δέ... ἐπιπλενεῖ κατὰ τῆς εὐσεβείας, τῶν θείων ναῶν τὴν ἱερογραφίαν ἐξορύττειν ἐσπουδαζεν“. Таким образом в этой версии притягивается уже к объяснению и выведению из иудейско-арабских источников и правительственное, императорское иконоборчество. У монаха Иоанна все дело еще кончалось на епископском движении против икон; в „сараценомудрии“ изобличался только епископ Наколии и его кружок. Здесь последний рассматривается уже в качестве передаточной ступени, и выступление императора Льва III пристраивается как результат иудейско-мусульманского влияния. У Феофана мы застаем уже решительно варьированную в этом направлении редакцию легенды. Иудей появляется не из Тивериады, а из Лаодикеи; имя его пропало, но первая его часть (τεσσαράκοντα) выступает в перемене числа лет, которые он обещает Язйду за уничтожение икон: не тридцать, а сорок лет благополучного царствования. Язйд, убежденный обещанием, только издает всеобщий указ против святых икон,² но милостию господ нашего Иисуса Христа и молитвами пречистой его матери и всех святых в том же году (а не через два с половиной года) умер Язйд, так что не только не было проведено истребление икон, но даже многие так и не узнали о сатанинском его распоряжении. Это горькое зловерие перенимает не Константин Наколийский, а непосредственно император Лев III, который, таким образом, оказался одним из немногих узнавших об указе халифа. И только в качестве одного из единомышленников он нашел себе Наколийского епископа, наряду с главнейшим соратником в этом дурном деле — неким Висиром, отступником от христовой веры и напоенным арабским учением. Весьма затруднительно сказать, чем обусловлены были такие радикальные изменения в легенде. Но, может быть, это и не так уже важно, так как ясно, что перемены вносились не из проверки фактов, а наоборот: в версии Феофана неблагоприятной оказывается не только связь арабского и византийского „иконоборчества“, но и сама первая фактическая часть, так как она перестает в таком

¹ Niceph. 539 C. Οἶον δὲ τέλος ὁ τῆς κακίας ταύτης εἰσηγητῆς, ὁ παμμίαιρος οὗτος Ἑβραῖος ἐδέετο, παραδραμεῖν οὐ δίκαιον. ὁ γὰρ Ἰεζίδος ἐκεῖνος οὐ πλείωνας ἢ, δύο ἐνιαυτοὺς πρὸς μῆσιν ἕξ ἐπιβιούς, τοῦ ζῆν κακῶς ἀποβῆναι. ὁ δὲ τούτου υἱός, Οὐλιδος... οἶα τὸν τέκοντα ἐξαπατήσαντα πικροτάτῳ καὶ ἐξαισίῳ θανάτῳ ἀναιρεθῆναι τὸν γόητα ἐπέτρεψεν, ἄξια τῆς κακίας τ' ἀπίχειρα κομισάμενον.

² Theoph. 402,3. „Τούτῳ πεισθεὶς ὁ ἀνόητος Ἰζιδ δόγμα καθολικὸν ἐψηφίσατο κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀλλὰ χάριτι... τῷ αὐτῷ ἔπει τέθνηκεν Ἰζιδ, οὐδὲ ἀκουσθῆναι, φθάσαντος τοῖς πολλοῖς τοῦ σατανικοῦ αὐτοῦ δόγματος“.

Ιοη. 520. Ἀξίον δὲ κρίνω... καὶ οἶον ἐδέετο τέλος ὁ δαίλαιος ἐκεῖνος καὶ φαρμακὸς Ἑβραῖος. Ὡς γὰρ... Ἐξιδος οὐ πλείω τῶν δύο ἡμισυ χρόνων βιώσας ἀπέθανε, ἀπῆλθεν εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ... ὁ δὲ τούτου υἱός, Οὐλιδος τούνομα, ἀγανακτήσας ὡς φονέα τοῦ... πατρὸς τὸν φάρμακον αἰσχίστῳ θανάτῳ ἀναιρεθῆναι ἐκέλευσεν, ἄξια τὰ ἐπίχειρα τῆς ψευδομαντείας αὐτοῦ κομισάμενον.

виде поддерживаться данными арабских источников. Но для того чтобы окончательно взвесить и оценить, с чем мы в смысле достоверности имеем дело в этом рассказе, любопытно проследить, как причудливо искажается вся физиономия легенды в послефеофановской переработке, которую мы встречаем у Георгия Монаха,¹ в Послании к императору Феофилу и, наконец, у Кедрина, причем последний весьма нелепо пристегивает новую версию к выписке из Феофана. Здесь в полном пренебрежении к какой бы то ни было хронологии уже целых два еврея обманывают Язйда, умирающего менее чем через год после своего совращения, и затем, убегая от гнева следующего халифа, попадают в пределы Исаврии и здесь чудовищным образом встречают юношу, будущего императора Льва III, с которым и заключают самостоятельный договор. Правда, похождения евреев у Язйда отнесены в этой версии ко времени царствования Феодосия Абрамитипа, но это не только не спасает дела, а еще более запутывает его. Смерть Язйда, царствование Феодосия, отрочество Льва III — все это никак не втискивается в утлый мешок легенды, которая, по мере своего развития, делается все нелепее и неприемлемее. Происхождение и назначение ее вполне понятны, но следует признать, что она все-таки очень плохо придумана, и включением ее Феофан только компрометирует свое повествование.

В самом деле, уже в первой версии „объяснения“, принятой на Соборе 787 г., не может не шокировать произвольность связывания двух соблазнительно одновременных выступлений: халифа Язйда II и малоазиатского епископата во главе с Константином Наколийским. Приходится считаться с довольно сочувственным отношением к этой конструкции в новой исторической литературе.² Указывают на то, что „местная почва Фригии (где находилась Наколия) благоприятствовала тому, что из этой провинции вышел первый иконоборческий богослов“. Фригия, говорят, страна, взлелеявшая монтизм и новацианство, а в средние века — один из главных притонов павликианской общины, враждебной иконам. Религиозно-обрядовая жизнь сектантов, по своему простому строю напоминавшая времена первых веков христианства, представляла много благоприятного для идей иконоборчества. В таких и им подобных соображениях весьма мало убедительности. Что сектанство стремилось к опрощению и очищению „христианства“, что те же тенденции можно установить и в исламе, этого никто отрицать не станет, но почему нельзя допустить в недрах самого „православия“ самостоятельного движения в ту же сторону; почему непременно нужно подставлять здесь мало уже убеждающую формулу „влияния“, зачем в научно-исторической работе надо еще пользоваться истрепанным и дешевым приемом миссионеров и полемистов — уличать противников в старых, уже заклеянных ересях и нечестиях? Тем более что самый осведомленный и надежный свидетель этих первых шагов „епископского иконоборчества“ — патр. Герман — в своем письме к самому *Ἐπαρχὸς τε καὶ ἡγῆτωρ* движения Константину Наколийскому совершенно чужд мысли о сектантском, иудейском или арабском влиянии на „изначальника“ иконоборчества: он считает источником заблуждения неправильное, но самостоятельное толкование некоторых мест св. Писания. То же высказывает он и в Послании к митрополиту

¹ Georgius Mon., ed. de Boor II 735, 14. Epistola ad Theopilum imp. — у Migne. Patr. Gr., 95, 356 C. Georgii Cedreni. Compend. I 788 (ed. Bonnae).

² См., например, Schwarzklose. Der Bilderstreit, 44—45; И. Андреев Герман и Тарасий, 19 и сл.; Brehier. La querelle des images. Par., 1904, 8 ff.

Синадскому Иоанну.¹ В третьем же своем письме к еп. Фоме Клавдиупольскому,² он, упоминая об оскорблениях церкви христовой со стороны иудеев и сарацин, однако, даже и не пытается связать их с нападениями иконоборцев. Еще важнее, пожалуй, то, что и в трактате *De haeresibus et Synodis* тот же патр. Герман считает зарождение еретических идей еп. Константина совершенно самостоятельным („καὶ τούτων ἑξαρχός τε καὶ ἡγῆτωρ ὁ τῆς... πόλεως πρόεδρος“), вытекавшим из чтения книг св. Писания.³ Если еп. Константин и опирается в своем выступлении против иконопочитания на те же почти места св. Писания, которые выдвигались раньше и иудеями, то это совпадение представляется вполне естественным и неизбежным, но, конечно, никоим образом не может доказывать заимствования этих ссылок Константином у воинствующего иудаизма. Наконец, даже намек на выведение первых шагов иконоборчества из восточного (еврейского или арабского) воздействия не высказывает такой мастер богословского спора, как Иоанн Дамаскин, а между тем он в этом вопросе, казалось бы, был нарочито компетентен. Все это заставляет склоняться к мысли, что эта „теория сиро-сарацинских корней“ иконоборчества создавалась довольно поздно, приблизительно, к 80-м годам VIII в.

Несравненно менее приемлемой и обоснованной в фактическом отношении представляется „теория“ происхождения иконоборчества в формулировке Феофана. Сводить начало и сущность движения, проведенного правительствами императоров Льва III, Константина V и их продолжателей с такой упорной энергией и сознательной увлеченностью, движения, „принесшего великие беды всей империи“, — к „переймке“ чужого мусульманского зловерия („μεταλαβὼν δὲ ταύτης τῆς... κηκοδοξίας“) возможно разве только иронически. Я и думаю, что Феофан в данном месте именно только иронизирует: с такой целью он и воспользовался уже широко распространенной легендой. К его времени знаменитость „изначальника“, еп. Константина в значительной степени выветрилась и потускнела. Феофан не считает нужным даже называть его по имени. В главные герои иконоборчества уже определенно выдвинуты были сами императоры: Лев III и Константин V. И хронист без труда мог сделать свое соображение, что если Вселенский собор признал, что иконоборчество питалось из мусульманского беззакония, „подражало“ последнему, то в таком подражании справедливо изболочить и первого императора-иконоборца, который, очевидно, являлся *σαρακηνόφων*, так как думал и поступал так же, как и халиф Язид.⁴ А взамен отодвинутого назад *ἑξαρχός καὶ ἡγῆτωρ* нечестия епи-

¹ См. у Migne Patr. Gr. 98, 156 C.

² Ibid., 168 A, 168 C.

³ Migne. Patr. Gr. 98, 77 A. „Ἀνέφθι γὰρ τις ἐπίσκοπος Νικολαΐας οὕτω κηκουμένης, πολίχνης τῆς Φρυγῶν ἐπαρχίας, ἀνὴρ οὐκ ἐλλόγιμος... ὅς φιλῇ τῇ τοῦ γράμματος θεωρίᾳ ἐν τῇ τῶν θεσπεύστων Γραφῶν ἀναγνώσει προσκεχηγώς, κηκουρεῖν παρὰ τὰ ἱεροπρεπῆς ἐκτεφασμένα παρδογματίζε, καὶ ταῖς πατριαῖς κητεῖανίστασαι παρδοσσεῖν ἀνδοπλῖζετο“.

⁴ Если принимать это утверждение Феофана за фактическое сообщение, то необходимо подкреплять и спасать его узорами хотя и вероятных, но все-таки произвольных предположений, что мы и застаем в новейших трудах по истории иконоборчества: Шварцлозэ, Брейе, И. Андреева, И. Доброклонского (св. Феодор Студит). Приходится, подчеркивая сирийское и исаврийское происхождение Льва III, допускать, что он давно сблизился с Константином Наколийским, еще во время своего командования войсками в Малой Азии, и тогда утвердился в своем намерении начать борьбу с иконами. Приходится идти далее и, ссылаясь на результаты исследования

скопа Наколии, Феофан в качестве ближайшего единомышленника по „арабомудрию“ и сподвижника (*συνασπιστής*) императора-сирийца называет тоже сирийца, некоего Висира (*Βισήρ*), который будто бы, будучи полонен арабами, отступился от Христа и пропитался арабскими верованиями, а потом, освободившись из плена, перешел на римскую государственную службу¹ и здесь, возвеличенный Львом III за телесную силу и согласие с ним в зловерии, сделался его сподвижником в великом зле. Но помимо этого общего утверждения, Феофан в последующем повествовании об иконоборчестве при Льве III ровно ничего не сообщает о деятельности этого выдающегося иконоборца: очевидно, он и не знал ни одного его выступления такого рода. Нет сомнения, что это тот самый патрикий Висир, который в тревожные дни узурпационной попытки Артавазда остался верен Константину V, сыну того, при ком он достиг высокого сановного положения (патрикия). Будучи отправлен Константином как доверенное лицо с предложениями к Артавазду, он был убит последним. Об этом надежно, на основании выписываемого общего источника, сообщают и Феофан и патр. Никифор.² Можно быть почти уверенным в том, что, кроме гибели этого знатного приверженца Константина V со странным и соблазнительным именем,³ Феофан и не обладал о нем никакими сведениями. Превращение этого патрикия Висира в своего рода „везира“ императора Льва III и сообщение ему „сараценомудрия“, конечно, не более как догадка православного летописца, но догадка, которую он ничем подтвердить не мог.

сирийского и египетского христианского искусства, подчеркивать преобладание в нем символики и орнаментики и отвращение к иконографии, каковые тенденции были усилены торжеством ислама с его ригоризмом и пуризмом. Мусульманство, говорят, двинулось в наступление и в поклонении иконам находило один из самых уязвимых пунктов для нападения, поскольку в христианской среде этот обычай долгое время встречал сопротивление, а известная группа, как монофиситство и позднее монозелитство, и навсегда остались врагами иконопочитания. К этому натиску на христианство присоединяется и переходящее в агрессивность иудейство, а также сектантство. Традиционная политика репрессий и гонений по отношению к инаковерующим восточных областей в VIII в., при силе и влиятельности арабов, оказывалась совершенно непригодной: необходимо было привлекать, а не отталкивать. И правительство Льва III, из политических мотивов, склоняется к принуждению и коренного населения отказаться в пользу ненадежных и легко оттягивавшихся к исламу окраин от некоторых обычаев, в частности иконопочитания, неприемлемого для них. Такой религиозной реформой Лев III довершал и закреплял тот грандиозный внешний удар, который был нанесен им арабам и который Финдей оценивал „выше подвига Карла Мартелла“ и считал спасением Европы от величайшего переворота религиозного, экономического и этнологического. Такому разъяснению начала и смысла иконоборчества нельзя отказать ни в широте взгляда, ни в находчивости, ни в схематической стройности, но оно сплошь построено на фактах, устанавливаемых гипотетически, и отличается явным гиперболизмом: одна из линий сложного движения, может быть, и не самая существенная — борьба из-за икон — выдвигается в качестве гениально задуманной и блестяще проведенной реформы императора Льва III, и сосуществование двух течений подменяется воздействием одного на другое.

¹ Theoph. 402,9, „Εὐρών δὲ βισήρωνα τῆς ἀπιδουσίας τούτης Βισήρ τινα τοῦνομα γενόμενον μὲν ἀπὸ χριστιανῶν αἰχμάλωτον ἐν Συρίᾳ, ἀποστάντα δὲ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ ποιῶντά τῳς Ἀράβων δόγμασιν, οὗ πρὸ πολλοῦ δὲ χρόνου ἀπελευθερωθέντα τῆς ἐκείνων δουλείας καὶ καταλαβόντα τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν. διὰ ῥώμην δὲ σώματος καὶ ὁμόνοιαν τῆς κακοδοξίας ἐτιμῆθη παρὰ τοῦ αὐτοῦ Λέοντος. ὅστις καὶ συνασπιστής του μεγάλου καὶ αὐτοῦ γέγονε τῷ βασιλεῖ“.

² Theoph. 414,27; Niseph. 60,3.

³ Βισήρ — почти что „везир“ — *ωζιρ*, что значит по-арабски: „берущий на себя тяготы“, „помощник“. Должность везира устанавливается в халифате как раз во второй половине VIII в. См. А. Крымский. История арабов, ч. II, стр. 148 и сл.

Любопытное „пустое место“ представляет собой следующее „независимое“ сообщение Феофана о начале иконоборчества.¹ Обыкновенно здесь усматривают указание на первый указ Льва III об уничтожении икон² и придают этому известию очень большое значение: „Эдикт 725—726 г. был началом не только великой 142-летней борьбы, но повлек за собой отпадение Рима и Равенны, а далее сближение папства с франками и образование Римской империи Каролингов“.³

Феофан должен был быть в достаточной мере осведомлен относительно этих крупных последствий выступления Льва III и не мог не отметить в своем повествовании этого выдающегося акта. Надо, однако, сознаться, что далеко не все обстоит благополучно в таком толковании. Почему Феофан все-таки так неопределенно и даже небрежно формулирует это сообщение; почему он не считал нужным не только сообщить, хотя бы вкратце, содержания знаменитого указа, но даже не упомянул прямо и категорически о том, что это был указ? В самом деле, немислимо же выражение „ἡρξάτο λόγον ποιῆσαι“ переводить „начал издавать указ“: это неверно и лексически и синтаксически и просто не имеет смысла. Точный перевод гласит: „В этом году император начал открыто говорить, вести речь об уничтожении святых икон“, и, следовательно, только производно можно извлекать отсюда указание на эдикт. Но еще более повергает в смущение то обстоятельство, что об этом „указе“ мы нигде, кроме Феофана, не находим свидетельств, главное же, не находим их в *Ἱστορία συντομος* патр. Никифора — верный знак того, что указания на этот значительный эдикт не стояло в их общем источнике. Можно быть уверенным в том, что, с одной стороны, если бы в источнике было сообщение об указе (первом иконоборческом указе Льва III!), то патр. Никифор не мог бы обойти его молчанием, а с другой — если бы такое решающее повеление 725 г. об уничтожении икон было в действительности, указание на него непременно присутствовало бы в иконоборческой хронике, так как и эта сторона должна была придавать подобному акту крупное значение.⁴

Не касаясь запутанного вопроса о подозрительной хронологии у Феофана в данном отделе повествования, обратим внимание еще на один довод отстаивающих здесь указание на первый иконоборче-

¹ Theoph. 404,1. a. m. 6217. „Ῥώμης ἐπίσκοπος Γρηγόριος ἐστὶ θ'!

Τούτῳ τῷ ἔτει ἡρξάτο ὁ δυσσεβὴς βασιλεὺς Λέων τῆς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καὶ αἰρέσεως λόγον ποιῆσαι. Καὶ μεθὲν τούτου Γρ. ὁ π. τοὺς φόρους τῆς Ἰταλίας καὶ Ῥώμης ἐκόλυσε γράψας πρὸς Λέοντα ἐπιστολὴν δογματικὴν μὴ δεῖν βασιλεὺς περὶ πίστεως λόγον ποιῆσαι καὶ καίνοτομεῖν τὰ ἀρχαῖα δόγματα τῆς ἐκκλησίας... (dogmata ecclesiae catholicae. A.)“.

² Так еще Hefele. Concilieng. III, 376; Schwarzlöse, op. cit., 51, переводящий данное место Феофана след. образом: „In diesem Jahre begann Kaiser Leo von der Wegnahme der heiligen... Bilder ein Edikt zu erlassen“ (сущая бессмыслица!), K. Schenk. Kaiser Leons III Walten im Innern („Byz. Zeitschrift“, 1896, V, 291 и 301); Lombard. Constantin V, 108; иначе, насколько мне известно, лишь И. Андреев. Герман и Тарасий, 25.

³ См. Schenk, op. cit., 269.

⁴ Ввиду неопределенности и мягкости выражений Феофана, некоторые исследователи, как К. Шенк (op. cit., 291), а раньше Папарригопуло склонялись думать, что в этом первом указе Лев III повелевал только перевесить иконы выше, во избежание вульгарного „идолослужения“. Но на такой эдикт мы находим указания лишь в латинском переводе Vita Stephani (у Барония, ann. 725). Правильно считает Ломбар (op. cit., 108) невозможной такую умеренность в первом иконоборче и первом его указе. Здесь виден уже некоторый компромисс, который мог создаться позднее, на переломе борьбы, среди искания примирения. Умеренная иконоборческая фракция складывается лишь в IX в.

ский эдикт. Последнее будто бы подтверждается решительностью выступления папы Григория II, воспрепятствовавшего платежу податей в Италии и Риме и написавшего Льву III учительное послание (*ἐπιστολὴν δογματικὴν*) о том, что император не должен рассуждать или вести речь (*λόγον ποιῆσαι*) о вере и вводить новшества в старинные учения церкви. Такие сильные меры могли быть ответом лишь на открытое объявление и проведение иконоборчества; предварительная же, неопределенная пропаганда иконоборческих идей не могла и не должна была бы вызвать такого бесповоротного отпора. В этой связи, однако, необходимо осторожно разобраться, чтобы выяснить, откуда исходил Феофан в своем построении, т. е. из выступления Льва III или из выступления папы Григория II. Помимо того, что сама по себе сомнительна такая форма протеста против иконоборческой декларации, как податная забастовка (особенно со стороны папства), мы должны будем убедиться в том, что летописец имел сведения лишь о действиях папы и его обращении к императору и из них выводил необходимость предварительного давления императора Льва III, которое не мог представлять себе иначе, как в смысле предложения (в той или иной форме) уничтожить святые иконы и осудить их почитание.

Заметим прежде всего, что Феофан повторяет то же самое сообщение еще два раза: во-первых, под а. м. 6221, в связи с неудачной попыткой императора Льва III перетянуть на сторону иконоборчества патр. Германа. Там он¹ заявляет, что рядом с этим патриархом, отстаивавшим учение благочестия в Константинополе, против императора в старейшем Риме выступал (вообще! NB) Григорий, всесвятой апостолический муж и сопрестольник верховного Петра, блистающий словом и делом, который отложил Рим и Италию и все западные области от политического и церковного подчинения Льва III и от его империи, а в Дамаске Сирийском — Иоанн Хрисоррой. . . . и во-вторых, под тем же годом — в связи с низложением Германа и назначением нового патриарха Анастасия.² Нетрудно сообразить, что все три замечания, точно хронологически не фиксируемые, относятся к одному и тому же выступлению папы Григория II, так как третье самим Феофаном отождествляется со вторым (*καθὼς καὶ πρόεφην*), второе же, как брошенное вообще, не дает ничего нового сравнительно с первым, совпадая с ним по содержанию (отложение Рима и Италии + обличительное послание). Выясняется, что у Феофана имелось сведение об этих двух шагах папы по отношению к императору Льву, и он явно представлял себе оба шага сделанными вместе, поскольку вызываемы они были одной и той же причиной: иконоборческой яростью Льва III. Каждый новый взрыв этой ярости вызывал (по Феофану) со стороны папы одну и ту же реакцию.

В реальности папских выступлений сомневаться невозможно: они подтверждаются данными и западных источников;³ но вопрос в том,

¹ Theoph. 408, 21. „ἐν δὲ τῇ πρεσβυτέρᾳ Ῥώμῃ Γρηγόριος, ὁ πανίερος ἀποστολικὸς ἀνὴρ καὶ Πέτρου τοῦ κορυφαίου σύνθρονος, λόγῳ καὶ πράξει διαλάμπων, ὃς ἀπέστησε Ῥώμην τε καὶ Ἰταλίαν καὶ πάντα τὰ ἐσπέρια τῆς τε πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ὑπακοῆς Λέοντος καὶ τῆς ὑπ' αὐτὸν βασιλείας + 408, 28 Γρηγόριος δὲ αὐτὸν δι' ἐπιστολῶν ἀριδύλως ἐλέγχει τῶν τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένων. . .“

² Theoph. 409, 14. „Γρηγόριος δὲ ὁ ἱεὺς πρόεδρος Ῥώμης, καθὼς καὶ πρόεφην, Ἀναστάσιον ἅμα τοῖς λιβελλοῖς ἀπεκέρυξεν ἐλέγχας τὸν Λέοντα δι' ἐπιστολῶν ὡς ἀσεβοῦντα, καὶ τὴν Ῥώμην σὺν πάσῃ τῇ Ἰταλίᾳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπέστησεν“.

³ Но только не так называемыми письмами Григория II к императору Льву, о которых см. особую главу в этой книге.

вместе ли и сразу они шли и были ли, действительно, ответом только на иконоборческие попытки. В самом деле, если мы обратимся к Vita Gregorii Papae II, мы обнаружим там совершенно иную, чем у Феофана, перспективу отношений между Григорием II и Львом III, иную последовательность событий.¹ Сразу же отсюда выясняется с убедительной очевидностью, что первое письменное обращение Григория II к императору последовало лишь в 729 г. — после низложения патр. Германа и по поводу назначения патриархом Анастасия.² Это известие и соответствует безукоризненно третьему и последнему заявлению Феофана (409₁₄). Но ясно, что, если бы действительно существовали другие послания, более ранние, то автор Vitae Gregorii, ссылающийся на документы, должен был бы непременно знать о них, так как копии папских писем сохранялись в папских архивах. Поэтому следует совершенно уверенно настаивать на том, что ἐπιστολὴ δογματικὴ Григория II, упоминаемая Феофаном в первый раз, и ἐπιστολαὶ τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμέναι второго раза — не более как призраки, или, лучше сказать, тени, оттянутые сюда летописцем от третьего сообщения с уличающей его прибавкой: „καὶ οὗτοι καὶ πρόσθεν“.³

¹ В данной связи нельзя оставить без внимания тех остроумных и дельных замечаний, которые находим у Н. Hubert'a в его статье „Etudes sur la formation des états de l'Eglise“ („Revue historique“, 1899, janvier). Г. Юбер отказывается допустить со стороны папы Григория II возможность самостоятельного опровержения иконоборчества и вообще решительного активного участия в борьбе за иконопочитание. До папы Адриана вообще с такой репутацией из Рима не решались еще выступать. Что касается Григория II, то в своем послании к патр. Герману он, уже осведомленный в восточном споре, приводит некоторые аргументы греческих спорщиков, цитирует по ним Василия Великого, Иоанна Златоуста и др., но все-таки он только повторяет и одобряет, но сам не вступает в полемику. Собор в Риме, созданный папой, который назван в письме папы Гардиана к Карлу Великому (Hardouin, Concilia IV, 805 A) Gregorius Secundus, упомянут только здесь и к тому же едва ли это не Григорий III, в актах Римского собора 732 г. (Günther Neues Archiv, t. XVI, p. 240), названный Gregorius Secundus junior. Вообще папа Григорий II, подобно и прочим папам того времени (первой половины VIII в.), являлся стойким охранителем традиций, правоверным до scrupulозности, но он не был богословом, как, например, Иоанн Дамаскин: он был далек от того, чтобы изобличать иконоборчество в ереси, в христологических ошибках, да и по существу он оставался довольно индифферентным свидетелем загоревшегося спора. Папство, несмотря на крупные успехи Бонифация, еще не устремилось к руководству всем христианским миром. Более ревнивые к своей независимости, чем к своему авторитету, папы заявляли свое несогласие и неудовольствие посредством седесий. И Григорий II все еще явственно избегает активного вмешательства в спор, не берет на себя роли высшего судьи в католической церкви, хотя на Востоке уже тогда начинали смотреть на дело иначе. Постепенно же там все более скреплялась уверенность, что папа должен опровергнуть ересь наряду с Иоанном Дамаскином и патр. Германом. Его авторитет все возрастал, на него обращались взоры, полные ожидания и надежд и, волей-неволей, в представлениях восточных христиан папа становится поборником православия и главой отпора „иконоборчеству“. Именно ведь на Востоке составлены были, в посрамление иконоборчества, знаменитые послания папы Григория II к императору Льву III, весьма популярные в Византии и мало известные в Риме и вообще на Западе. Несомненно, эта точка зрения господствует и у Феофана — ею и обусловлены его сообщения о папе Григории II.

² См. у Mansi. Coll. Conc. 12, 232 C. „Pro qua causâ etiam Germanum... pontificatu privavit isdem imperator, sibi que complice Anastasium presbyterum in ejus loco constituit. Qui missa Romam synodica dum tali haeresi eum consentientem reperiret, vir sanctus non censuit eum fratrem aut consacerdotem solito vocari, sed rescriptis commonitoriis, nisi ad catholicam converteretur fidem, etiam extorrem a sacerdotali officio esse mandavit. Imperatori quoque suadens salutaria, ut a tali execrabili miseria declinaret scriptis commonuit“.

³ Между прочим, письма Григория II, которые находим при актах Никейского собора 787 г., не могут служить поддержкой для утверждения Феофана 404₁₆ и 408₂₈, так как из обнаружения неподлинности этих псевдопосланий видно, что

Затем из той же *Vita Gregorii*, как более надежной в изображении итальянских и римских событий, чем Феофан, мы узнаем, что разрыв добрых отношений между папой Григорием и восточным правительством начинается и складывается на первых порах и не так быстро и не на той почве, как это изображает Феофан. В уверенных подробностях и с убеждающей точностью собственных имен *Vita* говорит, как о начале всего, о заговоре, направленном к устранению Григория II, хотя бы ценой его уничтожения. Руководителями заговора называются дук Василий, хартуларий Иордан и субдиакон Иоанн Лурион. К нему примкнул и спафарий Марин, занимавший римский дукат и посланный из Византии с таким поручением от императора. Но заговорщики не могли найти удобный момент для выполнения своего замысла.

Затем был назначен патриkiem и экзархом в Италию Павл. Снова принялись готовиться к совершению злого дела. Римляне раскрыли замысел, и народ расправился с заговорщиками. „Тем не менее экзарх Павл, по повелению императора, не переставал искать случая уничтожить папу, так как последний препятствовал наложить цenz в провинции, и задумывал лишить церкви их богатств, как это было сделано в прочих местах, а на место Григория поставить другого“.¹ Из всего контекста явствует, что корнем всего зла был протест папы против финансовых распоряжений императора, которые прошли удачно в других областях, но в Риме и Италии встретили отпор со стороны главы церкви. Отпор этот был, повидимому, настолько решителен, что восточному правительству оставался лишь один выход — избавиться от стойкого защитника иммунитета церквей и заменить его другим папой. „Вслед за тем, — повествует *Vita*, — послан был другой спафарий с приказом, чтобы папа был удален с престола. Вновь патрикий Павл отправил для совершения этого преступления из Равенны с своим комитом тех, кто мог склонить и еще нескольких из лагеря“. Но в Риме и среди лангобардов поднялось движение на защиту папы, что и не дало совершиться злему делу. В присланных затем² указах император постановлял, чтобы нигде не имелось ни одной иконы... и если к этому примкнет папа, то заслужит благодарность императора.

Таким образом, по *Vita* выходит, что податная забастовка, в которой и заключался открытый отказ от подчинения, „отложение“ от империи Рима и Италии, не была ответом папы на иконоборческое давление с Востока, а являлась, как кажется, причиной враждебного отношения Льва III к папе Григорию. Что бы ни означал собой тот „цenz“, наложению которого упорно противился папа: сочтенный ли со стороны последнего незаконным и нарушающим иммунитет церкви налог на ее земли и имущества, или же *superindictio* 726 г. = дублированную *capitatio*,³ для нас в данном случае безразлично; важно лишь то несомненное предшествование отказа какому бы то ни было иконоборческому выступлению Льва III, которое, будучи точно и

не Феофан их имеет в виду, а, повидимому, они составлялись в Византии на основании данных Феофана. См. ниже специальную главу о них.

¹ Mansi. Coll. Conc. XII, 229—230. „Paulus vero exarchus imperatoris iussione eundem pontificem conabatur interficere, eo quod censum in provincia ponere praepediebat, et cogitaret (?) suis opibus ecclesias denudare, sicut in caeteris actum est locis, atque alium in ejus ordinare loco“.

² Ibid. „Yussionibus itaque postmodum missis decreverat imperator, ut nulla imago ulicunque haberetur . . .“.

³ Как толкует его Н. Hubert, op. cit., 7.

уверенно констатировано в *Liber Pontificalis*, решительно идет вразрез с показанием Феофана и обличает его выдуманность. Предложение Льва III уничтожить все иконы и осуждение иконопочитания в западном источнике вписывается явно как позднейшая, производная мера воздействия на непокорного римского епископа. Если же ранее и употреблено выражение *suis opibus ecclesias denudare*, то, как бы ни истолковывать это явственно испорченное место (*et cogitaret — отчего conjunctivus?*), все-таки извлечь из него намек на обнажение церквей именно от икон не представляется никакой возможности.¹

Из этой апелляции к западному источнику мы, таким образом, выходим укрепленными в сделанном раньше предположении: сообщение Феофана о первом иконоборческом выступлении императора Льва III, понимать ли его в буквальном смысле (*ῥῥῆατο λόγον ποιῆσθαι*), или в мало приемлемом смысле первого эдикта об уничтожении икон, одинаково представляет собой „пустое место“, не более как результат прагматизирующих соображений православного летописца, который, будучи осведомлен о происшедшем столкновении императора и папы по вопросу о платеже ценза с римских церквей, не мог себе представить иной его причины, кроме вызвавшей справедливый отпор иконоборческой декларации, и пришел к логической необходимости установления ее и внесения в повествование как исторического факта. При этом — самая расплывчатость выражения (*„λόγον ποιῆσθαι“*) обличает Феофана в том, что определенного шага или поступка Льва III он не знал и вышел из затруднения нейтральной формулировкой своего утверждения.²

8

Разобранное выше сообщение о начале иконоборчества повлияло и на дальнейшее повествование Феофана. И там, где он вместе с патр. Никифором нашли в своем общем источнике указание на то, что страшное извержение около о-вов Феры и Ферасии дало кругу Льва III повод и основание „встать против благочестия и начать подготовку иконоборчества путем пропаганды своих взглядов в народе“, как это добросовестно и выписано в *Ἱστορία συντομος*,³ Феофан, связанный своим заявлением а. м. 6217, принужден в данном случае утверждать уже „усиление войны против святых и честных икон“, т. е. снова сообщать значительно более того, что он знал и что мог почерпнуть

¹ Выражение это, как указывает Н. Hubert (стр. 6, прим. 4) не может значить: „наложить подать на церковные имущества“, а скорее означает: „сграбить церкви“. Это правда, но при известных условиях последнее отождествляется с первым; тем более, что далее автор *Vitae* сообщает, что все пентапольцы и венецианское войско и вообще все италийцы, проклявши экзарха Павла и пославшего его, избрали себе по всей Италии вождей (дуков) — „atque sic de pontificis deque sua immunitate cuncti studebant“. Термин *immunitas* в VIII в. имел весьма определенное значение и употреблен здесь автором едва ли случайно.

² Еще очевиднее проступает это „логическое“ происхождение факта начала иконоборчества в той (первоначальной) редакции летописи, которую застаем в переводе Анастасия: „anno imperii Leonis nono Gregorius papa Romanae praest ecclesiae. Quo videlicet anno coepit impius imperator Leo depositionis contra sanctas imagines facere verbum. Quod sum didicisset Gregorius, tributa Romanae urbis prohibuit et Italiae“.

³ *Nicéph.* 57, ₂₁. „ἐντεῦθεν λοιπὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας ἱσταται καὶ τῶν ἱερῶν εἰκονισμάτων μελετᾷ τὴν καθάρσιν... ἐκδιδάσκειν δὲ τὸν λαὸν τὸ οἰκεῖον ἐπεχειρεῖ δόγμα“.

в источнике.¹ Конкретизировать же это сообщение ему приходится повторением того, что союзником в деле он имел Висира, с которым оба были полны невежества, источника многих зол, и затем перечислением тех мер правительства, которые и должны составлять „еще более бесстыдную войну против икон“. Но картина получается чрезвычайно бледная, не только не убедительная, но убеждающая как будто в противоположном тому, к чему стремился автор. Снова перед нами вместо фактов „пустые места“, свидетельствующие о том, что Феофан не располагал никаким материалом. Придерживаясь максималистического тона, он смело бросает фразу о всенародном возмущении против правительственных новшеств, которые, однако, так и остаются неизвестными. Столичные толпы замышляют идти против императора, т. е. готова вспыхнуть революция в Константинополе, но происходит лишь избивание нескольких императорских людей. В результате же жестокие кары и казни „за благочестие“ постигли не эти толпы, а многих, хотя опять-таки точнее не обозначенных, выдающихся представителей родовитой знати и интеллигенции.² Видно, что Феофан путается в окружающей его пустоте и впадает в противоречие сам с собой. Изю всей „бесстыднейшей войны против икон“ как факт, воспринятый извне, а не возвращенный „собственным умом“, мог быть выдвинут здесь лишь весьма подозрительный, хотя и весьма знаменитый, „халкопильский инцидент“.

Это событие мы находим знаменательно отсутствующим у патр. Никифора, но значительно подробнее, чем у Феофана, изложенным в крупном Житии св. Стефана Нового (рубежа VIII и IX вв.) и в специальных актах мучеников, пострадавших за убийство прото-спафария Иувина.³ Давно уже, с одной стороны, было отмечено,⁴ что, кроме этого случая, ни Феофан, ни прочие историки VIII и IX вв. не знают решительно ни одного подобного иконоборческого мероприятия императора Льва III. Столкновение у Медных ворот является как бы единственным происшествием, которое могло быть истолковано как доказательство иконоборческой деятельности Льва III. Оно и принимает поэтому несколько исключительный характер, подсказывающий призрачность иконоборчества как решительно двинутой общей реформы этого императора. Если бы Лев III действительно провел истребление икон, то, конечно, противные ему круги запомнили бы и еще целый ряд особенно ярких иконоборческих выступлений. Таковых, очевидно, просто не было, и можно склоняться к мысли, что и халкопильское столкновение было лишь позднее истолковано в смысле столкновения гонителей и защитников икон, так как, с другой стороны, нельзя не придавать значения и тому, что событие это передается почти современными писателями в весьма расходящихся, местами исключаящих друг друга, версиях. Оставляя пока более детальный анализ

¹ Theoph. 405,1 „... Λέοντος ὅς... λογιζόμενος ἀναιδέστερον κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον, σύμμαχον ἔχων Βησηρ τὸν ἀρνησίθεον καὶ τῆς Ἰσῆς ἀλογίας ἐφάρμιλλον“.

² Theoph. 405,5. „Οἱ δὲ κατὰ τὴν βασιλίδαν πόλιν ὄχλοι σφόδρα λυπούμενοι ἐπὶ ταῖς καιναῖς διδασκαλίαις αὐτῷ τε ἐμελέτων ἐπελθεῖν καὶ τινὰς βασιλικούς ἀνθρώπους ἀνεῖλον καθελόντας τὴν τοῦ Κυρίου εἰκόνα τὴν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς πύλης, ὥς πολλοὺς αὐτῶν (?) ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας τιμωρηθῆναι μελῶν ἐκκοπαῖς καὶ μάστιγι καὶ ἑξορίαῖς καὶ ζημίαις, μάλιστα δὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ λόγῳ διαφανεῖς“.

³ Составл., кажется, в половине IX в. См. А. А. S. S., Augusti, t. II, add. IX.

⁴ И. Андреев. Герман и Тарасий, 28.

и проверку известий о халкопильском столкновении,¹ я здесь отмечу только, что рассказы обоих названных житий противоречиво колеблются и в хронологическом отношении и в изображении существенных моментов мало понятного происшествия. И особенно поучительны здесь плохо прикрытые признаки участия в этом деле не кого другого, как первого поборника иконопочитания, патр. Германа, которые к тому же обнаруживаются в самом раннем очерке события, в Житии св. Стефана. Здесь повествуется о том, что после уничтожения дерзкого спафария, пытавшегося снять изображение Христа с Ворот, народ двинулся ко дворцу патриарха и бросал в него камни, приговаривая: „Мерзкая голова! Неужели ты для того только принял священство, чтобы губить священные украшения?“² Таким образом, самая ранняя, неприбранная версия допускала попытку уничтожения образа спасителя не только с согласия, но по поручению именно патриарха, а не императора. Автор Жития, уже усвоивший утвердившийся взгляд на Германа как на первого оппонента иконоборчества и стойкого исповедника „православия“, волей-неволей принужден был внести переработку в рассказ и смело перенес эпизод ко времени патриаршества Анастасия, преемника Германа, но впал тем самым в грубую хронологическую ошибку. Что для нас, однако, должно остаться несомненным, — это наличие определенного участия в „халкопильском покушении“ патр. Германа в первоначальном рассказе, наличие, которая свидетельствует о каком-то ином значении самого события. Что за столкновение было у Медных ворот, догадаться уже трудно, так как с течением времени (к концу VIII в.) оно подверглось перетолкованиям и утвердилось в памяти иконопочитателей как единственное проявление иконоборчества, как единственный случай уничтожения св. изображения за все царствование Льва III. В качестве же такового, как его и выдвигает Феофан, этот эпизод, конечно, не может служить к подтверждению иконоборческого гонения при Льве III. И те попытки спасти это происшествие и придать ему известный смысл, которые мы находим в исторической литературе, едва ли следует признать удачными. Было указано,³ что „действительное иконоборчество началось удалением икон в виде статуй“, причем в подтверждение делалась ссылка на заявление патр. Германа в его *De haeresibus et synodis*.⁴ Но здесь автор говорит вовсе не о последовательности истребления икон, а о беспощадной ярости иконоборцев, которые не удовольствовались удалением лишь скульптурных изображений (что не противоречило собственным взглядам Германа и на что он мог даже дать свое согласие),⁵ но уничтожали и красоту живописных икон в храмах. Иных же оснований для такого предположения, кроме все того же неизменного эпизода у Медных ворот, не имеется. Это правда, что изображение

¹ См. ниже главы, посвященные агиографическим произведениям VIII—IX вв.

² Vita Stephani Jun. — у Migne. Patr. Gr. 100, 1085 D.

³ И. Андреев. Герман и Тарасий, 27.

⁴ Migne. Patr. Gr. 98, 79—80 B. „οὐκ ἠρξέσθην τῇ διὰ παντίων μόνον ἐκποιεῖσαι τὰ τῶν ἁγίων περιέρχουσαι εἰκονίσματα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν γραφίδι ἐφύμιλλον τοῖς κόσμησιν τῶν σεπτοτάτων νεῶν ὀλίγως ἔσφουττεσθαι“.

⁵ Из послания того же патриарха к еп. Фоме Клавдиупольскому мы узнаем, что он не был сторонником икон-статуй, считая воздвижение их даже языческим обычаем. См. Migne. Patr. Gr. 98, 188 A. „Οὐ τοῦτο δὲ λέγομεν ἡμεῖς, ὥστε τὰς ἐκ χαλκοῦ στήλας ἐπιτήδευσιν ἡμεῖς, ἀλλ' ἡ μόνον δηλῶσαι, ὅτι καὶ τὸ κατ' ἐθνικὴν συνήθειαν μὴ ἀποποιήσαντες τοῦ Κυρίου, ἀλλ' εὐδοκῆσαντες...“.

спасителя в Халкопратии было скульптурное.¹ Но ведь иконоборческое „низвержение“ так и не пошло дальше попытки уничтожить эту статую, и утверждать, с чего начали иконоборцы и чем кончили, по одному этому случаю едва ли мыслимо.

Ряд „самостоятельных“ сообщений Феофана, вкрапленных по следующим годам и изображающих столкновения с иконоборцем-императором патр. Германа, уже не требуют такого детального обследования, так как все они не вносят ничего нового и существенного в изложение истории иконоборческого движения, не оживляют конкретным фактическим содержанием общих утверждений о крутом и беспощадном гонении на иконы и иконопочитателей при Льве III, которые так и остаются у Феофана безнадежно голословными. В то же время все они не внушают и к себе доверия, поскольку слишком отзываются риторикой и анекдотом и отличаются неуклюжим, сбивчивым распределением. В православной среде к началу IX в., когда составлял свою летопись Феофан, очевидно, накопилось и ходило много рассказов и поучительных „памяток“ о славном старце — патриархе, первом и последнем стойком борце за порушенное православие, пророке и чудотворце, оставившем после себя целый ряд писаний, в которых он высказывался против иконоборчества. И учительные послания Германа и его трактат *De haeresibus*, по многому заметно, были очень популярны: они читались и перечитывались в течение нескольких десятилетий. И недаром на Соборе 754 г. первой анафемой покрыто было особенно прославленное имя этого патриарха, а на Соборе 737 г. вновь торжественно читаны были послания его как образцы исповедания истинного благочестия, диакон же Епифаний в своем опровержении „Орос“а Собора 754 г. заявляет, что сочинения „уподобившегося божественным отцам“ патриарха „получили распространение и утвердились по всей вселенной“. Те же самые сочинения Германа, повидимому, одни из немногих или уцелевших, или даже просто существовавших ранних деклараций иконопочитания и опровержений иконоборчества, должны были служить и материалом для создания многочисленных рассказов о смелых и вдохновенных выступлениях его против „звероименного“ иконоборца-императора. Это и понятно при той любви к драматизации исторической передачи, которая характерна для византийских писателей VIII—IX вв.; но в то же время заставляет изучающего с великой осторожностью относиться к беседам и речам, которые приводятся в хронографии и агиографии даже со ссылкой на очевидцев, так как ясно, что перед нами лишь один из излюбленных литературных приемов в среде, искавшей прежде всего назидания и религиозного воодушевления, а не голый, холодной правды.² Часть этих рассказов, которые мы находим обильно рассыпанными и риторически приукрашенными главным образом в агиографии,³ включил в свое летописное повествование и Феофан, нагрузив ими год а. м. 6221. В его пределах и разыгрывается от начала до конца вся великая драма патриарха: здесь император делает первую попытку перетянуть Германа на сторону иконоборчества; здесь получает от него решительный отпор; здесь император переходит к попыткам

¹ Прямое указание на это находим у Кодина в *Excerpta de originibus Constantinopolitanis*: „in Chalce statuam aeream Domini nostri Iesu erexerat Constantinus Magnus...“.

² И. Андреев. Герман и Тарасий, 190.

³ Житие св. Стефана Нового. Акты Констант. мучеников, житие Никиты Мидийского и др.

погубить патриарха путем обвинения в злом умысле против его власти; здесь происходит столкновение между Германом и „иудой“ — Анастасием; здесь же, наконец, повествуется о последнем исповедничестве патриарха на иконоборческом селентии и об оставлении им патриаршества. Характерно, что все это изложено так, как будто бы все события произошли зараз, хотя и ясно, что между ними должны были быть промежутки. Насколько можно судить, лишь последнее известие Феофан нашел в своем источнике под данным годом, и таким образом, вместе с патр. Никифором (в *Ἱστορίᾳ συντομῆς*) располагал в качестве установленного до него факта только попыткой Льва III на большом собрании народа провозгласить „иконоборчество“, заставив патриарха составить или утвердить своей подписью акт реформации, попыткой, окончившейся неудачно, так как Герман отказался своей властью, без вселенского собора проводить реформацию и сложил с себя патриарший сан. В этот год, ставший „годом о св. Германе“, Феофан и занес, забывая о хронологии, от себя все, что в его памяти ассоциировалось с подвигами патриарха: два ярких эпизода, в которых, помимо непреклонности в православии, выступает явственно особая „вещность“, „профетизм“ Германа, возвышавшие его, как верил Феофан, над простыми смертными. Один¹ из них — анекдот с отгадкой истинного имени Льва III (Конон); другой² — с предсказанием страшной судьбы будущего патр. Анастасия. В фактическом отношении оба они совершенно ничтожны и пусты, в смысле же достоверности или даже правдоподобия — весьма подозрительны и малопримлемы. В первом эпизоде слишком видна его сочиненность и наивно-надуманная игра на якобы двойном имени императора, которая была бы совсем неуместна со стороны Германа, если бы он и мог знать о странной двуименности Льва III. Второй же случай, придуманный для прославления пророческого дара „вещего“ Германа, только компрометирует последнего, так как оказывается, что он ошибся в предсказании, перепутав судьбу двоих своих преемников: Анастасия и Константина.

Как бы то ни было, эти сообщения Феофана мы вправе отнести к категории „пустых мест“, из которых у него, оказывается, и составлено в большей своей части повествование о ходе иконоборческого движения. На фоне других линий событий этого периода, в реальности которых сомневаться невозможно, хотя бы они переданы были и с искаженными ликами, именно иконоборчество проходит бледным, невразумительным призраком хронологически расплывающихся, фактически неуловимых утверждений вообще. В этом смысле еще более, чем повествование года а. м. 6221, характерна передача событий года а. м. 6218. Вот остов ее, не требующий дальнейших комментариев:

а) Извержение у о-вов Феры и Ферасии — *ὁ θεόμαχος Λέων... ἔναι δὲ στερον κατὰ τῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον.*

б) Эладико-кикладское восстание и его подавление — *αὔξει δὲ τῇ κακίᾳ Λέων ὁ δυσσεβὴς καὶ οἱ τοῦτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβεῖας διωγμὸν ἐπιτείνοντες (и только!).*

в) Осада Никей арабами и поражение арабов „по неисповедимому суду божию и во обличение тирана“ — *οὐ μόνον γὰρ περὶ τὴν σχετικὴν τῶν εἰκόνων ὁ δυσσεβὴς ἐσφάλλετο προσκύνησιν (высказывается и „вообще“ и не как самостоятельно констатируемый факт, а только как мотив,*

¹ Theoph. 407,15—24.

² Theoph. 407,29—408,18.

далее же переходит неуловимо в фактический тон), ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν προσβείδων τῆς πανάγνου Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων (и голословно и неверно!) καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν ὁ πατριάρχος, ὡς οἱ διδάσκαλοι αὐτοῦ Ἀραβες, ἐβδελύττετο.

Я не сомневаюсь в том, что последнее заявление о мощах навеею довольно подозрительным утверждением патр. Германа в его *De haeresibus et synodis*:¹ „τὰ γὰρ τῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων μαρτύρων λείψανα, ὑπὸ τῶν τῆς Ἐκκλησίας διδασκάλων συγκομισθέντα (ср. противоположных им διδάσκαλοι Льва III у Феофана)... ἀπογυμνώσαντες, πυρὶ κατανάλωσαν“. Отсюда и изобличающая источник ассоциация, принимающая форму догадки:

d) „ἐκ τοῦδε τοίνυν (NB) τοῦ χρόνου ἀναιδῶς τῷ μακαρίῳ (реминисценция из *De haeresibus*) Γερμανῷ... προσετίβετο, μεμφόμενος πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ βασιλεῖς καὶ ἀρχιερεῖς καὶ χριστιανούς λαούς, ὡς εἰδωλολατρήσαντας ἐπὶ τῇ προσκυνήσει τῶν... εἰκόνων, μὴ χωροῦντος... τὸν περὶ σχετικῆς προσκυνήσεως λόγον“. Это заключение Феофана в контексте приходится переводить таким образом: „Значит, вот с какого времени император (должен был начать или) стал обращаться бесстыдно с блаженным Германом, патриархом Константинопольским...“ и т. д. Мы видим, что все повествование Феофана об иконоборческом движении при Льве III складывается из однообразно припеваемых при другого рода сообщениях рефренов: „ἐκμανεῖς δὲ ὁ βασιλεὺς κατὰ τῶν εἰκόνων ἡγείρε (ἐπέτεινε) πόλεμον (διωγμὸν)“. Кроме этого многократно повторенного общего, пустого места, мы ничего от него не слышим; им же безнадежно заканчивает он и все повествование о таком, казалось бы, ярком, долженствовавшем отчетливо запомниться в своих ужасных конкретных подробностях движении, как первый взрыв иконоборчества.³

Итак, что же мы вправе и в состоянии, помимо мультиплицируемого „припева-пустышки“ о том, что „нечестивый или тиран еще пуще напряг гонение против честных икон“, извлечь из Феофана относительно иконоборчества императора Льва III?

Кроме того, что на стороне Льва оказался епископ Наколийский, а против него папа Григорий II,⁴ Иоанн Дамаскин и патр. Герман, — ровно ничего. Все истребление икон выразилось в подозрительном халкопатрийском столкновении; все движение — лишь в попытке (неизвестно, чем завершившейся) издать декларацию против иконопочитания; все гонение — в преследовании после ухода Германа неких „многих клириков и монахов и благочестных мирян“ за правое слово (τοῦ ὀρθοῦ λόγου). Где же здесь „иконаборчество“? Если произошло столкновение с папой и Западом, то разрыв начался вне вопроса об иконах, и последний, если и играл роль, то уже впоследствии, как мотив производный. Если выступил на защиту якобы истребляемых икон и поруганного иконопочитания Иоанн Дамаскин, чего отрицать нельзя, поскольку следы этого выступления налицо, то необходимо еще

¹ Migne. Patr. Gr. 98, 80 C.

² Ср. опять-таки с *De haeresibus*, Migne. 98, 77 β-с. „κακουργότατα πειρῶνται τοὺς τῶν ἁγίων χαρακτήρας μεταφέρειν ἐπὶ τὰ εἰδῶλα, εὐσέβειαν ἐπιζημιῶν ἀνοσίως ἐπιτηδεύοντες, ὡς δῆθεν καὶ τὰς πρὸ ἡμῶν γενεὰς ἐν πλάνῃ βιῶναι ἀποκλαίόμενοι...“.

³ Theoph. 409, 18—19. „ἐκμανεῖς οὖν ὁ τύραννος ἐπέτεινε τὸν κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων διωγμὸν...“.

⁴ Со всей Италией и даже „эллиадиками и кикладцами“, стоявшими в церковном отношении под верховенством римского епископа.

принять в соображение, что Иоанн протестовал лишь по слухам, которые до его „дамасского далека“ могли дойти и в весьма извращенной форме. Видный сановник и верный слуга мусульманского правительства, с легким сердцем и великой готовностью уживавшийся с исламом, не мог смолчать, когда до него дошли вести о „малых переменах“ из чуждого ему Константинополя. Вообще Иоанн Дамаский — не свидетель и сообщение о нем — не аргумент: его выступление не может убедить в реальности того, против чего он выступал.¹ Наконец, оппозиция иконоборческой доктрине и затем изложение патр. Германа — сами по себе факты несомненные, но нельзя пройти с спокойным сердцем мимо тех крупных расхождений, которые замечаются в источниках при изображении столкновения между Львом III и Германом и его исхода. Патр. Никифор, несмотря на пользование общим с Феофаном источником, Кедрин, несмотря на свою зависимость от Феофана, диакон Стефан дают явно разнствующии версии — знак того, что к концу уже VIII в. эти мрачные события в точности не запомнились и не оставили по себе никаких документальных свидетельств. Оттого и сделались возможными перетолкования и вариации полузабытой борьбы. Версия, которую выдвигает Феофан из переработки рассказа иконоборческой хроники, едва ли может считаться надежнейшей во всех своих указаниях. Ей обычно придают особенное значение потому, что из нее извлекают явное указание на официальное выступление иконоборцев, на определенный эдикт, изданный Львом III в 730 г. против икон и их почитания. Но если этот рассказ о собрании против икон и изложении Германа читать без предвзятости, как он в своей сущности одинаково выписан у Феофана и патр. Никифора, то в нем можно найти указание как раз лишь на то, что подготавливавшийся правительством общий акт против иконопочитания утвердить и издать не удалось ввиду решительного протеста патр. Германа и его ухода с патриаршества.

Если бы, несмотря на разыгравшийся скандал, эдикт был издан, хотя бы с соизволения следующего патриарха, Анастасия, оба летописца не преминули бы упомянуть о таком крупном по своему нечестию акте. Неопределенность же их выражений благоразумнее толковать не максимально, а минимально, т. е. в совпадающем у обоих сообщении читать не более того, что написано. Необходимость такого понимания этого места подсказывается чрезвычайно важным в данном случае показанием самого патриарха Германа — в его трактате об ересь и соборах, писанном, несомненно, уже по уходе на покой. Здесь, при всем явно преувеличивающем тоне плохо сдерживаемого великого гнева и скорби, автор, сам потерпевший участник борьбы, однако, ни намеком не дает понять об издании Львом III какого-либо общего реформационного акта или иконоборческого указа.

Анализируя повествование Феофана о царствовании Константина V, которое он, в согласии со всеми историками и богословами-публицистами VIII—IX вв., считает центральным моментом иконоборческой эпохи, временем жесточайшего напряжения „нечестия и ереси“, мы сразу должны заметить, что в его пределах — сообщение собственно об уничтожении икон, о гонениях на иконопочитание не только значительно меньше, чем в коротком рассказе о правлении Льва III, но их и вообще почти нет здесь. Если оставить в сто-

¹ Тем более, что Феофан при этом допускает ошибку, говоря, что Иоанн „*ὅτιν τοῖς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόποις τοῖς ἀναδέμασι τὸν ἀσεβῆ καὶ καταβάλλει*“. Theoph. 408, 29.

роне совпадающие с показаниями патр. Никифора и отмеченные нами раньше известия об иконоборческих постановлениях Собора 754 г. и всеобщей присяге о непоклонении иконам, то в качестве „самостоятельных“ данных Феофана об „иконаборчестве“ Константина V можно отметить лишь одно сообщение, с некоторой натяжкой — два. Наблюдение — очень характерное, обнаруживающее почти полное отсутствие у Феофана (и вообще у православных писателей) фактического материала относительно этой, считавшейся наиболее выпукло выраженной стороны деятельности ненавистного императора, и подсказывающее мысль о том, что эта сторона дела, т. е. специфическая борьба с иконопочитанием, отодвигалась при Константине V еще более на второстепенный план перед иными линиями движения, которые представлены наоборот яркими и обильными фактами.

Первое из „собственных“ известий Феофана об иконоборчестве Константина V — это весьма известное в исторической литературе место — а. м. 6244.¹ Предшествуя рассказу а. м. 6245 об уверенном и принятом в обществе если не с полным сочувствием, то во всяком случае без всякого протеста иконоборческом соборе и заполняя собой пустующий без того а. м. 6244, это сообщение, не отличаясь особо убеждающей конкретностью, выдает свое происхождение. Конечно, император Константин не мог на самом деле занять целый год ежедневными силениями и такой излишне упорной пропагандой своих реформационных взглядов. Феофан счел необходимым показать, почему „нечестивый и незаконный синедрион“ не вызвал отпора в народе и прошел с полным успехом. Очевидно, рассуждал он, Константин заранее проложил себе путь („προοδοποιῶν τὴν μέλλουσαν ἀσέβειαν“) и совращал, смущал народ („ἐπαίδε τον λαόν δολίως ἐπεισθαι“). То же рассуждение мы встречаем у многих писателей, кроме Феофана: его следует признать весьма распространенным, даже излюбленным в православной литературе IX в. Таким образом, в этом известии о ежедневных силениях приходится увидеть не более как только логическое соображение Феофана, выраженное, как часто у него, в форме фактического утверждения.²

К той же категории сообщений Феофана можно отнести еще большой рассказ о чудотворных мощах всехвальной мученицы Евфимии,³ который представляет собой неловко впаянный в летописное повествование самостоятельный, случайно попавший в данный (а. м. 6258) год кусок. Рассказ разработан по всем правилам агиографической ретирики: с патетически подготовляющим введением, изложением главного события и чудесного оборота его впоследствии, с заключительной ссылкой на аутопсию и прославлением благочестивых царей. В общем — это, правда, кратко выраженный, но сохранивший свою типичность остов или консект „похвалы“ останков мученицы Евфимии. Если это так, то становится понятным происхождение этого рассказа у Феофана. Последний, конечно, исходил из того торжества обретения мощей и

¹ Theoph. 427, 19. „Τούτω τῷ ἔτει ἄρθεις τῷ φρονήματι Κ. ὁ δυσσεβὴς πολλὰ κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ ὀρθοδόξου πίστεως μελετῶν, σιλέντια καθ' ἑκάστην ποιῶν τὸν λαὸν ἐπαίδε πρὸς τὸ ἴδιον αὐτοῦ φρόνημα δολίως ἐπεισθαι, προοδοποιῶν τὴν μέλλουσαν αὐτῷ ἐσεσθαι τελείαν ἀσέβειαν“.

² В другом месте моей работы я объясняю, почему придерживаюсь такого чтения данного пассажа, опираясь на текст перевода Анастасия, и почему неприемлемо предложение г. Мелниоранского читать вместо „καθ' ἑκάστην ποιῶν“ — „καθ' ἑκάστην πολὺν ποιῶν“.

³ Theoph. 439, 15—440, 11.

прославления их, участником или свидетелем которого он был.¹ Может быть, весь очерк является самостоятельным наброском Феофана, может быть, он, сокращая, экцерпировал чужую „похвалу“, составленную по случаю торжества „явления“. Полагаю, что это безразлично, так как и в том и в другом случае фактическим центром оказывается именно чудо новоявления мощей. Отсюда делалась предшествовавшая попытка уничтожения священных останков, совершенно естественно приурочивавшаяся к нечестивой деятельности „беснующегося тирана“. Но если даже такое приурочение было и основательно, т. е. если действительно по повелению Константина V были сокрыты (от соблазна) мощи св. Евфимии, то в этом ничего невероятного усматривать не приходится. Вопрос о мощах и до VIII в. и в VIII в. был одним из самых болезненных церковных вопросов, так как на почве их почитания возникало очень много злоупотреблений и так как реликвии в руках монашества оказывались одним из действенных средств для усиления влияния и для материального преуспеяния. Борьба с ненормальным положением монастырей, какое они заняли к VIII в. в государстве и обществе, естественно, могла коснуться и этого пункта. Из наших источников мы, правда, не знаем еще ни одного случая „закрытия“ или уничтожения мощей при Константине V, кроме указываемого Феофаном. Сообщая, что, если бы были таковые яркие примеры нечестия Константина, православные враги его не забыли бы их поставить ему в вину, мы можем склоняться к мысли, что массового или всеобщего истребления мощей, вероятнее всего, и не проводил этот император, а в отдельных случаях (наиболее броских) решался на закрытие мощей. К этому следует добавить, что движение против почитания мощей никак не могло идти под одним знаком с борьбой против икон, не могло развиться из узкого иконоборчества, так как богословские предпосылки того и другой совершенно различны.

Вот почему вводная часть очерка, подготовляющая „погружение“ мощей св. Евфимии Константином V и в данном хронологическом контексте выдвигающаяся на первый план (по значительности содержания), как будто бы, свидетельство о напряжении иконоборческого нечестия императора и не может быть сочтена за самодовлеющее общее сообщение. Уничтожение мощей св. Евфимии — не яркая иллюстрация к такому положению, а наоборот, — введение добавлено в качестве необходимого фона для более выпуклого изображения случая с мощами. Ход построения всей „похвалы“ таков: Феофан сам сподобился видеть чудо „явления“; следовательно, было нечестивое „погружение“, совершенное Константином V, который, стало быть, отрицательно относился к мощам вообще и преследовал тех, кто почитал мощи. Относясь же так к мощам, Константин показывал, что он не признает и святых и первую из них, богородицу, считая бесполезными молитвы им и их изображениям, врагом которых он выступал с самого начала, и таким образом превзошел даже арабов в иступленности, называясь христианским государем.² Расположено же сообщение в обратном

¹ 440, 2., „ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν εὐσ. βασ. ινδ. δ', μετὰ τῆς προποῦσης τιμῆς ἐπανήλθεν ἐν τῷ τεμένει αὐτῆς, ὅ. . . . αὐτοὶ δὲ ἀνάγκηραντες τοῦτο πάλιν καθιέρωσαν. . . . τοῦτο δὲ τὸ θαυμαστόν καὶ ἀξιογραφόν θαῦμα μετὰ χρόνους κβ' τῆς τοῦ παρόντος τελευταίας συν τοῖς εὐσεβεστάτοις βασιλεῦσι καὶ Ταρχῶν τῷ ἁγιωτάτῳ π. ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ σὺν αὐτοῖς κατηρπάσαμεθα ὡς ἀνάξιοι μεγάλης ἀξιοφθέντες χάριτος“.

² „τὸ θαυμαστόν θαῦμα. . . . τεθεάμεθα + ὁ (γάρ) θεὸς ὁ φυλάσσων τὰ ὁσπῆ. . . ἁγίους τὸ λείψανον διεφύλαξε πάλιν ἀναδείξας + ὁ (γάρ) ἀνόσιος βασιλεὺς διεπράξατο βυθίσας αὐτὸ + τὰ ἄλλα λείψανα κατηρπύων καὶ ἀφ᾽ ἡν ποιῶν + πανταχοῦ τὰς πρεσβεῖας πάντων τῶν ἁγίων“.

порядке. Подтверждается это во 1) голословностью и безликостью утверждений Феофана об отмене молитвенных обращений к богородице и всем святым и о беспощадном уничтожении всех мощей, а во 2) ошибочностью этих утверждений, опровергаемых тезисами, провозглашенными Собором 754 г. Итак, мы в данном случае снова сталкиваемся у Феофана с а-фактивными сведениями, с его соображениями, введенными в повествование в форме фактов. И особенно знаменательно то, что в таком виде и составе он сообщает как раз материал, касающийся иконоборчества как такового, обнаруживая тем, что именно фактических данных этой категории у него почти и не было в распоряжении.¹

Наряду с этими „пустыми местами“ самостоятельного повествования об иконоборчестве, блещут конкретностью и точностью такие же, повидимому, пойманные со слуха, вероятно, не перестававшие ходить в потрясенных „православно-благочестивых“ кругах рассказы о „великом царском терроре“, громившем, при Константине V особенно решительно и беспощадно, монашество и монастыри как таковые, т. е. не как центры и оплоты сопротивляющегося иконопочитания, а как общественные группы и их организации, ставшие тягостными и опасными для благополучия и преуспевания государства. Сообщения такого рода у Феофана должны быть оценены как весьма надежные — и прежде всего своим количеством,² а затем и отчетливостью обозначений, индивидуальной содержательностью. В них допустимы ошибки, недоразумения, смещения, но в реальности передаваемых фактов, скрепленных и припечатанных собственными именами лиц, мест, областей, церквей и монастырей, характерными и техническими терминами, ни на мгновение усомниться невозможно.

Кроме разобранных выше, как поддерживаемых патриархом Никифором и, стало быть, могших восходить к предшествующей им обоим хронике, показаний той же категории, следует обратить внимание, во-первых, на „диптих“ (Андрея — Петра), в котором обыкновенно усматривается ошибка со стороны Феофана: а) а. м. 6253. „Κωνσταντίνος ὁ δεινός Ἀνδρέαν, τὸν αὐθιμὸν μοναχόν, τὸν λεγόμενον Καλυβίτην ἐν Βλαχέρναις διὰ μαστίγων ἐν τῷ ἱππικῷ τῷ ἁγίου Μαρμαντος ἀπέκτεινεν ἐλέγχοντα αὐτοῦ τὴν ἀσέβειαν καὶ Οὐάλεντα νέον (οὐάλεντα νέοντα νέον em)³ καὶ Τουλιανόν ἀποκαλοῦντα αὐτόν. ὃν καὶ ἐν τῷ ρεύματι ριφῆναι προσέταξεν —, и в) а. м. 6259. ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου πλείονι μανία ἐχρήσατο. ἀποστείλας γὰρ κατήνευγε Πέτρον τὸν αὐθιμὸν στυλίτην ἀπὸ πέτρας καὶ μὴ ὑπεῖχοντα τοῖς δογμασιν αὐτοῦ ζῶντα, δῆσας τῶν ποδῶν ἐν τοῖς Πελαγίου καὶ τοῦτον διὰ τῆς Μέσης συρόμενον

ἀγράφως — ὡς ἀνοφελεῖς ἀποκηρύττων + καὶ τῆς ἀγ. παρθένου καὶ θεοτόκου + καὶ ἐγγράφως + πολλῶν χεῖρονα τῆς τῶν Ἀράβων μανίας πᾶσιν. . . ἐπεδείξατο + ὁ χριστιανῶν βασιλευσιν“.

¹ Позволяю себе не вводить в разбор только компрометирующий Феофана-летописца несуразный анекдот о беседе императора с патриархом по вопросу, предложенному первым: „ἄρτι τί ἡμᾶς βλάπτει, ἐν λεγόμεν τὴν θεοτόκον χριστοτόκον“. Возможно, что эту нескладную и неожиданную прибавку к а. м. 6255 сделал даже не сам Феофан, а какой-нибудь ранний переписчик.

² К царствованию Константина V относятся: Theoph. 432, 16–21; 436, 26–437, 19; 437, 15–19; 437, 25–438, 1; 440, 24–441, 2; 442, 16–443, 18; 445, 3–12; 445, 24–446, 15.

³ Theoph. 432, 16–21. Между прочим Анастасий в переводе дает несомненное: Valentinianistam, которого и необходимо придерживаться, как имеющее больше смысла. У Феофана, наверное, и стояло первоначально: „καὶ Οὐαλεντινέοντα (καὶ νέον Τουλιανόν)“ т. е. „валентинствующего“, „валентинианина“, значит, примкнувшего к самой знаменитой и считавшейся чудовищной гностической системе. Император же Валент здесь решительно ни при чем.

ἐκέλευσε ριφῆναι“. „Болландисты“, опираясь на Житие св. Стефана Нового и на другие акты, пытались установить,¹ что влахернский мученик был не Андрей, а Петр и что Феофан смешал его казнь с казнью св. Андрея: „ἐν κρίσει Ὁ λεγόμενος καλοῦβιτης ἐν Βλαχέρναις“ = „Πέτρος ὁ ὄνομος ἐν Βλαχέρναις ἐγκλεισμένος“ — Жития св. Стефана.² Таким образом, там, где нужно было назвать Петра, Феофан называет Андрея и наоборот. С первой частью утверждения можно вполне согласиться: влахернский мученик — скорее Петр, чем Андрей. Но вторая вызывает сомнение: мученик а. м. 6259 едва ли отождествим с Андреем ἐν κρίσει, который не был столпником (στούλης ἀπὸ πέτρας)³ и появился в Константинополе, по преданию, с о. Крита „для обличения тирана“.

Отчего могло произойти такое несчастье с Феофаном, оказавшимся столь нетвердым в распознавании, казалось бы, выдающихся героев православия? Даже больше: отчего вообще он так скуп на имена, хотя и заявляет, что таких жертв ярости Константина V было не мало? Думается, потому, что или, в самом деле, таких „мучеников монашества“ было сравнительно немного: лишь отдельные, особо фанатичные упрямцы шли на такую жестокую гибель, многие же или укрывались, или подчинялись требованиям правительства, или же бежали в недосыгаемые места. Или же их имена с трудом собирались и устанавливались Феофаном и вообще писателями воспринявшего благочестия. Эти жертвы монахоборческого террора ведь совсем не были народными героями. Большинство населения, как в столице, так и в провинциях оказалось далеко не на стороне гонимого монашества: напротив, толпы, судя по неприкрытым указаниям и летописи и агиографии, проявляли активность и даже задор в преследовании и разгроме монашества. Для целого ряда поколений византийского общества, принявшего „иконоборчество“, можно утверждать безразличное отношение к мученикам-монахам, а такое отношение, конечно, не может благоприятствовать отчетливому запоминанию и их имен. Но пусть даже Феофан действительно перепутал мучеников, все-таки его сообщения от этого не теряют своей конкретности и своего важного значения. Рядом с Стефаном Новым он называет еще двоих мучеников, пострадавших не за упорное почитание икон, а исключительно за то, что они были видными и влиятельными представителями монашества. Продолжая повествование о „Петре-столпнике“, Феофан приоткрывает завесу иконоборчества и позволяет, хоть краем, увидеть то крутое „монахоборчество“, которое являлось центральной и реальной линией движения VIII в., запечатлевшейся и в хронографии, несмотря ни на что, как раз самым надежным и явственным материалом. Я говорю даже не об общем заявлении: „ἄλλους ἐν σάκκοις δεσφῶν καὶ λίθοις προσαρτίων ἐν τῷ πελάγει ρίπτειν προσέταττεν, τυφλόντων, ῥινοκοπῶν, μάστιγι χαίνων, καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως κατὰ τῶν εὐσεβοῦντων ἐπινοῶν“, так как оно похоже на обычную риторическую фигуру, а обращаю внимание на то, что Феофан уверенно переименовывает страшных проводников императорского разгрома монашества, τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπαχέους ἐργάται: в столице —

¹ Введения к житиям: Андрея, A. A. S. S., Octob., VIII, 128 и Петра Каливира, A. A. S. S., Mai, III, 625.

² Migne. Patrol. Gr. 100, 1165—1166. См. И. Андреев. Герман и Тарасий, 89.

³ Это ἀπὸ πέτρας, повидимому, и повлияло аллитеративно на имя стилита у Феофана.

патрикия и domestika школ Антония и магистра Петра, в фемах: аналитической — Михаила Мелиссина, фракийской — Михаила Лаханодраконта и букелларийской — Маниса. Эти пятеро явственно запомнились и у последующих поколений не как нечестивцы и иконоборцы вообще, а специально как крутые и яростные истребители монашества. Далее Феофан яркими чертами рисует, как изменился весь склад жизни, как изгонялось из нее и преследовалось все, что напоминало о монашеской набожности, манерах, выражениях. И императорский дворец первый давал тон новой „светской“ жизни.¹ Благочестивые стародумы, не могшие отрешиться от монашеских повадок, карались как враги императора и объявлялись наравне с монахами „амнимоневтами“, т. е. исключенными из общества и из государства. Этот рассказ, блещущий характерными терминами и своеобразными конкретностями, заслуживает полного доверия, даже если он вписан Феофаном просто по памяти или по передаче какого-нибудь старожилы. Такие подробности и индивидуальности, как наименование амнимоневтами, подобно эпизоду с опозорением монахов, выведенных парами в гипподроме и подвергнутых всенародным оскорблениям и оплевываниям, трудно, даже невозможно выдумать, тем более, что они так уверенно поддерживаются двумя самыми надежными и самостоятельными произведениями агиографической литературы: житиями св. Стефана Нового и св. Никиты Мидийского, особенно первым, писанным, может быть, даже раньше соответствующих страниц Хронографии Феофана.

Не менее ценно по своей фактичности и дальнейшее свидетельство Феофана об уничтожении монастырей Константином V.² Об основаниях и размерах этого монастырского террора придется еще говорить в другом месте; теперь же, в пределах анализа повествования Феофана, я считаю необходимым лишь подчеркнуть показательную точность утверждений летописца. Он называет сначала общую меру правительства — превращение монастырей в „общедения“ для стоящих на стороне императора военных, т. е. явно отмену главной „экзкусии“ монастырей, свободы от воинского постоя, от испомещения войск. С такой целью реквизированы были, вероятно, поместительные и комфортабельные здания „первейшего из столичных монастырей“ — Далмата. Феофан называет только одну эту киновию, но он приводит здесь лишь самый яркий пример к общему своему утверждению, и отсюда едва ли можно заключать о незначительном количестве упраздненных при Константине V монастырей. Затем он сообщает о монастырях Каллистрата, Дия и Максимиана, которые были уничтожены дотла наравне с другими святыми домами и парфенонами. Опять-таки из ограниченности числа названных монастырей нельзя делать заключений о размерах разгрома. Ведь Феофан не думал давать полного перечня

¹ Theoph. 442, 27. „αὐτός δὲ κηδαινοῖσιν ἔχαιρε καὶ συμποσιασμοῖς, αἰσχρολογίαις τε καὶ ὀρχησμοῖς ἐκπαίδευον τοὺς περὶ αὐτόν. καὶ εἰ ποὺ τις συμπύπτων ἢ ἀλγῶν τὴν συνήθη χριστιανοῦς ἀφῆκε φωνὴν — τὸ θεοτόκε βοήθει, ἢ παννυχέων ἐφωράθη... ἢ εὐλαβεῖται συζῶν... ὡς ἐχθρὸς τοῦ βασιλέως ἐκολάζετο καὶ ἀμνημόνευτος ὀνομαζέτο“.

² Theoph. 443, 1. Μοναστήρια δὲ τὰ εἰς δόξαν θεοῦ καὶ τῶν σωζομένων καταφύγια οἴκους κοινούς καθίστα τῶν ομοφρόνων αὐτῷ στρατιωτῶν. Τὴν γοῦν Δαλμάτου πρῶτιστον οὖσαν ἐν τοῖς κοινοῖσι τοῦ Βυζαντίου στρατιώταις εἰς κατοικίαν δέδωκεν, τὰ Καλλιστράτου τε λεγόμενα καὶ τὴν Δίου μονὴν καὶ τὰ Μαξιμίνου ἄλλους τε μοναστῶν ἱερὰς οἴκους, καὶ παρθενῶνας ἐκ βάρρων κατέλυσεν τοὺς δὲ μοναχικὸν βίον ἀναλαβέσθαι ἐπιτηδεύσαντας... θανάτῳ καθυπέβαλεν...“

всех пострадавших при Константине V обителей: такая исчерпывающая полнота и точность вообще чужды византийскому летописанию. Важно и убедительно то, что Феофан определенно называет здесь хотя бы первые пришедшие ему на память монастыри, о которых в начале IX в. знали, что они пали жертвой константиновской „реформации“. Пусть у патр. Никифора¹ имеется противоположение, что обитель Каллистрата была продана в частные руки, это не ослабляет ценности и надежности свидетельства Феофана: то и другое, т. е. скрытие монастырских зданий и продажа монастырских земель и угодий казной, могло легко совмещаться друг с другом.

На этом мне хотелось бы закончить анализ „независимых“ сообщений Феофана. Я предвижу тот упрек, который могут сделать приверженцы законченности работы, и заранее соглашаюсь с тем, что было бы лучше привести здесь и результаты изучения последней части Хронографии, начиная от правления Льва IV. Но я должен сказать в свое оправдание, что такое исчерпывающее продление микроскопического разбора ничего нового в смысле подкрепления наблюдений, сделанных в пределах двух наиболее ответственных „иконоборческих“ царствований, не дало бы. Признаюсь, что я не столько отказался от продолжения изысканий, сколько решил просто опустить то, что было уже в готовом виде и для читателя ничего, кроме излишней докуки, не принесло бы.

Анализ был веден, напоминая, не с тем, чтобы обычными приемами определить степень достоверности свидетельств Феофана о ходе иконоборческого движения, а с целью выяснения элементарной фактичности его повествования. То, что получилось в результате, мне представляется чрезвычайно важным. Добросовестное и кропотливое изучение летописи принуждает убедиться в том, что признававшийся в течение веков основным первоисточником по истории иконоборческого движения Феофан таковым отнюдь считаться не может, так как, несмотря на все явственно видное его желание изобразить „нечестие и ересь“, он в своих тщетных усилиях лишь обнаруживает свою полную беспомощность. Все, что он напряженно сообщает и о происхождении „икономахии“ как таковой, о ее начале, первых яростнейших выступлениях и о развитии этого движения в течение долгих царствований, с которыми обычно и ассоциируется нарочито „иконоборчество“, — помимо того, что не выходит, как мы видели, из категории общих, голословных утверждений, „пустых мест“, расположено в хронографическом повествовании в таком „максималистическом“ беспорядке, что производит впечатление явной ирреальности. И особенно знаменательным кажется в этом отношении неожиданное прекращение всяких упоминаний об „икономахии“ сразу и бесповоротно с 754 г. Такой странный обрыв движения и борьбы и сам по себе мало приемлем и вместе с тем отраженно еще более разочаровывает и в тех сведениях об „иконоборчестве“, которые предшествуют такому исходу смут у Феофана.

Напротив, мы должны признать, что в занимавшей наше внимание

¹ Antirr. III y Migne. Patr. Gr. 100, 493—494 D.

партии летописного материала у Феофана выдвигаются по своей надежности и яркой фактичности сообщения об ином, значительном ряде явлений, которыми все гуще наполняется вторая половина царствования Константина V, т. е. время особенного ожесточения и разгара борьбы, когда реформационные круги от частичных проб и разрозненных попыток перешли к генеральным операциям по всему фронту. Два последние десятилетия правления Константина V, исходившие из позиций, созданных и укрепленных Собором 754 г., недаром считаются всеми писателями IX в. эпохой „безумия и ужаса“. Но у Феофана (скорее невольно, чем вольно) она характерным образом представлена фактами, которые в своей компактной совокупности образуют широко задуманную и планомерно осуществлявшуюся „монахомахию“.

Наблюдения, извлеченные из пристального анализа хронографического материала, заключенного в труде Феофана, имеют прежде всего то важное значение, что здесь впервые раскрывается действительная сложность иконоборческого движения и выдвигается сама собой реальная его линия, которая хотя и намечалась ранее в исследовании, но помещалась в иной перспективе. Внимательное изучение повествования Феофана приводит к убеждению, что фактический состав „иконоборческой смуты“ VIII в. заполнен натиском милитаризирующегося государства на монастыри и монашество; попытка же уничтожить иконопочитание, если она и получила солидное теоретическое обоснование на Соборе 754 г., если она и вызвала с течением времени все усиливающийся отпор, исключительно, однако, литературный со стороны гонимого „монастырства“, судя по данным хронографии, не всколебала течения жизни крупными актами и решительными выступлениями. Мне приходилось уже указывать, почему гонимая монашеская сторона с жадностью должна была ухватываться за это расхождение по вопросу об отношении к иконам, раздувать его значение и вести контрнаступление на правительство именно на этом фронте: с одной стороны, то был момент в борьбе, в сфере которого и возможны были только споры, апологии и опровержения, а с другой — тот же момент давал возможность в напряжении полемически обвинять враждебно-агрессивное правительство не только в гонении на благочестие, но и в ереси и в отступлении от Христа и всех святых. К сожалению, в этом споре мы обречены слышать только одну сторону, которая хотя и приводит в своих опровержениях и защитах мнения и доводы противников, однако, доверяться такой беспокойной и внетекстуальной цитации мы, конечно, не имеем права. Поэтому мы оказываемся не в состоянии даже восстановить точно и отчетливо в характерных пунктах этот интересный сам по себе религиозно-философский спор. Но ведь это — яркая и существенная страница в истории византийской богословско-полемической литературы, не вводящая нас все-таки в историю общественных движений. Мы же отлично понимаем, что сам по себе узкий и мелкий вопрос об иконопочитании не мог держать в состоянии кипения общественные страсти в течение более чем столетия. Спор по вопросу об отношении к иконам и св. изображениям должен выясняться как идеологическая надстройка, или даже точнее — пристройка у более существенного, более реального и, я бы сказал, социального столкновения: иконокласм и иконодулия — только символы, идейные маски, прикрывающие собой действительные, живые лики борющихся в VIII в. в империи общественных сил.

В этом смысле результаты кропотливого труда над фактическим составом Хронографии должны сыграть и направляющую методологическую роль, давая, с одной стороны, основание и право отстранить с главного пути изучения источники исключительно богословско-полемического характера, а с другой — указуя настойчиво необходимость привлечения иных, может быть, на первый взгляд кажущихся косвенными и далекими, свидетелей этой схватки правительств VIII в. с монастырями и даже поворота главного интереса работы к изучению мало исследованной истории монастырей в Восточной империи как „носителей феодального расчленения“.

ХРОНИКА

ГРУППА ПО ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ ПРИ ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ АН СССР в 1948—1949 гг.

В 1948 и 1949 гг. деятельность группы по истории Византии проходила под знаком перестройки всей работы на основе постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. Группа стремилась сосредоточить свое внимание на важнейших, коренных проблемах византийской истории. Это нашло свое выражение как в направленности исследований отдельных членов группы, так и в тематике докладов, вынесенных на заседания.

Несколько работ было посвящено изучению аграрной истории Византии, главным образом, поздневизантийского периода. Видное место занимали и вопросы истории классовой борьбы, а также развития византийской идеологии в ее различных формах.

Как несомненно положительный момент следует отметить, что группа усилила изучение вопросов славяно-византийских и русско-византийских отношений, имеющих большое значение для истории нашей Родины и братских нам славянских народов.

Однако ряд кардинальных проблем остался еще незатронутым. Это прежде всего относится к истории византийского города, без разработки которой невозможно понять ни развития аграрных отношений Византии, ни истории ее философии и культуры. Необходимость изучения византийского города остро ощущается всеми советскими византинистами, постоянно наталкивающимися на эту нерешенную проблему.

Мало разрабатывались и вопросы историографии. Назрела настоятельная необходимость осуществить на заседаниях группы постановку и обсуждение специальных докладов, посвященных в первую очередь критическому разбору и оценке взглядов выдающихся представителей русского дореволюционного византиноведения — В. Г. Васильевского, Ф. И. Успенского и др. Потребность в этом тем более велика, что взгляды этих исследователей долгое время идеализировались некоторыми членами группы (Б. Т. Горянов), не замечавшими принципиального различия между дореволюционной и советской византиноведческой наукой.¹ Явно недостаточно уделялось внимания и критике

¹ Некоторым шагом вперед в деле критической оценки научного наследства Ф. И. Успенского следует считать статью Э. В. Удальцовой „К вопросу об оценке трудов акад. Ф. И. Успенского“, в которой автор, оттеняя заслуги крупнейшего русского византиниста, с марксистско-ленинских позиций вскрыл методологические и политические пороки его концепции истории Византии и подверг заслуженной критике отдельные факты преклонения перед буржуазным византиноведением в трудах советских византинистов. См. „Вопросы истории“, 1949, № 6, стр. 116 и сл.

фальсификаторских концепций западноевропейских и американских буржуазных византинистов. Этому вопросу был посвящен только один доклад Ф. М. Россейкина. Но и эта критика была направлена на разоблачение буржуазных теорий Брюкнера и других исследователей преимущественно 20-х годов (исключение представляла критика работ Хонигмана). Между тем несомненно, что одной из важнейших научных и политических задач, стоящих перед группой по истории Византии, является систематическая и острая критика с позиций марксистско-ленинской методологии трудов новейших западноевропейских и американских византиноведов. Необходимо усилить боевой, проникнутый духом большевистской партийности отпор реакционным теориям Греггара, Вернадского, Острогорского и др., стремящихся опорочить достижения советской исторической науки. В этой связи нужно также практиковать критические обзоры таких органов современного буржуазного византиноведения, как „Byzantion“ и рупор французских иезуитов „Revue des études byzantines“.

К советским византинистам целиком и полностью относятся все указания ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам. Ошибки первого тома „Византийского Временника“ особенно обязывают советских византинистов проявить решительную непримиримость к реакционному буржуазному византиноведению. Нужно глубоко усвоить и творчески претворять в жизнь указание А. А. Жданова о том, что работники теоретического фронта должны „возглавить борьбу против растленной, гнусной буржуазной идеологии“ и „наносить ей сокрушающие удары“.¹

Переходя к обзору докладов, обсуждавшихся на заседаниях в 1948 и 1949 гг., начнем с докладов, посвященных социально-экономической истории Византии.

Аграрным отношениям периода разложения рабовладельческого строя и формирования феодальных отношений был посвящен прочитанный 20 января 1949 г. доклад А. В. Старостина „Крестьянское землевладение в Византии в VI в.“, являющийся главой его кандидатской диссертации.

Автор выдвинул интересный тезис о том, что в VI в. в Византии было широко распространено свободное крестьянство, которое вело ожесточенную классовую борьбу за сохранение своего землевладения. Но, сосредоточив свое внимание, главным образом, на анализе памятников юридического характера, А. В. Старостин почти совершенно не использовал папирусы, а также нарративные источники и произведения агнографической литературы и пришел поэтому к довольно односторонним выводам. Это тем более досадно, что проблема крестьянского землевладения в VI в. имеет особенно важное значение для советских историков, так как она тесно связана с вопросом о революционном переходе от античности к средневековью в Восточно-Римской империи, о его особенностях и месте в процессе исторического развития Византии. А. В. Старостину, в частности, не удалось дать полную характеристику народных движений VI в. Он, например, совершенно не остановился на борьбе деревни против эксплуатировавшего ее города (хотя бы по материалам Иоанна Малалы о борьбе крестьян против антиохийцев). Не был также поставлен вопрос о положении рабов, об их участии в классовой борьбе того периода. Таким образом, докладчик сузил социальную базу народных движений VI в., сведя

¹ А. А. Жданов. Выступление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова „История западноевропейской философии“. — „Большевик“, 1947, № 16, стр. 22.

их к выступлениям только свободного крестьянства. Эти недостатки его работы были отмечены участвовавшими в обсуждении кандидатами историч. наук З. В. Удальцовой, Б. Т. Горяновым, А. П. Кажданом и аспирантом А. Я. Гуревичем, подчеркнувшими, что вопрос о революции рабов и колонов в Византии заслуживает особенно пристального внимания и требует углубленной разработки в трудах советских византинистов.

Проблема аграрных отношений поздневизантийского периода послужила темой двух докладов канд. историч. наук Б. Т. Горянова. Первый доклад (на заседании сектора истории средних веков 2 января 1948 г.) был посвящен развитию иммунитета в XIII—XV вв. Автор привлек к исследованию значительное количество византийских жалованных грамот. В результате изучения этого материала Б. Т. Горянов пришел к заключению, что экскуссия, возникая в XI в. и развиваясь в последующую эпоху, в XIII—XV вв. приобретает характер все более широких изъятий от вмешательства государственной власти, вследствие чего крупные земельные владения, пожалованные на основе проники, превращаются в изолированные, почти независимые от центральной власти округа. Б. Т. Горянов, однако, подошел к исследованию темы с формально-юридической точки зрения. Рассматривая византийский иммунитет (экскуссию) лишь как правовое оформление политической самостоятельности крупного землевладения, он не связал развитие иммунитета с закрепощением непосредственных производителей. Поэтому докладчику не удалось провести достаточно четкую разграничительную линию между податными льготами и судебнo-административным иммунитетом.

Второй доклад Б. Т. Горянова на тему „Положение византийского крестьянства при Палеологах“ был сделан 12 октября 1948 г. Выступившие в прениях член-корр. АН СССР Н. В. Пигулевская и канд. историч. наук З. В. Удальцова отметили, что один из главных недостатков этого доклада заключается в отсутствии анализа классовой борьбы византийского крестьянства.¹

На этом же заседании был заслушан и доклад канд. историч. наук А. П. Каждана „Формы феодальной ренты и феодальной зависимости в поздней Византии“. По мнению автора, в Византии существовали различные категории феодально-зависимого крестьянства, которые он сближает с прекаристами, обычниками, чиншевиками и дворовыми. Изучая вопрос о соотношении видов ренты, докладчик пришел к выводу, что в период поздневизантийского феодализма преобладающую роль играла уже денежная рента, хотя сохранились еще и барщина и натуральные оброки. В специальном разделе доклада А. П. Каждан остановился на положении рабов и мистиев в IX—XI вв. Он показал, что к XIII в. эти категории непосредственных производителей исчезают, превращаясь в феодально-зависимых людей.

В другом докладе, прочитанном 26 января 1949 г. на объединенном заседании московской и ленинградской групп по истории Византии, А. П. Каждан попытался поставить вопрос об особенностях византийского феодализма. Докладчик утверждал, что окончательное торжество феодальных отношений в Византии наступает лишь в XII—XIV вв.

Естественно, что такая широкая и имеющая большое теоретическое значение проблема, как проблема своеобразия византийского

¹ В переработанном виде этот доклад напечатан в III томе „Византийского Временника“, стр. 19—45.

феодализма, должна была вызвать оживленное обсуждение и серьезную критику. Выступившие М. В. Левченко, Н. В. Пигулевская, З. В. Удальцова, Б. Т. Горянов, А. В. Старостин и др. отметили, что отдельные положения доклада представляют значительную научную ценность. Интересна, например, постановка автором вопроса о локальных различиях и типах общины, об иммунитете и крепостном праве. Докладчик дал правильную критику взглядов представителей буржуазного византиноведения — В. Г. Васильевского и Ф. И. Успенского. Однако в целом А. П. Каждану не удалось достаточно отчетливо показать своеобразие византийского феодализма. Он не остановился на рассмотрении периода VI—VIII вв., к которому на самом деле относится генезис византийского феодализма, без достаточных доказательств перенесенный им в более позднюю эпоху. Он не уделил внимания истории византийского города. Периодизация истории византийского феодализма, предложенная им, является более чем спорной, так как базируется на случайных признаках.

Вопросам развития торговли Византии был посвящен доклад члена-корр. АН СССР Н. В. Пигулевской «„Христианская топография“ Косьмы Индикоплова и византийская торговля», прочитанный на объединенном заседании московских и ленинградских византистов 26 января 1949 г. Тщательно проанализировав сочинение Косьмы Индикоплова, Н. В. Пигулевская показала, что в VI в. продолжалась и сделала значительные успехи внешняя торговля Византии со странами Востока. Особенно большую роль в ней играли сирийские колонии. Несмотря на конкуренцию персов, торговля Византии охватывала широкий круг стран вплоть до Индии, Китая („страны серов“) и Цейлона, как об этом свидетельствуют не только письменные источники, но и находки византийских монет в этих странах. Отмечая, что исследование Н. В. Пигулевской дает новые интересные данные для характеристики особенностей развития товарно-денежных отношений в Восточно-Римской империи, некоторые из выступавших сделали ряд замечаний по существу затронутых вопросов. Например, А. В. Старостин обратил внимание на то, что данные источников о развитии торговли относятся преимущественно к IV и VI вв., относительно же торговли Восточно-Римской империи в V в. нам ничего неизвестно. А. В. Старостин объясняет этот перерыв в развитии торговли крупными социальными потрясениями, которые в V в. переживала Византийская империя.

Проблемам византийско-славянских и византийско-русских отношений были посвящены доклады члена-корр. АН СССР Н. В. Пигулевской, проф. М. В. Левченко, Ф. М. Россейкина и кандидатов историч. наук А. Л. Якобсона, Е. Ч. Скржинской и З. В. Удальцовой.

В докладе „К анализу известий о византийско-моравских отношениях в середине IX в.“, прочитанном на заседании группы 28 октября 1948 г., Ф. М. Россейкин, используя обширный материал письменных и археологических памятников, доказал наличие связей между Византией и Моравией еще задолго до Кирилла и Мефодия и подверг резкой критике теорию Хонигмана, которую современный реакционный бельгийский византист А. Грегуар объявил чуть ли не „последним словом“ науки по кирилло-мефодиевской проблеме. Ф. М. Россейкин показал, в частности, что взгляд Хонигмана является не новым: он был высказан еще Гергенретером и некоторыми другими более ранними историками, но лишь в менее откровенной форме. Докладчик подверг также критике работы Дворника, Златарского, Киселкова,

Огиенко и других буржуазных историков по кирилло-мефодиевскому вопросу. Академик Е. А. Косминский подчеркнул большое политическое значение доклада Ф. М. Россейкина, его острую полемическую направленность.

14 декабря 1948 г. на заседании сектора истории средних веков Ф. М. Россейкин прочитал доклад „Против фальсификации истории византийско-славянских отношений в буржуазной историографии“.¹ В этом докладе Ф. М. Россейкин разоблачил лживые и реакционные измышления Брюкнера, преуменьшавшего историческое значение миссии Кирилла и Мефодия. К сожалению, Ф. М. Россейкин не вскрыл политической подоплеки кирилло-мефодиевской миссии, не показал агрессивных намерений патриарха Фотия и византийских феодалов, стремившихся не к просвещению славянских народов, а к их порабощению. Об этих экспансионистских тенденциях достаточно отчетливо свидетельствуют хотя бы выступления ближайших друзей Фотия на соборе 879 г.²

Вопросам истории славян был посвящен и доклад канд. историч. наук З. В. Удадьцовой „Критовул как источник по истории южных славян и других народов Балканского полуострова в XV в.“, прочитанный на заседании сектора истории средних веков 25 мая 1948 г. З. В. Удадьцова установила наличие в „Истории Мехмета II“ Критовула важных сведений об экономическом развитии Сербии, Боснии, Албании, Валахии, о политической истории южных славян, о турецком завоевании Балканского полуострова и ожесточенном сопротивлении славянских народов турецким захватчикам. Вместе с тем в докладе было указано на тенденциозность „Истории Мехмета II“, вызванную политической позицией Критовула — представителя туркофильского течения в Византии, вследствие чего его данные по истории славян и других народов Балканского полуострова нуждаются в тщательной критической проверке.

Большой интерес вызвал доклад члена-корр. АН СССР Н. В. Пигулевской «К вопросу об имени „русь“ в сирийском источнике VI в.», сделанный 31 декабря 1948 г. Н. В. Пигулевская произвела подробный разбор известий о „руси“, содержащихся в хронике Псевдо-Захария Митиленского, датируемой 555 г. Данные хроники показывают, что термин „русь“ был известен еще в середине VI в. Этим термином у Псевдо-Захария Митиленского обозначается сильный народ, живший у Причерноморье. Выступивший в прениях по докладу Н. В. Пигулевской д-р историч. наук Б. Н. Заходер указал, что имя „русь“ встречается и в ранних арабских источниках, где этим именем также называется народ, пребывавший вблизи Азовского моря.

Проблемы истории юга СССР были затронуты в докладе канд. историч. наук А. Л. Якобсона „Итоги археологического изучения средневекового Херсонеса“, поставленном на обсуждение объединенного заседания московской и ленинградской групп 27 января 1949 г. А. Л. Якобсон показал, что археологические исследования Херсонеса полностью разрушают миф о готской державе в Крыму, созданный в свое время немецкими националистическими историками, и свидетельствуют об отсутствии здесь каких бы то ни было следов готского влияния.

¹ Материал этого и предшествующего докладов Ф. М. Россейкина обработан в его статье „Буржуазная историография о византино-моравских отношениях в середине IX в.“ См. „Византийский Временник“, т. III, стр. 245—257.

² Mansi. Nova et ampl. coll. sacr. concil., t. XVII, col. 420, B; 420, C; 488, C.

Принимавшие участие в обсуждении доклада Н. В. Пигулевская, М. В. Левченко, Ф. М. Россейкин и др. подчеркнули, что исследования А. Л. Якобсона проливают новый свет на некоторые вопросы истории Киевского государства. Однако в прениях были отмечены и недостатки доклада, в частности, было указано, что докладчик мало уделил внимания изучению роли туземных элементов Херсонеса в развитии его культуры.

Проблеме русско-византийских отношений в конце X в. был посвящен интересный доклад д-ра историч. наук М. В. Левченко „Записка греческого топарха“. Доклад этот был заслушан группой 11 сентября 1948 г. и затем повторен 29 января 1949 г. на объединенном заседании московских и ленинградских византистов совместно с сектором истории СССР до XIX в. „Записка греческого топарха“ является документом, многократно изучавшимся историками и лингвистами. Место и время его составления долго служили предметом спора в исторической науке. М. В. Левченко пришел к выводу, что местом действия топарха следует считать не Крым, как утверждали Вестберг и некоторые другие исследователи, а Приднестровье и что „Записка“ была составлена скорее всего в Болгарии. Что касается времени составления „Записки“, то автор в этом вопросе присоединился к взгляду проф. М. А. Шангина. В обсуждении доклада М. В. Левченко наряду с византинистами приняли активное участие и работники сектора истории СССР до XIX в. — канд. историч. наук А. А. Зимин и др.

Ценным источником, содержащим важные сведения о древнейшей истории предков славян — антов и о ранних славяно-византийских отношениях, является „История готов“ Иордана. Пользование этим источником до последнего времени сильно затруднялось отсутствием перевода и общей его неизученностью. Большой интерес поэтому вызвал доклад (27 января 1949 г.) канд. историч. наук Е. Ч. Скржинской „Gethica Иордана как исторический источник“, в котором докладчица сообщила о результатах своей работы над переводом и комментированием этого памятника. Она пришла к заключению, что Иордан написал свою „Историю готов“ в Италии. Выступавшие в прениях подчеркнули важность перевода Иордана для истории юга нашей страны — северного Причерноморья. В то же время М. В. Левченко, Е. Э. Липшиц, М. А. Тиханова высказали вполне обоснованное пожелание о необходимости более критического отношения к Иордану, как источнику, проникнутому определенной политической тенденцией и всячески стремящемуся представить готов в качестве великого народа. Было указано, что страх перед наступающими на Византию славянами послужил едва ли не главной причиной этой тенденциозной политической концепции.

Ряд докладов был посвящен вопросам политической борьбы в Византии. Среди них в первую очередь следует отметить доклад д-ра историч. наук М. В. Левченко „Политические взгляды Синесия Киренского“, прочитанный на объединенном заседании московской и ленинградской групп по истории Византии 25 января 1949 г.

Поставив перед собой задачу выяснить истоки политического мировоззрения этого выдающегося идеолога рабовладельческого строя периода его разложения, докладчик попытался связать политические воззрения Синесия с развитием классовой борьбы в Восточно-Римской империи. Он показал, что характерное для Синесия стремление к реформам вытекало из роста классовых противоречий в империи.

Реформами Синесий рассчитывал до известной степени сгладить остроту классовой борьбы и тем самым продлить существование рабовладельческого строя. Выступившая в прениях по докладу член-корр. АН СССР Н. В. Пигулевская дала высокую оценку работы М. В. Левченко, указав, что она вносит много нового в изучение политической жизни Восточно-Римской империи IV в. Вместе с тем было высказано несколько критических замечаний и внесены дополнения к докладу. З. В. Удальцова, например, указала на необходимость более развернутой характеристики революции рабов и колонов в Западной и особенно в Восточной империи, так как именно страх перед этой революцией и варварским завоеванием явился главным стимулом, побудившим определенные круги рабовладельческой аристократии, политические интересы которых нашли свое выражение у Синесия, выдвинуть программу реформ с целью упрочения рабовладельческого строя. Ф. М. Россейкин отметил, что одним из условий, которое позволило бы углубить и расширить наше представление о социальной основе политической программы Синесия, является изучение вопроса о связях епископа Киренского с Египтом. Е. Э. Липшиц выразила обоснованное пожелание, чтобы в круг исследования были вовлечены, кроме речи Синесия, и другие его литературные произведения.

Вопросы политической борьбы в Византии в эпоху турецкого завоевания явились темой нескольких докладов канд. историч. наук З. В. Удальцовой, сделанных ею в связи с ее работой по исследованию поздневизантийского историка Критовула. Первый из них — „Политические взгляды Критовула“ — был прочитан на заседании группы 16 сентября 1948 г. В противовес буржуазным историкам-идеалистам, интересовавшимся автором „Истории Мехмета II“ преимущественно с точки зрения психологических мотивов его ренегатства, З. В. Удальцова попыталась вскрыть в первую очередь социально-экономические корни политического мировоззрения Критовула и всего туркофильского течения в Византии, рупором и выразителем которого он являлся. Докладчица показала, что ядро туркофильской партии составляла часть феодальной знати, к которой принадлежал и сам Критовул, в особенности те элементы ее, которые были вовлечены в торговлю, и определенные слои купечества, рассчитывавшие найти в турках опору против торговой конкуренции и политической экспансии итальянских феодалов и купцов, в частности, на островах Эгейского и Средиземного морей. Что же касается тех слоев народа, которые тоже поддерживали турок, то, по вполне обоснованному убеждению докладчицы, этот переход части народных масс Византии на сторону завоевателей (не представляющий единичного примера в истории средневековья) являлся своеобразным выражением классовой ненависти, формой классовой борьбы против возросшего в XV в. гнета феодалов и имперской бюрократии. Важно подчеркнуть, как это и сделал автор, ошибочность и иллюзорность чаяний туркофилов: турецкое иго тяжким бременем легло на плечи греческого народа. Отрицательное влияние турецкого завоевания было отмечено К. Марксом в его „Хронологических выписках“.

Доклад вызвал оживленную дискуссию, в которой приняли участие академик Е. А. Косминский, д-р историч. наук С. А. Никитин, Ф. М. Россейкин, Б. Т. Горянов и др., сделавшие ряд критических замечаний главным образом по вопросу о причинах появления туркофильства среди некоторых слоев народа в Византии.

Вопросы, поднятые в докладе З. В. Удальцовой, тесно сопрягаются с проблемами истории славянских народов юго-восточной

Европы в период турецкого владычества. Анализ политических взглядов Критовула и социально-экономических основ туркофильства служит необходимой предпосылкой для разбора ценных сведений о южных славянах, которые содержит „История Мехмета II“. Изучение этого вопроса позволяет более углубленно осветить проблему отношений южных славян к турецкому завоеванию. Именно поэтому доклад З. В. Удальцовой о мировоззрении Критовула был поставлен и на секторе истории Института славяноведения (24 января 1949 г.).

Проблемы политической борьбы в Византии в середине XV в. составили также содержание двух других докладов того же автора. 28 апреля 1949 г. на заседании византийской группы был заслушан доклад З. В. Удальцовой, темой которого явилась „Борьба партий в Пелопоннесе во время турецкого завоевания по данным Критовула“. Второй ее доклад „Критовул как источник по истории борьбы партий в Византии“ послужил предметом обсуждения на секторе истории средних веков 10 июня 1949 г. И на группе и на секторе истории средних веков доклады вызвали оживленный обмен мнениями, чему способствовала как важность и общен исторический интерес самой проблемы, так и острая постановка докладчицей ряда весьма существенных вопросов. В прениях приняли участие доктора историч. наук Б. Ф. Поршнев, М. М. Смирин, В. В. Стоклицкая-Терешкович, Я. Я. Зутис, кандидаты историч. наук З. В. Мосина, Б. Т. Горянов, Ф. М. Россейкин, А. П. Каждан и др., подчеркнувшие методологическую правильность позиции докладчицы, которая причины падения Византии ищет прежде всего во внутреннем процессе ее социально-экономического развития и в особенности — в острой классовой борьбе, принявшей в связи с турецким завоеванием и другими факторами международного порядка форму борьбы латинофильской, греко-православной и туркофильской „партий“. Вместе с тем отмечалась сложность проблемы и трудности ее разрешения на основании одного источника.

Обсуждение докладов З. В. Удальцовой еще раз показало необходимость глубокой и всесторонней разработки вопросов истории византийского города. В ходе прений выяснилась, в частности, недооценка Б. Т. Горяновым значения греческой буржуазной прослойки. Точка зрения Б. Т. Горянова, ошибочно отождествлявшего городской патрициат с классом буржуазии, была подвергнута критике со стороны Я. Я. Зутиса и В. В. Стоклицкой-Терешкович.

Истории политической борьбы на рубеже IX—X вв. были посвящены два доклада канд. историч. наук А. П. Каждана: „Политические и социальные взгляды Фотия“ (21 октября 1948 г.) и „Восстание в Константинополе 913 г.“ (23 января 1949 г.).

В первом докладе автор попытался вскрыть социально-политическую подоплеку борьбы фотиан и игнатиан, трактуемой буржуазными историками в плане борьбы чисто религиозных партий. По мнению докладчика, патриарх Фотий являлся выразителем политических стремлений провинциальной феодальной аристократии и выступал поэтому с требованием ограничения императорской власти в интересах этой группы. Он же выдвинул программу широкой внешнеполитической экспансии под флагом распространения христианства и восстановления Римской империи. В отличие от фотиан, игнатиане были сторонниками сильной императорской власти и представляли интересы имперской бюрократической знати. Докладчик особо подчеркнул, в противовес буржуазной историографии, резко враждебное отношение Фотия к народным массам Византии. Ценным и интересным дополнением к докладу яви-

лось выступление И. К. Кусикьяна, который путем анализа переписки Фотия с армянским царем Ашотом Багратидом показал широкие экспансионистские планы Фотия, направленные и против Армении.

Во втором докладе А. П. Каждан попытался, проанализировав сравнительно немногочисленные и противоречивые данные источников о политической борьбе в Византии в начале X в., показать своеобразие константинопольского восстания 913 г., его причины и движущие силы.

Два заседания группы (2 и 9 декабря 1948 г.) были посвящены обсуждению работ по истории византийской философии, написанных кандидатами историч. наук Ф. М. Россейкиным и Б. Т. Горяновым. Обе работы предназначались для подготавливавшейся к печати „Истории философии“, следовательно, должны были быть построены с учетом всех указаний, данных А. А. Ждановым на философской дискуссии, и написаны в боевом, партийном духе. К сожалению, авторы не справились с этой задачей.

Доклады Ф. М. Россейкина и Б. Т. Горянова в ходе обсуждения были подвергнуты острой критике со стороны академика Е. А. Косминского, кандидатов историч. наук А. К. Бергера, И. К. Кусикьяна, З. В. Удальцовой, А. В. Старостина и др. Выступавшие в прениях отмечали отсутствие в представленных работах четких классовых оценок отдельных философских систем, в частности, реакционности платонизма, отсутствие показа борьбы различных направлений в философии и ее социальной подоплеки, слабое освещение философского и классового содержания ересей, отражавших идеологию народных масс. Все эти недостатки свидетельствуют о том, что авторы, повидимому, забыли ленинско-сталинский принцип партийности исторической науки и поэтому оказались в плену объективизма. Подводя итоги обсуждения докладов, академик Е. А. Косминский указал, что обе работы не дают четкого представления о развитии и специфике философской мысли в Византии, что вопросы истории византийской философии трактуются в отрыве от развития социальных отношений. Многие философские доктрины только упоминаются, но без достаточно подробной и обоснованной характеристики. Очень неясно представлено философское учение богословов. Академик Е. А. Косминский подверг критике взгляды Б. Т. Горянова по чрезвычайно важному вопросу о византийском гуманизме и показал, что одна из основных ошибок Б. Т. Горянова заключается в недооценке им роли и значения византийского города.

17 июня 1949 г. на заседании сектора истории средних веков Б. Т. Горянов прочитал доклад «Обзор источников к монографии „Византийская культура в эпоху Палеологов“», в котором была дана характеристика многочисленных источников, исследуемых автором в связи с подготовкой им большой работы, окончание которой запланировано на 1951 г. В обсуждении доклада приняли участие Ф. М. Россейкин и М. М. Смирин.

Серьезными недостатками страдали доклады по истории византийской литературы, поставленные на группу весной 1949 г.: С. П. Кондратьева „Феофилакт Симокатта и его литературная деятельность“ (14 марта) и аспирантки Т. М. Соколовой „Эпиграммы Агафия Миринейского“ (16 апреля). Литературное творчество крупных историков VI в. — Феофилакты Симокатты и Агафия Миринейского авторы рассматривали в отрыве от социальной среды, в которой оно протекало, упустив из виду указание товарища И. В. Сталина о том, что „... источник происхождения общественных идей, общественных теорий, политических взглядов, политических учреждений нужно искать... в условиях

материальной жизни общества, в общественном бытии, отражением которого являются эти идеи, теории, взгляды и т. п.¹

Отмечая отдельные неудачные и спорные доклады, нельзя, однако, не признать, что в 1948—49 гг. группа по истории Византии проделала значительную работу, которая свидетельствует о дальнейших успехах советского византиноведения.

В связи с суровой критической оценкой, которую получил первый том „Византийского Временника“, вышедший в 1947 г., группа уделила большое внимание подготовке второго и третьего томов этого сборника.²

Материалы второго тома были подвергнуты обсуждению 10 сентября 1948 г. на заседании партийной группы сектора средних веков с участием членов редакционной коллегии. Третий том явился предметом обсуждения на заседании группы византиноведения 11 ноября 1948 г.

Партийная группа сектора взяла совершенно правильную линию, нацеливая византинистов на решительную борьбу за искоренение крупных ошибок, идеологических и политических срывов, которые характеризовали первый том „Временника“.

Поэтому присутствовавшие на заседании 10 сентября 1948 г. подвергли резкой критике сообщение Б. Т. Горянова о работе редакционной коллегии, сделанное в тоне самоуспокоенности и благодушия. Е. А. Косминский, М. В. Левченко, З. В. Мосина, З. В. Удальцова, С. Д. Сказкин, М. М. Смирин, Ф. М. Россейкин, А. В. Старостин дали резкий отпор элементам преклонения перед современным западным византиноведением, а также перед дореволюционной буржуазной наукой, которые содержались в некоторых статьях и рецензиях (В. Н. Лазарева, Н. С. Лебедева, Л. А. Мацулевича и др.).

М. В. Левченко подчеркнул большое значение того внимания, которое партийная группа уделяет „Византийскому Временнику“, и вскрыл ошибки статьи В. Н. Лазарева о новооткрытых мозаиках в храме Софии в Константинополе, в которой была дана совершенно некритическая оценка трудов американской экспедиции. М. В. Левченко подверг критике статьи Н. С. Лебедева о Шестакове и Л. А. Мацулевича об Айналове, в которых не делалось никакого отличия между дореволюционным и марксистским византиноведением.

З. В. Мосина, З. В. Удальцова, А. В. Старостин подчеркнули, что недостаточно критиковать враждебные теории и взгляды современных буржуазных византиноведов: нужно в каждом отдельном случае противопоставлять им нашу, марксистско-ленинскую точку зрения, бороться против реакционных извращений истории Византии в трудах буржуазных ученых, глубоко и в то же время конкретно проводить во всех статьях идею принципиального, коренного различия между дореволюционным буржуазным и советским византиноведением.

З. В. Мосина отметила в качестве основного недостатка представленного на рассмотрение материала „Временника“ слабую критику зарубежной науки. Редколлегия в целом, по ее мнению, не вступила еще на путь критики и самокритики, недостаточно учла уроки критики объективистского первого тома. З. В. Мосина поставила перед редколлегией задачу сделать выходящий том еще более политически острым и воинствующим путем усиления раздела критики столпов буржуазного византиноведения.

¹ „История ВКП(б), Краткий курс“, стр. 110.

² Второй том вышел в 1949 г., третий — в 1950 г.

К отказу от самоуспокоенности и благодушия и к развитию большевистской критики и самокритики в группе византиноведения и на страницах „Временника“ призывали парторг сектора С. А. Асиновская и другие члены партийной группы.

С рядом принципиальных и практических предложений выступили С. Д. Сказкин, М. М. Смирин, А. В. Старостин и др.

На заседании партийной группы выступил также ответственный редактор „Византийского Временника“ академик Е. А. Косминский. Советским византинистам, как и всем советским историкам — гражданам своей Родины, — сказал Е. А. Косминский, — необходимо учитывать новые растущие требования, которые предъявляются исторической науке в нашей стране современной политической обстановкой. Е. А. Косминский указал на наличие в материалах тома ошибок объективистского характера, подлежащих устранению (например, в статье В. Н. Лазарева). В своем политически острым и самокритичном выступлении Е. А. Косминский подчеркнул необходимость развертывания более глубокой самокритики в редколлегии „Временника“ и вообще в работе византийской группы и в заключение коснулся вопросов организации работы редколлегии и ее перестройки в направлении повышения коллективной ответственности за качество печатной продукции советских византинистов.

В результате этого обсуждения на заседании редколлегии было принято решение о снятии из второго тома „Византийского Временника“ ряда методологически порочных статей и рецензий.

Обсуждению третьего тома „Византийского Временника“ предшествовала широкая дискуссия о работе Института истории в целом,¹ на которой подверглась серьезной критике и работа византинистов.

Об основных линиях этой критики — отходе от партийности, буржуазном объективизме, наличии некритического отношения к наследству русского дореволюционного византиноведения, отсутствии достаточно острой борьбы против реакционного зарубежного буржуазного византиноведения — напомнила на заседании группы 11 ноября 1948 г., посвященном обсуждению третьего тома „Византийского Временника“, З. В. Удальцова. Она сформулировала задачи, которые в связи с этой критикой стоят перед советским византиноведением, а именно: пересмотр тематики работ византинистов, проведение непримиримой борьбы с буржуазным объективизмом, аполитичностью, традиционализмом, разоблачение реакционных буржуазных византиноведов, разрешение коренных проблемных вопросов истории Византии. З. В. Удальцова сообщила о работе редколлегии над третьим томом „Временника“, об исправлениях, внесенных как в композицию тома, так и в его содержание под углом зрения этих задач. Редакция сняла статьи, в которых имелись ошибки методологического характера, изменила композицию тома, выдвинув на первое место статьи советских историков по проблемным вопросам византийского феодализма, потребовала от ряда авторов доработки и переработки статей и рецензий в направлении придания им большей четкости и политической заостренности. Ф. М. Россейкин, А. В. Старостин и др. сделали несколько ценных замечаний о содержании и направленности некоторых статей тома. Выступивший в заключение академик Е. А. Косминский отметил плодотворность критики, которой были подвергнуты ошибки первого тома,

¹ См. „Вопросы истории“, 1948, № 11, стр. 144—149.

и указал, что главной задачей является поднятие идейного уровня работы советских византинистов. Для этого нужно в первую очередь вплотную заняться разрешением основных проблем византийской истории, сочетая творческую работу с критической. В частности, необходимо создать советскую историографию Византии, построив ее по партийному с марксистско-ленинских позиций, пронизав ее боевым духом борьбы с традициями буржуазного византиноведения.

М. З.

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ в 1948—1949 гг.

В 1948—1949 гг. византиноведческие работы в Ленинграде были сосредоточены преимущественно в византийской группе Ленингр. отделения Института истории АН СССР и на кафедре византиноведения Ленингр. Гос. Университета им. А. А. Жданова. Помимо того, отдельными исследователями проводились работы по византиноведению в ИВАН (член-корр. Н. В. Пигулевская), в ИИМК (Е. Ч. Скржинская и А. Л. Яковсон), в Гос. Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина (Е. Э. Гранстрем) и в Гос. Эрмитаже (А. В. Банк).

Штатные работники Ленингр. отделения Института истории АН СССР проф. д-р историч. наук М. В. Левченко и ст. научный сотрудник канд. историч. наук Е. Э. Липшиц продолжали свою работу над монографиями: первый — на тему „Византия и Русь в IX—XII вв.“, вторая — о византийской культуре иконоборческого периода. Совместно с Н. В. Пигулевской и Б. Т. Горяновым (Институт истории АН СССР, Москва) они подготовили к печати хрестоматию по социально-экономической истории Византии в IV—XV вв. общим объемом более 30 п. л. Хрестоматия освещает важнейшие вопросы социально-экономического развития Византии и состоит из документов, значительная часть которых появляется на русском языке впервые. Для каждого раздела написано специальное введение.

Ст. научный сотрудник Ленингр. отделения Института истории АН СССР канд. историч. наук Н. С. Лебедев подготовил к печати третий том „Истории Византийской империи“ академика Ф. И. Успенского, вышедший в свет в октябре 1948 г.

Член-корр. АН СССР Н. В. Пигулевская продолжала работать над исследованием по истории торговли Византии со странами Востока. Ею написаны четыре главы: „Косьма Индикоплов, его теоретические взгляды и географические сведения“, „Товары, экспортируемые из гаваней Красного и Эритрейского морей“, „Трактат «Полное описание мира» как источник для экономической характеристики Византии“ и „Ὁδοὶ πόρειαι ἀπὸ Ἑδῆς“ как итинерарий и его связь с „Полным описанием мира“ и „Христианской топографией“. Тема, разрабатываемая Н. В. Пигулевской, раскрывает и подтверждает высказанные основоположниками марксизма взгляды на Византию как на „золотой мост между Востоком и Западом“ и на значение в ней „уцелевших остатков торговли“.

Канд. историч. наук Е. Ч. Скржинская занималась переводом и комментированием текста Иордана, ценного источника, содержащего важные сведения о древних славянах.

Ст. научный сотрудник Гос. Эрмитажа канд. историч. наук А. В. Банк готовила научно-популярную книжку „Византийские памятники Эрмитажа“ и продолжала работу по теме „Культурные взаимоотношения Византии и Востока по вещественным памятникам“ (в частности, по херсонесским материалам).

Из докладов, зачитанных на объединенных заседаниях византийской группы ЛОИИ и кафедры византиноведения ЛГУ совместно с работниками других научных учреждений Ленинграда, надо отметить следующие.

Доклад канд. историч. наук А. А. Елизарова о результатах его работы над рукописным наследством Иоанна Апокавка в собрании Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Доклад представлял собой предварительное сообщение с общим обзором наиболее интересных документов.

Доцент Горьковского Гос. Университета канд. историч. наук Н. П. Соколов изложил основные выводы своей работы „Взаимоотношения Византии и Венеции в последние годы царствования императора Мануила и при Андронике Комнине“, построенной на основе детального анализа источников. Доклад вызвал оживленные прения.

Старший научный сотрудник Гос. Эрмитажа канд. историч. наук А. В. Банк доложила свою работу „Истоки ранневизантийского искусства“, написанную для коллективного труда по истории искусства. В обмене мнений по докладу приняли участие проф. Л. А. Мацулевич (член-корр. Груз. АН), проф. М. В. Левченко, ст. научный сотрудник М. А. Тиханова, Е. Э. Липшиц и Е. Ч. Скржинская, отметившие ряд существенных недостатков работы, требующей значительной переработки.

Ст. научный сотрудник ЛГУ А. Ф. Вишнякова сообщила о результатах своей работы над византийской литературой X в., в том числе над рукописным наследством Арефы Кесарийского. Доклад вызвал ряд возражений и пожеланий. В частности, М. В. Левченко указал докладчику на необходимость более тесной увязки истории литературы с социально-экономической историей Византии.

Ст. научный сотрудник ЛОИИ Н. С. Лебедев сделал доклад на тему „Васильевский и его значение в византиноведении“. Доклад был поставлен на расширенном заседании группы совместно с сектором истории СССР ЛОИИ. В прениях по докладу было отмечено, что докладчик не дал марксистско-ленинской оценки трудов Васильевского (Е. Э. Липшиц) и не подверг достаточной критике их философские и методологические основы (М. А. Тиханова, Б. М. Кочаков, М. В. Левченко, Е. Ч. Скржинская).

На одном из заседаний проф. М. В. Левченко доложил результаты своего исследования так называемой „Записки греческого топарха“. В оживленном обмене мнений по докладу приняли участие А. Л. Якобсон, М. А. Тиханова, Е. Ч. Скржинская, А. А. Елизаров, Г. Е. Кочкин, Е. Э. Липшиц. Все выступавшие признали серьезную научную ценность проделанной М. В. Левченко работы, особенно ее критической части. Но предложенные докладчиком датировка и локализация документа вызвали некоторые возражения.

Ст. научный сотрудник ЛОИИ Е. Э. Липшиц сделала доклад на тему „Касия и ее место в истории византийской культуры IX в.“ (в связи с вопросом о светских течениях в литературе этого времени). В прениях по докладу было отмечено, что изучение поэтического

творчества Касии представляет интерес и для изучения положения женщины в Византии IX в.

Два заседания группы были посвящены обсуждению подготовленной Н. В. Пигулевской, Е. Э. Липшиц, М. В. Левченко и Б. Т. Горяновым „Хрестоматии по социально-экономической истории Византии“.

Ст. научный сотрудник Б. Т. Горянов (Москва) сделал доклад на тему „Крупное землевладение в поздней Византии“. В прениях по докладу были высказаны пожелания о необходимости более критического разбора взглядов Г. Острогорского по вопросу о возникновении института пронии (Н. В. Пигулевская) и более отчетливой характеристики особенностей византийского феодализма (М. В. Левченко).

На расширенном заседании группы совместно с сектором истории древнего и средневекового Востока ИВАН был заслушан доклад канд. историч. наук З. В. Удальцовой (Москва) на тему „Туркофильская партия по «Истории Мехмета II» Критовула“. В прениях по докладу приняли участие академик В. В. Струве, Н. В. Пигулевская, М. В. Левченко, Е. Э. Липшиц и др. Выступавшими была отмечена большая научная ценность работы, проделанной докладчицей. Вместе с тем были сделаны и некоторые критические замечания в отношении оценки личности самого Критовула и исторической ценности его труда.

Большой интерес вызвал доклад проф. М. В. Левченко на тему „А. Грегуар и его работы по византиноведению“,¹ в котором была дана основательная критика важнейших работ Грегуара, этого виднейшего представителя современного буржуазного реакционного византиноведения.

Столь же актуальным был и доклад того же автора на тему „Русский поход на Константинополь в 860 г.“, сделанный 23 июня 1949 г. В докладе, построенном в остром полемическом плане, М. В. Левченко, базируясь на показаниях многочисленных источников, подверг беспощадной критике попытки зарубежных буржуазных историков (Грегуара, Раундаля и др.) возродить пресловутую теорию „норманского“ происхождения Киевского государства, созданную, как известно, с целью принизить историческую роль русского и других славянских народов.

Докладчик показал, что поход 860 г. продемонстрировал силу начавших объединяться восточнославянских племен и заставил Византию считаться с Русью и заключить с ней равноправные торговые договоры. В результате похода укрепились также культурные связи между Византией и Русью.

16 июля 1949 г. византийская группа заслушала и обсудила доклад канд. историч. наук Е. Э. Липшиц „Павликианское движение в VIII и в первой половине IX в.“. В своем докладе, являющемся частью специальной монографии, посвященной развитию византийской культуры иконоборческого периода, автор вскрыл классовые корни павликианской ереси, показав антифеодальный и демократический характер этого движения. Недостатком этого доклада, однако, было то, что Е. Э. Липшиц не вполне отчетливо представила роль в движении низов и средних слоев городского населения и слабо осветила павликианство в Армении. Эти и некоторые другие упущения доклада отметили в прениях М. В. Левченко, А. А. Елизаров, А. В. Банк и др.

¹ Напечатан в III томе „Византийского Временника“, 1950 г., стр. 230—245.